

ISSN 0130 — 1527

ЗВЕЗДА ВОСТОКА

1988

6



ЗВЕЗДА ВОСТОКА

ОРГАН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
УЗБЕКИСТАНА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ГОД ИЗДАНИЯ 56-й

№ 6

1988 ГОД

Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма

В номере:

ПРОЗА

ЛЕОНИД ШОРОХОВ. Черная радуга. Роман 7
ЗОЯ ТУМАНОВА. Пока горит свеча. Фантастический рассказ 121

ПОЭЗИЯ

УСМАН АЗИМОВ. Бахшиана. Из стихотворного цикла. Перевод с узбекского
М. Кудимовой 3
ГРИГОРИЙ РЕЗНИКОВСКИЙ. Орлеанская дева. Историк. Аптекарь. Овчар. Египет. Суд. Пиано.
Мир Фауста. Триптих. «Над землей опрокинутый свод тишины...». Хорал молчания. «За
злую кровь, за душный едкий пот...» 113
НАСЫР МУХАММАД. Калам поэта. Тегеранский базар. Опять весна... «Поэт — он не
смертью своей умирает...» Перевод с узбекского В. Лещенко 118
НИНА ДЕМАЗИ. «Все ближе жала и крыла невзгод...». «Прижаться потесней — блаженство
декабря...». «День осенний...» Одиссей. «Я не нужна сантехнику Валере...». «Мой
пушистый зверек — колонок...» 130

ПУБЛИЦИСТИКА

Планирование семьи: аспекты и проблемы 134

НАШ СОЛНЕЧНЫЙ КРАЙ

АКРАМДЖАН АМИНОВ. Тревожное дыхание гор 146

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ВУЛИС. Новые парадоксы детектива 161

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В. АЛЕКСЕЕВА. Ранящая радость новизны 170
Р. МАХМУДХОДЖАЕВ. Цели и средства 171
Ю. МОРИЦ. «Ах, весна, говоришь, влюблена, говоришь...» 172

ПУБЛИКАЦИИ. ДОКУМЕНТЫ. ВОСПОМИНАНИЯ

«Сохрани мою речь!» Из литературного наследия О. Э. Мандельштама 174

ИСКУССТВО

Б. ИКСАР. «Та самая лучшая песенка»	182
---	-----

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ФАНТАСТИКА

НИКОЛАЙ ГАЦУНАЕВ. Пришельцы. П о в е с т ь . О к о н ч а н и е	186
--	-----

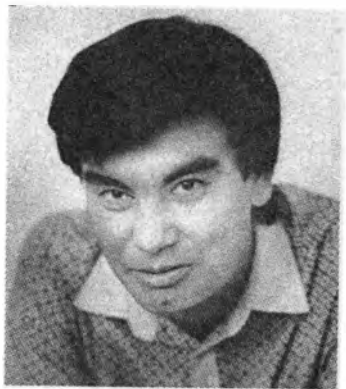
К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

А. СОСНОВСКАЯ. Природа, театр, человек	159
--	-----

О наших авторах	208
---------------------------	-----



Главный редактор С. П. ТАТУР.
Редакционная коллегия: В. А. АЛЕКСАНДРОВ (ответственный секретарь), А. Р. БЕНДЕР (зам. главного редактора), Е. Е. БЕРЕЗИКОВ, Г. П. ВЛАДИМИРОВ, М. МУХАММАД-ДОСТ, В. П. НЕЧИПОРЕНКО, А. А. ОСМАНОВ, Т. И. ПУЛАТОВ, О. В. СИДЕЛЬНИКОВ, Н. В. СТРИЖКОВ, А. А. УДАЛОВ, Р. Х. ФАРХАДИ.



Усман АЗИМОВ

Бахшиана

Из стихотворного цикла

Эльбек-бахши ученику своему Эламону вручил домбру и, провожая его в путь-дорогу, сказал:

— Живи на миру, пой о том, что сердце подскажет, не унывай, коль взгрустнется, виду не подавай, и возвращайся живым-здоровым.

И вот Эламон вернулся. Эльбек-бахши его за руку брал, о житье-бытье разузнавал и так вопрошал:

— О чем ты пел миру, сынок?

На что Эламон отвечал:

Траве «не затопчу»,— сказал,

Чинаре «не срублю»,— сказал,

«Без боли за тебя умру»,—

Земле отечески сказал.

Я женщине «люблю»,— сказал.

«Сгораю от любви»,— сказал,

«У следа от ноги твоей

Склоняю голову»,— сказал.

Пустыне «стань горой»,— сказал,

А ночи «светом будь»,— сказал,

«Полюбишь — и пребудешь чист,

Как честь»,— шайтану я сказал.

Я птице «не убью»,— сказал,

Отчизне «не продам»,— сказал,

«Правдивый не горит в огне,

В воде не тонет»,— я сказал.

«Ты низко»,— небу я сказал,

Чинарам «вы малы»,— сказал,

Я полные ладони звезд

Набрал и им «мои»,— сказал.

Я на вершину поднялся —

Открылся взору край родной —

И вдруг слезами залился,

«Будь вечной, Родина»,— сказал.

«Достойна слез лишь ты»,— сказал,

«Достойна радости»,— сказал,

«Достойна мира жизнь моя,

Ты жизни мне милей»,— сказал.

«Смысл песен — это ты»,— сказал,

«Звук сердца — это ты», — сказал,

«Наследье моего отца

Я детям передам», — сказал.

Много пел песен Эламон, пел печаль и радость, пел о том, что есть, и о том, чего нет, потому что он был поэт. И воскликнул Эльбек-бахши: — О, Эламон! Мой сын! Твои песни — вершина мной не взятых вершин. Ты стал настоящим бахши, ни с чем не сравнимо твое пенье. А теперь выслушай мое последнее наставленье.

Эльбек-бахши глубоко, как ветер, вздохнул, бородой колыхнул. И голос его полился серебром. И голос был сразу, как молния и как гром:

Пусть песней станет торговать наставник твой,

Уйдет любимая, другому став женой,

Правитель доблестный предаст народ родной, —

Терпи, мой сын, терпи.

Пусть боль твоя останется с тобой!

Терпи, мой сын, терпи.

Пусть станет песней твой самый горький вздох,

Коль правда канет, а в почет войдет подвох,

Плох будет праведник, и будет плут хорош,

И уважения к себе добьется ложь,

Терпи, мой сын, терпи.

Пусть боль твоя останется с тобой!

Терпи, мой сын, терпи.

Пусть станет песнею немая скорбь твоя,

Коль проворуется эмир или судья,

Коль вор учительствовать будет, не таясь,

В глаза народу безнаказанно смеясь,

Терпи, мой сын, терпи!

Пусть боль твоя останется с тобой.

Терпи, мой сын, терпи!

Пусть песней станет стон, летя во все концы,

Коль белым черное объявят мудрецы,

Коль нечисть чистою поэты назовут

И за друзей враги по трусости сойдут, —

Терпи, мой сын, терпи!

Пусть боль твоя останется с тобой.

Терпи, мой сын, терпи!

Пусть песней ставший стон не обратится вспять,

Коль будут камень человеком величать,

Солгут, что вымерли и слезы и цветы,

Пройдут по знамени двуногие скоты, —

Все вытерпи, сынок!

Пой свою песню и надейся на нее,

Скользи по лезвию, садись на острие,

Пой так, чтобы народ не смог терпеть!

Закончил песню Эльбек-бахши, посмотрел на солнце и не сощурил глаз.

* * *

В битве никто не склонил головы перед врагом.

— Найдите поэта этого народа, — приказал первый визирь.

И гонец побежал бегом. И на поле брани раненого Эльбека-бахши нашел и к падишаху его привел.

— Воспой нас! — приказал визирь правой руки.

Бахши сделал вид, что не слышит.

— Воспой нас! — приказал визирь левой руки.

Бахши сделал вид, что не понимает.

— Воспой нас! — приказал падишах.

Тогда бахши вздохнул и сказал:

— Ты — царь, и я воздаю тебе как царю. Пусть придет ваш поэт, с ним я и поговорю.

Привели поэта. И повели они такой разговор:

— Расскажи нам о бренности мира, бахши,
Как свершается жизни приход и уход.
Если бросятся в бой наши богатыри,
Они могут сразить небеса.

— Видел я небеса — они были чисты.
Подбирал я осколки летящих камней.
Убивали младенцев джигиты твои —
Усомнился я в мужестве их.

— Предводитель джигитов велик, как гора.
Тяготит мирозданье величье его.
Пой же славу ему — будешь славен, бахши.
Он обличьем походит на льва — он герой!

— Ты пшеницей овес называешь, глупец!
Видел мир я подалее этих дворцов.
Предводитель твой храбро бьет в спину ножом,
А лицо закрывает от жалкой осы.

— Придержи свой язык, неразумный бахши,
Мерь не семь раз, а сто, прежде чем говорить.
Рядом знатный вельможа стоит — казначей.
Он владеет богатством — его воспевай.

— Ты меня величаешь «бахши» для небес,
На земле же намерился в лужу спихнуть.
Что ж твой знатный вельможа отводит глаза?
Очень скоро он переселится в зиндан.¹

— Ты поведай об этом не мне, а ему,
Если жизнь тебе стала докучной, бахши.
Визирь левой руки — золотой человек,
Похвали его, если умен.

— Кроме лести, ни в чем не силен ты, болтун!
Визирь левой руки — мастер левых путей.
Все дворцовые женщины, будто ручьи
В пору талой воды, этот мусор несли.

— На плечах тебе голову не удержать,
Жизнью не дорожишь ты, играя с огнем.
Визирь правой руки — знаменитый мудрец,
Перечисли с почтеньем заслуги его!

— Тлел я, как головня, пред врагом — запылал.
Час возмездья настал наконец.
Ваш мудрец, что у ног падишаха юлит,
Прячет, чтобы вы знали, кинжал в рукаве.

— Медом яд представляешь напрасно, бахши:
Да, язык твой остер, но себя пожалей.
Там, на месте почетном, сидит падишах.
Похвали хоть его — и останешься жив.

¹ Зиндан — тюрьма.

— Меня медом судьба не кормила вовек,
И вовек в мире голод на правду царил.
Падишах твой — продажная шкура и трус,
Предводитель разбойной толпы.

— Ты воистину смел, только горе тебе:
Крепко помнит обидчиков наш падишах.
Если в гневе отдаст он приказ: Истребить! —
То народ твой и край твой погибнет, бахши.

— Все за правду народ мой готов претерпеть,
Слово правды из мертвых его возродит.
Смерть страшна. Но народ вымирать обречен,
Если ложью поэт оскверняет уста.

И тогда вражеский поэт с воплем хватил себя кулаком по лбу. Я, сам завзятый спорщик, долгие годы пытаюсь дознаться, чем закончилась та словесная битва. Что случилось с Эльбеком-бахши!

* * *

Эльбек-бахши был среди народных сказителей лучшим из лучших. Вот что он ответил, когда у него спросили: «Что называют прекрасным?»

Звезда на небе — это прекрасно,
Свет на земле — это прекрасно,
Свадьба веселая — это прекрасно,
Вовремя умереть — это прекрасно,
Весна с полой водой — это прекрасно,
Герой с народом своим — прекрасно,
Дехканин с полем своим — прекрасно,
Женщина с младенцем своим — это прекрасно.

Когда же Эльбека-бахши спросили: «Что называют плохим?» — он ответил:

Небо без звезд — это плохо,
Земля без света — это плохо,
Свадьба, где плачут, — это плохо,
Вовремя не умереть — это плохо,
Полая вода без весны — плохо,
Народ без героя — плохо,
Пахарь без поля — плохо,
Женщина без детей — это плохо.

А вот что ответил Эльбек-бахши, когда у него спросили: «Что вызывает слезы?»

Звезда без неба вызывает слезы,
Свет без земли вызывает слезы,
Несыгранные свадьбы вызывают слезы,
Безвременно ушедший вызывает слезы,
Осенняя тоска вызывает слезы,
Герой без народа вызывает слезы,
Поле без пахаря вызывает слезы,
Дитя без матери вызывает слезы.

А на вопросы: «Что прекрасней всего?», «Что хуже всего?», «Что более всего вызывает слезы?» — он дал такой ответ:

Мужество прекраснее всего,
Предательство хуже всего,
Слезы более всего текут,
Если погибла Честь.

Перевод с узбекского Марины Кудимовой.



Леонид Шорохов

ЧЕРНАЯ РАДУГА

РОМАН

Жизнь без нравственного усилия — есть сон.

Л. Н. Толстой

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1.

Прораб Семен Углов шагал по улице, с наслаждением вдыхая свежий утренний воздух. Вот уж неделю он не заглядывал в детский сад. Объект, в общем-то, был пустяковый. Требовалось сменить часть старых труб отопления да поштукатурить облупившиеся кое-где стены. Что там было толочься ежедневно ему самому? Тем более что старшим звена Семен оставил бригадира дядю Жору, старого и битого строительного волка. Двое помогали из молодых да штукатур с подсобником — звено такие объекты как орешки шелкало. Трубы Углов завез загодя, карбид и кислород были, раствор заказывали по утрам сами штукатуры, — работа крутилась сама собой.

В смету Семен заглянул разок зорким глазом и сразу усек, что составлял ее профан. Он усмехнулся в черные усы: «Опять девочкам с дипломами пофартило — удалось остаться в столице. Проектанты!»

Да, с такими проектантами можно было жить, и неплохо жить, и Углов привычно прикинул про себя: «На руки мужикам выйдет по двести пятьдесят. Особого шуму быть не должно. Опять же дядя Жора — калач тертый, все разъяснит как надо:..»

Обычно на такие объекты Углов старался без особой нужды не заглядывать — пусть мужички попадутся на травке без хозяйского пригляда. Где, глядишь, для себя какой левачок урвут, где подфилонят маленько — не все же время жать так, чтоб с них капало. Жизнь штука обоюдная — ты людям, и люди тебе.

Да, все вертелось как надо, и все же что-то тянуло Углова заскочить на объект, а что — он и сам толком не мог сообразить.

«Глянуть разве в подвал, понюхать, что там сварные химичат с обработкой?» — лениво подумал Семен, но, поразмыслив, не поехал. Еще увидишь какую-нибудь явную халтуру, и тогда хочешь не хочешь, а придется на людях шуметь и лаяться, показывая свои зоркие хозяйские глаза да острые начальничьи зубы. А дядя Жора не мед с молоком, и уж конечно придется при этом терпеть его ядовитые огрызания. Да ну его к ляду!

«Потечет — так есть на то дежурные ремонтники — завярат! Пожалуй, смету у хозяйки посмотрю, — решил Углов. — Скажу, что своя, мол, куда-то задевалась».

И перед глазами его как бы вдруг мелькнул ускользящий неясный образ заведующей садиком. Семен познакомился с ней на прошлой неделе. Он тогда с трудом поверил, что перед ним и в самом деле заведующая, а не какая-нибудь там свистулька с кухни. Слишком уж она была молода с виду. Длинный рыжий хвост волос нахально бил в глаза, зеленые глаза строго шурились, она явно хотела казаться старше и солидней, чем была. Углов тогда равнодушно пропустил мимо ушей ее указания:

— Все заменить, все заварить, нет тепла, нет воды, и всюду течет. Вы поставьте нам трубы большого диаметра.

Углов с удовольствием пришиб бы такого знатока! Течет — так оно и должно течь; труба не тянутая, а гнутая, сварная, чуть надави — вот и потекла. Из труб отопления моют полы, только успевай добавлять в котел свежака — где тут тепло будет, камень растет внутри труб. Тут хоть сотку поставь вместо полдюйма — через полгода то же будет.

— Эх, знатоки!

Хозяйка садика не очень пришлось Семену по душе. Он симпатизировал женщинам в теле и трудно переносил блондинок. Эта же была худая, да еще крашенная рыжеволосая. Углов и не разглядел-то ее толком.

Обычно, встречаясь с молодыми женщинами, Углов невольно примерял каждую к своей жизни: не вышла бы из нее хозяйка в его дом? И, прикинув, что не вышла бы, терял к дальнейшему знакомству всякий интерес. Увы, хозяйственные молодухи встречались нынче редко.

Тут же не было ничего такого. Худая, рыжая — эва! — глядеть-то было не на что. Тем более что холеные, изнеженные руки яснее ясного говорили о том, что она и не подозревает о существовании таких прозаических занятий, как мытье полов и стирка белья. А если и подозревает, то уж явно ни за что на свете не унизится до самостоятельного овладения столь низкими ремеслами.

И Семен, долистав смету, полез в подвал.

Совсем не осматривать ремонтного объекта было нельзя — все ж процентовки визировала рыжая заведующая, — но и без всякого осмотра Углов по одной только смете знал, что надо будет сделать обязательно и что делать незачем. Потом садик на неделю выпал из поля его зрения, а с прошлого понедельника освободилось сварное звено и Углов кинул полбригады на новый объект.

2.

Вот уже вторую неделю Лиза Вахнова жила в тревожном ожидании. Она прибегала на работу засветло. Невозможно было предугадать, когда появится в детском саду чернявый плечистый парень — прораб, ведущий ремонтные работы в ее хозяйстве.

Он мог мелькнуть во дворе и в восемь утра, и заглянуть к вечеру, и вовсе не появиться, — Лиза жила беспокойно.

Он появился в садике неделю назад, когда она уже перестала надеяться на ремонт. Но Карим Салимович, завгороно, сдержал слово: он договорился с одним из своих знакомых строительных начальников, что в порядке исключения тот привяжет к неплановой работе одно из своих подразделений.

После этого прошел чуть ли не месяц — строители, как всегда, не торопились, — а потом в ее кабинет и жизнь вошел этот, чернявенький.

Он обошелся с Лизой довольно пренебрежительно. Зашел в кабинет, буркнул что-то и, не обращая на нее ни малейшего внимания, углубился в поданную ему смету.

Лизу заело.

Она подарила пришельцу очаровательную улыбку не потому, что он вдруг пришелся ей по сердцу. Вовсе нет! Хотелось завязать некоторое доброе знакомство с молодым строителем. Отношения легкой симпатии позволили бы надеяться на большую его добросовестность. И, улыбнувшись ему, она могла бы, кажется, рассчитывать на ответную доброжелательность. Но ничего такого не произошло.

«Ну, погоди, — решила про себя Лиза, мстительно глядя на равнодушную черную макушку. — Ты у меня попляшешь, ты у меня побегаешь!» Но вот прошла только какая-то несчастная неделя, а уже и плясала, и бегала она сама.

И не было никаких звездных сияний или прорывов в голубые сверкающие высоты, и не было никаких глубокомысленных рассуждений и обоснований, и не было неведомых прозрений или сладких грез о будущем (с подкатыванием к горлу затрепетавшего сердца), и не было...

«А что же было?» — спохватывалась смущенная Лиза.

А было тихое томление сердца, не отпускающее ее ни на минуту, а был посто-

янный душевный непокой, не могущий быть ничем снятым, кроме как присутствием любимого человека.

«Любимого?»

Лишь при его приближении само собой неприметно растаивало Лизино напряжение; рядом с ним она начинала ощущать ровное дыхание счастья, счастья, проявляющего себя разве только удивительной внутренней легкостью.

«Это и есть любовь?» — спрашивала себя Лиза и сама не могла поверить, что главное в жизни чувство может проявляться так обыденно и что ей для огромной, переполняющей все существо радости достаточно просто быть рядом с ним, просто быть рядом — и только. А этот бесчувственный человек с опасными для женского сердца глазами так и не отрывался от своих смет и процентов.

Можно подумать, что он живет вне времени и пространства. Глаза его оживлялись, когда в поле их зрения попадали ржавые батареи отопления или подгнившие косяки дверей, и заметно тускнели, когда в них отражалась Лизина ладная фигурка. Это было обидно до слез. В конце концов, в жизни имеет цену и кое-что помимо баллонов с кислородом.

3.

Лизе двадцать шесть. Позади уже было довольно много трудной работы и мало того, что неопределенно именуется личной жизнью. Сколько Лиза себя помнила, она ко всему относилась серьезно — училась серьезно, работала серьезно, жила серьезно. Легкие отношения ее не устраивали. Нелегких же почему-то не завязывалось.

Впрочем, время еще было — так считала она, хотя совсем недавно заметила, что мужчины стали относиться к ней как к женщине с несложившейся судьбой. Повевало специфическим мужским сочувствием. Ей предлагалось принять его как должное. Лиза не была согласна на такую чушь ни под каким видом. Она еще и зрелой-то женщиной себя не ощутила!

Он появился в ее жизни весьма кстати, этот тридцатилетний приметный парень. Нехорошо было только одно: дни шли, ремонт садика подвигался, а он по-прежнему не обращал на нее внимания.

«Ничего, — весело подумала она, — не такой уж ты твердокаменный!»

4.

Углов, едва вошел во двор садика, услышал донесшийся сверху голос:

— Семен Петрович, Семен Петрович, прошу вас, поднимитесь ко мне на минутку.

Он поднял голову. В глубине окна на втором этаже стояла заведующая. Солнце ослепительным потоком било в лицо; мерцающая под лучистыми ударами света, она, прикрыв глаза, шагнула к подоконнику. Семен остановился, ошеломленный. Он дернул плечами, стряхивая наваждение. В сознании родилось совершенно чуждое ему слово — мадонна.

«Мадонна... Мадонна...» — мысленно твердил он.

И вдруг застыдилась этого слова. Настолько оно не вязалось с процентовками, трубами, карбидом и рукавицами — со всем тем, с чем ему ежедневно приходилось иметь дело, — что он воровато оглянулся по сторонам, не произнес ли его вслух и не услышал ли его, не дай бог, кто?!

Нет, никто не хохотал в сторонке.

5.

Углов не появлялся неделю. Но сегодня присланное им звено маляров закончило отделку кабинета. Углов еще раз допросил их с пристрастием, сделана ли затирка стен, прошпаклевана ли перед тем как белить и красить?

Маляры клялись, что все сделано по высшему разряду, ну почти как у себя дома. Углов недоверчиво качал головой и обещал, что сам проверит.

Маляры не возражали.

Ну что ж, теперь был законный повод увидеть хозяйшку. Лиза, судя по всему, ждала его и сразу кинулась к нему навстречу, едва он вошел во двор.

Чудачка...

Он никак не привык к столь нежной чувствительности. В той среде, где протекала его жизнь, любые проявления повышенной душевной деликатности расценивались как слабость — со всеми вытекающими последствиями. Мягкому, податливому человеку все неизбежно норовили забраться на шею, а там уж и погонять его во все бока.

Сейчас же Семен почувствовал, что столкнулся с чем-то иным. Это иное беззащитно, уступчиво и почему-то не вызывало в нем естественного желания перевернуть все на свой лад.

Ему смутно подумалось, что в Лизе есть что-то высшее, недоступное его разумению.

«Вот бы Никола поглядел, как я тут возле бабы выкобениваюсь, — подумал он. — Умер бы со смеху».

Впрочем, через полчаса он с удовольствием сидел в знакомом, пахнущем свежестью кабинете напротив взволнованной Лизы и обстоятельно рассказывал ей о ходе ремонта.

Она слушала внимательно.

Семен незаметно перешел к рассказу об общей прорабской жизни, привычно ругнул начальство, привычно пожаловался на подчиненных, — Лиза внимала не перебивая.

Принесли чай. Углов степенно принял в руки дымящуюся пиалу. Разговор перешел на вольные темы.

— Семен Петрович, — спросила Лиза, чуть краснея. — Извините за нескромный вопрос, но почему ваши дети ходят в седьмой садик, а не в наш? Ведь вы живете, кажется, неподалеку?

Семен захлебнулся чаем. Пока он откашливался, Лиза испуганно хлопотала рядом.

— Что вы? — ответил Углов, отдышавшись. — Какие такие мои дети? Холостяк я.

Лиза слегка порозовела.

— Отчего же вы не женитесь, если не секрет? — спросила она.

— Да какой секрет, — махнул рукой Семен. — Просто не на ком.

— Ну что вы? — поразилась Лиза. — Столько вокруг прекрасных, милых девушек. Как это — не на ком?

Углов усмехнулся.

— Да ведь я мужик простой. Мне не милая девушка, а добрая жена нужна. Помощница. Чтоб и стоговить, и постирать вовремя. А где сейчас такую сыщешь? Была знакомая, да сказала, что в двадцать лет себя кухне посвящать не станет. Ну и раззнакомились. — Он вздохнул: — Вообще-то уж пора, конечно...

— А сколько вам лет? — спросила Лиза.

— Да старый уже, — засмеялся Семен. — В этом году тридцать ударило.

— Да, — вздохнула Лиза. — Время летит. Мне вот давно ли двадцать было.

Они еще немного посидели, дружно кляня беспощадное время. Однако пора было и откланиваться. Семен нехотя поднялся.

— Я провожу вас, — сказала Лиза.

Углов пропустил ее мимо себя, золотые, душистые пряди волос мягко скользнули по его лицу, — и они пошли рядом по узкому коридору. На повороте Семен чуть замешкался, пропуская Лизу вперед. Прохладная узкая рука нежно коснулась его ладони.

Лиза не оглядываясь прошла вперед. Семен задержался на секунду и пошел следом. Они спустились по лестнице и вышли на крыльцо.

— Ведь вы часто у нас бываете, заходите и ко мне, — сказала Лиза.

Семен взглянул на нее. Лицо ее показалось ему равнодушно-спокойным. Он смутился и неуклюже поблагодарил за приглашение. Выйдя на залитый ласковым солнцем двор, постоял минуту в задумчивости и тихо побрел на улицу.

Мысли его находились в полном разброде:

«Это было или этого не было? Это было или этого не было?»

6.

Семен брел по улице, и никакие уличные шумы не могли проникнуть в его сознание. Его мучила все та же, неожиданно возникшая загадка.

«Так было или не было? Случайно Лиза коснулась его руки и даже легонько пожалала ее? Господи, какая она нежная! Зачем ей нужен такой облом, как я?»

Углов знал свою цену. Его девушками были молодые девчата из малярных бригад. Крепкие, веселые, острые на язык — с ними он чувствовал себя в своей тарелке.

К Лизе он и не мыслил подступиться. Где там! Такой на роду написано быть женой или, в крайнем случае, любовницей большого начальника. Ну а его верхушкой была та должность, которую он занимал сейчас. Для дальнейшего не хватало образования, характера.

Такие выхоленные, чистенькие особы, как Лиза, обычно смотрели на него, как на мебель. Семен, правда, и сам в упор их не видел. Таким ведь сегодня гарнитур, завтра машину, послезавтра брильянтовые сережки подавай — кому такое под силу? Разве управляющему трестом или начальнику милиции... На его-то заработки можно со скрипом осилить велосипед с моторчиком... Ну и на сто граммов, конечно, хватало... Это уж всегда...

Он задумался, припоминая Лизин облик. Вроде бы не было на ней особой роскоши — ни золотых кулонов, ни браслетов, ни колец. Разве только черепаховая заколка в волосах? Такую вполне можно иметь и на зарплату.

Прораб Углов чуял богатеньких за версту. А развелось их по нынешним временам немало. Богатство само себя рекомендовало — мягкой линией шикарного заграничного костюма, отсветом золота сережек с алмазами, той особой раскованностью и спокойствием, которые отличали их, богатеньких, от прочих смертных. Что им копеечные угловские заботы о списании прошлогодней ветоши? Они вершат серьезные, многотысячные дела, и внутренняя уверенность их оправдана. В крупных денежных операциях нельзя суетиться. От выдержки и спокойствия зависит многое. Углов пешка перед ними, и их женщины не для него.

Резко взвизгнули тормоза.

— Ослеп?! — заорал шофер. — За смертью ходишь?!

Хлопнула дверца, и самосвал резко двинулся дальше.

7.

Остаток дня Углов ходил, как ошалелый. В шумной рабочей суете его вдруг охватывало что-то вроде шока. Рядом стояли, горячились и что-то втолковывали рабочие, а он мучительно пытался остановить какую-то ускользящую от него мысль. «Столбняк, что ль, на тебя напал?» — разбудил его на вечерней планерке Никола.

А ночь была невыносимой. Ни на минуту Углов не сомкнул глаз. И на работе с утра все валилось из рук.

— Не могу больше, — сказал он себе и выскочил на улицу. Словно на крыльях летел к ней.

Увидев его, бледного, на пороге своего кабинета, Лиза испугалась.

— Что с вами? Что-нибудь случилось?

— Нет, нет. — Он задыхался. — Я просто... посмотреть, как тут дела.

Семен поднял на нее глаза и уж не смог отвести. Солнечный луч падал на Лизины плечи и, казалось, просвечивал ее насквозь. Ореол золотых волос трепетал на слабом ветерке.

Еще ничего не было сказано, ни одного проясняющего слова, но уж, можно считать, все определилось между ними. Семен неотрывно смотрел в эти синие бездонные глаза и понимал всем своим существом, что происходит, может быть, самое главное во всей его жизни.

Лицо ее было потерянно и незащитно, губы чуть вздрагивали, и Семен прозрением сердца понял, что протяни он сейчас руку — и эта прелестная молодая женщина, ни секунды не раздумывая и не медля, шагнет следом за ним. Властная, неодолимая сила подхватила Углова и словно понесла его по воздуху. С неслыханной остротой ощутил вдруг он, что минута эта решающая и что только от него одного зависит, станет она лучшей минутой их новой жизни или оставит в душе навсегда чувство горького и опустошающего разочарования.

«Господи, не разрушай, — взмолился Углов, обращаясь то ли к неизвестному им богу, то ли еще к кому-то неведомому, но могущественному: — Не разрушай!»

А что «не разрушай», он и сам не мог объяснить. Но чувствовало его задыхающееся сердце, что это зыбкое и ускользящее мгновение стоит куда дороже, чем вся предыдущая, прожитая им жизнь.

Не вполне понимая то, что делает, Семен поднял дрогнувшие руки, заключил в плачущие ладони Лизину голову, и сладкий, невыразимо прекрасный вкус ее губ навсегда вошел в его сердце. Его одинокое, неверное и путаное прошлое словно растаяло. Оно не имело уже никакого значения и никакой власти над Угловым.

Луч могучего человеческого чувства пронзил густую крону бескрайнего леса

жизни и высветил крохотный лесной родничок Семеновой души, не иссякший еще под лежиной прошлых неясных лет и поступков.

Нет, не мертва есть душа человеческая!

Грузит жизнь на нее неслыханные тяжести, трещит хребет, подгибаются ноги, и серым и мрачным кажется все вокруг, и словно бы нет просвета, и словно бы нет мечты, и словно бы нет радости. Но вдруг блеснут лучи чьих-то горячих глаз — и разом распрямятся усталые плечи, и развеется смрадный туман, и, дрогнув, забьется по-молодому заликовавшее сердце.

Так смелее же, смелее шагайте под жаркие лучи простых и добрых человеческих чувств, милые мои люди! Не бойтесь выглядеть наивными и смешными. Доверяйтесь друг другу — и прекрасной, светлой, очищающей радостью стократно окупится ваше доверие. И будьте счастливы, будьте очень счастливы, ибо счастье и есть единственное достойное человека состояние!

8.

Два месяца до свадьбы пролетели, как один день. Семен вел себя нормальным, стандартным женихом, страдал нетерпением, проявлял некие поползновения, но вполне покорялся мягким Лизиним увещаниям.

Правда, от него частенько пахло вином, но Лиза не обращала на это особенного внимания — кто нынче не пил? Трезвенников перестали, кажется, демонстрировать на экране — никто из смотревших фильмы не верил в таких небывалых людей. Кроме того, она была еще так гордо-самоуверенна, что собиралась впредь одним своим словом сразу же изменить все неправильные холостяцкие привычки Семена. Ведь он любил ее, так куда ж ему деться, случись ей приказать?

9.

Первый год супружеской жизни пролетел для Лизы как во сне. Он прошел под знаком ее беременности.

Первое знакомство с миром материнства оказалось тревожным. Попав после особенно тяжелого токсикоза в гинекологию, Лиза с трудом привыкала к обстановке. Лежали рядом с ней на сохранении беременности детные матерые бабы, разлившиеся в уютных больничных палатах, нечесаные, опухшие от беспробудного сна, готовившиеся рожать по второму, третьему разу. Они не упустили случая подшутить над молодухой, толком не умеющей и выносить-то дитя.

Лиза только сжималась под градом их бесстыдно прямых, прожигающих насквозь вопросов, ужасалась первобытной обнаженности чувств. Соседки смеялись над ее застенчивостью и понимающе перемигивались:

— Первородка, что с нее взять? И мы когда-то такими были.

Они весело выглядывали в окошко:

— Вон он, твой чернявый, опять прибежал!

Главная их жизненная трудная работа вся была еще впереди, и они не торопились, накапливали силы на будущее свершенье. Помногу лежали, капризничали с едой — ошеломляющее любую человеческую душу чудо явления на свет новой жизни тихо вызревало внутри их тяжелых животов.

И вся эта показушная шелуха их веселой болтовни и взаимных коротких откровений была только внешней оболочкой настороженного прислушивания к созревшей внутри жизни. Она, эта новая жизнь, жадно рвалась навстречу солнцу и материнской ненасытной любви из тел, приготовлявшихся к боли. Страшно было им замкнуться на этих всегда необычных, всегда иных, чем прежде, ощущениях, и сколько бы раз сильное материнское тело ни зажигало в мире звезду новой человеческой жизни, оно все равно не могло привыкнуть к совершающемуся таинству. И страшно было сглазить рождение ребенка неосторожным словом, или плохим настроением, или темным предчувствием. И надо было изо всех сил притворяться веселыми, чтобы вытеснить притаившийся страх из глубин собственных сердец или спрятать за смехом и шутками. Внешняя сторона их поведения выглядела грубоватой, и Лиза воспринимала ее именно такой — в ослеплении полудетского неведения собственной будущей дороги, так похожей на дороги всех женщин земли.

Семен навещал ее не редко и не часто. Он по-своему скучал по жене, но тяготился любопытствующими взглядами ее соседок. Он косо поглядывал по сторонам; недовольно бурчал что-то невразумительное и, до осыпания размяв в железных пальцах незажженную сигарету, тихо говорил, стараясь не смотреть на Лизин выпирающий живот:

— Ну, я пошел, пожалуй.

Лиза покорно соглашалась:

— Иди, иди.

Не удержав облегченного вздоха, он быстро поднимался со стула и уходил. Лиза провожала его тоскующим взглядом. Глаза ее наполнились неудержимыми слезами. Как недоставало ей сейчас крепкого, свинцово-тяжелого плеча. Прислониться бы к нему усталой, раздерганной головой, закрыть глаза и отдаться всем сердцем тихому, спокойному течению умиротворенных мыслей. Ей казалось, что тогда бы утишились, упокоились все ее неверные ночные страхи, что так пугающее ее событие совершилось бы само собой, без боли и душевного унижения, которых она ждала каждую протекающую минуту.

Ближняя соседка Фрося, беременная третьим ребенком, укоризненно качала кудрявой головой:

— Ну чего ты, девонька, маешься? Чего так себя изводишь? Надолго ли так тебя хватит? — И строго приказывала, кивая на Лизин живот: — Ты сейчас о нем думай, а не о чем другом. Теперь он у тебя главный. А муж — что же? Им, мужичьям, знай одно подавай. Своей бабы под боком не стало, он подхватился — да к чужой.

У Лизы жалко сморщивались обкусанные губы, и Фрося, видя ее бесхарактерность, великодушно успокаивала:

— Ну твой-то вроде парень ничего. Вон он каждый день хоть на минутку, а заглянет.

— Да уж, каждый день! — всхлипывала Лиза.

Фрося махала рукой.

— Эх, девонька! Скажи хоть ходит, ну и ладно. Вон мой-то идол еще и разу не показался. — И привычно прощала неведомому Лизе идолу его прегрешения: — А и то сказать, когда ж ему везде поспеть? Дай бог с ребятишками управиться. Да нет, я на него не обидная. Он вообще-то у меня, когда не пьет, золотой! И на базар сбегает, и по дому все управит, и меня...

Тут Фрося потупливалась, щеки ее начинал заливать жаркий румянец.

— И меня жа-ле-ет... — шепотом выговаривала она, растягивая сладкие слова.

Лиза порывисто прижималась к круглому Фросиному плечу и затихала. Фрося ласково гладила ее по горячей рыжей голове и тихо ублаживала, приговаривая:

— Уйди, коза-дереза, уйди, коза рогатая. Не тронь мою девочку.

Лиза спала.

10.

Но вот наконец проснувшийся ребенок властно ударил Лизу под самое сердце. Закрутилась вокруг бестолковая суматоха. Семен сидел рядом в машине спешно вызванной «скорой» и держал в своих зацепивших руках ее слабую потную руку. Лиза чуть слышно постанывала, за матовыми, непрозрачными стеклами текла ночная мгла.

Событие, давножданное, пришло в угловский дом, а Семен оказался на диво не готов к его приходу. В голове крутились и путались никак не подходящие к моменту пустяковые мысли.

«Газ вроде б горел на кухне, — бестолково припоминал он. — Затухил 'ли? И свет вот в прихожей не выключил».

Невозможно ему было всерьез осознать такую нелепую, такую чудовищную несправедливость, что вот он, здоровый, сильный мужик, шутя перемогающий любую боль, привезет в больницу и оставит там бог весть в каких руках собственную жену и уедет домой доспать свои спокойные сны, а слабое, беспомощное и беззащитное перед самой малой болью родное существо будет тяжело мучаться и страдать неизвестно почему и неизвестно за что. И что такое жестокое положение дел устроено самой многомудрой природой и признается чуть ли не разумным и неизбежным самими же страдающими людьми.

Он невольно заскрежетал зубами и стиснул пальцы. Лиза громко застонала. Семен опомнился и разжал руку.

— Потерпи, Лиз, ты потерпи малость. Счас доедем, — наклонился он к смутно белеющему в полутьме словно водой облитому лицу жены.

Лиза примолкла, прерывисто дыша. Машина остановилась.

— Приехали, — повернулся к ним пожилой водитель.

11.

Черной дурнопьяной немочью и болью закружилось первое Лизино настоящее бабье дело. Палым прошлогодним листом, невесомой окалиной отлетела сладкая память о хмельных постижениях грамматики любви. Гудящим колоколом бухала боль в позабывший недавние сладости крестец.

Терпи, баба, терпи, расплачивайся мукою за свои огневые, бессонные ночки, проведенные на мужниной руке!

— А-а-а-а! — выламывала, выжимала истошные крики из самого ее нутра невыносимая, крестная боль.

Нет, не стать девке бабой, в полыханьи лазоревой зари, на примятой росной траве, отдав себя первому в жизни парню. Нет, не научиться ей могучей колдовской властью притягивать к себе заматеревшего мужика, принимая избыток его сил в свое ладное, не рожавшее лоно. Нет, не делает девку женщиной ни даже перехлест ее собственных подспудных сил, жарко выплеснувшихся наружу через безудержную, сумасшедшую трату каждой отпущенной ей судьбой минуты золотой молодости.

Так и остаться бы ей бабочкой-поденкой, эфемерной однодневкой пролететь над землей, выше крыши, но ниже дерева, и не вплести ей своего одинокого, слабого соло в ликующий мировой хорал человеческого счастья.

И лишь через одно может она приобщиться к тайне, которая вся — велика есть!

Пройдя сквозь кровавую муку, и боль, и липкий обжигающий страх, исторгнув из собственного чрева часть самой себя и дав этой части новое, отдельное от себя существование и назначение, — лишь тем и тогда встает она вровень с той ролью, которую изначально назначила ей на земле великая провидица — сама мать-природа!

12.

Семен вскочил с постели и бросился к будильнику. Впрочем, можно было уже и не спешить — в окно лились потоки, целые реки солнечного света. Он коснулся колеска завода и ругнулся: конечно, звонок выработался до немоты. Можно было себе представить, как яростно он трещал, будя хозяина. Вообще-то говоря, если не умываться, не бриться и не завтракать, то вполне еще можно было поспеть. Тут и пригостила Семену его бывшая солдатская выучка. Накинуть рубашку, натянуть брюки и сунуть босые ноги в разношенные сандалеты казалось делом одной минуты.

На ходу приглаживая разлохмаченные волосы, Семен вихрем промчался по лестничному пролету и выскочил на улицу. Следовало наддать. Автобуса пока дождешься! И он припустил по асфальту ходкой, разлапистой трусцой.

Голова побаливала. Но где там успеть заскочить в парк, опохмелиться, — и так времени оставалось в обрез.

Позавчера Лиза родила дочь. Семен узнал об этом вчера, прибежав поутру в роддом. Все же ночь без Лизы он провел вполне, сказывалась уже кой-какая привычка к семейной жизни. Повидать жену хотя бы в окно ему не удалось — она была слаба и еще не вставала. Все же подлежащие оглашению параметры новоявленной наследницы были ему немедленно с тщанием сообщены.

Услышав, что родилась дочь, а не сын, Углов заметно потух. Он еще раз переспросил в заветное окошечко, точно ли девочку, а не мальчика подарила ему жена, робко надеясь про себя на счастливую ошибку, и, выслушав в ответ разъяснение, что ошибка, если и допущена, то скорее всего не канцелярией роддома, а им самим, и не сейчас, уныло отошел от окошка.

Радоваться совсем расхотелось.

Во все время Лизиной беременности Углов и мысли не допускал о рождении девчонки; уж и имя для будущего сына было им подобрано.

Углов на минуту представил себе, как покровительственно зазвучат поздравления в устах сослуживцев, и у него заныли зубы.

Мысли его обратились к жене. Тоже мне, рожака, не могла расстараться! Уж, кажется, чего было проще — подарить ему сына.

До вечера Углов крепился, никому ничего не докладывал, да и прорабы все мотались по объектам, не до того было. Но к вечерней планерке — тянуть дальше стало некуда, — отправив шофера в магазин за ящиком водки, Углов открылся в своей сомнительной удаче.

Канторские женщины сразу приняли Лизину сторону, заворошился, затрепыхался весь цветастый курятник: ах — дочка, ах — мамкина помощница, ах — сначала

ла няньку, а потом ляльку! Углов послушал-послушал и пошел прочь. Можно подумать, что ему привалила неслыханная удача; да ни черта эти бабы не смыслят в гордом мужском сердце, — он до помрачения разума хотел сына.

Мужчины встретили новость, против ожидания, благодушно. Тяжелые ладони хлопали его по плечу, до хруста пожимали руку, и Семен несколько смутился явным проявлением всеобщего к себе благорасположения. Невольный комок перехватил ему горло, и тут, как сквозь туман, донеслось до его слуха:

— Ну вот и невеста есть. Давай, Никола, сватай своего мужика за угловскую наследницу! Враз сговорим!

Углов отмахнулся:

— Это еще когда будет, а сейчас обмыть надо такое дело, я уж послал за чем надо.

Планерка скомкалась.

Дмитрий Григорьевич, как всегда многословно, поздравил Семена с его вкладом в выполнение трещавшего по всем швам демографического плана страны; все заулыбались, разнежались, припоминая каждый свое, и планерка закружилась на диво быстро, всего за какой-нибудь час. Коллеги жаждали проникновения в предмет более существенного.

Обмывка затянулась далеко за полночь. Тут-то уже Углова пощупали как следует. Никола, багрово-красный, распаренный водкой до послебанного состояния, обнимал Семена за плечи своей загребистой лапищей и уже в десятый раз подряд наклонялся к его уху с одной и той же незамысловатой шуткой.

— Это тебе не садик ремонтировать, а Семуха? Тут халтура, сам видишь, не проходит!

Его якобы шепот легко перекрывал общий разноголосый шум.

— Бракодел, што там и говорить, бракодел! — со смехом подхватывали остальные.

Никола утешал:

— Ничего, Семен, поправишь дело следующим заходом! Только ты уж, друг, теперь, не зная броду, в воду-то не суйся! Порасспроси у людей бывалых — как да чего! — И он гулко хлопал себя по необъятной груди: — А уж мы поможем, чем сможем!

И снова хитро подмигивал Углову.

Семен ежился, криво улыбался в ответ, но терпел. Никаких таких его обид здесь бы не поняли и не приняли. Мужики подначивали без злобы. Да и то сказать, имея сыновей, они были все поголовно правы. Сам-то Углов по-другому, что ли, забавлялся бы на их месте?

13.

И вот сегодня утром Лиза будет впервые кормить малышку и, как все остальные молодые мамы, конечно покажет ему дочку в окно.

Семен волновался.

Ведь по всем писаным и неписаным обычаям ему полагалось захлебываться от радости, парить, ног под собой не чуя. Он же пока еще, хоть убей, не испытывал к дочери никакого, даже самого коротенького чувства. И любопытства-то особого не было: ну покажет ему Лиза сверху эдакий сплошь забинтованный сверток, ну и что? Не будет же он всерьез подпрыгивать от восторга, как прочие молодые отцы; ведь еще если бы сын был, тогда как-то можно было понять и оправдать эту неприличную мужчине трясучку! Ну а девка — что?

В день первого кормления и показа приходили все заинтересованные отцы, и Семену показалось неприличным отстать от остальных. Неловко выйдет: все идут — стало быть, надо идти. Ну надо и надо — пойдет и он.

— Эх, жизнь! — вздохнул Углов, переходя улицу.

Жизнь, действительно, мало благоприятствовала.

Он подошел к роддому как раз вовремя. Возле двухэтажного белого здания, расположенного в центре большого ухоженного сада, уже кучковался десяток мужчин. Углов подошел к ним и тоже задрал голову вверх. Рядом с Семеном затухали и вновь вспыхивали короткие, понятные всем с полуслова разговоры.

— Четыре девятьсот! — небрежно бросил невысокий, ладный крепыш. Трудно сдерживаемая гордость так и сочилась из него, так и распирала всю его огневой силы натуру.

— Да, богатырь! — с заметной завистью отозвался сосед.

Углов стыдливо потупился. Дочка его потянула три килограмма ровно. Девка. Ясно, что своего голоса среди настоящих, среди путевых мужиков он не имел.

Пришел еще десяток томительных для Углова минут. Потом за стеклом мелькнуло белое, и Семен увидел Лизу. В глаза ему бросились темные веки и странно изменившийся овал похудевшего лица. Сердце его дрогнуло и остановилось. Глаза Лизы сияли. Вся она словно светилась за туманным ореолом стекла. Никогда не свойственная ей раньше горделивая осанка выпрямила в струну ее хрупкую фигуру и круто развернула узкие, покатые плечи. Движением, полным невыразимой грации и благородства, она подняла маленький белый сверток и показала его Семену.

Углов глянул на сверток и онемел.

Из середины плотного белого свертка смотрело на него сморщенное красное личико, бессмысленное и жалкое. Ничего мало-мальски человеческого не уловил Семен в этой маске лица. Он невольно отступил от окошка. «Как?! — молнией пронеслась в его голове испуганная мысль. — Вот это и все?» Страшное разочарование охватило Семена. Он с испугом оглянулся по сторонам. Боже, все наверняка уже увидели этого маленького уродца и, конечно, тоже охвачены чувством невольного отвращения! Срам-то какой! А Лиза — что ж, она не видит разве, чего они вместе наделали? Он чуть было не крикнул во все горло: «Да спрячь ты это, ради бога!» — но вовремя опомнился. Да и к тому же никто вокруг него не проявлял к угловскому чаду особенного внимания; все были плотно заняты созерцанием собственных созданий, Семен исподтишка глянул на чужих. Они показались ему терпимыми — младенцы как младенцы. Только его дочка почему-то показалась ему не такой. Впрочем, взглянуть на нее еще раз Семен не решился.

Через пару минут он шел по веселой утренней улице, направляясь на работу. Глубокая задумчивость вмиг состарила Семеново лицо. Всегда энергичная пружинистая походка стала шаркающей. Никогда еще за всю свою жизнь не ощущал он такого разброда мыслей и чувств. «Господи, да какое же о н о противное, ни на что на свете не похожее! — с отчаянием думал он. — А Лизка — будто ослепла!» Она Семена страшно поразила: как жена, такая чуткая, такая отзывчивая к малейшей красоте, может не видеть всего трагизма их нового положения. Лиза явно гордилась этим крохотным уродцем, а ведь о н о наверняка навсегда останется таким же, таким... Не находя слов, он вылепил в воздухе руками нечто бесформенное.

Углов ничего, ну решительно ничего, не испытывал к бессмысленному кусочку, показанному в окошко. Впрочем, нет, испытывал, да, да, испытывал невыносимо горькое чувство. «Да почему я должен любить это существо?» — вдруг остановившись, спросил он себя. И сам же ответил: «Потому что это моя дочь. Моя дочь? Да, моя дочь, а человек обязан любить своих детей». Обязан? Как можно любить по обязанности? По обязанности можно отдавать долги, учиться, работать, наконец по обязанности можно даже пожертвовать жизнью, но почувствовать — по обязанности, но полюбить — по обязанности?! Этого Семен никак не мог уразуметь. Обязанность никак не вязалась с его представлениями о чувствах.

«Может, я один только такой? — подумал он с невольным испугом. — Вон все другие отцы как радуются. Но что же мне делать, если я не могу ничего испытывать к этому крохотному существу?»

В голову закралось слабое подозрение, что, может быть, и другие отцы в своих думах и чувствах недалеко от него и что, может быть, они только притворяются небывало счастливыми, как только что притворялся он, глядя на дочку и усилием воли растягивая губы в фальшивой улыбке.

Вот если бы дело касалось Лизы — тут бы он понял.

Семен любил жену без всяких рассуждений. Здесь ему не надо было ни в чем себя уговаривать. Стоило Лизе хоть ненадолго отлучиться, вот как, например, сейчас, — и Семен начинал мучиться и тосковать. Все вокруг становилось враждебным и раздражающим. Характер его моментально портился и каждый пустяк начинал выводить из равновесия.

Но разве это хоть в самой малой мере зависело от долга, от обязанности или от Лизино по отношению к нему положения? Отнюдь! Дико прозвучало бы: «Я люблю Лизу потому, что она моя жена». Да это было глубоко второстепенное — жена или не жена. И было только очень справедливо, что любимая женщина и формально принадлежала ему, и было справедливо, что чувства его не нуждались ни в каких искусственных теориях. В любви к Лизе он был самим собой и, ничем здесь не отличаясь от прочих, чувствовал себя спокойно до сегодняшнего дня. Страшным, потрясающим диссонансом ворвалось в его душу первое знакомство с собственной дочерью.

Углов шел по улице, не замечая ничего вокруг. Мучаясь и казня себя за зверскую бесчувственность, он не знал еще, что чувства и переживания его есть чувства и переживания многих людей, что нет нравственности в любви так же, как нет в ней и безнравственности, что сердце, способное страдать, способно и полюбить, что самая лучшая, прекраснейшая пора расцвета его отцовства вся еще впереди.

Сегодня Семен подъехал к управлению раньше шести. В «стекляшке» на берегу Акдары он не был по причине уважительной — в его кармане вот уж неделю свистел вольный ветер. Пришлось поневоле вести трезвую жизнь.

У дверей управления одиноко скучал Никола, прораб соседнего участка. Углов удивился:

— До планерки-то еще почти час. Ты чего так рано, Никола? А-а, «стекляшка»? Никола махнул рукой.

— Надоело! На участке дела кубарем идут, не до «стекляшек». У тебя как с планом?

Углов пожал плечами:

— Как у всех, так и у меня. Шуму много, толку чуть.

Он подошел поближе. Разговор наклевывался интересный.

— Слушай, Никола, — сказал Семен, — ты ведь по стройкам полтора десятка лет кантуешься, так што, неужели везде такой же бардак, как у нас в управлении? Или, может, только мы так работаем?

— А как мы работаем? — невесело усмехнулся Никола.

— Тебе, что ль, объяснять?! — взвился Углов. — А то не знаешь как! По три раза на дню заседаем — это что? Ведь на толковищах-то этих только лапшу на уши вешаем — мы начальству, начальство нам. Что-то мы не то делаем, как видно, а, Никол? Ты как думаешь?

— Как думаю? — В глазах мелькнул яркий желтый огонь. Мелькнул и погас. — А никак не думаю. Привык.

— Да ты погоди, привык... — заволновался Углов. — Я же всерьез, а ты дуру гонишь. Нет, чтоб по совести...

— Ишь, заныл. Думаешь, тебе одному поперек горла такие порядки? Эх ты, Угол, Угол! Если уж такому тюфяку, как ты, тошно стало, то каково мне? Уже и тебя прошибло, а ты ведь только по пятому году прораб, еще толком не оперился, а у меня за горбом семнадцать прорабских лет — легко ли? Слезами кровавыми плачу последние годы. Знаю я вас, шептунов! Вы думаете, Никола ушляк, Никола свое из горла вырвет, ему што, лишь бы пенки сорвать, а все остальное до фени!

Лицо его перекопилось.

Углов смотрел на него и не узнавал. Иной стороной повернулся к нему жох-парень, прораб Никола, и вид этой новой стороны резко поломал все прежние угловские о нем представления.

Никола с трудом совладал с болезненной судорогой, изуродовавшей его щеки, и продолжал с тихим, едва сдерживаемым бешенством:

— Думаешь, я всегда таким был — склизким да покладистым? Врешь! Я ведь тоже вроде тебя на стройку пришел: ах по науке, ох по закону! А мне стройка-то в ответ свой закон и свою науку преподала: построить можешь и не построить, а вот не доложить, что построил, — не моги! На деле что хочешь твори, там твоя вольная воля, а вот на бумаге — здесь оно, брат, другое дело. На бумаге ты что начальству нужно нарисуй! Потому как та бумага, тобой нарисованная, она ведь не просто бумага, она свое течение как та имеет. Она шибко в гору идет, аж до самого верха. Идет что добрая коняга — и волокет за собой громадную телегу. И на той телеге кто-кто только не сидит! И мы, ее первые сочинители, там, и кто над нами там, и кто над теми, кто над нами. А там уж такие тузы видны — дух захватывает!

Семен поехал.

— А не подписать? — спросил он робко, сам ощущая всю беспредельную наивность вопроса.

— Не подписа-ать? — с насмешливым сожалением протянул Никола. — А народ куда? Всех вот этих, что она на себе везет? Ты бумагу ту не подписать хочешь. Шалишь, брат, подпишешь! Ввод — дай! Метры — покажи! Объект — нарисуй! Под каждым тем тележным ездом кресло, и никто из-за твоей раздолбанной совести из него вылезать не станет! Не для того залезали. — Никола усмехнулся. — Эх, Семен, если б ты знал, какую страшную силу дармовой кусок имеет! И кого он только на лопатки не укладывал. Я вот тоже, вроде тебя, артачился спервоначалу — мол, не по совести! А мне в ответ: что ж, у тебя у одного совесть-то имеется? И так ласково: а мы-то, что же, выходит, ироды? Смотрю — мать честная, на кого бочку качу! Я пацан после техникума, а тут что ни дядя, то министр — шляпы, должности, галстуки! Куда мне против них. Поежил-поежил, да и подписал. Ну а после стал я не глядя всякую липу подмахивать. Как все — так и я, как все — так и я!

Он замолчал, порывшись в карманах и, вытянув мятую пачку «Примы», закурил. Углов не решался продолжить разговор. Никола в три длинные затяжки сжег сигарету до середины и начал снова:

— А ведь я до того, веришь, брат, на стройку, на работу свою как на праздник ходил. Иду утречком, по холодку, а ноги мои вперед меня бегут и сердце в башку стучает — чего же это я сегодня еще придумаю, чтобы дело у меня половчее шло? Так и подмывало. А как подмахнул первой липу-то, как отчитался за то, чего не построил, да как получил за это в кассе свои первые нетрудовые денежки... И вот, значит, как получил, как глянул — и нехорошо мне стало и муторно, что с похмелья. И с той самой поры никогда мне, Семен, толком не легчало. Все какая-то муть так в горле и стоит.

Углов задумался. Он и сам давно заметил неладное. Когда он еще только начал работать прорабом и впервые плотно, с полной ответственностью вошел в дело, ему показалось удивительным, что при такой постановке работы вообще можно хоть что-то построить. Тогда он еще думал, что все дело в них самих. Пацан, он увидел только верхушку айсберга. Теперь, организовывая работу, он уже знал: коли за день удается выполнить четверть намеченного, то уже и это замечательно! И дело тут было не только и не столько в нем или в том же Николе. Ведь большую часть своего рабочего времени он был не прорабом, не строителем, не инженером, а доставалой! То не было того, то не было этого, то не было и того и этого, и приходилось изворачиваться ужом, чтобы люди на объектах не простаивали. Как тут было не приписывать? «Эх, Семен, Семен, — безнадежно говорил ему тогда битый волк Никола. — Ты только погляди, чем нынче строят? Это ведь раньше, когда я был помоложе, строили мы лесом, кирпичом да цементом. А нынче? Норвят деньгами! План дадут, счет в банке откроют — паши! А леса — нет! Металла — нет! Цементы — нет! Одних разрисованных бумажек вдоволь. А что из них построишь?»

Семен, послушав опытного человека, стал внимательно присматриваться. Он быстро обнаружил, что под новые объекты действительно споро и без всяких задержек выделяли деньги. С поставками же стройматериалов творилось мистическое. Главным хозяином любого строительства оказывался поставщик. Он мог завалить стройку сверх всяких потребностей одними материалами и годами не завозить других. Во всем была его вольная волюшка и все управы на него существовали лишь в воспаленном воображении строительных законодателей. На деле же поставщик был совершенно неуязвим. К тому же он и находился обычно в чертовой дали от стройплощадки. Где тут его укусить?

Большой неразберихи, чем та, которая происходила со снабжением, Углов никогда не смог бы себе и вообразить. Тут был великий простор для оборотистых дельцов, но тут же лежало и горе рядовых линейщиков. Необходимые материалы обнаруживались только тогда, когда у строителей начинали хрустеть в руках живые купюры. Платить приходилось за все — за обещание, за подпись, за погрузку, за выгрузку, за недомер, за недогруз, за недочет! Маклаки сидели повсюду — и на погрузке, и на выгрузке, и в конторах, и на складах, и даже в огромных престижных, окованных кабинетах встречались такие ушлецы, что Углов только чесал в затылке и разводил руками. Что тут было делать? Не дать означало бы с треском завалить дело. Ведь у тех, от кого это зависело, нашлись бы тысячи причин, чтобы оставить прораба без стройматериалов. И Углов давал, как давали и все остальные, оказавшиеся в его шкуре. А давать неизбежно означало и брать самому. Семен не печатал денег, и приходилось добывать их явно криминальным способом. Кроме того, невозможно было не подкармливать и родной трест.

...И цвела и жирела под роскошным солнцем этим пышная бабеха — приписка!

15.

Семен начал просыпаться среди ночи и лежать с закрытыми глазами, мучительно переворачивая в мозгу тяжелые жернова мыслей. Лиза ровно дышала рядом, закинув на него пышущую жаром руку. За изголовьем посапывала в своей кровати Аленка. Редко пробегающие по улице ночные машины высвечивали фарами переплет окна. Стараясь не разбудить жену, Семен осторожно снимал с груди ее руку и отодвигался. Чувство непереносимого одиночества охватывало его. Казалось, что он чужд всему и всем на свете. «Вот лежит рядом молодая, красивая женщина, — думал он, — и доверчиво прижимается, и ласкает, и говорит, что любит, а что она знает обо мне? Ей непонятно, что можно быть с виду благополучным и в то же время находиться на самой грани самоубийства. Ей непонятно, что, имея все, можно не иметь чем и зачем жить!»

Страшный душевный непокой не давал ему лежать. Семен тихо вставал и шел в гостиную. Красной точкой, сигналом беды горел в темноте огонек его сигареты, но никто в мире не спешил откликнуться на этот сигнал. «Разбуди я Лизу сейчас и скажи, что не могу заснуть, заживо съедаемый мыслями, — что она сделает? Я знаю,

что сделает, — мрачно усмехнулся Семен, — закудахтает, заволнуется. Нет, она не останется равнодушной, она поможет мне — но только по-своему. Валерьянкой, или пилюлей снотворного, или убаюкает ласками и назавтра забудет обо всем. Нет уж, тогда лучше мое лекарство — выпил пол-литра и никаких проблем! Лиза, я не могу и не хочу больше жить, потому что не вижу перед собой никакой цели. Я разлюбил свою работу, я разлюбил быть мужем, я разлюбил быть отцом, и я не знаю, почему произошла со мной такая беда. Я стал равнодушен ко всем на свете и вместе с тем неспокоен. Почему я так неспокоен? Почему внутри меня все нарастает и нарастает страшный разброд? Ведь единственное время, когда я относительно спокоен, — это те часы, что я провожу в парке, забыв о семье, работе и всех своих больших и малых обязанностях! Там я свободен и там я спокоен, и мне хорошо. И такие же, как я, чужие, незнакомые люди пьют со мной вино и не желают никому зла, и просят только одного — чтоб их, наконец, оставили в покое! У нас нет прошлого и нет будущего, у нас есть одно лишь настоящее — вот этот кусочек милой природы вокруг, небо над головой и вино, расковывающее душу. Мы никого не зовем к себе и никого не гоним. В эти минуты мне не нужен никто, но я не ощущаю себя одиноким, потому что знаю, что эти случайные люди думают и чувствуют то же, что и я. И какая мне при этом разница, кто из них есть кто?»

Он сразу ожесточился, подумав, каким презрением наполнилась бы Лиза, увидев его компанию. «Ты пьянствуешь со всякими подонками...» — сказала бы она. «Да ты-то чем лучше?! — прорычал бы Семен в вязкую темноту. — Что ты, придет время, сдохнешь, что они, — так какая же между вами разница? Скажешь, жили по-разному? Ну, жили. Вот и живите, а смерть все равно всех уравнивает. Сильно чистенькие стали — простому человеку к вам и не подойти. Как же! У вас, Лизавета, своя, чистоплюйная компания. Ну да ладно, мы и в своей не пропадем, лишь бы вы нас не трогали!»

Но потаенным разумом Семен понимал, что мир вокруг него всегда трогал и будет трогать тихий закуток его успокоения, и он ожесточался против этого враждебного мира всеми силами души.

Сигарета догорала, и Семен уходил в спальню. Ненарушимый мирный покой царил в этом тихом убежище, и только один он понимал, как зыбок, как призрачен этот покой.

«Может ли кто-нибудь в целом свете залезть в мою бедную голову и снять эту тупую боль в виске? — думал он. — Снять и утихомирить чувство невыносимой тоски и беспросветного отчаяния, которое не дает мне жить, как живут все остальные люди?»

Семен ложился, поворачивался набок и съживался в комочек, как делал когда-то в далеком полузабытом детстве. Смутно припоминался ему ласковый голос матери, утешающий его после очередной бессмысленной и жестокой драки с ребятами, в которую он влезал, словно притянутый невидимым магнитом. Вот он лежит, хлюпая разбитым носом, на деревянном топчане во дворе их барака; лежит, подтянув к подбородку колени, и давится холодными бессильными слезами. А мать хлопчет рядом, у мангалки, готовя нехитрый ужин, и говорит ему что-то мягкое, и подходит к Семену, и кладет ему на голову натруженную ладонь. И стихает боль, и уходит одиночество.

Но уж давно нет на этом неласковом свете ни его всегда занятого, угрюмого отца, ни его тихой матери, и некому стало облегчить все нарастающую внутри Семейной головы боль.

«Ах, Лиза, Лиза... Выпить бы, выпить...»

Опять вставала над ним радуга дней его жизни. Черная радуга... Черная...

16.

Словно огромный мутный водоворот день за днем кружил Углова, приближая его к страшному провалу огромной воронки. Было время, когда ленивая тяжелая сила медленно вращала его по периферии гигантского волчка. Тогда ему казалось, что никакого конца этого вращения не предвидится, что успеет пройти вся его жизнь, прежде чем он приблизится к крутой, отсвечивающей зеркальными бликами пропасти, что сил, отпущенных ему природой, хватит, чтобы противостоять ускорению этого вращения, нарастающего к эпицентру пучины.

Но чудовищная инерция движения оказалась сильнее его ничтожных усилий, да и, видя безнадежность борьбы, Семен бросил сопротивляться ленивому и медлительному насилию. Сладко было подчиниться убаюкивающему, ласковому движению, и конец его пьяной жизни был, казалось, еще так далек, и глаза Углова, не желающие видеть неизбежного, не видели его.

Медленными, мелкими, сторожкими шажками вошел алкоголь в Семенову судьбу. Первые изломы были невелики. Легкие стычки с женой, перманентное отсутствие карманных денег, утренние головные боли — рядовое дело, кто этим не страдал, — успокаивал себя Углов.

Но возвращение нарастало. Из средства спиртное понемногу превращалось в цель.

«Чего-то я не понимаю», — мучительно думал Углов. А не понимал он простых с виду вещей, которые на поверку оказывались сложными. Сложными, потому что требовался не ум, не большая сообразительность, а качество иное, подчас более важное, чем тот же самый ум. Ибо мало оказывалось только понимать, и не в понимании лежала главная заковка жизни, а лежала она в необходимости действия, велевого усилия.

Мир вращался вокруг железного стержня воли. Никакой ум ничего не стоил без нее. Умных людей было много. Углову иногда казалось, что дураки на свете и вовсе перевелись: кого ни послушай — государство можно под начало доверить. Но как дело доходило до реальных поступков, все они оказывались мелкими, грошовыми, подчас безумными. Почему? А потому, что воли требовал умный и смелый поступок! Углов очень убедился в этом на собственном примере. Ему не хватало силы ни в чем отказать. Дефицит воли оказывался непоправим. Без ума еще можно жить — без воли только существовать. Подтверждалось это ежедневно.

С самого раннего детства Углов купался в потоке правильных слов. Сначала их внушала Семке пионервожатая, потом эстафету перехватил техникумовский комсорг, дальше парторг стройуправления время от времени напоминал Семену Петровичу о том, что такое хорошо и что такое плохо. Правильные слова звучали из репродукторов, с экранов телевизоров, заполняли полосы газет, — кажется, должны бы они были стать плотью и кровью любого внимающего им человека.

И точно, были такие люди. И Семену они встречались. Для них слова, сошедшие с высоких трибун, были не столько словами, сколько воздухом, которым они дышали, сколько мыслями и чувствами, которыми они жили. И Углов поначалу думал, что легко волеется в их могучий и светлый поток.

Ан нет, скоро сказка сказывалась, да не скоро дело делалось! Оказалось, что слушать те высокие слова или повторять их куда спокойней, чем по ним жить. Жить по ним оказывалось непросто и даже не вполне безопасно. Ибо слова те требовали именно поступков. За святыне слова нужно не прятаться, а в бой за них идти — и в какой бой! Каждый услышанный Семеном призыв требовал действия — и вот тут-то без мужества и воли было никак не обойтись.

Впрочем, имелась некоторая послаба, подсказка — куда и как идти, но общее течение не одобряло выскочек. «Умнее всех хочешь быть?» — в самом вопросе содержалось порицание смельчака. Ответить: «Да, хочу!» — не позволяла угловская натура.

Страх свирепствовал внутри Семена. Страх оказаться за пределами привычного круга поступков; страх оказаться не таким, как все; страх оказаться лучшим, чем все! Ибо оказаться лучшим, чем все, означало бы выйти на ледяной ветер всеобщего неодобрительного обозрения.

В самом деле: первый вопрос, который он слышал, намереваясь поступать вопреки застарелым традициям, звучал так: «Сам-то ты каков, что нас взялся учить?»

И вот тут Семену уже нельзя было допустить в себе никакого сучка или даже задоринки. Чистое дело требовало хрустальной души, а где ее было взять Углову? Грязь из-под чужих ногтей выковыривать оказалось делом сомнительным, ибо и своей грязи всегда хватало.

Одиноко становилось. Сочувствовали и одобряли все — поддерживали на деле немногие. Каждому было что терять.

«Да что я, в конце концов, как баба? — казнил себя Углов. — Никому отпора дать не могу. Вижу, что не по совести поступаю, и молчу. Где мой мужской характер?» Характер действительно оказывался бабьеват. Уступки и компромиссы были копеечные, но беда заключалась в том, что они имели свойство накапливаться. На работу к восьми? Семен разок опоздал случайно на десяток минут, другой... Никто ничего ему не сказал. Значит, ничего страшного. Постепенно вошло в систему. Эка беда! Все равно почти каждый день приходилось на работе до ночи торчать.

Скажи сейчас кто Углову, что на работу опаздывать не к лицу — и он бы от чистой души возмутился: «Подумаешь, об чем речь!» Правда, в глубине души Семен не мог не понимать, что он только тогда прав перед другими, когда сам чист и справедлив, но переломить привычки уже не мог. Мелочь, пустяк? Жизнь состояла из таких мелочей. Теперь Углов на опаздывающих рабочих не мог так зычно цыкнуть, как в первый год работы, — проще было промолчать. Даже и прогульщики постепенно переставали быть бельмом на Семеновом глазу (что ж поделаешь?), — он привык к неизбежности зла. Мастер на полдня исчезал с объекта неведомо куда — Семен досадливо морщился, но шибко уж не шумел: бывает.

Еще и еще появлялись трещинки и щербинки в Семеновой душе. Сначала он и помыслить не мог хлебнуть в разгар рабочего времени стакан водки: работа не игра, за людей отвечаешь, за технику, проморгать легко, а не приведи бог — травма?!

Но прорабы собирались в кучку после работы (ясно для чего), в обед частенько скидывались по трояку, — Семен никак не хотел выглядеть белой вороной, его бы не поняли, нет, не поняли. И он постепенно привык к успокоительной мысли, что нет особого криминала в том, чтобы принять «сотку» в разгар дня. А привыкнув, сам стал искать повода и случая. Складчины устраивались едва ли не трижды в день. Любой пустяк решался только через пол-литра. До обеда Углов ставил Николае ноль пять, после обеда Николае Углов. Обоим хорошо. Дальше больше. Семен и не заметил, как перерывы между выпивками стали короче. Постоянная «подгазовка» сняла еще один предохранитель с его совести.

Случай вышел неважнецкий, но показательный. Семен не любил о нем вспоминать, но вот, поди ж ты, вспоминалось.

Мастер с его участка, Сергей, загнал налево куб опалубочных досок. Углов поймал делягу на горячем. Ах ты, такой-сякой, и так с лесом вечный недочет, а тут на тебе — последнее налево уходит!

Семен кинулся к мастеру:

— Да я тебя!..

Сергей, против ожидания, вместо того, чтобы пасть на колени и вымаливать пощаду, взвился на дыбы так, словно на воровстве попался Семен, а не он сам.

— Тебе булку с маслом, а мне сухую корку?! — закричал он. — Смотри, какой чистенький нашелся! Кто в прошлом месяце пару мертвых душ по объекту закрыл — ты или я? Хоть слово против я пискнул? Значит, четыре бумаги себе в карман положил — это ничего, а меня за полсотни пресуешь?!

Семен подпрыгнул от неожиданности.

— Да ты что, Сергей? — принялся он разъяснять, заикаясь. — Я ведь тебе объяснял, на что деньги пошли. Сам знаешь, ревизор приезжал из треста — поили, кормили, дарили, провозжали. Вот они и разошлись, те бумаги. Разве я себе? Дмитрий Семенович велел...

Сергей скривил губы в понимающей усмешке.

— Кому гоните, Семен Петрович? Думаете, я уж совсем лопух? Начальник велел... Начальник начальником, а про себя еще никто никогда не забывал. Чтоб по усам текло, да в рот не попало? Не смешите меня, Семен Петрович. — Он независимо сплюнул. — Да хоть бы и все ревизору ушло — что с того? Ревизор человек, а мы мухи? А кто план дает, кто объекты вводит — ревизор, что ли? Ему, значит, можно жить, а нам нельзя? Нет уж, шалишь. Коли ему можно, так нам сам бог велел!

— Это почему ж велел? — глухо спросил Углов.

— А потому! Раз рыбка с головы завоняла, Семен Петрович, так за хвост ее дергай не дергай — толку нет! Вот когда ревизор в «лапу» брать перестанет, а вы «мертвяков» по нарядам закрывать, вот тогда и спросите меня, куда я опалубку девал. Все люди — все жить хотят.

Семен отошел от мастера, ошарашенный. Лицо его горело. «Пропади она пропадом та сотня, что я придержал от ревизоровых денег». И придержал-то ее Семен не на себя, а больше на дело — на разные случающиеся на участке чуть ли не ежедневно препятствия, требующие наличных денег. Вот, скажем, кистей на складе не было, хоть режь, — звено маляров встало. Семен тут же мотнулся в хозмаг, купил кисти. На следующий день потребовалось мотнуться в район — шофер заартачился, нет бензина. Семен заправил машину за наличные, потом еще червонец улетел на врезные замки в вагончики бригад. Замки выламывали из вагончиков каждую неделю — кто спит? Кто выдаст новые? Красненькие вылетали из прорабского кармана, словно подхваченные ветром. Сотня разошлась так быстро, что Семен и не понял, на что ее израсходовал. Ну, конечно, водочку приходилось брать не раз и не два. Посидели с заказчиком — а как же иначе? Да и сам Углов сотку пропускал ежедневно — вот они и уплыли, денежки. А теперь на! Попрек пришлось выслушать такой, словно Семен ворюга и грабитель.

Скрепя сердце Углов признал про себя, что не ему в чужом глазу соринки вылавливать: в своем плавало если уж не бревно, так изрядное полено. «Эх! — махнул он рукой. — Пойду напьюсь да забуду про все на свете!»

Так и выветривался, так и размывался утес под Семеновыми ногами. Подхватила его мутная волна, подхватила да понесла неведомо куда.

17.

Если снять заднюю стенку современного транзисторного радиоприемника и заглянуть внутрь, то глазам предстанет коричневая текстолитовая пластина со слож-

ной сеткой узких медных дорожек. Дорожки причудливо изгибаются по всем мыслимым направлениям, змеятся, огибают друг друга, внезапно обрываются или расщепляются на тоненькие, ветвистые корешки.

Перед нами знаменитое детище космического века, века компьютеров и рок-н-ролла, — печатная радиосхема. В причудливых переплетениях и изгибах исчезающе тонких медных веточек, впрессованных в жесткую структуру текстолита, таится великий смысл.

По этим медным дорожкам и тропинкам мчатся с сумасшедшей, околосветовой скоростью невидимые полчища электронов. Там, где металлические шоссейки пошире — фантомы, призраки мира микрочастиц зримо разреживаются, словно ярость их движения умеряется самим простором дороги; там же, где от широкого медного стволлика отходят в разные стороны пучки ветвей — электронный косяк разбивается на отдельные стайки. Стайки уплотняются, густеют. Мощь энергетических жеребцов увеличивается. Сила устремления вперед колоссальной массы микрокентавров нарастает и, ворвавшись в конечный пункт своего движения — тело диода, или триода, или резистора, импульс энергии производит запрограммированное механическое действие. Результатом этого действия и является работа сложнейшего механизма. Электронный прибор чутко улавливает исчезающе-малые колебания электромагнитного поля, приходящие к нему из необозримого пространства. Он отфильтровывает необходимый сигнал из дикой мешанины волн, полей и электрических разрядов, которыми нашпигована материальная среда. Отфильтровывает и преобразует в электромагнитные колебания иного вида и параметров, после чего доносит их до адресата в форме звука или света.

Работа сложнейшего аппарата так гармонична, так элегантна, что невольное восхищение охватывает любого, кто хотя бы случайно соприкоснется с этим чудесным миром.

Но гармония торжествует лишь до той поры, пока микроскопически точно взвешено и соотнесено с пропускной способностью макросистемы количество и качество поступающего в нее исходного энергетического материала. Беда, если напряжение или ампераж источника питания превысят эту максимальную пропускную способность радиомашин. Вот нерадивый хозяин чудо-прибора, выбросив иссякший элемент питания, замыкает на вводные клеммы батарею с нестандартным запасом и качеством энергии. Замыкает в беспечной надежде, что чувствительнейший к нарушениям режима работы аппарат будет функционировать в экстремальных, гибельных для его внутренней конструкции условиях. Наивная надежда!

По узким медным трекам вместо марша упорядоченных колонн начинают нестись одичавшие табуны. Вот на одном из поворотов лидер чуть замешкался. Налетевшее сзади бешеное стадо растоптало его и, не удержав скорости, перемахнуло через коричневую лужайку изолята, отделяющего один трек от другого. Теперь поток энергии слепо мчится навстречу своему бывшему правильному движению.

Катастрофа. Замыкание. Электрический пробой.

Напрасно расстроенный владелец бывшего чуда раздраженно трясет плоскую коробку радиоприемника, бессмысленно дергает антенну, нажимает на клавиши, — вместо упоительных ритмов поп-музыки, бросавших его минуту назад в сладкий экстаз, из дырчатой окружности репродуктора в его ошеломленные уши врывается дикая какофония звуков.

Пробой!

Теперь любые попытки поправить беду домашними средствами ни к чему не приводят. Включен родной элемент питания — из репродуктора несутся трески и хрипы. Всякая самопомощь бессильна. Произошло физическое разрушение. Требуется профессионал. Профессионал, вскрыв заднюю стенку приемника, тотчас уловит опытным глазом следы и место происшедшей катастрофы — пятно ожога, почерневший от копоти медный поясик, капельки расплавленного металла там, где замкнулись между собой встречные цепи, не имеющие права замыкаться.

Пробой. Ремонтник горестно покачает головой: и осел же хозяин чудо-прибора! Какую прекрасную вещь угробил!

Поврежденная схема сложна и хрупка, ремонт не прост и не всегда возможен.

Подобным образом устроен и человеческий мозг. О, если бы какому-нибудь сверхмастеру довелось бы, сняв верхушку черепной коробки, заглянуть на минуту в угловский мозг, он обнаружил бы там очень знакомую картину. Он увидел бы, весьма похожие на электрические, густые переплетения нейронов, триоды клеток, замыкатели и размыкатели нервных окончаний. Только сложность и хрупкость мозговых цепей во много раз превышает сложность и хрупкость цепей электрических. Биотоки, блуждающие по ним, ничтожно малы в сравнении с грубой мощностью зарядов вольтовых батарей.

Но именно эти ничтожные импульсы тока и направляли все Семеновы действия. Присмотревшись, сверхъестественный мастер отшатнулся бы в невольном огорче-

нии. Взгляд его мигом уловил бы в зарослях нейронных цепей следы многочисленных катастроф — следы диких и слепых ударов, нанесенных алкоголем по чудесному творению природы.

Пробой!

Семен теперь нуждался не просто в ремонте — в капитальном ремонте. И сделать этот ремонт способны были только профессионалы. Но сначала сам мозг должен был осознать, что он поврежден.

Как этого Углову не хотелось!

ГЛАВА ВТОРАЯ

1.

В июле Аленке исполнилось два года, заканчивалось третье Лизино замужнее лето. Это были нелегкие годы. Каждый новый день ложился на ее хрупкие плечи тяжелым грузом. Раздумывая о своей жизни, Лиза недоумевала, как она еще не обрушилась под непосильной ношей. Прежде она не догадывалась, какую страшную силу обретает над пьющим человеком огненная влага. Путь Семена в пьяное рабство оказался чудовищно быстр.

Лиза, по горло завязанная беспомощным маленьким человечком, упустила момент перелома к худшему. Тот самый момент, когда еще можно было повернуть судьбу близкого человека в светлую сторону.

Аленка кочевала из хвори в хворь, — ветрянка сменялась потницей, потница диатезом, не обошла дочку стороной и корь. Лиза на время оставила работу. Больница — поликлиника, поликлиника — больница. Маршрут ее и дочкиных скитаний стал удручающе однообразен. До мужа ли тут было? Приносит домой зарплату — ну и ладно. К двум годам малышка слегка окрепла. Лиза вернулась на службу. Можно было перевести дух и оглядеться. Она огляделась и всерьез обеспокоилась.

Муж уже не выпивал, он пил, и пил без всякой меры. Больше всего Лизу напугало то, что Семен не видел в своем поведении ничего дурного.

— Все пьют, — бездумно отговаривался он.

— Да ты сумасшедший, раз так думаешь! — в отчаянии кричала Лиза. — Боже мой, что ты творишь, Сема? Погляди на себя: руки трясутся, лицо как подушка, только и смотришь по сторонам — где бы выпить.

— А что? Зарплату я приношу, дома не скандалю, на стороне не гуляю — ну, подумаешь, выпил сотку. Кто ее сейчас не пьет?

Лиза всплескивала руками.

— Сотку?! Да разве я сказала бы хоть слово, ограничься дело соткой? Какая там сотка? Ведь ты себя к вечеру не помнишь. Как же ты не понимаешь, что нельзя дальше так жить, нельзя!

— Ну уж, не помню, — неуверенно возражал Семен. — Скажешь тоже — не помню!

Он действительно не очень помнил, как оно было на деле.

— И как только тебя такого на работе терпят? — снова подступала к нему Лиза. — Вот пойду в твоё управление и спрошу начальника, что у тебя за служба такая, что каждый вечер ты домой на бровях приползаешь!

Семен багровел.

— На работе нажалуешься? Ну и чего ты этим достичь собралась? — глухо отвечал он. — Ну наклепаешь, ну уволят меня — и что дальше?

— Не уволят, — неуверенно возражала Лиза. — При чем здесь увольнение?

— Да я и сам уйду! — отрезал Семен. — Все равно после такого позора — какая работа? Иди, жалуйся, а я заявление на стол брошу!

Он поворачивался и уходил, громко хлопнув дверью. Лиза оставалась одна. В спальне хныкала Аленка. Через час мужа следовало ждать в добром градусе подпития. Лиза стискивала зубы. Как быть? Что предпринять? Как же он назывался, этот фильм? Лиза постаралась припомнить. Название ускользало. Ну да, впрочем, не в названии дело. Важно то, что в нем пьяницу легко перевоспитывал местком. Как же он это делал? Она напрягла лоб. Кинопропойцу хорошенько прочистили на собраниях, потом прикрепили к нему пожилого мастера. Жена сначала плакала и жаловалась, а когда исправившийся муж принес ей букет цветов, она простила его. Киношный разгильдяй не угрожал жене, что бросит работу. Напротив, он очень испугался, когда речь зашла об увольнении, и именно с этого момента, как ей помнится, и началось возрождение.

Лиза вздохнула. Экранный вариант не очень подходил к ее случаю. Как же все-

таки быть? Может, действительно пойти к нему на работу и попросить воздействовать? Но ведь приползал-то муж домой «в сплошном дыму» не из ресторана, а именно с работы, так что трудно было надеяться найти среди его сослуживцев того самого старого мастера из полузабытого фильма.

Лиза покачала головой. Она заподозрила, что на Семеновой работе пожаловаться на мужа некому. Может, сходить к участковому и попросить, чтоб он припугнул Семена? Мол, смотри у меня, будешь и дальше злоупотреблять, так... так... И все же — как поступить?

Выход из тупика подсказала вездесущая Сонька Калинова.

— В наркологию его! — азартно блестя глазами, выпалила она прямо в лицо оторопевшей от страшного слова подружке. — К психам! Там его, голубчика, врач человеком сделают. Вот у нас в цеху половина мужиков через это заведение прошла.

Лиза задумалась. Лечение, врачи, больница... Звучало заманчиво. В ней проснулась робкая надежда. Ведь раз лечат, так наверно и вылечивают. Не рак же. Вот только страшновато звучали слова — наркология и психиатр.

Лиза поразмыслила день-другой и позвонила подружке.

— Соня, где она находится, эта наркология?

— Ну наконец-то, мать моя. Давно бы так. Значит, слушай: второй корпус центральной больницы, наркоотделение, заведующий — врач Беялова Эльвира Латыповна.

— Женщина! — обрадовалась Лиза.

Она как-то сразу успокоилась. Женщина поймет. С женщиной и говорить о своем стыдном горе легче, чем с мужчиной.

2.

Второй корпус помещался в глубине большого старого сада. Одноэтажное длинное здание терялось в обступивших его высоченных платанах. У входа в корпус стояло несколько скамеек. За небольшим столом играли шахматисты. Их обступили больельщики.

Лиза украдкой скользнула взглядом по лицам. Люди как люди — во всяком случае, никто не только не кинулся ее укусить или обругать, но даже не обратил на нее внимания.

На скамейке рядом азартно забивали «козла». Мелькали руки, звучно врезались в подстеленный кусок фанеры доминошные косточки. И здесь дефектного народа не наблюдалось. Даже довольно приятные — и пьяницами-то не назовешь. Во всяком случае, сейчас ее муж выглядел сомнительней этих пациентов. Значит, вылечились. Значит, и Семену здесь помогут.

Лиза отворила дверь и вошла. Завотделением оказалась маленькой худощавой женщиной, вежливой и предупредительной. Лиза сразу прониклась доверием.

Она сидела в уютном кабинетике и, стиснув кулачки и подавшись вперед, рассказывала врачу о последнем периоде своей семейной жизни. Временами горло ее перехватывало, и тогда она смолкала, дожидаясь, пока растает перекрывший дыхание острый комок.

Эльвира Латыповна сочувственно внимала исповеди, она успокаивающе накрывала своей мягкой рукой судорожно стиснутый Лизин кулачок.

— Успокойтесь. Вы правильно сделали, что пришли. Мы вам поможем.

Лиза подняла засветившееся надеждой лицо.

— Помогите! — Это был крик ее души.

— Успокойтесь. Все будет хорошо. Вы должны привести его сюда.

3.

Понадобилось два месяца упорной и неотступной обработки, прежде чем Семен согласился предстать перед врачом-наркологом. Первые Лизины подступы он отверг с порога.

— Еще чего не хватало! Придумала — нечего сказать. Мало в алкаши, в наркоманы записала. Ну, спасибо! Только зря стараешься, в этой конторе мне делать нечего!

Лиза терпеливо пережидала громы и молнии. Ничего, пусть побушует. Капля камень точит.

Лиза усмехалась и чуть краснела. Все же она была ночной кукушкой, это что-нибудь да значило.

День за днем, ночь за ночью продолжались их трудные переговоры. Наконец Семен не то чтобы уступил, а словно заколебался. Очередная ночная беседа показала Лизе, что лед тронулся.

— Я, может, действительно последнее время... — Семен умолк, не осиливая сразу новое понимание своей незадавшейся жизни.

Лиза боялась шелохнуться и изо всех сил моргала ресницами, стараясь помочь прерывистому потоку долгожданных признаний. Семен снова заговорил:

— Как-то не так у нас все. А ведь не всегда у нас было «не так». Раньше... А помнишь, Лиз, — он оживился, поворачиваясь к жене, — а помнишь, как я у вас в садике ремонт делал...

В голосе его послышалось Лизе томительное сожаление о неведомо куда ушедших днях общего восторга и сердечного горения, которыми были так полны их встречи.

— Помнишь, Лиз?

— Помню, Сема, я все помню, — задохнувшись, всхлипнула Лиза и прижалась мокрым лицом к родному плечу. — Господи, какие же мы с тобой глупые, Сема, ничего ценить не умеем, ничего сберечь не можем. Господи, ведь плачу каждый раз, как вспомню, какие мы раньше счастливые были. А теперь?

Слезы текли по ее щекам. Семен завозился, тяжелая рука его ласково погладила Лизину голову.

— Ну чего ты раскисла? Все наладится. Вот посмотришь... Что я, сам не понимаю? Пойдем в твою наркологию, сказал, пойдем — значит, пойдем. Не плачь. Дочку, вон, разбудишь.

4.

В прохладной вечерней тишине маленького кабинета Эльвиры Латыповны разместились втроем. Врач — за столом, Семен — напротив, Лиза — на диване. Угловская фигура, казалось, заполнила собой всю комнату.

С любопытством Семен огляделся по сторонам и, не заметив ничего примечательного — ну, скажем, тюремных решеток на окнах или дюжего санитаря за спиной, — разочарованно повернулся к врачу. «А я-то, дурак, боялся — психиатр, наркология. Подумаешь! Больница как больница, врач — пигалица какая-то».

— Вы не возражаете, если ваша жена присутствует при нашей встрече? — мягко обратилась к Семену Эльвира Латыповна. — Вам это не будет мешать? Мы с ней, правда, предварительно побеседовали, но я думаю, ей полезно будет послушать. Или вы хотите поговорить наедине?

Семен пренебрежительно повел тяжелым плечом. Скажи, какие нежности.

— Да нет, чего там. Пусть сидит.

— Ваша жена мне рассказала о последнем периоде вашей жизни. О том, что вы стали злоупотреблять алкоголем и хотите избавиться от этого недуга. Но хотелось бы услышать непосредственно от вас. Как вы оцениваете свое положение? Вот, например, — пить водку — это хорошо или плохо?

Семен прищурился. «Нет, на такую дешевую уловку меня не поймаете. Скажу «хорошо» — так сразу в алкаши запишешь. Не выйдет».

— Конечно, плохо, — ответил он уверенно. — Что же тут хорошего?

— Значит, вы понимаете, что плохо? И пьете?

Семен пожал плечами и ничего не ответил.

— Когда пили в последний раз?

— Вчера вечером.

— Сегодня опохмелялись?

— Утром сотку пропустил. — Углов помялся. — Ну и в обед бутылку на троих раздавили.

— Водки?

— Ясное дело.

— Встаньте, — сказала Эльвира Латыповна.

Семен поднялся.

— Закройте глаза. Вытяните руки вперед. Ладони вниз.

Углов послушно все исполнил. Его неожиданно качнуло и повело вбок. Чтобы не упасть, Углов принужден был схватиться за стол. Что за чепуха? Он открыл глаза и распрямился.

— Ясно, — сказала Эльвира Латыповна.

Семен озлился. «Что ей ясно? Какого черта?!»

— Да это я случайно, — объяснил он. — Вот теперь посмотрите.

Углов закрыл глаза, напрягся и вновь вытянул вперед руки. Ладони мелко дро-

жали. От усилия стоять ровно на лбу выступила испарина. Попытка оказалась тщетной, он снова оперся о стол.

— Коснитесь указательным пальцем кончика носа.

Семен недоуменно взглянул на врача. Ему показалось, что он ослышался. Женщина в белом халате, размеренно скандируя, пояснила:

— Закройте глаза, разведите руки в стороны и коснитесь указательным пальцем кончика носа. Сначала одной рукой, потом другой.

Он незаметно прижался бедром к краю стола, закрыл глаза и попытался выполнить задание. Результат оказался весьма неожиданным: едва не выколол себе правый глаз. Он сглотнул слюну и повторил опыт. Опять не получилось. После шестого промаха Углов сдался. Он открыл глаза, сел и молча уставился в стенку перед собой.

На диванчике подавленно притихла Лиза. Она старалась не смотреть на мужа. Результаты незатейливых тестов ошеломили ее.

На Семеновых скулах набухли розовые желваки. Он отчаянно ругал себя за уступку жене. А эта докторша, змея, раздраженно подумал он, перед собственной бабой опозорила. Что теперь Лиза подумает? Все, мол, конченный алкаш. Докторюга! Сама-то, небось, тоже с первого захода не попадет?

Словно прочитав его мысли, Эльвира Латыповна сказала:

— Вы, наверно, подумали, что это очень трудно? Совсем нетрудно. Вот, посмотрите.

Она встала, закрыла глаза, далеко развела в стороны ладони и стала раз за разом безошибочно касаться худеньким пальчиком искомого предмета.

— Правой, левой! Правой, левой! И вот еще раз! И вот еще раз! Нет, совсем не трудно.

Семен, с невольным интересом следивший за ней, отвел в сторону глаза.

— Хватит, — сказал он.

Эльвира Латыповна сочувственно взглянула на него.

— Для здорового человека не трудно, — тихо сказала она. — Для алкоголика трудно. Очень трудно, почти невозможно. Да вы, по-моему, сейчас в этом сами убедились. Теперь вам понятно, что вы нездоровы?

В комнате воцарилось молчание. Вскинувшийся было при слове «алкоголик», Семен проглотил отрицающий возглас. Собственные промахи произвели и на него сильное впечатление.

— Надо лечиться, — сказала Эльвира Латыповна. — И начинать немедленно. А то будет поздно. У вас ярко выраженная вторая стадия алкоголизма. Через год прыгнете в третью. А третья — те, что просят двадцать копеек на углу улицы. Встречали таких?

Семен нервно дернул плечом.

— Недельку полежите в палате, потом продолжите курс амбулаторно, — сказала врач. — Согласны?

Углов решительно поднялся.

— Я подумаю, — ответил он и вышел из кабинета.

— Плохо, — вздохнула врач в ответ на молчаливый Лизин вопрос. — Очень плохо. Случай запущенный. Надо немедленно класть.

Лиза стиснула кулачки.

— Завтра он будет у вас.

5.

Однако прошла неделя, прежде чем Углов снова появился в наркологии. Ему весьма не понравились произведенные над ним опыты. Никакие уговоры не помогали.

— Пошли они в баню со своими фокусами! — шумел Семен. — Подумаешь, жонглеры — пальцем нос достань! Пусть сами достают, если интересно. Мне это ни к чему.

Лиза и объясняла, и ругалась, и умоляла — муж оставался тверже железа: не пойду!

Первый страх прошел, остался один только стыд от испытанного унижения.

Лиза поставила вопрос ребром:

— Или мы с Аленкой, или водка! Если не пойдешь лечиться, заберу дочку и уйду к маме.

Углов задумался. По решительному, побледневшему лицу жены он понял, что Лиза не шутит. Впервые в голове его мелькнула мысль: «А может, действительно на время бросить выпивать? А то как бы и вправду не запиться. Уйдет Лиза — точно запьюсь».

Впрочем, тут он несколько хитрил перед собой. Запиться Семен несколько не

боялся. Он был уверен в себе. «Захочу — совсем брошу. Эка невидаль. Я и без водки шутя проживу».

Да, запитаться мог кто угодно, только не он — это было ясно ему как день. «Неделька, — подумал он. — Не съедят же меня там за эту недельку. Да, но с работой как быть? Ведь говорить, что пойду лечиться, нельзя ни под каким видом — позора не оберешься. Надо взять отгулы. У меня их и так за последний год столько скопилось — второй отпуск получится, если взять сразу все». Углов облегченно вздохнул. Все сложности легко улаживались. «Скажу Митряю, что в родные края надо на недельку смотаться. Мол, свояк дом строит, просил помочь. Что, Митряй не отпустил, что ли? Прорабство в плане, наряды только что закрыл, оба мастера на месте — можно недельку погулять. Ну а дальше, врачиха говорила, лечиться можно амбулаторно — это, видно, какие-нибудь порошки будут давать, — ничего никто не узнает».

6.

В субботу утром он был в наркологии. Полчаса ушло на оформление. Потом его снова взяла в оборот Эльвира Латыповна. На его взгляд, вопросы врача были самые диковинные. Например, когда он выпил свою первую рюмку? А шут его знает, когда. Давно. Семен и думать забыл, когда это впервые случилось. А другие помнят? Ну и память... если помнят... Семен сказал наугад первое пришедшее на ум число. «Чепуха какая-то». Задавались еще вопросы. Семен скучно отвечал. Наконец Эльвира Латыповна прекратила мучить его.

Переодевшись, он вышел во двор. Лиза сидела на скамейке у входа и задумчиво глядела вдаль. Она не заметила мужа. Семен залюбовался строгим, отрешенным лицом жены.

Молодой белизны щеки слегка отсвечивали, тяжелая копна волос густо осыпала плечи, тонкие изящные пальцы машинально перебирали складки платья.

Углов ревниво уловил, как бросают восторженные взгляды на Лизу два сидящих напротив его новых коллеги, и сердце его невольно сжалось.

— Ну ты иди, Лизок, — обратился он к жене. — Все в порядке. Оформили.

Он подал ей сверток с одеждой. Лиза взяла его и заговорила быстрым шепотом, стараясь не выдать внутреннего волнения:

— Я вечером к тебе приду, принесу поесть. Ты уж не перечь тут никому, ладно? Знаю я, какой ты порошок — чуть что, и запылал. Потерпи, Сема, ладно? Ради меня... Ради Аленки...

Углов махнул рукой:

— А, чего там! Не оперируют же. Беги, а то опоздаешь на работу.

Лиза ласково коснулась его плеча, кивнула на прощание и ушла. Углов остался один. Он постоял у входа и побрел в палату. Через час его позвала процедурная сестра.

— Углов, идите укол делать.

— Уже? — удивился Семен.

— Уже.

За час, проведенный в палате, Углов узнал чертову уйму новостей о своей болезни, о врачах, медсестрах, лечении от алкоголизма и способах борьбы с тем лечением. Информацию можно было бы назвать курсом посвящения в профессиональные алкоголики, если бы, конечно, существовал такой курс.

В палате Углов оказался восьмым. У каждого из семи его новых коллег имелся свой опыт пьянства и своя теория жизни. Правда, опыт с теорией мало расходился.

Углов оказался единственным новичком среди великолепной семерки. Узнав, что Семен в наркологии впервые, все оживились. Новичка следовало поддержать. Посыпались советы. Последовала массажированная промывка мозгов. Через час Семен впитал в себя всю пьяную мудрость, выкованную в непрерывной и тяжелой борьбе с трезвостью.

К моменту вызова в процедурную он окончательно дозрел. Все лечение оказывалось жутким обманом, плодом воображения врачей, хитростью, призванной отобрать у вполне нормальных людей остатки здоровья. Любая назначенная врачом и неосторожно проглоченная лечащимся пилюля по степени приносимого вреда приравнивалась к ведру водки, но водка, та хоть веселила человека, а какое, скажите на милость, веселье от таблетки?

Сосед слева продемонстрировал, как прятать таблетку под язык, делая при этом вид, что проглатываешь отраву; сосед справа прошептал на ухо наименование противоядия, которое следовало применять, если проклятая пилюля все же проскользнет в желудок. Рецепт оказался таинственен, как заклинание колдуна, и даже, кажется, слегка отдавал серой.

Ошеломленный Семен поверил, что попал в плен. Он не успевал внимать расказам мудрых в борьбе с излечением алкоголиков. Они считали, что находятся в лапах врагов, и только неслыханная изворотливость могла сохранить разрушаемое врачами здоровье. Лишь один из семи, лежащий у стены, повернулся к Семену, когда почти все секреты были тому открыты, и глухо сказал:

— Братан, не будешь лечиться — станешь как я. — И снова отвернулся.

Углов мельком поймал выражение его страшного, почти нечеловеческого лица и слегка заколебался. Но остальные разом накинулись на супротивца.

— Нашел кого слушать. Это его сейчас от укола воротит, вот он и ошалел. Мелет всякое. Когда «менты» его привели, еще в себе был. После укола такой. Вот оно, лечение. Себя не помнит.

Зов медсестры прозвучал в ушах Углова набатным звоном. Новые знакомцы особенно напирала на особую вредность означенного первоначального укола. Увы, уклониться от него не представлялось возможным. Все это со вздохом признавали. Семену советовали держаться. Он обещал.

— Что за укол? — не утерпел Семен спросить у медсестры, набирающей шприц.

Интересно было узнать, чем и как врачебная наука маскирует свой ужасный обман. Однако никакой маскировки не оказалось. Медсестра улыбнулась в ответ.

— А вы будто не знаете? — сказала она. — Небось соседи уже наговорили всяких небылиц и ужасов?

Углов неопределенно пожал плечами. Медсестра попала в точку.

— Да вы не бойтесь, — успокоила она. — Страшнее водки все равно не будет. В вас сейчас столько этой дряни скопилось — и в крови, и в желудке! Вот мы всю эту отраву из вас и вышибем, почистим организм. Мозги, глядишь, и просветлеют. А что поболит маленько, так на то вы и мужчина, чтоб терпеть.

Медсестра усмехнулась.

— Правда, вы, мужики, на боль как раз квелые. Чуть что, сразу: ой, умираю, ой, спасите меня! Родили б разок, тогда бы поняли, какая она бывает, настоящая боль.

Медсестра шагнула к Семену, держа шприц в высоко поднятой руке. Углов нехотя взялся за резинку пижамных штанов.

«Не поймешь, кто тут врет, а кто правду говорит. Каждый свое гонит, и все правы».

7.

Дальше было не совсем хорошо.

К вечеру Углов пластом валялся на койке. Лицо его горело. Одежда была мокрой от пота. Нога, в которую сделали укол, казалось, увеличилась вдвое. Время от времени к нему наведывалась медсестра, мерила температуру и слегка подшучивала над Семеном, злодейка! Соседи молча поджимали губы — они сочувствовали страдальцу.

В восемь в палату проскользнула Лиза. Она принесла горячий бульон. По палате поплыл запах курятины.

Углов встретил жену громким стоном. Наконец стало кому пожаловаться.

— Помираю, — обессиленно прошептал он.

Лиза испуганно захлопотала возле постели. Деликатные соседи по одному потянулись к выходу. Свидание обещало быть прощальным. При виде жены Углов совершенно раскис. Дыхание стало вырываться из него, как атмосферы из проколотой камеры.

— Очень больно? Ты уж потерпи, Семушка, потерпи.

Она принялась доставать из сумки стеклянные банки и свертки. Семушка и не взглянул на них. Волны жара накатывались на него и тяжелыми ударами отдавались в голове. Водка покидала его организм тяжело, трудно, покидала, лишь виновуясь могучей силе лекарства, и, боже мой, как же ему было сейчас тяжело!

8.

Ночь прошла в нескончаемых мучениях, к утру ему стало легче. А вечером он с аппетитом ел принесенное Лизой. Лиза смотрела на него с умилением. Дело явно шло на поправку.

Воскресенье прошло терпимо, в понедельник Углов только слегка прихрамывал. Муки, принятые от страшного укола, остались в прошлом.

Лиза прибегала к нему трижды в день.

— Ну как ты, Сема?

На ее похуевшем лице был написано нетерпение, она безумно жаждала хоть крошечного, хоть малейшего сдвига в лучшую сторону.

Семен отмалчивался. Впервые за последние годы он был абсолютно, стерильно трезв. Шокный удар вытряхнул из его клеток молекулы алкоголя. Трезвость оказалась состоянием непростым. Все внутри мелко дрожало. Неясное томление не давало покоя. Даже себе самому Углов не хотел признаться, что тоскует по спиртному.

В ночь на понедельник он почти не спал. Напряженность, написанная в Лизиных глазах, раздражала его.

«Ну чего она от меня ждет? Каких таких небывалых перемен? Что я, ребенок, что ли? Делай то, не делай этого. Да еще врач: если не пить, так не пить совсем! Да ну их!»

Семен вовсе не хотел не пить совсем.

«Пристают с расспросами, лезут в самую недру души, воспитывают, поучают... Обо всем им расскажи, доложи. Положим, и скрывать мне особо нечего, а все равно неприятно. Как на допросе...»

За два прошедших дня он был сыт наркологией по горло. «Рядом записные алкоголики — ни работы, ни семьи, ни детей... Я-то совсем не такой! Так чего же держат вместе? Унижают... Запугивают...»

Впрочем, и в наркологии можно было крутиться. Некоторые и здесь неплохо устроились.

Поздно ночью на кровати рядом с Семеном зашевелились две едва различимые в темноте фигуры. Забулькала жидкость, и хорошо знакомый Семену запах ударил в ноздри. Он невольно принюхался.

— Не спишь, корешок? — донеслось из темноты. — Примешь лекарство?

— Не хочу, — машинально ответил Семен и через минуту пожалел о сказанном.

Вино отбулькало и утихло. Углов лежал, заложив руки за голову, и ругал себя последними словами.

«И чего испугался, дурак? Ведь объяснили ребята, что после укола ничего, можно. Это после таблеток нельзя. Я ведь не собираюсь бросать выпивку совсем, так чего бояться?»

Но поправить дело было уже нечем — минуту назад пустая бутылка была выкинута в форточку. Теперь захорошевшие собутыльники вполголоса обменивались воспоминаниями. Углов почувствовал невольную зависть. «Эх, растяпа я. Нет во мне шустрости».

Он снова задремал и снова проснулся. Палата спала. В открытой фортке мерцала далекая звезда. Углов тоскливо загляделся на нее.

«Зачем живу?»

9.

Утром его пригласила к себе Эльвира Латыповна.

— Ну, как вы? — с едва заметной улыбкой спросила она. — Освоились?

Семен неопределенно пожал плечами. Нога все еще давала о себе знать. Наступать приходилось с бережением.

Эльвира Латыповна придвинула к себе температурный листок.

— Разгрузка организма от интоксикации алкоголем прошла у вас нормально, — сказала она. — Теперь вы, наконец, совершенно трезвы. Надо нам с вами, Семен Петрович, поговорить на светлую голову. Скажите мне по совести — что вы у нас ищете? Действительно хотите бросить пить или только так — скрываетесь от неприятностей? Только не говорите, что жена вас за руку привела, а вы сами тут ни при чем. Не захотели бы — не привела бы. Будем говорить откровенно?

Семен замялся.

— Надо бы подсократиться с выпивкой, — осторожно ответил он. — Неприятности, конечно. Это вы правильно сказали. И жена вот обижается, и на работе...

Эльвира Латыповна понимающе кивнула.

— Наверняка и прогулы были, Семен Петрович?

Углов отрицательно замотал головой.

— Ну, скрытые, скрытые, — пояснила докторша. — Вы утречком позвонили на работу, сказали, что загрипповали, не выйдете, а сами с похмелья умирали, встать не могли. Ведь было, а?

— Случалось, — нехотя ответил Семен. — Да это — что? Отработаю. Вот жена последнее время все пилит и пилит.

Эльвира Латыповна укоризненно покачала головой.

— Да ведь она же ваша единственная опора и спасение, Семен Петрович. Была бы ваша судьба ей безразлична, так разве она бы вас пилила? Неужели вы не пони-

маете, что мир в семье дороже всяких выпивок? Ведь счастливая семья, дети — это то самое, без чего жизнь человека теряет смысл. Зачем же рушить свое счастье собственными руками? У вас дочка. Подрастет — каково ей будет услышать: «Твой отец алкаш!»

Углова бросило в жар.

— Так сразу и алкаш, — пробормотал он.

Эльвира Латыповна покачала головой.

— Не обманывайте себя, Семен Петрович, — участливо ответила она. — Самообман еще никому, никогда и ничем не помогал. Вы сами убедились в субботу, как далеко дело зашло. Элементарных тестов выполнить не смогли — куда уж хуже? Слепому видно — хронический алкоголизм. А вы все словами играете: алкаш, не алкаш.

Семен угрюмо молчал.

— Дальше пропасть, Семен Петрович, — продолжала Эльвира Петровна, — бездонная пропасть. Никто вам помочь не сможет, коли сами себе помочь не хотите. Решайте для себя — как дальше жить? Думайте и решайте. Ну так что, будете всерьез лечиться?

— Да.

— Я вам назначила лечение. Эту неделю вы принимаете лекарства, а в субботу сделаем пробу. Потом продолжите поддерживающий курс амбулаторно. Только надо главное себе уяснить, Семен Петрович: или совсем пить, или совсем не пить. Третьего не дано. Дешевый бред, что-де можно полечиться, а потом пить как все, надо из головы начисто выкинуть. Алкоголик не может пить, как все. Потому он и алкоголик.

Она встала, подошла к Семену и, глядя ему в глаза, сказала:

— Сейчас вы на переломе, Семен Петрович, и только от вашей воли зависит, куда повернется ваша дальнейшая жизнь — к свету или во тьму. Только от вас.

Семен молча кивнул и вышел из тесного кабинетика. Слова Эльвиры Латыповны произвели на него сильное впечатление. Идти в «алкаши» ему не хотелось.

10.

Палата встретила Углова добродушными усмешками.

— Ну что, исповедали?

— Грехи отпустили, теперь пилюлями причащать начнут! Сейчас позовут, готовься.

Углов нахмурился. Да что он, пацан, что ли? Каждый норовит за руку взять и в свою сторону повести. Что им всем надо от него?

Через полчаса его действительно позвали к причастию. В палату заглянула медсестра.

— Углов, в процедурную.

Он нехотя поднялся с кровати и, провожаемый улыбками, побрел за сестрой. В процедурной никого не было. Медсестра протянула на пухлой ладошке две небольшие таблетки. На столике стояла стопка с водой.

— Уж я вам в рот заглядывать не стану, — весело сказала медсестра. — Вы, я вижу, не такой отпетый, как некоторые. Ловчить не будете. Лекарство под язык не спрячете.

— А заглядываете? — неприятно удивился Углов.

Медсестра засмеялась.

— Народ-то вы какой, — ответила она. — Одно слово — пьющий. А пьющему какое доверие? Он ведь сам за себя ответить не может, никогда не знаешь, что он через минуту сделает. Обманывают некоторые, как дети. Приходится заглядывать. А так рассудить — кого обманывают? Себя же и обманывают.

Углов пожал плечами, бросил в рот таблетки и запил водой.

— Ну вот и хорошо, — одобрила его решительность медсестра. — В обед опять ко мне придете.

Углов миновал коридор, вошел в палату и сел на кровать. Вокруг было пустынно — народ разошелся на работу. Лишь в углу съежился на койке прибывший вчера с милиционером новичок. Впрочем, новичком его назвать было трудно — шестой заход на лечение говорил сам за себя. Он повернулся к Семену.

— Отравили?

Семен несколько секунд молча глядел на него, потом поднес ладонь ко рту и выплюнул на нее начавшие таять таблетки. Сосед оживился.

— Молодец! — одобрил он Семенову ловкость. — А я вот, по первому заходу когда пришел, чистым дураком был, — сунут мне таблетки эти, а я их взаправду про-

глочу. Целую неделю травился, а потом — проба. Так веришь, нет — только понюхал водяру и чуть не сдох! Вышел с лечения — целый месяц бормотушку в рот не мог взять. Вот они до чего доводят, таблетки эти. Самый вред от них.

Абориген палаты зло сплюнул.

— Травят, мать иху так! Последней радости в жизни лишают. Эх, кабы не «менты», только бы меня тут и видели!

Углов не слушал. Он недоумевающе смотрел на свою ладонь. Он и сам не вполне понимал, как так получилось, что он не проглотил лекарство. И вроде ни одной криминальной мысли не шлохнулось в Семеновом мозгу, когда он взял пилюлю, но самовольный язык его сам принял и осуществил неожиданное решение. Сработало не ум Семена и не его соображение — сработало то, что было сильнее ума и соображения; сработало инстинктивное, глубоко притаенное нежелание бросить пить.

Семен, как замороженный, смотрел на таблетки. Он был напуган собственным поступком. Ведь он не хотел, честное слово, не хотел! Как это получилось? Почему?

Углов еще не осознал, что он раб, но и чувствовать себя свободным человеком больше не мог.

«Значит, я думаю одно, а делаю другое? — подумал он. — Значит, я уже не хозяин самому себе? Почему я не проглотил таблетки? Чего испугался?»

Ответа не было. А испугался Семен неведомого действия лекарства, отрезающего ему дорогу назад, к веселому времяпрепровождению у пивной стойки! Он отчаянно не хотел изменять привычного течения своей пьяной жизни.

Семен сжал кулак и сунул его в карман. Сосед посоветовал:

— Ты в кармане не держи. Неровен час, накроют. Кинь в фортку — и все дела. Потом никто ничего не докажет. На таблетках не написано, чьи они.

Углов молча встал, подошел к окну и выбросил таблетки. Теперь путь назад был ему отрезан. Он нахмурился. Ну и что случилось? Можно подумать, действительно преступление какое-то. Пилюли эти... Обойдемся и без пилюль.

Он был полон решимости не поддаваться больше ни на какие уговоры врачей. «Не нужно мне никаких ваших помощей и советов. Захочу бросить пить, так и без вас брошу. А не захочу — так тоже никого не спрошусь. Нечего всякие препоны ставить. Мое дело».

Он бросился на койку. Внутри подсасывало.

11.

Лизин день стал уплотнен до крайности. «В больнице, конечно, кормят, но что такое больничная еда? — рассуждала Лиза. — Семен привык к домашней пище, еще, пожалуй, не станет больничную есть, расстроится, разнервничается...»

Она простаивала у плиты чуть ли не до двенадцати ночи, а утром вскакивала чуть свет, разогревала пищу и, отведав Аленку к матери, мчалась через весь город к нему. Выкладывая на тумбочку теплые стеклянные банки, она виновато улыбалась Семену:

— Пока добралась, наверно все остыло.

Лиза прикладывала к выпуклому боку посуды тыльную сторону ладони.

— Ой, нет, теплое еще. Ты бы, Сема, поел, пока совсем не остыло. У холодного что за вкус?

Семен отводил в сторону глаза.

— Да ладно, чего там. И так всего полно. Кормят как на убой. Зря ты возишь.

Все эти дни он ловчил и изворачивался. Игра в искренность сделалась его второй натурой. После первого обмана, когда Семен так неожиданно ловко, прямо на глазах надул доверившуюся ему медсестру, следующие обманы стали легче и совершались как бы сами собой.

Медсестра ни в чем не подозревала Углова. Он умышленно выбирал время посещения процедурной, когда в ней толпилось много народу. Лекарственный час пик стал его верным союзником.

Лечащиеся шли толпой. Медсестра металась глазами по очередному больному, заглядывала в широко разинутый рот, вертела головой, стараясь высмотреть хитро припрятанные таблетки, — очередной алкашный мудрец отворачивался от острого взгляда, отводил в сторону хитроумную голову, маскируя потай в тщетной надежде избежать личного досмотра; медсестра, уловив подозрительную выпуклость щеки, лезла бесстрашным пальцем в необыкновенную секретку и торжествующе извлекала размокшую контрабанду, — пойманный на месте преступления делец, морщась, заглывал найденное. Куда денешься?

Семен быстро протискивался сбоку, протягивал ладонь, медичка вытряхивала пару таблеток из стеклянного пузырька, — Углов размашистым, демонстративным

движением бросал их в рот, запивал водой и уходил. Его не удерживали и не проверяли. Покинув процедурную, Семен воровато озирался по сторонам и выплевывал таблетки.

12.

В обед опять прибежала Лиза. Она захватывала по дороге что-нибудь вкусенькое и полчаса проводила с мужем на скамейке у входа в корпус.

Семен давно не видел жену такой оживленной и веселой. Она словно стряхнула с себя все неприятности последнего времени. Надежда на новое счастье заставила вновь радостно забиться ее истрадавшееся сердце.

Как в первый год семейной жизни, она начала рассказывать Семену о своих служебных делах, делилась с ним планами и мечтами. Все их светлое дальнейшее будущее было уже Лизой обдуманно и распланировано до мельчайших подробностей. Намечались и покупка необходимых вещей, и поездка на отдых к морю с мечтами о том, как загорит под солнцем, как окрепнет под животворным влиянием целебной морской воды их ненаглядная Аленка, как они втроем будут рано вставать, совсем рано, еще до восхода, еще до первого пробуждения дня, — и идти встречать ласковый рассвет на пустынную, отмытую соленой водой полосу черноморского пляжа...

Семен старался не смотреть на разгоревшееся лицо жены. Ему было не по себе. «Какой пляж, какое море, когда через пару дней «проба», а я не принял ни одной таблетки. Вмиг попутают, раскроют весь обман».

Лиза, упоенная счастливыми мыслями, брала его под руку и прижималась к крепкому плечу.

— Ведь будет так? Правда, будет, Сема? Разве мы не имеем права на счастье? Нашли же мы друг друга, ведь могли и не найти. А теперь? Вон какая у нас дочка. Почему же нам не жить в радости? Знаешь, как тебя Аленка ждет, Сема? Все время спрашивает, где папа, где папа? Придет папа, придет, говорю, я и сама жду не дождусь...

Лиза счастливо смеялась, закидывая назад золотую под солнцем голову, а Семен все сторбливал и сторбливал отяжелевшие плечи. Жена не подозревала, что он поставил на лечении крест.

Семену очень не хотелось спугивать эту радость. «Потом, потом, — малодушно оттягивал он момент решительного объяснения. — Потом все расскажу». Слишком уж редким явлением стало то, что он сейчас наблюдал. «Куда что делось?» Он и сам удивлялся происшедшей в их отношениях метаморфозе. «Куда исчезло то постоянное, тихое ощущение счастья, возникшее в нем с первой же встречи с рыжеволосой начальницей детсада номер шесть; счастье, которое жило в нем весь первый год их семейной жизни?»

Он вспомнил, как трудно ему было даже привыкнуть к ошеломляющей мысли о том, что Лиза станет его женой; как невероятно было поверить, что его, такого обычного, ничем не примечательного парня, полюбила и доверила ему свою жизнь необыкновенная женщина, о которой он не мог и мечтать! Но это случилось, и это было счастьем и удивительной неповторимой удачей — так, словно он вдруг выиграл по копейчному лотерейному билету своей внешности огромный капитал человеческого, женского богатства! И куда же он исчез, тот капитал, за последующие годы, на что растратился? Ведь было счастье, было! Как испарилось? И что тому виновой? Неужели действительно водка? Ну, нет! Семен с возмущением отбрасывал эту нелепую мысль. Вон сколько вокруг семей, в которых мужики газуют, и ничего, живут же с ними жены. Что ж, они все несчастные? Нет, водка тут не причина. В лучшем случае, она только повод. Он и до женитьбы принимал сто граммов. Ну и что? Лиза внимания на такой пустяк раньше не обращала. Никогда и разговора никакого не завязывалось. Почему же сейчас водка стала камнем преткновения?

Водка, водка! Семен нахмурился. Один только и разговор в доме остался о той водке. О чем с женой ни заговори, все сразу к одному сведет: ты пьешь! Что же, раз пьешь — значит, уже по всем статьям не прав, ни в чем не разбираешься и голоса своего не имеешь?

Углов нахмурился. Меньше бы болтала о той водке, так самой же лучше было бы. А то так и пошло, и поехало — за каждым вторым словом — водка, водка! Слушаешь-слушаешь, терпишь-терпишь, а там махнешь рукой, пойдешь да трахнешь стакан водяры! Чтоб, значит, по делу крик шел.

Он взглянул на Лизу. Она стихла, прислонившись к его плечу и устало прикрыв глаза. Углов глянул на часы. Подходило к двум.

— Да ты сама-то обедала? — всполошился он. — Перерыв кончается. Успеешь?

Лиза только плотней прижалась к его плечу.

— Ничего. Бог с ним, с обедом. Лишь бы у тебя все было хорошо. Тогда и я спокойна.

Семен завозился.

— Не опоздаешь? Как бы там из начальства кто не подъехал?

Лиза спохватилась.

— А сколько уже?

Углов молча показал на циферблат.

— Ой, пора. Ну, ты не скучай. Вечером приду.

Лиза уходила, оглядываясь и каждый раз улыбаясь мужу. Семен провожал ее остановившимся взглядом. У него болезненно ныло сердце. «Что же ушло из наших отношений? Что? И почему ушло?» Он откидывался на спинку и закрывал глаза. «Радость ушла. Радость».

Таяли в небе просушенные солнцем белые облака.

13.

Подошла пятница. Семен начал мучиться с утра. На завтра была назначена «проба». Стационарный период лечения подошел к концу. За неделю массированного приема лекарства концентрация его в крови должна была достичь того уровня, при котором малейшая доза алкоголя вызывала рвотно-удушающую реакцию. На этом и основывалось лечение. Две, три пробы вырабатывали в организме устойчивую отрицательную реакцию на спиртное. Павловское учение об условных рефлексах торжествовало здесь во всей своей неотрицаемой силе.

Впрочем, имелся и психологический компонент воздействия на больного. Он заключался в беседах врача и чудодейственном влиянии трудотерапии. Все лечащиеся одновременно и работали. Процент излечения достигал... Впрочем, кто действительно хотел вылечиться, тот вылечивался. Трудно было захотеть. Прочие становились завсегдатаями наркологии. С небольшими перерывами они проводили тут годы.

Ни одна таблетка лекарства не попала в его желудок за прошедшую неделю. А утром — проба. Как быть? О том, чтобы опять «прогнать дуру», притвориться — нечего было и мечтать. Контроль реакции был объективен — кровяное давление, пульс, характер изменения зрачка.

Даже самые хитроумные советчики теперь были бессильны помочь Углову. Да, собственно, никто ничего и не советовал — бесполезно. Все, кто был в палате, с любопытством следили за новичком, — неопит лечения выказал недюжинные способности ловчицы, — как-то удастся ему выкрутиться дальше?

К обеду Семен понял, что остался один выход — немедленно удрать, не дожидаясь неизбежного разоблачения. Оно грозило обернуться катастрофой для их с Лизой отношений. И сейчас-то не доставало сил глядеть в ее верящие глаза. А завтра? Да и перед врачихой стыдно. А уж о сестричке из процедурной и говорить нечего. Углов ясно представлял себе, что обрушится на ее глупенькую, доверчивую головку после обнаружения обмана. «Зачем зря подводить людей? Сам надувал, сам и выкручивайся — чего других топить?»

Но и удрать из наркологии было непросто — всю его гражданскую одежду жена унесла домой. Куда поперешься в больничном? Пришлось дожидаться жену.

В обед пришла Лиза. Она принесла два стаканчика мороженого. Углов усмехнулся. «Как маленькому. Примазывает». Супруги присели на скамейку.

— Слышь, Лиз, — осторожно начал Углов. — Ты вечером захвати мое барахло. Ночевать сегодня дома буду. Хватит прохлаждаться.

Лиза вскинула на него испуганные глаза.

— Как, дома? А «проба»? Ведь завтра...

Семен не дал ей договорить.

— Проба пробой, — веско выговорил он, стараясь придать своему голосу максимум убедительности. — Надо — значит, надо. Никто и не отказывается. Утром приду и сделаю. А ночевать дома буду. Все, хорошо!

Он обнял жену за плечи.

— Мужик я или не мужик? Сил больше нет терпеть. Целую неделю без тебя. Шутишь, что ли?

Лиза прикрыла ладонью порозовевшее лицо.

— Ну что ты кричишь? — прошептала она, смущенно оглядевшись. — Услышат же.

— Пусть слышат, — отрезал Семен. — Лечение лечением, а на монастырскую жизнь я не подписывался. Сегодня домой, и точка! А то в больничном сбегу!

Лиза слабо сопротивлялась.

— Сема, ну что тебе стоит еще день потерпеть? Сделай «пробу», чтоб моя душа была спокойна, а уж потом...

Углов был непреклонен.

— Иди к заведующей, проси, чтоб сегодня вечером домой отпустила, — стоял он на своем. — Сбегу, вот те крест, сбегу.

И он неожиданно для жены, да и для самого себя, широко и размашисто перекрестился, чего не делал никогда в жизни. Вид крестящегося мужа ошеломил Лизу. Она заколебалась. «Может, действительно, взять сегодня домой? Выпить он все равно уже не сможет — столько в нем сейчас чудодейственного препарата, так чего зря мучить?»

Углов, внимательно наблюдавший за женой, уловил ее колебания. Он потянулся встать со скамейки.

— Небось, завела там кого? — уронил Семен, стараясь не смотреть в Лизины глаза.

— Да как тебе не стыдно такое плести? — гневно спросила она. — Еще крестишься. Постеснялся бы лучше! Я только о тебе и думаю, только тобой да Аленкой дышу, а ты...

Она задохнулась. Семен невольно залюбовался женой. Гордым достоинством дышало возмущенное и обиженное Лизино лицо. Углов смутился. Эх, елки зеленые, перегнул.

— Да ладно, чего ты? — протянул он примирительно. — Сразу закипела. Я же в шутку...

— Так не шутят, — отрезала Лиза. Она поднялась и направилась к двери отделения. — Жди здесь. Я поговорю с врачом. Если отпустит, вечером принесу одежду.

Углов проводил ее глазами и нахмурился. На душе было гадко. «Будто ребенка обманул, — подумал он. — Да, допрыгался. Мужик, нечего сказать. Хуже бабы стал».

Впрочем, он тут же одернул себя. «А куда денешься? Раз соврал, два соврал, а в третий — не хочешь, а приходится. Ладно, с женой как-нибудь договорюсь. В постели и каяться способней. Не убьет же. Скажу, так мол и так. Сам не знаю, как оно вышло, да только поправить не смог. Пить я все равно не стану, так какая разница — делать «пробу», не делать? Важно, что осознал».

Семен успокоился. На крыльце появились Лиза и Эльвира Латыповна.

— Ну что же, он у нас примерный больной, — сказала докторша, ласково глядя на Лизу. — Никаких нарушений режима. Мы ему доверяем. По правилам, конечно, не положено отпускать, пока лечение не доведено до конца, но раз вы оба просите, то задерживать не станем.

Лиза благодарно закивала головой.

— Значит, как договорились. Завтра мы вас ждем, — напомнила ей Эльвира Латыповна. — И обязательно приходите вместе. — Она повернулась к Семену и шутливо погрозила ему тоненьким пальчиком: — Балует вас жена, ох, как балует. На руках носит, а надо бы, чтобы вы ее носили. Она больше того заслуживает. Смотрите, от жены ни на шаг.

Углов неловко затоптался на месте.

— Конечно, конечно. Как скажете.

На миг мелькнуло в нем острое желание сознаться в своем дурацком обмане, но вид женщин был так безмятежно доверчив, так доброжелателен, что Семену не хватило духа покаяться, не хватило духа поломать счастливое настроение двух болеющих за него слабых существ.

Он пошел провожать к воротам счастливую жену.

14.

Вечером супруги Угловы возвращались домой. Семен крутил по сторонам веселой головой — за неделю он пропитался больничной атмосферой и несколько отвык от привольностей гражданской жизни.

Лиза озабоченно прижимала к бедру сумочку — на дне ее хоронились выданные Семену спасительные таблетки.

«Три штуки принять вечером, три завтра утром. Никаких перерывов!» Ей надо было проследить, чтобы лекарство попало в Семена вовремя.

В автобусе Семен возбужденно оглядывался — людская толчея волновала его. Лиза плотнее взяла мужа под руку. Ей припомнился строжайший наказ Эльвиры Латыповны:

— Сейчас самый трудный и опасный момент. В организме высокая концентра-

ция лекарства, а внутренняя установка на полную трезвость еще, возможно, не наступила. Потянет выпить, и он может не пересилить этого желания, сорвется.

Лиза облизала пересохшие от волнения губы. Ничего, еще три остановки — и дома. Там всего сто метров.

Автобус остановился. Угловы вышли. До дома оставались считанные шаги. Навстречу им, улыбаясь, шагнул высокий кудрявый парень.

— Здорово, Семен! Приехал, что ли? А я на мастерских был — нет прораба, на насосной был — нет прораба! Одни мастера крутятся. Где Семен Петрович, спрашиваю. Отвечают: деревню строят! — Парень расхохотался.

Семен высвободил руку, поздоровался.

— Да вот, — сказал он неловко, — сегодня прибыл.

— Ну как там родня, здорова? — улыбался знакомый. — Построили, что ль, домишку? Небось больше самогонку глушили, чем работали?

Углов засмеялся. Наконец-то он вернулся в привычную обстановку.

Это был Виталька Муратов, инженер ОКСа заказчика. Он курировал Семеновы объекты. Семен работал с ним вот уже третий год. За это время Углов не раз и не два пытался втереть Муратову очки, сдавая позиции с кучей недоделок. Но Виталька сам был парень жох, липа проходила редко. Впрочем, с ним можно было договориться. Муратов не один год отработал на линии, а стало быть — понимал, где жать Семена, а где и ослабить.

— Дом-то хорошо построили, качественно? — опять взялся он за Семена. — Крыша течь не будет?

— Не будет, не будет, — поскорей закруглил фальшивый разговор Углов. — Тут-то у нас как? Что со сметой по мастерским?

Мастерские Сельхозтехники были основным его объектом последнего года. Прошлой зимой поставка стройматериалов и конструкций особенно хромала — люди просидели без дела почти два месяца. Пришлось занимать бригад мелочевкой — где можно было подштукатурить стены и потолки, там подштукатурили; на первом этаже выставили столярку, остеклили; вывезли со стройплощадки весь мусор — чтобы хоть что-то делать. Семен волком выл в эти проклятые месяцы, но без материалов работать так и не научился.

Второй этаж мастерских поднялся не доведенными до проектной отметки простенками — за два зимних месяца почти позабылось, как он выглядит, тот кирпич. Панели перекрытия ожидался — трест телефонограммой обещал помочь, но бумажкой той покрыть объект было невозможно.

Люди маялись бездельем, работали по часу в день, а есть, как ни странно, не разучились. Углов скрипел зубами, но наряды закрывал исправно. Без зарплаты рабочих не оставишь, у каждого семья, дети — пришлось залезать в смету с головой. Опроцентовав объект чуть ли не до дымовой трубы. Теперь настала пора рассчитываться. Денег на мастерских оставалось с гулькин клюв, работы — море. Вот Углов и интересовался у заказчика, что можно урвать по объекту сверх смены?

— Не надо было зимой объект грабить! — отрезал Виталька. — Говорил тебе — куда лезешь? Ведь отдавать придется.

— А что делать было?! — взвился Семен. — Чем людям прикажешь платить? Я, что ли, в чем виноват? Кто за поставку отвечает?

— Все отвечаем, — мудро ответил Виталька. — Теоретически. Нет материалов — актируй простой. Всех бить будут.

— Как бы не так, — усмехнулся Углов. — Вас побьешь. Вы всегда правы останетесь. А нам, стрелочникам, по шапке! Актируй простой. Меня самого тогда с ходу заактируют.

Лиза потянула мужа за рукав.

— Сема, пошли. Нам еще за дочкой зайти надо.

Семен раздраженно выдернул руку.

— Да что ты, в самом деле! Не видишь, дела у нас! Иди домой, я через полчаса подойду.

— Иди, иди! — прикрикнул он, заметив Лизино нежелание оставлять его одного. — Что ты дурью маешься? Сказал приду — значит, приду.

Он повернулся к Муратову.

— Там на непредвиденные расходы деньги были.

Лиза нерешительно шагнула прочь. Голос мужа был так жестко-повелителен, Семен так явно стыдился перед своим знакомым демонстративного женского контроля, что она не решилась публично противоречить. Да и разговор мужчин шел, на Лизин взгляд, самый деловой и безопасный; парень выглядел надежно — подтянутый, лицо интеллигентное. Она решилась поверить.

— Я тебя дома ждать буду, — тихо сказала Лиза. — Ты уж недолго, Сема, ладно? За Аленкой вместе пойдём.

— Ладно, ладно! — отмахнулся Углов. — Время есть. Успеём.

Лиза ушла. Муратов проводил ее глазами.

— Жена?

Семен досадливо кивнул. Ему было неловко перед Виталькой. Что она, спятила? Чуть ли не за руку тащит. Можно подумать, потеряюсь, если на шаг отойду.

— Строго она тебя держит, — подмигнул ему Муратов. — Что, вышел из доверия?

Семен криво усмехнулся.

— Это еще как сказать, кто кого держит, — пробормотал он.

Муратов рассмеялся.

— Оно и видно. До стекляшки-то пускает? — Он кивнул в сторону Акдарьи. — Дойдем, пивка разопьем за встречу? Говорят, свежее подвезли.

Углова как шилом уколело. Он сглотнул слюну и затоптался на месте.

— Стоит ли?

Виталька недоуменно уставился на него.

— Да ты что, заболел там, в этой деревне? Почему ж нет?

Углов подумал секунду. Действительно, почему нет? Пару пива? С заказчиком?

Он решительно шагнул вперед.

— Поплыли.

Ноги сами несли Семена вперед. В горле его нарастало жадное предвкушение первого долгожданного глотка.

Рядом что-то бубнил не поспевающий за Семеном Виталька.

15.

Углов не помнил, как и когда он вернулся домой. Очнулся ранним утром на диване в гостиной. Он со стоном открыл глаза. Мир вокруг слегка покачивался. Семен огляделся.

Он лежал на диване в рубашке и мятых-перемятых, еще вчера отутюженных в ножевую стрелочку, брюках. В голове было неопишимо. Семен опустил ноги вниз и сел. «Где же это я вчера так набрался?»

Смутно припомнился Семену залитый пивом мраморный столик, бутылка водки, с которой он, неловко поддевая ногтем, срывал алюминиевый колпачок, и кажется, порезал при этом пальцы...

Семен поднес ладонь к глазам. На указательном пальце действительно был глубокий порез.

— Проснулся?

Семен вздрогнул. Жена сидела в кресле напротив дивана, свернув ноги калачиком и обхватив колени руками. Осунувшееся лицо ее было бледно. Сейчас становилось видно, что она провела ночь в кресле. Провалившиеся глаза ее с мукой смотрели на Семена.

— Проснулся? — повторила она.

Углов угрюмо молчал. Голова его соображала сейчас туго.

— Что же ты наделал? — спросила Лиза. — Выходит, ты врал мне всю эту неделю? Выходит, ты всех обманывал — и врачей и меня? Говорил одно, делал другое?

Страшное разочарование и усталость наложили свои свинцовые краски на Лизино лицо.

— Дальше что, Семен?

Углов тяжело поднялся с дивана. Его качнуло.

— Ты куда? — сухо спросила жена.

— Я сейчас, — выговорил Углов. — Через десять минут приду. Потом поговорим. Сейчас не могу. Голова не соображает.

Лиза соскочила с кресла и загородила ему дорогу.

— Опять пить? — спросила она. — Хватит вчерашнего. Никуда не пойдешь. Не пущу.

— Да брось ты! — Семен попытался отстранить жену.

Руки его тряслись. Углова мучило и корежило страшное похмелье. «Сейчас бы стаканчик вина — поставить голову на место, а потом можно и ответ держать».

Он снова попытался пройти. Жена не пропускала.

— Хоть убей, а пьянствовать больше не дам!

Семен, с трудом вращая языком, попытался объяснить, что уйдет ненадолго, что одна нога там, другая здесь. Но, взглянув на закаменевшее в отчаянии Лизино лицо, понял, что добром из квартиры не выбраться.

Терпеть похмелье дальше не доставало мочи. Все внутри него тряслось. «Да что она, в самом деле! Говорю же, сейчас приду. И так целую неделю держала на полутюремном положении, а теперь с утра затевает скандал из-за чепухи!»

Он отодвинул Лизу, шагнул в прихожую и сунул ноги в разношенные «корочки». Она бросилась за ним, схватила за руку и потащила в комнату. Углов пошатнулся и ударился локтем о стену.

— А, ч-черт!

Острая боль током пронзила руку. Семен невольно выругался. Лиза упрямо волокла его назад. Они перевалили порог гостиной и едва не упали. Углов рванулся изо всех сил. Лиза отлетела в сторону. Разгоряченный борьбой, Семен шагнул к жене.

— Ты что, драться будешь со мной? — задыхаясь, спросил он. — Драться? Я тебе сейчас покажу, как драться!

Рука его описала широкий полукруг, и звонкая пощечина откинула Лизу к двери. Внутри Семена вдруг вспыхнула холодная злоба.

— Взаперти держать? — пробормотал он, сам не осознавая, что говорит. — Пилюлями пичкать? Спрашивать я у вас буду, как мне жить? А ну, получи!..

Лиза шагнула к мужу, протягивая навстречу ему дрожащие руки:

— Семочка!

Сильный удар тяжелой ладони захватил половину щеки и переносицу. Лиза отлетела к дивану и освободила проход. Алые струйки крови хлынули из разбитого носа. Она схватила руками за лицо.

Семен, не оборачиваясь, шагнул вперед и исчез в прихожей. Хлопнула входная дверь. В спальне плакала разбуженная Аленка.

16.

Понемногу начали сыпаться дела рабочие.

Семен перестал поспевать то на склад, то в контору. Забывал вовремя оформить накладные, вовремя завезти материалы на участок — досаднейшие дыры пробивала водка ниже ватерлинии угловского корабля. Служба его пошла неладно. Он сразу ощутил это по внезапно и резко изменившемуся отношению людей к своей полуначальственной персоне. Еще вчера он был уважаемым человеком, Семеном Петровичем, сегодня — словно воздух вокруг загустел в презрительную кличку — Угол!

Иногда Семен спохватывался. «Куда качусь? Нельзя!» День, другой, напрягая всю силу воли, ходил на службу трезвым. «Ну вот, можно же, можно!» — радовался он.

И вдруг накатывало. Разум словно мутнел. Голос совести замолкал, и, ничего перед собой не видя, Углов мчался в забегаловку. Первый же стакан вина, выпитый после двухдневного усиленного воздержания, становился началом очередного двухнедельного запоя.

Внешне вроде бы ничего не изменилось. Семен все так же сидел в своем прорабском кресле и еще держал в ослабевших руках вожжи. Но какое-то звено лопнуло в его сцепке с людьми. Рабочие смотрели в его сторону с кривыми ухмылочками, бригадиры перестали всерьез реагировать на его накачки. Мастера, увидев его машину, старались ускользнуть на время с объекта. А дружки из дружков, первейшие кенты прорабы, начали подшучивать над Семеном что-то уж слишком остро.

Никола, так тот вовсе распосясался. Увидев Семена, вместо «здравствуй» вопил во всю ивановскую: «Ну што, примешь сотку, Угол?»

Не было уже ни силы, ни воли оборвать наглеца, публично топтавшегося на нем приятеля, и Углов только вздрагивал да пугливо озирался по сторонам — не слышал ли кто ужасного вопля?

Семен стал замечать, что прорабы обходят его стороной, собираясь на послерабочие складчины. Ему уже не кричали, как прежде, с веселой подначкой:

— Готовь красненькую, Семен, а то пиво скиснет!

Нет, ему не отказывали принять в компанию, если он подходил к мужикам сам, но зато и ухода его уже не замечали; не то что раньше, когда на малейший намек о заждавшейся жене дружно вставал всеобщий вопль: «Не рушь компанию, браток!»

Теперь же никто не считал, что, уходя в самом разгаре пивного загула, он рушит пирушку. Совсем наоборот — Углову начало казаться, что все только и ждут, когда он уйдет. Оборачиваясь, он видел облегчение в глазах вчерашних друзей. Может быть, причина в том, что он стал мгновенно пьянеть? Несколько раз его отвозили домой — все ж свои мужики, — но прошло не так уж много времени, и он стал просыпаться под самое синее ранё где-нибудь в кювете у дороги или на задворках пивной. Вчерашние друзья только пожимали плечами: что ж, бегать за тобой? Зако-сел, ну и попер неизвестно куда. Идешь, ну и иди — у стойки нянек нет!

Все. Вакуум. Худшего к себе отношения Семен не мог и представить.

Сегодня после обеда Углов провернул небольшой «левачок» — набежавшему клиенту занадобилась машина бетона — и теперь две новенькие, не бывшие еще в ходу красненькие весело похрустывали в Семеновом кармане. Отпустив машину, Семен стоял у гастронома, приятно раздумывая, как половчее их применить, и тут из-за угла на него вывернул Никола.

Углов возликовал, узрев желанного человека (на ловца и зверь бежит).

— Здорово, кореш! — раскрыл он широкие объятия. — А я-то маюсь, не знаю, с кем бутылек раздавить.

Против ожидания, Никола уклонился от горячестей встречи. Ловко вильнув медвежеватой статью, он избежал объятий.

— Спешу я, Углов, — бросил он, обходя коллегу. — Опять на растворном дурака валяют, вот бегу сам их пошевелить.

Углов удержал его за локоть. Ему показалось, что приятель не вполне понял его.

— Да есть бабки! — весело разъяснил он, вынимая из кармана красненькие. — Машину бетона клиенту загнал, так что не бойсь, путево побалдеем!

Никола остановился и, казалось, призадумался. Наконец он поднял голову, и крещенским морозом обдало Семена от его застекленевших глаз.

— Я тебе вот чего скажу, Семен, — проговорил он, с видимым усиленным трудом перебирая грубые, как камни, слова. — Ежли ты уже с таким огнем играть начал, так хоть язык-то приberi, не пускай его гулять венником по улице!

Углов онемел. На лице его застыла забытая приглашающая улыбка. Никола нахмурился и продолжал бросать слова жестко и увесисто, словно молотком вбивая в угловскую голову невидимые гвозди.

— Я ведь постарше тебя буду, — сказал он. — Хоть на немного, а постарше. И прорабом пашу втрое больше твоего, а видел ты хоть раз, чтоб я левую торговлю открыл на своем участке? — И сам ответил: — Нет, не видел и не увидишь! Распоследнее это для настоящего мужика дело — в левые торгащи идти, а уж трепаться о таких своих подвигах и того хуже! А ты трепешься, да еще и пьешь вдобавок. И слишком сильно для наших с тобой должностей пьешь!

Пораженный небывалостью услышанного, Углов только и смог что растерянно спросить:

— А ты сам, что ж, не пьешь, что ли?

— Нет! — врезал ему под дых старый приятель. — Я не пью. Я выпиваю. А это большая разница. Я взял свои сто грамм и работать пошел, и пашу, заметь, как зверь! И бетон с участка в бормотуху не перевожу. Кладу его в фундаменты! А ты свои сто грамм взял и за следующими потянулся, а ведь они, вторые, уже не твои. Их другой принять должен, а не ты. А раз принял ты, так уж ты теперь не выпивающий, а пьющий! А таким в прорабах делать нечего.

— Вот не знал, — сказал Углов, криво улыбаясь.

Он мог ожидать таких побоев от кого угодно — от Лизы, от начальника управления, от парторга, — но Никола?! Весь мир перевернулся.

Углов ошалело глянул на мелко подрагивающие в руке деньги и, скомкав, сунул их в карман.

— Уже сам, один жрешь! — рявкнул Никола, раздражаясь. — Уже компания тебе тесна стала! Как же, в толпе своих ведра не выдешь — помирай, а дели! Льешь в себя, пока с катушек не полетишь! Еще с другими лезешь равняться. Есть деньги, нет денег — пьешь! Что за праздник такой каждый день? Еще козыряет тут: сам-то, сам-то! Сам-то я пью, да ума не пропиваю!

— А я, выходит, пропи! — тихо спросил Семен. К горлу его подступала нервная тошнота. Да и похмелье скребло в желудке.

— Тебе виднее! — бросил Никола и отвернулся. — Ну ладно, — сказал он чуть погодя, — некогда мне тут с тобой бары растабарывать. Было бы вовремя сказано, а там — твое дело, не маленький. Побежал я.

Семен стоял у магазина, глядя ему вслед. Неясная зависть кольнула его сердце. Да и пить вроде расхотелось. Впрочем, через минуту он стряхнул с себя мгновенное наваждение.

— Спятил! — объяснил себе Семен помрачение друга. Всерьез принимать его слова Углову никак не хотелось. Углов постарался немедленно забыть неожиданный удар штормового ветра. Надо же, Никола взялся его воспитывать, сам-то далеко ли убежал?

Он решительно двинулся в гастроном. Через минуту вывернул оттуда и бодро зашагал в сторону парка. Вот уж третий месяц, как, взяв бутылку в магазине, он забегал распить ее в парковую столовку. Стакан давали, а компания под разговор ждала таких, как он, добряков с самого синего утра.

1.

У начальника стройуправления Дмитрия Григорьевича Козунова последнее время, как видно, коротнуло в голове. Плана не было вот уж пятый месяц, все переругались и заметно приуныли, и обалдевший от трестовских накачек Митряй стал собирать планерки трижды в день.

Прорабы взвыли, но против силы не попрешь — начальник все ж, пришлось покориться и высиживать ежедневно полдня. Особенно раздражала утренняя планерка — в самое горячее время, когда происходило главное утрясение всей последующей дневной работы.

Дмитрий Григорьевич все же несколько внял слезам и перенес начало утреннего водолития на половину восьмого. Это называлось — выпросили! Теперь приходилось идти в управление ни свет ни заря, и, не зная еще в точности итогов работы за вчера, рапортовать о сданном. Получался цирк с выкручиванием рук.

Сразу после обеда начальник собирал вторую планерку. Эта было повеселее. Как-никак, а все уже были в курсе дел на своих участках, и неповоротливый маховик работы хоть и с опозданием, а был раскручен. Кроме того, обед был позади, и прорабы, взявшие за едой кто по сотке, а кто и по стакану водки, были настроены благодушно.

Послеобеденная планерка тешила душу Дмитрия Григорьевича. Сплошным потоком шли рапорта о достигнутых трудовых успехах. Бденье длилось сущие пустяки, всего каких-нибудь полтора часа, если, конечно, не врезался прорабам поперек горла главный инженер или начальник ПТО. Тогда со всех слетала ласковая безмятежность и начиналось выяснение застарелых отношений. Но такое случалось сравнительно редко — на сытый желудок никому не хотелось объясняться всерьез. Наконец Дмитрий Григорьевич, допив полную чашу успокоительных заверений, отпускал всех с миром. Прорабы быстро выкатывались из конторы — следовало убраться как можно скорее, пока не затянул к себе в кабинет главный инженер. Там пришлось бы хлебать те же щи, да пожиже!

Прорабские самосвалы, проскучавшие полдня у ворот, разъезжались по сторонам. Конечно, эта спешка на участки была показуха — на объектах, собственно говоря, нечего было делать, там сейчас царили мастера, с которыми все было обговорено еще утром. Стороннее вмешательство вояжеров могло только раздражить занятых живым делом людей, но свой глаз — алмаз, и прорабы все же совершали послеобеденный круиз по объектам.

За разездами проходило около часа, и вот к «стекляшке» на берегу реки начинали один за другим подкатывать «ЗИЛы».

«Зилы» был рядовым прорабским шиком, — расстояние до объектов исчислялось километрами, а никто и не мыслил выделять оперативному руководству постоянный личный транспорт. Лишь старый бортовой «газон» развозил по утрам рабочих на объекты и останавливался на мертвом приколе у ворот стройуправления. Сдвинуть после этого его с места едва ли удалось бы и Дмитрию Григорьевичу. Шофер уходил в чайхану и отсиживался там до обеда, не реагируя ни на какие приказы и умоления. «Вожу людей!» — ответ был категоричен, как выговор.

Чем было добираться с объекта на объект, как попадать на склад, на растворный, на бетонный узел — не ведал, по-видимому, и сам Госплан. Приходилось выходить из положения домашними средствами — с линии снимались под прорабские разезды тяжелые машины. Все как один ездили на самосвальных «ЗИЛах». И комфортно, и быстро. Когда к концу месяца подсчитывали объемы якобы вывезенного этими самосвалами грунта, то обычно его оказывалось невообразимо много.

Митряй шумел, кричал, угрожал всяческими неслыханными репрессалиями, но, спустив пары, быстро выдыхался, и все продолжалось по-прежнему. А что он мог предложить взамен, сам находясь в унизибельном рабстве у собственного шофера? Стоило только слегка повысить на того голос, как машина немедленно ломалась. Где уж ему было напереть на чужих шоферов!

К пяти в «стекляшку» прибывали все до единого, никаких прогулов тут не признавали. Отлетали в сторону алюминиевые кружочки, прозрачная влага, утробно булькая, наполняла стаканы. Никаких промежуточных выпивок больше не предвиделось, и каждый принимал по своей норме или сверх того — по желанию. Впрочем, лишнего не перепивал никто: впереди еще предстояла большая вечерняя планерка. Водку не спеша разливали, не спеша выпивали, и вот уже буфетчик наполнял пивные кружки.

«Стекляшка» была единственным местом в городе, где можно было выпить настоящего пива — пива, а не бурды, на четверть разбавленной водой. Буфетчик брал свое недоливом — густая шапка пены занимала почти полкружки, — но это была его законная «пайда». Надо же было человеку чем-то жить, и он жил, и все уважали его за честность.

Сдвигались вместе два столика, прорабы садились в тесный круг, и сам собой разгорался жаркий спор, неизбежно приводящий на рабочую стезю. Время текло незаметно. «Да и сколько его было, того времени — какой-нибудь час?»

Наконец кто-нибудь спохватывался.

— Мужики, шесть! Там Митряй уже, наверно, с ума спрыгнул. Закругляемся! Веселой толпой вываливали на улицу, рассаживались по самосвалам.

— Эх, с ветерком! Улю-лю-лю!

В шесть десять начиналась основная, уже без дураков, рабочая, деловая планерка. Конечно, и вечером хватало бестолковщины, но можно было кое-что решить и всерьез.

К управлению один за другим начали подкатывать самосвалы.

Стоя перед конторой, люди курили, обменивались пустяковыми замечаниями, несбыточно мечтали об отпусках. Наконец Митряй устал терпеть и выслал на крыльцо главного инженера. Его успокоили: сейчас, сейчас! — и продолжали спокойно курить. Тут не выдержал сам начальник, разгневанный выскочил на крыльцо. Тянуть время дальше стало невозможно.

Зайдя, люди долго рассаживались по углам и периметру стен. Здесь опять возникли шум и задержка — Дмитрий Григорьевич просил сесть поближе, но никто не спешил воспользоваться любезностью руководства. Все ж одно дело, когда в зале стоит общая ровная водочная атмосфера, и совсем другое, если в сторону начальника разит именно от твоей скромной персоны. Тут Митряй мог сторяча и облаять прилюдно.

Наконец все устроились на том расстоянии от начальника, на какое у каждого хватило упрямства, и планерка началась.

2.

Главным содержанием ежевечернего бдения был дележ техники и материалов на будущий день. И того и другого всегда не хватало.

Но беда была, когда Дмитрий Григорьевич перекраивал по-своему все главные прорабские задумки, правя и деля, как бог на душу пошлет. И страсти моментально накалялись. Никто никому не хотел уступить. Сыпались взаимные обвинения, припоминались долги и обманы пятилетней давности.

Теперь уже нисколько не щадили не только оппонентов, но и руководство. Весь разговор начинал вестись на повышенных, истерических тонах. Дмитрий Григорьевич пытался вмешаться и развести противников, — этого словно все ждали, все дружно набрасывались на него.

— Один спрос! Одни упреки! — орал, надсаживаясь, Никола. — А техники нет, транспорта нет, материалов нет! Принесешь наряды подписывать — нос воротят! А как что — дай, Никола, пятьдесят тысяч объема, дай, Никола, шестьдесят тысяч объема! Тьфу на такие дела!

Дмитрий Григорьевич малиново багровел и выдавливался из стула, как зубная паста из тюбика.

— Кто нос воротит? Ну, назови!

— Кто воротит, тот сам лучше меня знает! Начнешь показывать, так пальцев не хватит!

— Вер-р-р-но! — дружно поддерживали его остальные. — Да что там говорить?! Людей с объектов срывают все кому не лень. И начальник, и главный, и уже скоро завсклад будет на линии командовать! А как до нарядов доходит, так хоть с неба бери. Все увильнуть норовят. За подписи трясутся, как свекор за сноху!

— Когда я вам чего не подписывал? — кричал Митряй. — Вы мне покажите ту липу, которую бы я вам не подмахнул!

Да, такой липы действительно еще не встречалось, и все понемногу остывали.

Но остратку начальнику все же надо было иногда давать, пусть не забывает, что тут перед ним не конторские крысы, а линия — главные люди в управлении. Что контора без линии?

3.

Сегодня начальник был в хорошем настроении. Никола ткнул Углова локтем под ребро.

— Слышь, Угол, гляди, как Митряй цветет, не иначе где-то удачно рапортнул. Спорим на полбанки, сейчас будет байка номер один...

Углов только усмехнулся — ишь, чего захотел! Когда Митряй цветет, то и без всяких споров ясно, чем он начнет планерку. Стоило тут пол-литрами разбрасываться.

Дмитрий Григорьевич встал, оглядел свое беспокойное воинство орлиным взором и торжественно начал:

— Товарищи, я сегодня был в горькоме...

Углов опустил глаза в пол и прикрыл рукой рот, чтобы не расхохотаться. Опять Никола попал в самое яблочко. Митряй прокручивал байку номер один. Семен отсмеялся про себя и снова прислушался — будет вариация на тему или рассказ пойдет пластинкой, слово в слово?

Шла пластинка.

— ...И вот первый секретарь, — Дмитрий Григорьевич поднял палец вверх и победоносно оглядел присутствующих. — И вот первый секретарь говорит мне при всех: «Я знаю, что на вас можно положиться, уж кто-кто, а Дмитрий Григорьевич не подведет!» — Он выдержал значительную паузу. — А я? Что я должен ответить? Что у меня прорабы горазды только глотки драть да водку хлестать, а работать некому?! А? Но ведь я так не сказал. Я сказал первому — будет сделано! Из кожи вон вылезем, а все будет сделано!

Дмитрий Григорьевич обвел слушателей взглядом, в котором ясно читалось страдание — оценят ли они его жертву, поймут ли всю глубину благородства?!

Присутствующие молчали. Никола гулко закашлялся и наклонился к Семену.

— Зажал полбанки, Угол? — спросил он гулким шепотом. — Эх ты, а еще старый линейщик! Три против одного — и скис!

Углов усмехнулся. Никола действительно играл против него один к трем. У Дмитрия Григорьевича имелось еще две байки, как две капли воды похожие на рассказанную, только в них фигурировали председатель горсовета и управляющий трестом. Митряй шибко уважал субординацию. Подробности, правда, были те же самые. Начальство дружески хлопало начальника стройуправления по плечу и доверительно говорило: «Как же, Дмитрий Григорьевич человек известный, проверенный. Ему что ни поручи — все как из пушки». А Дмитрий Григорьевич браво выпячивал грудь и молодецки рапортовал: «Будет сделано».

4.

То один, то другой из присутствующих на планерке начали демонстративно поглядывать на часы. Некоторые спрашивали время через весь кабинет. Кое-кто позевывал. Никола, подпершись рукой и нагнувшись на глаз мятую кепку, спал.

— Сейчас, сейчас, товарищи, — успокаивающе поднял Дмитрий Григорьевич руку. — Сейчас кончаем. Вот только...

При слове «кончаем» спавший Никола неожиданно вскочил со стула и быстро пошел с выходу.

— Куда, куда? — закричал ему вслед Дмитрий Григорьевич. — Мы ведь еще не все обговорили...

Но Никола, на ходу бросив через плечо: «Так ведь сказали же, что кончаем!» — и не обращая внимания на дальнейшие Митряевы увещевания, спокойно вышел за дверь.

За ним немедленно повскакивали со стульев остальные. Дмитрий Григорьевич, видя такое гиблое для планерки дело, на ходу перестроился и бодро закричал сквозь шум отодвигаемых стульев и неразбериху:

— Ну, у меня все, товарищи!

Углова эти слова застигли в дверях, остальные успели выйти раньше. Заждавшийся Николин шофер встретил выходящего прораба тихим, но явственно слышимым матом.

Мгновенно оглохнув, Никола весело махнул ему рукой:

— Все, все, Петро! Уже закруглили. Едем!

Он быстро забрался в кабину, басовито рявкнул и сорвался с места «ЗИЛ». Никола сидел на земляных работах не только внутри управления, но нахватал подрядов со стороны, и столько, сколько он мог писать выработки в путевки шоферам, не мог писать никто. Потому и приходилось на ночь глядя добираться домой или пешком, или на попутных — кто бы из шоферов согласился ждать прораба до полуночи без нарисованных в путевках трех норм выработки? За дневное-то катанье приходилось рисовать две нормы — на третью уже не у всех хватало мощи.

Дмитрий Григорьевич, выйдя с планерки вслед за прорабами на темный двор, поманил к себе Семена.

— Ты, Углов, чего это дурака валяешь, а?

— А что, Дмитрий Григорьевич, — отозвался Углов. — У меня все на мази. Он уж знал, о чем пойдет речь.

— Не помнишь, что ли, что ты у меня в долгу? Три месяца я тебя не трогал. Так что давай без дураков. Чтоб закрыл в этот раз пару нарядов. Опять гость из треста ожидается. Так что, Углов, смотри не вздумай подвести.

— А кто ожидается, если не секрет?

— Кто, кто? Да опять пузан, кто ж еще? — со вздохом сказал начальник. Семен присвистнул. Гость ожидался знатный.

— Да он же был у нас не так давно! — удивился Углов.

— Был, был, — безнадежно махнул рукой Дмитрий Григорьевич. — Что ж с того, что был? Знаешь же его — где плана нет, он тут как тут.

Сейдаметов, ревизор родного треста, был трупной мухой. Само появление его предвещало последнее, окончательное несчастье. В отличие от прочих своих коллег, он ездил только в умирающие организации.

В своем тесном кругу он смеялся: глупцы ездят с проверками в процветающие конторы. Любители снимать пенки с мясного навару — ну, пусть себе снимают! Не понимают жизни, примитивнейшая жадность застила им глаза.

Ловить мышей в управлении, выполняющем план?! Это годилось только для несмышленишей. Ну, напоят водкой, ну, накормят пловом, а дальше-то что?

Стоит только поглядеть на самодовольные лица этих выполняющих!

Не то было в конторах, находящихся при последнем издыхании. Сейдаметов появлялся в них, как хирург у постели обреченного.

Тут-то и лежала удача Сейдаметова. Он сидел рядом с умирающим, держа руку на пульсе. Вот раз прервалось дыхание, другой, третий — он прислушивался. Здесь он брал все, что можно было взять, и все, чего брать нельзя было ни под каким видом. Но риск оправдывал себя, и кроме того — просто не хватило сил остановиться.

В областной город шли машины с лесом, железом, шифером. Везли оконные блоки, трубы, линолеум, белила и гвозди, — Сейдаметов не брезговал ничем. Он отстранял ладонью привозимые в гостиницу ковры — коврами при желании он мог бы уже и сам торговать. Дома у него был целый склад ковров.

Живые деньги и стройматериалы, стройматериалы и деньги — ничего другого он не признавал, пока, конечно, имелась возможность не признавать. Он был домовит — большая семья, семеро сыновей зависели от его умения жить. И каждому сыну поочередно он строил дом.

Второе за последние полгода появление на горизонте стройуправления ревизора Сейдаметова было зловещим признаком.

Углов раздумчиво пожевал губами — стало быть, действительно под Митряем закачался стул. Он посмотрел на начальника. Дмитрий Григорьевич был скорбен.

— А, стараешься, стараешься, ночи не спишь, а что толку? И кому это все нужно? — Митряй сгорбился и махнул рукой.

— Да ничего, Дмитрий Григорьевич, — пожалел его Углов. — Авось, наладится дело. Что там ревизор? Ну, встретим, напоим, накормим как надо.

— Это что! — вздохнул начальник. — Если б только поить-кормить, так это пустяки. Ты, Семен, возьми это дело на себя, покрой должок. А остальное, что надо, я сам сварганю. В прошлый-то раз ты тоже его денек ублажал?

— Было дело, — согласился Углов.

— Ну вот, стало быть, подход имеешь, — обрадовался начальник.

— Надолго он? — спросил Семен.

— Да кто ж его знает? — безнадежно вздохнул Дмитрий Григорьевич. — Иди угадай, когда он нажрется. Утроба его известно какая — знай подавай!

Углов прикинул: Сейдаметов ел три плова в день и за каждым выпивал поллитра водки. В промежутках он отсыпался и перекусывал шашлыком. Шашлык тоже пустым не подашь. По самым скудным подсчетам выходило, что с оплатой разных мелких желаний и гостиничного люкса Сейдаметов обходился примерно в сто рублей за день!

Если закрыть в этом месяце, как и велел Митряй, два наряда, то выходило, что он мог развлекать ревизора никак не более трех дней.

Углов невольно присвистнул — задал Митряй задачу! Уж лучше бы, как обычно, отдать ему деньги на руки, а там пусть сам выкручивается. А что, если ревизор задержится на неделю? Он запросто съест весь навар с большого строительного участка. Недаром зловещая слава о нем легендой ходила по управлениям.

Углов задумался. И о себе следовало не забывать. Больше трех дней нести на горбу Сейдаметова он был не в силах.

— Три дня, Дмитрий Григорьевич, — сказал Семен обреченно. — На три дня мощи хватит, потом пусть другие отдаются.

Начальник испуганно замахал руками:

— Что ты, что ты? И не мечтай даже! Неделя твоя, а там на земляные переброшу. Так что давай, как хочешь, тужься, а чтоб неделю пер. Семь бед — один ответ. У тебя ж там пайдовый объект есть — заправка-то. Вот и бомби ее.

Углов нахмурился. Митрий совсем озверел со своими требованиями.

— Чего там взять-то? — сказал Семен с неудовольствием. — Вся смета — полсотни тысяч.

— Опять финтишь, Углов, — с тоской ответил ему Дмитрий Григорьевич. — Вот все вы такие. Только себе брать мастера. А как кого выручать надо — сразу в кусты! И смета тебе не смета, и взять негде.

Углов несколько устыдился.

— Ладно, — сказал он. — Четыре дня на мне.

Эти четыре дня пролетели мгновенно, но Углов устал от них больше, чем за год. Ревизор оправдал свою кличку. Он был ненасытным. Сначала Семен пробовал не отставать хотя бы по выпивке, но куда там! — «пузан» лил в себя водку, как в колодец! Огромная блинообразная физиономия его масляно сияла, подбородок лоснился. Он похлопывал Семена по плечу увесистой рукой, больше похожей на бычью ляжку, и раскатисто басил:

— Живи, сынок, пока живется! Бери, сынок, пока берется! Умрешь, сынок, и все минется! — И хохотал, словно в бочку.

Семен слушал, помалкивал и мотал на ус. Ревизор славен был юмором. Углов знал его в основном заочно — в прошлый раз он пропьянствовал с ним только сутки. Теперь Семен любопытствовал посмотреть, каков ревизор в деле.

«Пузан» шутя побил все предварительные угловские представления. Он гулял эти четыре дня так, словно на пятый ему предстояло умереть. Однако уйти в лучший мир Сейдаметову не дали — на пятый день, когда Семен был вытряхнут до последней копейки, его подхватил Никола.

6.

После обеденной планерки — душа все ж болела — Углов поехал на строительство заправочной. Это был третий его большой объект — после концертного зала и насосной. Разная мелочевка, вроде благоустройства, в счет не шла.

Сергей, мастер с заправочной, вот уже третий день клевал Семена в темечко:

— Петрович, третий день с бетоном дело плохо. По две машины за день дают. Я с утра каждый день там торчу, да меня кто послушает. Хоть на объект не появляйся — мужики за глотку хватают. Надоело бездельничать.

Углов все откладывал и откладывал визит на бетонный узел. Ехать туда без нужды сверхъестественной было примерно то же, что добровольно совать голову в пасть к тигру. Удовольствие никак не соразмерялось с возможными неприятностями.

Растворно-бетонный узел обслуживал не только их управление, а и еще две другие такие же конторы, и злодействовал над всей затюканной троицей как только мог. Самая мелкая сошка, причастная к отпуску материалов, ощущала себя тундровым королем: хочу дам бетона, хочу не дам, а хочу дам, да не вам!

Все решало короткое знакомство, а войти в эту короткость можно было весьма однозначно. Пытавшимся качать права, то есть действовать по закону, дорожку слегка перекрывали. Всегда ведь можно было сослаться, что другие управления оказались поворотливей и выбрали весь бетон. Что тут поделаешь? Кричи не кричи, а проверять не станешь.

А уж сколько там в их бетоне было цемента? — упаси бог узнавать. С бетонной конторой поссориться на качестве означало самого себя уволить с работы. Потом бы он уже и надолба не построил, не только путного объекта. Причин не дать материалов, затормозить нашлось бы немало — что причины? Причиной оказывалось все — от погоды до престоального праздника.

Но дело подходило к концу месяца, нет бетона — нет объема, а на заправке кормилось восемь мужиков. Углов решил, глянув своим глазом на объект — не поправилось ли дело само собой? — ехать потом к заклятым друзьям на бетонный узел.

Он подкатил к заправке с задней стороны и остановил машину. Недаром, видно, его сердце чуяло неладное — солнце жгло вовсю, на часах уже подкатывало к трем, а никакого шевеления на стройплощадке не было. Опалубку под фундаменты емкостей выставили еще на прошлой неделе, мужиков Семен подобрал самых здоровых — знай кидай да кидай, да только кидать, как видно, было нечего — фундаменты были залиты бетоном едва на треть. А уж Углов про себя числил их готовыми!

«Да, — со злостью подумал он, — проморгал! Кидать есть кому, да нечего». Конечно, что такое две-три машины бетона за день на восемь здоровенных мужиков? Забросить шесть, семь кубов бетона в опалубку занимало час времени. Матерясь сквозь стиснутые зубы, Семен вывернул из-за угла. Эге, на заправку он подгадал, как видно, вовремя — рабочие тесной кучкой обступили мастера, и явно не с добром. Настроения здесь царили несколько иные, чем в конторе.

— А я что могу? — долетел до него злой и растерянный Серегин голос. — Я туда, что, на крыльях долечу? Сами знаете, туда сорок минут на «ЗИЛе» пилить надо! А у меня собственной «волжанки» под задницей нет — я вам не завмаг! Да и что толку ехать, не дают бетона!

— Об чем шум? — вошел в толковище подошедший незамеченным Углов. — Крику много, а драки не вижу!

Уж он хорошо и видел, и соображал, о чем шум, но надо было сначала вытянуть из пробоя Серегу; мужики что-то выглядели слишком отчаянными, допекло их безделье — и шутка была тут как раз к месту. На его голос повернулись расстроенные и разгоряченные лица. Углов глянул в глаза рабочих и понял, что попал не в тон.

— Драки хочешь, Петрович? — мрачно ответил ему Уйгун, пожилой бетонщик, старший звена на заправке. — Будет тебе драка, не обрадуешься ей.

— Кого бить будем? — бодро спросил Углов, все еще надеясь смягчить народ.

— Тебя! — не принимая шутки, без тени улыбки ответил ему Уйгун.

Семен работал прорабом не первый год.

— Меня? Надо! — быстро согласился он. — Вот только вопрос — за что?

Уйгун побагровел.

— Так работать можно? Три дня сидим, восемь машин бетона приняли, сегодня уже день кончается, а бетона все нет! Мастер тебе пять раз сказал — дай бетон! Почему нет бетона? Чем нам платить будешь? Где совесть твоя? Где бетон?!

Слово «бетон» проскочило между наэлектризованными, возбужденными людьми, как искра между проводами, и мгновенно зашло всех. Рабочие закричали разом, перебивая друг друга и торопясь высказаться:

— К обеду первую ходку привозят!

— Ждешь-ждешь, аж посинеешь, пока привезут!

— Дают, как крадут! Сил нет так работать!

— В прошлом месяце еле-еле по пятерке на нос вышло, а в этом, видно, и того не будет!

Углов вскинул вверх руки и демонстративно зажал ими уши.

— Стой, — сказал он. — Не все сразу. Говори ты, Уйгун, сколько машин приняли?

Все стихли. Углов опустил руки. Уйгун отмахнулся.

— Вчера две, сегодня еще ни одной. Дальше так дело пойдет, махнем всей бригадой к начальнику — расчет брать! Все. Надоело. Все равно это не работа. Час работаешь, пять сидишь — стыдно!

— Ты погоди, Уйгун, ты не горячись, — примирительно ответил Углов. — Сам знаешь, как с бетонерами разговаривать, без подмазки и говорить не станут. Но вот мое слово — сейчас сам туда поеду, и через час бетон на объекте будет. Сколько машин примете? Пять пришлю, управитесь?

— Сто — управимся! — рявкнул Уйгун. — Пришли только!

— Ладно, — кивнул Углов. Теперь надо было поставить бунтарей на место. Он повел орлиным глазом по стройплощадке.

— Эт-т-то что такое?

Со стороны непокрытого еще гаража громоздились залежи строительного мусора, подпирающие стены.

— Значит, кругом дела полно, а вы бездельем мучаетесь? Все бетона ждете, а на остальное начхать? Аристократы? Это что?

Он снова повернулся к рабочим.

— Ну давай, давай, ребята, покурили и хватит. Пока бетон придет, как раз успеете место расчистить.

Люди нехотя потянулись к гаражу.

Семен, дождавшись, пока отойдет последний, погрозил мастеру кулаком.

— Я те дам вот сейчас машину! Велели делать — делай! Еще раз увижу, что люди бездельничают, голову сниму! На то ты и мастер. Ну да ладно. Смотри тут у меня, а я смотаюсь на бетонный. Будет вам бетон.

Он пошел к машине.

Сергея не удержался, буркнул негромко ему в спину:

— У хреновой головы всегда ноги виноваты!

Углов сделал вид, что не услышал. Он чуял за собой вину. Давно надо было разобраться с этим чертовым бетоном!

Семен чертом влетел к кабинку «ЗИЛа» и рывкнул шоферу:

— На бетонный!

Можно было, конечно, отчистить Сергея, он ведь тоже оказывался не без греха, но не стоило выливать раздражение на мастера. Углов сейчас берег его для более нужного дела. Вот прискачем сейчас на бетонный, там и разрядимся!

— Ну, погодите, ухари! Сейчас вы у меня увидите хреновую голову, — мстительно думал он, в нетерпеливом воображении пребывая уже на бетонном узле.

7.

«ЗИЛ» притормозил у проходной. Углов взглянул на водителя бешеными глазами.

— Чего встал? А ну по газам!

Водитель со скрежетом врубил скорость, и «зилкок» зверем влетел во двор. Во дворе особого разгона уже не было, и пришлось остановиться. Колонна самосвалов, подпиравших друг друга, от бетонного узла протянулась через весь двор. Конец ее доходил чуть ли не до ворот. Углов несколько успокоился, но запал был велик, и Семен бомбой вылетел из кабины. Конторка бетонного узла притулилась тут же, рядом с раздаточным бункером.

Дверь в конторку была отворена. Издали Углов заметил людское мельтешение, а подойдя ближе, окунулся в плотную волну густого мата. Война за бетон была, как видно, в самом разгаре.

Углов протиснулся сквозь гудящую толпу шоферов, тесно обступивших обшарпанный стол. За столом восседала плотная сорокалетняя бабеха с кудельками на висках. На нее кричали в десять глоток сразу. Со всех сторон к столу тянулись черные мозолистые руки с путевками, записками и талончиками на бетон.

Бабеха сидела, подперев щеку кулаком, и молча смотрела прямо перед собой. По всему ее равнодушному виду было ясно, как далеко ушла она своими мыслями от окружающих. Ей безразличны были и крики, и ругань, и прочее горячение требователей. Самая глубина этого непоказного, молчаливого равнодушия внушала всем невольное к бабехе почтение. Во всяком случае, пары выпускались относительно спокойно.

Оттеснив плечом двух дюжих мужиков, Углов наконец прорвался к столу и со всего маха грохнул по нему кулаком. Стол загудел. Подсочила, плеснув чернилами, кубическая стеклянная чернильница; ручка прокатилась по столу и упала на пол.

— Ты что ж это, Анюта, с нами делаешь?! — со зловещей сдержанностью спросил Семен. Раздатчица скосила на него прозрачные глаза и нехотя оторвалась от сладких грез.

— Еще один орелик явился не запылится, — насмешливо ответила она. — Силы-то накопил, силы-то — мамочки мои! Держите меня, а то испугаюсь.

Семен открыл было рот для ответа, но ответить ему так и не пришлось. От страшного, визгливого крика, ударившего в лицо, у него заложило в ушах. В ничтожную долю секунды сонная курица превратилась в разъяренную фурию.

— Нет бетона, русским языком говорю — нет! Насос полетел, слесаря с самого утра возят, да толку нет. Без воды какой может быть бетон? Что вы мне тут работать мешаете? А ну-ка вон отсюда!

Анюта кинулась в плотную толпу шоферов, как тигрица в середину антилопьего стада. Шофера шарахнулись от нее. В дверях возникла давка. Через минуту Углов, вместе с прочими, очутился на улице. Помятые ребра его слышимо похрустывали. Дверь конторки с треском захлопнулась. Рядом похохатывали шофера.

— Ну баба, ну жеребец стоялый!

Углов почесал в затылке. Что ж делать-то? Бетон следовало добыть, хоть лечь костями. Он поразмыслил и полез по железной крутой лестнице на отгрузочный бункер.

Наверху гуляли сквозняки и царило спокойствие. Двое невидных мужичков в промасленных робах, тихо покуривавших у разобранного насоса, встретили Углова не приветливо.

— Когда бетон будет? А кто ж его знает, когда он будет, — равнодушно отозвался один из них на угловский вопрос. — Слышь, Савельич, вот тут мужик интересуется, когда бетон будет.

Сидевший рядом Савельич поднял на Углова страдающие глаза. Семен глянул на него и присвистнул. Наш человек! Ну, все было понятно. До ремонта ли тут?

— Слушайте, мужики, вы мне тут муму не гоните, — сказал Семен строго. — Болеете, так и скажите. Все люди, а человек человеку друг.

Слесаря оживились. С них разом слетел налет расслабленности.

— Полечишь, что ли? — с надеждой спросил Савельич.

— Бетон будет? Только прямо!

— Что за разговор? — возмутился Савельич. — Да для хорошего человека хоть сто кубов!

— Когда?

В ответ Савельич молча протянул руку. Углов прищурился на него, стараясь прониць в мысли. Слесарь был светел.

— Нет, не обманет, — убедился Семен. Он решительно шлепнул на протянутую ладонь синенькую. В следующее мгновение Савельич уже гремел вниз по лестнице.

— А бетон-то? — закричал Семен.

— Сейчас Костя все наладит! — глухо донеслось снизу.

Семен обернулся к Косте. Тот уже лихо шуровал гаечными ключами. Углов почесал в затылке. Метаморфоза произошла поучительная.

— Где твоя машина? — спросил Костя, не разгибая спины.

— Ясно где, в хвосте, — ответил Семен.

— Сыпь к Анюте. Кинешь ей трояк, она тебя передвинет под течку.

Углов полез вниз. Уже с середины лестницы он запоздало вспомнил:

— А когда наладишь насос?

— Сыпь, сыпь! — донеслось сверху. — Пока машину подгонишь, заработает.

Спустившись, Семен снова сунулся в конторку. Еще через минуту Анюта лихо вылетела во двор. Семен шел за ней, усмехаясь в усы. Деловые ребята крутились на бетонном узле.

Буквально через пять минут во дворе заревели десятки моторов. Самосвалы крутились, съезжалась и разъезжалась на крохотном пятачке. Лихости перестроений, проводимых Анютой, позавидовал бы даже суворовский капрал. К тому моменту, когда на верху бункера зачихал хиленький насосик, угловский самосвал уже стоял под течкой.

Анюта стояла на крылечке конторки, глядя на отгрузку орлиным глазом. Мощный загревок нависал над ее крутыми плечами. Углов нечаянно глянул на загревок, и рука его сработала раньше головы. Раздался смачный хлопок. Семен удивился своему нахальству и отшатнулся, ожидая удара.

Анюта тяжело повернулась в его сторону. Глаза ее замаслились и превратились в невидимые щелочки.

— Ой, да ты што! — хрипло выдохнула она. — На людях-то.

Игриво улыбнувшись, она легонько толкнула Углова бедром. Тот отлетел в сторону. Грузно ступая короткими ногами, Анюта прошла в конторку. Перед тем как исчезнуть в проеме, она обернулась и призывно кивнула Семену. Дверь осталась приотворенной.

Углов опасливо глянул на темный проем и быстро побежал к самосвалу.

— Загрузился? — издали крикнул он шоферу. Тот кивнул из окошка кабины. Семен быстро отворил дверцу и плюхнулся на сиденье.

— А ну шустрей отсюда, — скороговоркой выплеснул он. Шофер обратил к нему недоумевающее лицо.

— Давай, давай шустрей! — умоляюще заторопил его Углов.

8.

Ударило уже двадцать восьмое, крайнее число. Крайним оно было оттого, что к первому надо было сдать в бухгалтерию готовые, проверенные и подписанные, наряды. Отступать было некуда. И главный инженер, и Дмитрий Григорьевич вспомнили на летучке и черта и чертову мать, и прорабы поневоле зашевелились. До двадцать восьмого шла суета и гонка с процентовками; приходилось умаливать, умасливать, уламывать неподатливых заказчиков. Эти пять-шесть процентовочных дней проходили под знаком шашлыков, водки и плова.

С утра прорабы появлялись на минутку в управлении, урывали машину под зад и разбегались по чужим конторам.

Заказчиков улещали и обжуливали, как только могли. В процентовки загодя вписывались самые небывалые внесметные работы в надежде, что пронесет и что удастся залить глаза, а в стройбанке тоже лопухнут и пропустят.

Тут шустрее всех управлялся Никола. Его представительная фигура внушала

невольное доверие. И если — дай-то бог — постоянный куратор объекта почему-то не мог выехать на место и поручал поглядеть на выполненные работы какому-нибудь помощнику, то Никола добивался необычайного.

Углов не родился с такими специфическими талантами, и ему приходилось ходить в середнячках. Но так не так, а и он брал свое. Упустить подпись на тысячной бумаге из-за сквалыжного прижима живой красненькой, казалось, и было слишком глупым, и Семен, так же, как и остальные, исправно жарил шашлыки и разливал по стаканам горячительный напиток.

К двадцать восьмому с процентовками в основном утряслось. Митряй скрепя сердце отменил на время многочасовые пятиминутки. Началось время закрытия нарядов.

С утра управление пустовало — хоть шаром покати: прорабы отсыпались до обеда. К четырем начинали появляться в конторе.

Стародавний, неизвестно кем и зачем установленный порядок соблюдался строже, чем заповеди господни: наряды следовало писать не раньше шести вечера, а заканчивать далеко за полночь.

К концу дня с объектов съезжались мастера, их усаживали напротив себя, давали в руки ручки, бланки нарядов, и похмельные головы начинали мучительно трудно вникать. Сначала работа шла туго. Но через часок в управлении появлялись бригадиры. У этих был свой интерес, и письменный труд становился повеселее. Однако мастера также имели свой интерес, начиналось немедленное сведение месячных счетов. Верховным жрецом, оракулом и судьей на ринге выступал прораб.

Бригадир был плоть от плоти и кровь от крови бригады: его заработок и заработок рабочих был связан неразрывно, и он ощущал себя бойцом во чужом стане, полпредом и лазутчиком. Бригада, посылая «бугра» на битву за правое дело, давала ему наставления.

— Ты, Иваныч, смотри не проморгай, как в прошлом месяце, — строго напутствовал его кто-нибудь из старожилов бригады. — Вон у Николы прораба по двенадцать с половиной на круг в прошлый раз вышло, а у нас еле-еле до пяти дотянули. Ты давай жми Угла-то. Скажи, все разбежимся, если и дальше будет так жмотничать.

Бригады следили друг за другом не хуже, чем свекровь за невесткой. Если в соседнем прорабстве, а не дай бог — в своем, другая бригада начинала зарабатывать больше, то сразу вспыхивали нездоровые страсти в низах.

Еще хуже было только тогда, когда не удавалось натянуть по восьми рублей на нос. Углов как-то по молодости лет попробовал один раз оплатить только те работы, что были выполнены на самом деле. О том жутком дне даже сейчас, пять лет спустя, было страшно вспомнить. Этот экономический эксперимент едва не стоил ему головы.

9.

Зарплату, как оказалось, регулировал вовсе не объем выполненной работы; зарплату регулировал средний прожиточный минимум; превышала она минимум — рабочие трудились, падала ниже — люди начинали разбегаться со стройки. Да и учесть все те множества самых разнообразных работ, какие походя выполнялись на любом, самом малом объекте, было невозможно — тут забастовала бы и министерская голова. С оплатой получалось примерно так же, как, скажем, в боксе, — там судили по количеству и качеству нанесенных и пропущенных ударов. Но мысленное ли это дело — точно учесть кто, кого, куда и сколько раз тяпнул?

То же получалось и в строительстве. Бригадиры и мастера достаточно хорошо знали, кто в течение месяца пахал, и закрывали наряды, руководствуясь больше этим самым смутным своим ощущением, а не нормативной казуистикой.

Над всеми довлела завораживающая цифра «восемь».

Закрывали по нарядам четыре рубля — рабочие выходили на работу через день. Пять — сидя на объекте, плевали в потолок. Шесть — начинали нехотя шевелиться. Семь — делали вид, что работают. Восемь! Восемь — была переломной цифрой. За восемь рублей основная масса людей была согласна работать!

Между восьмью и одиннадцатью рублями заработка в день лежал промежуток нормального честного труда. При одиннадцати уже никого не надо было подгонять. За двенадцать — трудились с потом. За четырнадцать — пахали! За шестнадцать — уродовались, как звери! За восемнадцать — соглашались и жить на стройплощадке. За двадцать рублей гарантированного заработка любой вчерашний лодырь становился героем труда. Такого послушания, такой безотказности в работе, такого осмысленного отношения к труду, какое словно само собой возникало в хорошо зарабатывающих бригадах и звеньях, Углов никогда не видел не только в жизни,

но и в кино. Да покажи ему такое в кино, он бы и не поверил: ведь там люди от премий отказывались.

Первые Семен столкнулся с системой больших заработков на пусковых объектах. На них открывалась зеленая дорога оплате по труду при прекрасной обеспеченности любыми материалами; когда поджимало время, так и начальство начинало трудиться всерьез, потому что важно было вовремя отчитаться. Стул под каждым начальником, как ни крути, а был только один.

Но вот отчитались, и кончались они, большие заработки.

На другой день Углов шел по стройке и не узнавал собственных рабочих — вчерашние спринтеры превратились в расслабленных старцев. Они вяло передвигались, спотыкались и путались в собственных ногах, инструмент валился из рук, и кажется, ничего на свете их больше не интересовало. Все разом разучились работать. Забить в стену гвоздь? — полдня не находилось знающего специалиста. Углов смотрел и только качал головой — перед ним были чужие люди. Те brave молодцы, что работали здесь вчера, бесследно исчезли, их словно поглотила прошедшая ночь.

Теперь можно было кричать и ругаться сколько душе угодно — все равно никто ни на что не реагировал. В глазах, сонно устремленных на него, Углов читал недоуменный и равнодушный вопрос:

— А тебе что, больше всех надо? Это за твою-то зарплату? Брось, парень, не суетись зазря.

А если он нажимал и дальше, принуждая пахать, то появлялось нечто вроде вялого любопытства:

— И чего это он так старается? Видно, крадет. Только так, а то стал бы он глотку драть?!

И Углов, вдоволь нашумевшись, обреченно затихал: все равно — кричи не кричи — особого толку не было; работа шла как везде — ни шатко ни валко, тютелька в тютельку на восемь рублей!

10.

Но теперь-то Семен был уже опытен и знал общие мечты. Если нигде не светили аккордные работы, то все бригады стояли за уравниловку, в нескрываемой сладкой надежде, что уравниют по самым высоким заработкам. Такое равенство устраивало всех, кроме руководства: выпадал бы из рук главный рычаг власти, рычаг заработка.

Бригады приходили на закрытие нарядов, заранее накаленные против начальства, ждущие от него всяческого коварства и заранее готовые к отпору. Впрочем, у каждого из них были свои проблемы внутри бригады. То в затылок жарко дышал наглый помощник, выскочка, то кто-то прогулял недельку, да и прочих обязательно набегало за месяц по два, три невыхода — много случалось всяких загадок и трудностей. Кого-то следовало, прижав, крепко взять в руки, кого-то, наоборот, помаслить, да и себя не стоило забывать на худой конец.

Мастера были в хорошем настроении. Наконец наступали те самые блаженные два-три дня, когда можно было не на словах, а на деле свести все накопившиеся за месяц счета. Все можно было сегодня выплеснуть в лицо полномочному представителю бригады и хоть немного отойти душой, власть насытившись его бестолковыми оправданиями. Процентки, к счастью, мастеров не касались — добывать деньги дело прораба; добыл — слава богу, не добыл — с него и спрос. А вот разделить добытое — тут решающим было их влияние и слово. Сейчас, единственный раз за весь месяц, можно было реально прижать бригадира и бригадировых любимчиков — горлопанов и наглецов. Сколько кому закрыть — вот это была настоящая власть, всем властям власть, а не пустая говорильня.

Замечательно еще было и то, что существовали прогульщики и что они были в долгу. Закрыть им все дни, а потом полный ажур: в любую субботу и любое воскресенье можно было легко вывести на работу целое звено. Да что звено — чуть ли не полбригады! И никто из провинившихся и не пикнул бы, и все без нервов!

Прогульщики, вообще-то говоря, были дар небесный. Трест перманентно лихо радело с планом; он постоянно бомбил управление телефонограммами — почему не работаете в субботу, почему не работаете в воскресенье?

Но из четырех ежесемейных суббот управление и так работало три без всяких трестовских понуканий — у самих кругом трещало, и принудить людей работать в последнюю оставшуюся нетронутой субботу, а тем более воскресенье, было, конечно, трудновато.

Тут-то и выручали прогульщики и прочие провинившиеся. Они были на вес золота. Конечно, в субботу, а тем более в воскресенье, никто особенно не утруж-

дался на рабочих местах, а они-то и подавно работали путем только до обеда. Но зато всегда можно было бодро отрапортовать где надо, что строители пашут не за страх, а за совесть, не признавая ни выходных, ни проходных! И овцы оставались целы — и волки спокойны. К семи вечера все заинтересованные стороны были на месте и примерно час работа кипела, как пар в котле. Через час прорабы знали, сколько денег можно взять в зарплату по подписанным процентовкам и сколько получается на круг по участку. Теперь надо было углубить дело, перейти на более низкий уровень, непосредственно к бригадам и звеньям.

Здесь уже начинали химичить мастера. Прорабы старались ни в какие мелкие, скандальные подробности не входить — ведь тому, кто постоянно находится рядом с людьми, на рабочем месте, виднее, кто пахал, а кто лодырничал. Кроме того, и мастеру должны были изредка доставаться не одни кости. А при довольном мастере и прораб мог жить как у бога за пазухой — порядок на линии с верхом покрывал все большие и малые огрехи руководства.

11.

Около восьми в прорабскую сунулся дядя Жора и мигнул Углову: мол, выдь на минутку. Углов не спеша встал из-за стола и пошел к двери. Он уже знал, зачем его зовут.

— Петрович,— сказал бригадир уважительно.— Сойди вниз на минутку, там у меня в сторожке кой-что припасено.

— Наряды же, дядь Жор,— залицемерил Углов, сглатывая невольную слюну.

— Да что ж наряды, впервой, что ли, закрываешь, или в последний раз?— усмехнулся дядя Жора.— Успеется. До ночи-то вон еще сколько.

Углов шагнул было по коридору, но приостановился.

— А мастер?— спросил он.

Бригадир нахмурился.

— Да ну его к бесу,— с сердцем ответил он.— Так и шнырит поперек, так и шнырит. Ну никакого с ним сладу. Я одно — он другое, я одно — он другое. Ты скажи ему, Петрович, чтоб не шибко задибался на людях.

— А чего там у вас?— заинтересовался Углов.

— Мы промеж себя разберемся, коли он тебе не заклал, а характер пусть перед стариком не показывает, попривержит. А то что ж, ведь сам знаешь, каково в одной берлоге двум медведям жить.

— У себя в бригаде ты полный хозяин,— успокоил его Углов.

Видно было, что вышла между бригадиром и мастером какая-то сшибка, о которой Семен еще не знал, и теперь мастер держал характер, прессовал дядю Жору сам, не вмешивая прораба. Углов усмехнулся: ну дави, дави — полезно иногда и бригадира против шерсти погладить, чтоб мягче был.

Он спустился с дядей Жорой на первый этаж, завернул в неприметную комнату, где ночами отсыпался сторож, и остановился. На столе — бутылка «Столичной», пара огурцов и несколько магазинных котлет в промасленной бумаге. За столом помещался вставший при появлении прораба дядь-Жорин помощник.

Углов нахмурился.

Это было распоследнее дело — допускать в свой высокий начальственный круг лишних людей. Пить с собственными рабочими?! Дядя Жора явно подбивал его нарушить первую прорабскую заповедь.

— Чего ты тут?— строго спросил он помощника.

Бригадир, увидев угловское недовольство, сразу засуетился.

— Да это так,— сказал он.— Вот Витек покараулил, чтоб не зашел случаем кто. Да ты иди, иди,— обратился он к помощнику.— Мы тут сами о чем нужно потолкуем. Петрович — мужик свойский, он зазря не обидит. Иди, там подождешь.— Он кивнул в окно на скамейку перед управлением.

— Что еще за обиды?— спросил Углов недовольно.— Ты опять, старый бес, чего-то затеваешь? Смотри у меня. Я тебе сколько раз говорил — не тащи сюда лишних людей.

Дядя Жора, ласково улыбаясь всеми морщинами жуликоватого лица, покачал головой:

— Вот люди, вот человеки. Ты не поверишь, Петрович, велел ему там подождать,— он опять кивнул головой на законную скамейку. — Так нет же, норовит в самый красный угол.

Бригадир хлопотливо подхватил бутылку, вмиг распечатал ее и разлил по стаканам.

— Ну, давай, Петрович. Дай бог, чтоб не последняя.

Отвислый, морщинистый кадык его быстро задвигался, водка словно провалилась в беззубый, шамкающий рот.

— Э-э-э-х-хх!

Углов шумно выдохнул воздух и «принял» первый стакан.

— Веришь, Петрович,— сказал дядя Жора, осторожно ставя на стол пустую посудину.— Парень-то хороший. И — дурак дураком. Скажешь бери — берет, скажешь неси — несет.— Он строго поднял палец:— Нет, ты вот меня хоть убей на месте, а я все тебе скажу, как на духу,— хороший, он и есть хороший, что бы тот мастеришка ни напел зазя.

Углов мигом догадался, о чем идет речь.

— Сколько?— спросил он.

— Што?— прикинулся дурачком дядя Жора.

— Ты ваньку-то не валяй,— беззлобно осадил его Углов.— Сколько прогулял твой хороший?

— Да что там,— бригадир сладко зажмурился.— У свояка на свадьбе погудел маленько. Что ж, дело молодое. Сам, Петрович, знаешь, как оно случается — только начнешь, а там спохватился, глянул, а уж недели нет.

— Семь дней подряд?— удивился Углов.

— Десять,— скромно поправил бригадир и, не давая излиться праведному прорабскому возмущению, мягко взял Углова под локоть.

— Ты пойми, Петрович,— парень-то уж больно хороший. Скажешь иди — идет, скажешь сиди — сидит. А что гульнул малость — эва, с кем не бывает! Опять же, что у нас, суббот не будет, выходных не будет? Мы с него всегда свое требуем. Он у нас теперь, считай, год на крючке сидеть будет!

— Год?— Углов подумал минутку и махнул рукой.— Ну, на крючке так на крючке!

— И то дело,— подхватил довольный дядя Жора, снова разливая по стаканам.— Ты, Петрович, жизнь правильно понимаешь. Ты людям, и люди тебе. А уж мы-то не подведем.

— Ладно, ладно,— остановил его Семен.— «Не подведем». За вами глаз да глаз, чуть упустит — наделаете дел.

Дядя Жора скромно потупился.

— Что ж,— сказал он.— Все люди, все человеки. Известное дело — рыба ищет где глубже. А и кто без греха? Он вон и поп — только в церкви батяка! Оно, конечно, и нам большой потачки давать не с руки — на то ведь и щука в море, чтоб карась не дремал. Такое оно и есть, ваше прорабское дело. А мы что ж, свою меру знать, конечно, должны.

— То-то что должны!— усмехнулся Углов.— Да если б еще и знали.

Бригадир осторожно приподнял стакан с водкой.

— Эх, Петрович,— сказал он.— Кто старое помянет, тому глаз вон! Где ты за нас, где мы за тебя — оно, глядишь, всем сестрам по сережкам и достанется. Ну, вздрогнем, что ли?

— Вздрогнем,— согласился Углов и опрокинул стакан.

Похрустели огурчиками. Дядя Жора, кряхтя, полез в стол. В руках у него появилась вторая бутылка.

— Стоп, стоп!— Углов предостерегающе поднял руку.— Пока хватит. Успеется, день-то еще длинный, раньше двух все равно не управимся. Ну-ка напомним, как фамилия этого...— он кивнул за окно.

Бригадир сказал фамилию. Углов повторил ее, запоминая, и шагнул к выходу. В дверях он остановился.

— Дядя Жора, я сейчас мастера сюда подошлю, так ты его маленько погладь.

Бригадир понимающе всплеснул руками.

— Что тут говорить? Да мы всегда навстречу, с полным нашим удовольствием. Лишь бы он...

Углов поднялся на второй этаж и зашел в прорабскую. Мастер его участка сидел за столом угрюмый и насупленный. Он, конечно, прекрасно понимал, зачем вызвали Углова, и не ждал от секретного дядь-Жориного разговора никаких для себя приятностей.

— Сергей,— сказал Углов дипломатично.— Там внизу дядя Жора кой-что организовал, ты загляни на минутку, не обижай старика, а то уж ты его совсем затыркал, чуть не плачет. Сам и пригласить боится, меня просит.

Мастер нервно дернул плечом.

— Как же, плачет. От него от самого кто хочешь заплачет. Все на свой лад норovit перевернуть. И проект ему не проект, и мастер ему не мастер! Чуть что — пойду к прорабу! Ну пусть идет! Развелось тут любимчиков. А у самого, между прочим, помощник десять дней прогулял!

Углов разом встал на дыбы. Ему не понравился гнилой намек про любимчиков.

— Что?!— цыкнул он грозно.— Какие такие десять дней? Какие такие прогулы? Где рапорта, где докладные? Это у кого, выходит, любимчики? Что ты мне задним числом загадки загадываешь? Значит, сначала сам покрывал, хорошим хотел быть, а теперь поцапался с бригадиром — о прогулах заговорил?— Семен хлопнул ладонью по столу.— Нет рапортов — нет и прогулов! Так и запомни. А еще раз такое случится — сам на них будешь деньги добывать! И чтоб к процентовкам тогда не прикасался, хоть из своей зарплаты плати. Последний раз закрываю, учти. На уголовском участке прогульщиков нет!— Семен задохнулся от собственного крика.— Ну ладно, считай, что ты мне ничего не говорил, а я ничего не слышал. Ясно? А теперь иди вниз, да не шибко там нажимай, впереди у нас с тобой еще ой-ё-ёй сколько писанины!

Мастер тяжело поднялся и, приняв вид незаслуженно обиженного, словно бы нехотя пошел к двери.

Углов проводил его глазами.

— Да, прорабом быть — не дворником. Тут случается, что и семи пядей во лбу маловато бывает.— Он был доволен собой.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1.

Вот уж полгода, как Лиза, уходя спать, запирала за собой дверь.

Невозможно было перебороть элементарную человеческую брезгливость, когда, глупо и пьяно улыбаясь, вставал на пороге спальни муж и требовал от нее невозможного. Лизина душа съезживалась от отвращения в крошечный кровотокающий комок.

Хорошо еще, что в последнее время Семен и тут, как видно, сломался. Он перестал скандалить, перестал мучить ее, ломясь в дверь спальни. Теперь, возвращаясь ночью, он напрямик шел на веранду и падал на лежавший на полу матрац. Видно, ничего уж больше стало ему не нужно от жизни, кроме своей растреклятой бормотухи.

— Ой, Лизка! Ой, дурища!— всплескивала руками загадочная подруга Сонька Калинова.— И што ж ты мучаешься! Да гуляй ты, гуляй! Тоже мне монастырница. Думаешь, в рай возьмут? Как бы не так! Эх, мне-то, бабе, и то жалко смотреть, как такое добро пропадает, и чего ради? А мужики-то, что ж ты думаешь, слепые?!

Лиза хорошо знала, что не слепые, но только слабо отмахивалась от бешеной Соньки. А та то разливалась майским соловьем, то пугала ее.

— Вот погоди, погоди, годы-то уйдут!— Калинова сладко расправляла крутые плечи и выпячивала вперед могучие груди.— Можешь у меня кой-чему поучиться, раз своего ума нет!

У Соньки, действительно, было чему поучиться. Ее стандартная по нынешним временам судьба укладывалась в два не менее стандартных слова — «разведенная женщина». Намучившись смолоду нечаянной беременностью и мучимая сейчас подрастающей безотцовщиной, она махнула рукой на свой погасший очаг и стала греться у чужих.

Теперь она делилась опытом с захиревшей в семейной жизни подружкой. Лиза слушала и не слушала ее. Ей не очень верилось в Сонькины приманчивые рассказы.

Да, она была живым человеком, ничуть не менее живым, чем шальная Сонька. И если женскую, главную ее суть жестоко топтали, и если любовь к мужу превратилась для нее в непрекращающуюся пытку и унижение, то это все равно еще не означало, что Лизин внутренний мир полностью и навсегда разрушен. Нет, где-то там, в затаенной последней глубине, на самой периферии сердца притаилась и жила еще робкая, призрачная надежда, что кошмар ее нынешней жизни — он временный. Что страшный сон этот когда-то кончится.

Но Лиза уже почти не могла связывать это свое будущее обновление с Семеном — нет, при мысли о нем сама собой погасала всякая надежда. Но было бы слишком несправедливо, если б оказалось, что она увидела белый свет только затем, чтоб мучиться и страдать.

Легко было Соньке болтать о сладких, угарных поворотах своей бабьей судьбы. Она и замужем-то была всего какой-то неполный месяц. Калинова ни сном ни духом не ведала, что это за чудо такое — своя собственная семья.

Лиза тянула семейную лямку истово. И вот минутным сумасшествием зачеркнуть весь труд своей прошлой чистой жизни? Да как же она сможет смотреть в глаза своей кровиночке Аленке!

Она знала с полной уверенностью, что обрушется и эта ее внутренняя подпора, так вовсе нечем и незачем станет жить. Можно было лгать и лицемерить в мелочах — окружающая Лизу житейская суета мало располагала к проявлению искренности и благородства, — но она была обязана оставаться правдивой и чистой перед единственным дорогим ей созданием.

Опираясь на этот внутренний стальной стержень, стояли они с Аленкой под свирепым ураганом, сокрушающим все на своем пути. Такие слабые, такие беззащитные стояли, но их было двое, и это помогало Лизе выстоять и не сломиться.

2.

Вечерами Лиза с ужасом ожидала наступления темноты, маялась, слонялась по комнатам, то ругала, то истерично ласкала Аленку, и лишь к часу ночи ложилась в свою белоснежную одинокую постель.

Дочка мирно посапывала в своей кроватке и чему-то улыбалась во сне. А Лиза вытягивалась на кровати в струнку, неудобно закидывала назад пылающую голову и привычно начинала считать баранов:

— Раз баран, два баран, три баран...

Бараны стада становились все гуще и гуще, количество баранов увеличивалось с каждым протекающим часом, они то собирались в одно огромное скопище, то снова разбредались по белу свету сиротливо, то выстраивались в длинные колонны, а Лиза, стиснув зубы и зажмурившись, все считала, считала:

— Раз баран, два баран, три баран...

Наконец ей становилось совсем неважно и, сбросив горячую простыню, она садилась на край кровати. Сердце колотилось и подкатывало к самому горлу, и чтоб хоть немного утишить его сумасшедший бег, Лиза тихо говорила в темноту:

— Все хорошо, все замечательно, все нормально. Все бараны сыты. Вот они уходят... Уходят... Уходят...

Молочно светилось рядом посапывающее Аленкино личико. Лиза подходила к дочке и поправляла сбившееся одеяльце. Потом снова садилась на кровать и опять вставала.

Ей немоглось. Наконец, почти оглохнув от тяжелых, густых ударов крови, она тихонько выходила из спальни и шла в гостиную.

Темнота была насыщена пряным запахом ночи, шуршаньями и скрипами невидимых существ, словно прячущихся в щелях и трещинах стен. Слышалось, словно с другого конца планеты, далекое неясное шевеление — огромный ночной мир спал, чуть вздрагивая во сне, как утомленный наработавшийся человек.

И только одна измученная Лиза, как привидение, бродила по темным комнатам, смутно белея обнаженными выпуклостями бедер и плеч. Затаив дыхание, она незаметно пробиралась на кухню и настороженно прислушивалась к тихим звукам с веранды.

Лиза в немом отчаянии стискивала руками пылающую голову. Горькие, слепые слезы текли по ее щекам неудержимым соленым потоком. Она глотала их, захлебываясь и тихо всхлипывая, не было, кажется, ничего худшего в жизни, чем это унижительное ощущение отчаянной одинокости.

В эти страшные минуты ей казалось, что, встань сейчас Семен и шагни ей навстречу, она бы с плачем бросилась ему на шею и забыла бы, и простила бы все.

Но муж лежал на полу, за открытой дверью, всего в двух шагах от нее, и не было расстояния большего, чем эти два коротеньких шага, намертво отделивших, отрезавших их друг от друга.

— Господи, за что? Да за что же? — иступленно шептала Лиза. — Чем же я так провинилась? Что вижу я в жизни, кроме горя и унижений?

Она подавленно вздыхала.

3.

Но вот, как будто внезапно очнувшись, Лиза ухватила за отчаянную, сумасшедшую мысль — перестать медленно и неуклонно погибать рядом с Семеном, а повернуть его на новую жизнь могучим женским орудием ласки.

Ох, как же трудно оказалось снова приучать себя к прежним своим чувствам и ощущениям. Казалось, пять лет семейной жизни начисто вывели из Лизиного сердца последнюю каплю любви. И если оставалось еще что-то, так только колебания от глухого равнодушия к безнадежной ненависти. Может быть, эти колебания

к ненависти и были единственным несомненным показателем, что оно еще открыто в Семенову сторону, ее истстрадавшееся сердце.

«Ведь отец же, отец он Аленке,— уговаривала себя Лиза, поворачивая мысли в другую сторону.— Я должна еще раз попытаться...»

По коже ее шли мурашки, когда она думала, что нужно пересилить себя, стиснуть зубы и опять лечь с Семеном в супружескую постель. Но это было последнее оружие, которое одно только и оставалось теперь в ее распоряжении. Что могло бы помочь, если бы это не помогло? Кроме того, не может же быть, чтоб все мужское начало полностью умерло в нем и что бормотуха начисто выжгла в нем его природное естество.

Впервые за последние полгода с неподдельным живым интересом вглядывалась она в зеркало.

Из зеркала на нее смотрела, в сущности, малознакомая ей молодая женщина с встревоженным выражением глубоких сине-зеленых глаз, крылатыми светлыми бровями и пышной женской статью, кой-как упрятанной в строгий черный костюм. Лиза невольно подивилась себе: и когда только она успела перекрасить свои наряды в темные — коричневые и черные — старушечьи тона?

Глаза ее тихо мерцали, влажная нежность пухлых губ, казалось, была создана для поцелуев. Лиза чуть повела крутым бедром, и черная юбка затрещала, вот-вот готовая лопнуть. Глаза ее затуманились, она глубоко вздохнула полной грудью: да, да, я правильно придумала. Мне под силу перебороть беду.

Этот настрой на новую борьбу за свое счастье стоил ей больших душевных усилий — да, слишком уж через многое нужно было переступить Лизе в глубине собственной души.

По силам ли была ей такая задача?

Час за часом, день за днем, неделя за неделей она накапливала в себе тепло, которому мешала ее бунтующая брезгливость.

Вот еще немного... И еще немного... И совсем чуть-чуть.

И наконец настал день, когда Лиза словно бросилась с обрыва в ледяную, черную воду.

4.

В воскресенье Лиза с утра подкрасила волосы, разобрала полузаброшенную на туалетном столике парфюмерию, вымыла полы, приготовила обед и к позднему вечеру, уложив Аленку в большой комнате, села на кухне, вновь, как и в былые времена, дожидаясь непутевого мужа. И когда, по времени, он уже должен был появиться, она зашла в ванную и открыла горячую воду.

Семен предчувствовал невероятную перемену — он пришел из парка на полчаса раньше обычного и в относительно человеческом состоянии. Пока он стягивал с себя пропыленные туфли, Лиза мельком взглянула в ванную — набралась ли вода? — и шагнула к нему как в пропасть.

Муж стоял, недоверчиво глядя на нее, — ее мягкие, полные губы, чуть тронутые кармином, тихо улыбались.

— Ты чего? — спросил Семен, попятившись.

Лиза взяла мужа за руку и повела в ванную. Он слегка упирался, но шел. Шел, не вырывая своей напряженной, недоверчивой руки, и Лизино сердце запело. Это была первая, пусть совсем маленькая, пусть незаметная, но победа.

— Раздевайся, — сказала она, подведя Семена к голубоватой, до краев наполненной ванне.— Снимай с себя всю эту грязь, мойся.

Семен молча взглянул на нее, на секунду задумался, потом что-то дрогнуло в его напряженном лице, и он начал стаскивать с себя мятую рубашку, брюки, дырявые носки, и тут остановился. Лиза вопросительно взглянула на него. Семен опустил глаза, потом быстро посмотрел на нее и как бы несколько смутился. Лиза чуть покраснела.

— Ну ладно, — сказала она, поворачиваясь. — Ты тут залезай в ванну, а я пока соберу на стол.

Лиза шагнула к порогу, но тяжелая Семенова рука вдруг легла сзади на ее плечо. Не поворачивая головы, Лиза мягко откинулась назад и на мгновение прижалась щекой к его ладони. Он смущенно кашлянул и отпустил ее.

Лиза вышла из ванной. Разом вылетело из головы все то страшное, что отделяло ее от Семена, слово позабыла она все тяжелые преодоления последних недель, и только билось в виске печальное сожаление: «Сколько потеряно, о, сколько уже безвозвратно потеряно!»

Сейчас Лиза верила со всей силой своей истстрадавшейся души, что ее женское счастье и ее женская доля зависят только от нее самой. Она верила, что

счастливая семья на девять десятых состоит из женской ласковой мудрости и лишь десятая отпущена на все остальное.

Семен плескался за тонкой стеной, и Лиза крикнула ему сквозь наверхнувшиеся слезы:

— Зубы не забудь почистить как следует! — И шепотом добавила: — Горе ты мое...

5.

Они сидели за обеденным столом друг против друга, как в добрые свои времена. Курился пар над тарелкой, белела свежестью тугая крахмальная салфетка, Семен шумно прихлебывал суп, а Лиза держала в руке забытую ложку и украдкой рассматривала его сосредоточенное лицо.

«Господи, — подумала она, сглатывая невольный комок в горле. — До чего ж исхудал... Под глазами темные круги». И рука, державшая ложку, заметно дрожала.

Лиза невольно отметила, с какой торопливой жадностью он ест. У нее туго заломило в висках — он был явно, давно, безнадежно голоден. Уходя рано утром в свой парк, он не брал в рот и малой крошки. Днем — это Лиза знала точно — только пил. Приходил домой поздно, очень пьяный, и не нуждался уже ни в каких разносолох. Чем же он жил?

Вот он перестал хлебать суп и поднял голову. Лиза отвела глаза.

— Все, — сказал Семен, устало отодвигая тарелку. — Наелся, хватит.

Лиза вздохнула.

— Поел бы еще... Не сыт же ведь...

В самом деле, десяток ложек супа и маленький ломтик хлеба — разве так ел он когда-то?

Теперь ему хватило едва ли не десятой доли того, что он съедал прежде.

Семен сытно вздохнул и поискал глазами по сторонам.

— Ты не видала, тут где-то у меня «бычок» должен был оставаться.

У Лизы вновь стиснуло горло. Семен забыл уже, когда держал в руках нормальную сигарету. Теперь ему перепали только чужие окурки. Лиза засуетилась, бросилась в спальню, распахнула дрожащими руками сумочку (на палас посыпались гребенка, зеркальце, помада) и выхватила из нее пачку хороших заграничных сигарет.

Семен взял в руки пачку и довольно прищурился.

— Да, — сказал он. — Это дорогие.

Те полтора рубля, которые стоила пачка, казались ему неслышанной суммой. С ума можно было сойти от непозволительного транжирства. Семен открыл пачку, вытянул сигарету и, не спеша закурить, с видимым наслаждением понюхал ее.

Лиза сидела напротив, стараясь улыбаться сквозь сдерживаемые слезы: как же он измельчал, ее муж, отец ее ребенка. А ведь не так давно он был главой и опорой семьи. Крупный, с широкой костью, все еще сильный, несмотря на пьяную диету, Семен теперь выглядел, как уцененный товар, забытый на пыльном прилавке. Внешняя оболочка его казалась почти сохранившейся, но стоит внимательно приглядеться, и увидишь, что внешние изменения были только слабым отголоском тех глубоких внутренних изменений, которые подточили и разрушили характер.

В ежедневной житейской борьбе он потерпел полное и безусловное поражение, сам осознал его и перестал даже бороться. О самостоятельной новой борьбе с бедой он не помышлял — смирился со своим крушением. Теперь он не хотел вновь встать на ноги, не верил, что такое возможно, а не веря, не хотел и пробовать.

Порочный круг этой логики имел начало, но не имел конца. Хотел Семен себе в этом признаться или не хотел, но не видеть абсолютно неизбежного он, конечно, не мог. И куда исчезла его бывшая бравая выправка, звонкие искры в голосе, кипучее веселье в глазах? Теперь он сгорбился, усох и выглядел чуть ли не стариком. Голос невнятен и хрипл, живые глаза погасли. Он молчал, пуская в потолок легкие дымные кольца, а она сидела напротив и напряженно вслушивалась и вдумывалась в себя. Настала решающая, поворотная минута, когда еще можно было направить ход своей жизни и в ту и в другую сторону. Лиза искала в себе какую-нибудь, сиюминутную подсказку, которая подтолкнула бы ее, стала бы спусковым крючком, искала и не находила ее.

То секундное волнение живого чувства, которое она испытала, стоя в ванной, растаяло без следа. Сейчас она больше жалела самое себя, жалела за глубокое, ледяное равнодушие ко всему на свете, которое незаметно становилось главным ее внутренним состоянием. Лиза хорошо понимала, что он был главным виновником

совершившейся в ней беды, понимала, что утрачивает, может быть, лучшее, что в ней оставалось — способность глубоко и сильно чувствовать,— но уже не хотела ничего менять в своей жизни. И если она в последнее время все же настраивала себя на такую перемену, то причиной этому был не Семен и не сама Лиза — причиной были огоньки Аленкиных глаз.

Сейчас выяснилось, что, хоть она и обдумывала долгие недели и свое положение, и предполагаемый успешный выход из него, все оказывалось не так просто, как ей вначале казалось. Главное препятствие было в том, что она уже не была теперь внутренне так уверена в своей правоте, как раньше. Оказалось, что она не знала себя до конца. И дело было не только в преодолении простой брезгливости. Словно тяжелая, неповоротливая махина засела в Лизин мозгу. Как-то даже неловко было думать о том, что они с Семеном вновь станут мужем и женой. Чужой человек сидел рядом с ней.

«Муж, муж, — говорила она раньше бездумно.—Мой плохой муж, мой бесовестный муж, мой никчемный муж...»

А ведь за этим словом «муж», оказывается, не стояло уж никакого реального содержания. Она попробовала повторить его еще раз: муж... муж...

Слово повисло в воздухе бессмысленным набором звуков. Сердце содрогнулось. Да стоило ли стараться, стоило ли вновь так унижать свою душу и плоть?

И только глупым пустячком притаилось вялое любопытство: а сумеет ли она, решится ли переступить порог спальни? Право, сейчас он не только не будил в ней чувств — напротив, всем своим видом начисто убивал всякое желание. Лиза принялась старательно раздувать в себе это случайное любопытство. А вдруг оно снова проснется, ее былое горение? Вдруг опять вспыхнет в ней то, что пылало когда-то так ослепительно ярко?

Лиза взглянула на Семена. Он сосредоточенно докуривал сигарету, и казалось, ничто в мире не интересовало его. Ее знобило.

Прошел месяц, прежде чем она решилась вернуться к своему намерению. Неожиданный случай стал тому причиной.

6.

Цыганка Бела вышла на базар с яркими намерениями. Ее «рома» вчера провел небольшое собеседование в тесном семейном кругу, и сегодня малиново-лиловый синяк украшал половину ее лица.

Ай, хорошо!

Бела была в восторге. Наконец-то муж проснулся и перестал смотреть на нее, как на пустое место. Вчера он чуть было не задушил ее.

Вот это было чувство, вот это была страсть! Словно опять молодость вернулась. Ночью Бела ласкала мужа с упоением. Она враз похорошела, и поющая душа ее закипела, как вулкан. Сегодня она принесет своему «rome» никак не меньше двадцати рублей.

Бела суеверно поплевала на ладонь. Слово было сказано — теперь пусть все базарные лопухи поберегутся!

Цветастая юбка полоскалась вокруг тощих бедер, как пламя. Ярко покрашенные губы выгнулись сердечком. Бела прищелкнула пальцами.

— Ой-е, люди! Ведь каждый день — праздник!

Ну прямо ноги рвались в пляс! Колода старых, засаленных карт затрещала в ее руках. Городской базар гудел тысячью красок и голосов. Время шло к десяти. В широкие проходы меж длинных, забитых снедью прилавков хлынули толпы народа. Казалось, в этой многоликой судорожной мешанине нельзя различить отдельных людей.

Но Бела, уперев в бедро крепкую руку, зорко повела жгучим глазом, просеивая толпу.

— Есть! — щелкнуло в ее голове.

От автобусной остановки, через асфальтовый толкучий пятачок, растерянно двигалась молодая женщина с копной распущенных ярких волос.

Лиза пролежала все воскресное утро без сна и движения. Давно уже следовало встать, но вставать — означало бы снова начинать жить, а именно этого ей не хотелось. Нехорошее предчувствие со вчерашнего утра теснило ей грудь, и она оставила Аленку на воскресенье у бабушки. Возвращаясь вечером домой, Лиза увидела на улице — как сердце чуяло! — шатающегося, неизвестно куда бредущего мужа. Пришлось чуть ли не на себе волочь его домой.

Она сгорела от стыда, пока дотащила его до дверей. Теперь страшно было и подумать показаться на улице — казалось, что ее унижение и позор видел весь город.

Конечно, только мужу все было нипочем. Раным-ранехонько он возился на веранде, потом жадно глотал воду из холодильника, а с первым рассветным лучом хлопнул дверью и был таков.

Лиза поплакала в подушку бесслезно — уже и слез никаких у нее не осталось — и долго потом лежала не шевелясь, впав в полусонное томление.

Но вставать было все же надо. В холодильнике хоть шаром покати, а за окном плясал единственный за неделю Лизин хозяйственный день, времени у нее в рабочие дни не доставало на магазин.

Она скрепя сердце поднялась, кой-как причесалась, посмотрела в зеркало на свое опухшее несчастное лицо и безнадежно махнула рукой: какие там еще прически делать? И так сойдет! Тут жить не хотелось, не только причесываться.

Выйдя на улицу и опустив глаза, Лиза двинулась, опасаясь встретить знакомых, по тихим воскресным улицам. Базар располагался неподалеку. Авось, никто не встретится.

Бела тихонько причмокнула, увидев ее, и сорвалась с места. Она сразу узнала эту мельком виденную ею вчера молодую женщину, тащившую на себе пьяного мужа. Беле остро врезались в память полные слез потерянные глаза и багровое от стыда лицо. И Бела равнодушно и профессионально подумала, что не мешало бы встретить эту растрепанную женщину одну и нагнать на нее страха, а заодно и облегчить от тех денег, какие, может, еще не пропил ее веселый муж.

Бела ловко пристроилась рядом. Масляной лаской источаясь, запел ее пронзительный от рождения голосок.

— Не спеши, красавица, от судьбы бежать; на другую набредешь — еще хуже покажется. Ты свою судьбу разгадай, ведь в ней секрет спрятан, а кто секрет знает, тот и счастлив бывает. Не гони цыганку, гони молдаванку, у той глаз слепой, вокруг правды бродит, да правды не скажет. А твой секрет у мужа на сердце лежит, а сердце его в чужих руках бьется.

Лиза невольно вздрогнула и остановилась. Цепкая Белина рука мягко подхватила ее под локоток.

— Что вы, о чем вы? — испуганно спросила Лиза, стараясь высвободиться.

Бела посмотрела ей в глаза долгим, сожалелим взглядом и наклонилась к Лизину уху:

— Знаю, знаю, все знаю, все вижу. И что на сердце лежит, и что от сердца бежит, и что в душе хоронится. От людей скрываешь — от судьбы не скроешь. Цыганка не молдаванка, прямо говорит. Присушил муж твое сердце, да своего на стороне лишился. И рядом весь, и некого есть. Глаз черный уродливый, глаз карий уводливый. Не цыганку спроси — карты спроси, не я скажу — они скажут.

Бела ловко развернула веером черную замызганную колоду.

— Вот карты цыганские, а не молдаванские. На семи ветрах веяны, тремя заклятьями заговорены. Глаз не крутят, судьбы не мутят, а все, что есть и будет, на ладонь кладут.

Лиза слушала как зачарованная. Сердце ее трепетало. Бела незаметно потянула клиентку за лотки с товаром. Лиза, бросая затравленные взгляды в стороны и слегка упираясь, двинулась за ней. Там, за деревянной высокой будкой, плотно прижав Лизу к забору, Бела ухватила ее за руку и развернула судорожно сжатую Лизину ладонь. Быстрая скороговорка ее вконец оглушила и заморочила тяжелую Лизину голову.

— Не скажи водица, а скажи мокряница, не скажи огонь, а скажи не тронь! Не колдовству и наговору, а цыганкину приговору. Черное сними, белое покажи, глаза сорви с души! Чужое в яму, а свое прямо. Тьфу, тьфу!

Круто изогнувшись, Бела ловко сплюнула через плечо.

— Не лежит и не горбится, а стоит молодлица! Глаз долит, да душа болит. Скажет цыганка — верь! Твой путь во тьме лежит, да заговорным картам открыт. Позолоти руку, красавица, карты говорить хотят, да скупой руке не открыть дороги.

Лиза, испуганно суетясь, вывалила горсть мелочи на цыганкину руку. Бела досадливо сморщилась и стряхнула мелочь в необъятный карман.

— Да не мне на руку положи, себе положи, мне ничего не надо, я тебе и так погадаю — ты картам путь открой. Которую дорогу не золотишь, по той и не ходишь. Тьму рассеяй, свет разожги. Где золото — там и свет: больше золотишь — дальше судьбу свою видишь.

Лиза порылась в кошельке и сжала в кулачке красную бумажку. Белины глаза остро сверкнули, и она ласково коснулась Лизиной руки.

— Да ты разожми ладонь-то, не бойся. Здесь обмана нет. Карты золотить надо, тогда они верно говорят.

Она легко коснулась колодой скомканной бумажки, повела пальцами, и десятка таинственно исчезла с Лизиной ладони. Зловещий шепот ударил в ее испуганные уши:

— Лежит гора, а в горе нора, да камень Аламан, да камень Адаман, а за камнями путь — никуда не свернуть. Две беды, а посередке третья. Счастьем жизнь полнилась, да горем повернулась.

В Белиной руке затрепетали крестовый король и червонная дама.

— Сама золотая, да муж треф, черное к золоту катилось, да дорогой потерялось. Цыганская карта без обману говорит. Вот он, муж твой, черными кудрями шевелит.

Она ткнула короля прямо в Лизино лицо. Та потрясенно ахнула и прижала руки к груди.

— Да, да, он правда, он действительно брюкет!

Бела усмехнулась: еще бы не правда, еще бы не брюнет — уж на память-то она не жаловалась.

— Была промеж вас любовь большая, да горе кругом рыщет, себе поживу ищет. Чужой глаз счастье твое увидал, темный глаз, с карим схож, всем нехорош. Вылетело слово — и пошла беда у тебя гостить. Ох, красавица, сидит чужая душа в муже твоём, сидит и сама себя вином заливает.

Лиза вздрогнула.

— Как заливает? Почему? Какая душа? — спросила она.

Бела скорбно покачала головой.

— Вошел карий глаз, вошел женский глаз в мужское сердце, и тоской его грызет, и от тебя отбивает, а мужская душа слабая, она веселья ищет, вот вином и спасается. Ты, красавица, душой чистая, простая, и знать своей беды не знаешь, и ведать не ведаешь. Не я скажу, карты скажут. Вот она, разлучница жизни твоей, смотри! Непонятно для глаз, словно сама собой, из колоды показалась дама пик. Лиза схватилась за сердце.

— Но я же ничего не знала, — прошептала она. — Что ж мне теперь делать?

Бела победоносно шлепнула рукой по колоде.

— Ты не знала, да карты знают. Не верь молдаванке, а верь цыганке. Карты мои заклятые. Что скажут, то и будет.

Еще через пять минут Лиза узнала, что кареглазая злодейка с восточным профилем принялась за Семена давно. Во всяком случае, сумасшедшие его запой последнего года явно не обошлись без ее прямого участия. Семен тоже, как выяснилось, мучился и страдал от кареглазой порчи, а его пьянка была лишь следствием потусторонних дел некоей невыясненной особы. Кем она была конкретно, понять Лизе решительно не удалось. Карточный язык не очень давался неофитам — от казенных домов и чужих хлопот у нее явственно затрещало в виске, а смысл все ускользал, ускользал как дым сквозь пальцы.

Гадание шло неровно, оно то затормаживалось на самом трепещущем месте, то прыгало вперед, подстегнутое банальной земной причиной. Кошелек в Лизиных руках пустел, а тайн впереди оставалось еще разлитое море. Лиза поневоле решила ограничиться главными из них: в чем сейчас состоит беда и как ее преодолеть?

Бела выяснила причину несчастий со смущающей легкостью и дала совет, пронзивший Лизу до глубины души.

— Сглаз не сказ, рукой не отведешь. Да заговор цыганский любую беду отшибает. Скажу тебе, как бабка моя говорила. Сто лет она на свете прожила, на сто первом ушла в иные края гадать. Мне велела одну правду говорить, не как молдаванки. Сглазили тебе мужа, а сглаз через заговор на тебя положили. Знаю, знаю, все знаю. Кровью петушиной кость мазали. Каждый день по той кости ты ходишь. На тебя, красавица, кость зарыли.

Лиза отшатнулась.

— Какую кость? Куда зарыли? — спросила она со страхом.

— А такую. На работу через калитку ходишь?

Лиза кивнула.

— Каждый день через нее идешь?

— Да.

— Вот под этой калиткой и зарыта на тебя кость. А ты на нее, на свою беду, каждый день наступаешь. Вот кровь и горит, вот порча и идет.

— Что ж делать? — спросила потрясенная Лиза. Голова ее закружилась. Она была не на шутку напугана. Словно яркий солнечный день вдруг померк вокруг нее.

— Есть способ, — ответила цыганка. — Рано утром приходи на то место, где кровь зарыта, плюнь два раза через левое пречо и скажи: жила беда, ушла как вода. Теперь пусть ко мне бежит, то, что на сердце лежит.

— И все? — спросила Лиза с жадным доверием.

Цыганка еще раз внимательно оглядела ее.

— Как кость бросишь, в тот день мужа не ругай. Душа его отпущена будет. Сильно ласкать надо, чтоб к другой не ушла. Снова к себе приваживать.

Лиза замялась.

— А как ласкать? — спросила она чуть слышно.

Цыганка насмешливо покачала головой.

— Ай, как спросила! Ты молодая, чего тут объяснять. Так ласкай, чтоб душа его в рай ходила! Утром встанет — увидишь: не вино просить будет, любовь просить будет. Цыганка не молдаванка, всю правду говорит.

Она вильнула бедрами и пропала, точно сквозь землю провалилась. Лиза постояла еще немного, не соображая, во сне или наяву произошло с ней необычайное происшествие, и тихо направилась домой. Новые мысли целиком захватили ее.

7.

Дождавшись первого же относительно трезвого Семенова появления, Лиза отправила его в ванну. Повторилось все, что предприняла она в прошлом месяце — купание, кормление, курение. После всех процедур Семен зевнул, потушил в тарелке сигарету и нерешительно направился на веранду. Лиза поднялась со стула и взяла его за руку. Повинуясь усилию ее маленькой, мягкой руки, Семен молча повернулся и пошел следом.

Уличный фонарь бросал мягкий, рассеянный свет в глубину комнаты. Чуть отсвечивал полированным, пластиковым боком высокий шкаф в углу. Таинственные теплые искры неожиданно загорались в глубинах зеркал трельяжа и так же неожиданно гасли. По спальне плыл прозрачный осязаемый полумрак, и вся она, казалось, походила на волшебную пещеру Аладина, покинутую разбойниками. Белейшие прохладные простыни притягивали к себе. Чуть покачивался от легкого сквозняка круглый вишневый торшер за изголовьем.

Семен невольно поежился. Он отвык от такой богатой обстановки.

— Садись, Сема, — мягко сказала Лиза, опускаясь на край постели.

Он молча опустился рядом и привычно сгорбился.

— Аленка сегодня с утра кашляла, — продолжала Лиза, опуская руку ему на плечо. — Как бы опять не заболела.

Семен хрипло откликнулся:

— Сквозняк тут у вас. Ты не смотри, что жарко. Сейчас чуть продует, и вот она, простуда. Много ли малышке надо.

— Да раскрывается она ночью, — пожаловалась Лиза. — Я уж десять раз за ночь встану, закрою, а смотришь — через пять минут одеяло опять все в ногах.

— Да... — неопределенно отозвался Семен.

Этот начальный их, после долгого взаимного враждебного молчания, как бы деловой разговор об Аленке был необходим как первый робкий шаг навстречу друг другу. Тонкий безошибочный инстинкт вел ее сейчас по правильному пути. Она заговорила не о том, что мучило ее больше всего на свете — о Семеновом беспобудном пьянстве и жестоком разрушении их семьи. Нет, совсем не о том. Лиза понимала, что Семен ждет именно этого неизбежно главного их разговора, но начать с упреков означало бы безнадежно испортить все дело с самого первого начала.

Что могло сейчас их сблизить, что могло хоть немного подвинуть друг к другу, что могло успокоить его подозрительную и агрессивную настороженность? Только Аленка. Дочка, их общее дитя, было тем единственным нерушимым началом, которое, помимо их отдельных воли и желаний, могло вновь привязать их друг к другу. Семена, не откликнувшегося на Аленкины беды, незачем было и окликать.

— Устаю я очень, Сема, — тихо сказала Лиза, прислоняясь к мужу круглым теплым плечом. — Целый день на работе. Кручусь, как заведенная, то одно, то другое, то третье. Аленка последнее время стала прихварывать, и все время такая возбужденная. Да и сама я что-то совсем расклеилась, нервы никуда не годятся, кричу на нее, сержусь по всяким пустякам. А потом такие головные боли, что хоть на стену лезь. Сажу и плачу.

Семен молчал, тяжело и хрипло дыша.

— Ведь мы с тобой не так уж теперь молоды, — сказала Лиза подавленно. — И оглянуться не успеем — жизнь пройдет, а мы и не жили. И дочку надо поднимать, и сам ты, Сема, не в порядке... Сердце мое рвется.

Лиза тихо и безнадежно заплакала. Сказалось и выговорилось не то, что хотелось и было задумано, а сказалось и выговорилось то, что не сказать и не выговорить

ей было не под силу. Мимо ее волевых, мимо обдуманых ходов выплеснулась горечь, переполнявшая изболелое сердце, и больно ударила Углова по лицу.

Он завозился, неловко обнял Лизу за плечи и смущенно пробормотал:

— Ну что ты, мать? Ну хватит, хватит.

Тяжелая ладонь его робко погладила Лизину спину, и он выдавил из себя с явным усилием:

— Вот увидишь, мать, все еще наладится.

Лиза, тихо всхлипывая, бормотала что-то невнятное, а Семен все гладил и гладил ее по спине негнувшейся, виноватой рукой.

— Мне ведь уже и жить не хочется, Сема, — с трудом вымолвила она. — Ведь если б не Аленка, так я давно бы на себя руки наложила. Никаких сил моих больше нет.

Семен беспокойно заерзал.

— Ну что ты? Зачем так-то? Это ведь я... — Он осекся и замолчал.

Текли за минутами минуты, и тьма вокруг делалась гуще и плотней. Сейчас каждый из них думал о своем. Мир кипел вокруг, врываясь тысячами звуков и запахов в их затерянное уединение, но они не замечали могучего биения окружающей жизни. Их одинокий, бесплодный, каменный остров лежал за пределами земного круга — печальный и угрюмый, он словно был отмечен роком.

Но пока жив человек, нет в мире силы, способной до конца омертвить его сердце. Человеческие чувства так же вечны и неистребимы, как сама жизнь. И тот здоровый, живой инстинкт матери, жены, продолжательницы рода и хранительницы очага, что из самой седой, из самой забытой древности протянулся тысячько нитей в наши дни и выткал, и выковал Лизину душу, — этот неумирающий инстинкт властно проснулся в ней в нужное время и дал ей новые силы и новое мужество.

— Нет, Сема, — сказала Лиза, обнимая мужа. — Так жить, как мы с тобой живем, больше нельзя. Нам надо вместе перебороть беду. Нет у нас с тобой другого выхода.

Семен тяжело вздохнул. Тяжелые, как камни, слова, больше похожие на хрипы раненого, полились из его уст.

— Ты знаешь, Лиз, я ведь и сам лежу по ночам и все думаю, думаю. Никак не могу спать, от мыслей задыхаюсь, а придумать ничего не могу. Хоть бы сдохнуть мне, что ли, освободить вас! И уж сам я себе стал в тягость.

— А Аленка? — горячо подхватила Лиза. — А о дочке ты подумал?

— Да что ж? Все равно вам от меня никакой помощи нет, один вред да расстройство. Я же все понимаю. Вам без меня лучше будет.

— И думать об этом не думай, — прервала его Лиза. — Как это ребенку может быть лучше без родного отца? Да и я... Ты ведь только скажи, Сема, как тебе помочь, чем помочь, — а уж я из кожи вон вылезу, только бы ты наладился. Ну скажи мне, Сема, милый. — Лиза охватила его извечно женским, милым движением ласкающих рук. — Ну скажи мне, ты ведь можешь не пить? Ты ведь можешь бросить эту проклятую заразу? Ведь все остальное мы бы с тобой шутя решили.

Семен сглотнул вязкую слюну.

— Не знаю, — ответил он, помолчав. — Я раньше думал, что пью, только когда хочу, а стоит по-другому захотеть, так разом брошу. А сейчас вижу, что нет: и хочу — пью, и не хочу — пью! Уже не могу не пить. — Он немного подумал и сказал с тоской: — Вот ты, может, не поверишь, а ведь я не хочу, уже совсем не хочу пить, а вот пока не выпью, сам не свой, умереть, кажется, легче, чем не опохмелиться.

— Ну давай тогда лечиться, Сема, что ж иначе делать-то? Надо ведь как-то себя перебарывать. Вон вчера по телевизору показывали — лечат же, и ничего, вылечивают. Работают потом люди, живут по-нормальному, не пьют.

Семен зло фыркнул в ответ:

— По телику! Вылечивают! Вон они леченые, полпарка их, леченых этих, ходит. Они ведь потом еще хуже пьют, леченые эти!

— Хуже? — подхватила Лиза. — Да уж куда хуже-то, чем сейчас? Хуже не бывает! Нет, Сема, тут одно спасенье, один выход — лечиться и не пить потом совсем!

— Совсем? — недоверчиво протянул Семен, подумав. — Даже пива?!

Это показалось ему дивно, неправдоподобно и удивительно. Как? Вести такую жизнь, в которой не придется выпить даже кружки пива? Да нет, такой жизни просто не может быть!

Он сам, вообще-то говоря, не очень любил пиво — градус не тот. Дуешь, дуешь, а толку чуть. Да и кайф от него какой-то дурной. И все же? Не выпить пива? Ну еще с тем, чтобы окончательно не пить водки или вина, он мог как-то примириться и понять, что тут нету иного выхода, — но кружка пива?!

Против такого полного ограничения протестовало все его существо. Вот он идет, скажем, с работы в теплый летний вечер. Усталый, намаившийся идет. И вот на углу

стоит пивная цистерна, вьется вокруг нее народ, стучит мокрыми пенными кружками, горячо толкует обо всем на свете, и кто-то знакомый, увидев Семена издалека, громко кричит ему через улицу: Сюда, сюда, Угол! Я уж взял тебе! — и поднимает в знак приглашения тяжелую ребристую кружку. И не перейти после этого через дорогу, и не взять в руку скользкую дужку прохладной посуды, и не сдуть, растягивая удовольствие, пышной шапки пены, и не сделать с устатка трех-четырех блаженных, ледяных глотков?! Это показалось Семену требованием слишком обидным, слишком несправедливым и насмерть унижающим его мужское достоинство. Углов невольно завозился и крякнул. Не выпить пива? Мысли его невольно приняли другое направление.

Лиза говорила просительным голосом что-то свое, бабье и жалкое, а он сидел рядом, отрешенный от всего на свете, и думал о том, что захватывало его с каждой истекающей минутой все сильнее и сильнее. Да, хорошо было бы сейчас тяпнуть кружку «жигулевского». Эх, если б Лиза была баба как баба, так уж могла бы озаботиться — припасти в холодильнике хоть полдюжины бутылок. Полтора рубля на пачку заграничного курева не пожалела, а ведь это все равно что выкинула — на те же деньги хватало бы и пачку «Примы» взять, и пару пива. А добавь рубль? Вот оно уже и на бормотуху потянуло! Курить-то, в сущности, все равно что, а расход какой вышел неделовой. Эх, как бы сейчас оно выстоялось, выделеноло в холодильнике! Как впору бы пришлось! Да разве дождешься умного дела от этого куриного племени? Не пей, не пей! В парк не ходи! Да разве пошел бы он в парк, жди его в холодильнике хоть полдюжина пива? Да он и думать не стал бы ни о каких походах, не то что ходить!

Семен нетерпеливо заерзал. Ему казалось, что никогда в жизни он так не хотел выпить эту несуществующую кружку пива, как сейчас.

Эх, Лизка, Лизка! Простое, видишь ли, дело, а и того ей толком не сотворить. А самому достать бутылок уже негде, время позднее, да и денег нет. И так жизни никакой, а тут своя законная баба даже не в пузыре — какой там пузырь? — в кружке пива мужу отказывает!

Он был вне себя от ярости. Намазалась, наштукатурилась, стерва холеная. А для кого, спрашивается? Хахаля ждала, не иначе! Для мужей так не штукатурятся, уж Углов-то знает. Ишь ты, разговорилась: ты покушай, ты полечись, — сразу видно, что перепугалась до смерти!

Тут Семена бросил в жар. Ему сразу стали ясны ее хитрые пустые разговоры. А он-то, дурак, раскис, развесил уши. То-то она сразу кинулась к нему, едва он переступил порог, и поволокла напрямик в ванную.

Ох! Семен даже вздрогнул от нечаянной, все высветившей разгадки. А туалет-то?! Ведь он проскочил мимо туалета следом за Лизой и даже краем глаза не заглянул внутрь. А в нем и было все дело, там внутри и пряталась отгадка сегодняшних небывалых, страшно подозрительных ходов. Семен мог собственной кровью, землей, хлебом поклясться, что в туалете прятался от него чужой мужчина!

Углову вдруг смутно припомнились какие-то неясные шорохи, доносившиеся из туалета. А ведь Семен по приходе не обратил на них никакого внимания, просто обманутый хитрой, развратной женщиной!

Точно, так оно и было! Вот тебе и расхлупался! А тут все было гораздо проще, гораздо понятней.

— Врешь! — прорычал разъяренно Семен сквозь стиснутые зубы.

Он вскочил, отшвырнув жену на край кровати, и, нечленораздельно хрипя, кинулся в туалет. Ошеломленная, ничего не понимающая Лиза осталась одна сидеть в темноте.

«Господи, да что это с ним?» — подумала она.

А Семен, тем временем, тигром проскочил тесный коридор и гулко сунулся в дверь туалета. По темноте он не заметил закрытой защелки и с размаху ударился лбом о запертую дверь. Яростно взвывая, пнул дерево босой ногой и, разом задохнувшись от боли, присел, ощупывая руками обожженные пальцы ног. Немного отойдя, он попытался открыть задвижку, но негнувшиеся пальцы плохо слушались его, и, мгновенно обозлившись, он с размаху двинул в дверь тяжелым плечом. Шурупы вылетели из дерева, дверь открылась, Семен дрожа от нетерпения, зажег свет, — тихо журчала вода, стекая в фарфоровую чашу, молочно светились кафелем стены и сонно бормотал чуть тронутый ржавчиной кран. Семен смотрел и не верил глазам своим — слишком уж подозрительно невинной выглядела увиденная им картина.

Да, ловко они маскируются, Лизка и ее хахаль. Он глухо застонал и заколотил себя по глупому, доверчивому лбу: эх, как же он поддался на такую простенькую уловку и проскочил мимо чужака?! Ведь стоило только вышибить дверку, и он увидел бы гада. Теперь доказывай свою правоту. Лизка только внаглую отопрется от очевидного да еще, пожалуй, станет корчить из себя святошу и раздувать разные обиды.

Семен вяло подумал, что хорошо было бы сейчас учинить ей допрос с большим пристрастием и вытянуть из нее всю правду, но где была гарантия, что не выдержит и расколется? Не было такой гарантии. А попусту что ж глотку-то драть?

Семен погасил свет, постоял немного в душной темноте и потащился на веранду. Там было легче всего укрыться от семейных обманов и Лизкиного коварства — матрац был его надежным убежищем. Знакомый вид привычно успокаивал Семенову взбудораженную душу. Пройдя ошупью через темную кухню, он вышел на веранду, подошел к месту, где должен был лежать его матрац, и ахнул — матраца не было! Семен протер пальцами глаза, пошарил ногой — может быть, темнота и возбуждение чувств обманывают его? Нет, матраца действительно не было. Он не мог ничего понять.

Что случилось, что произошло за его сегодняшнее отсутствие? Семен перебрал в голове различные возможные причины: пожара не случилось, переезжать они тоже никуда не собирались — куда же мог исчезнуть его матрац и почему он вообще исчез?

Вдруг Семен разом, в одну секунду, все понял: конечно же, зачем и кому он нужен теперь в этом доме? Он мешал им, мешал их веселому времяпрепровождению — мог войти в квартиру во всякую неподходящую минуту и испортить сладкие развлечения! И вот как хитроумно, как подло они придумали от него избавиться — взяли и разгромили его единственное, его последнее прибежище. А ведь он, кажется, ничего не просил и не требовал у них, только бы его оставили в покое, только бы не трогали последнего — его отдыха и успокоения души, старого полосатого лежака на веранде!

Но нет, им всего было мало! Они искали, чем унижить, чем стеснить его жизнь, и напали на главный след и разорили сокровенное. Они забрали и спрятали куда-то, а вполне могло стать, что и выкинули его постель. Больше чем постель — его спасение, — выкинули, в злой, подлейшей надежде, что он не выдержит этого крайнего унижения и сам уйдет из дома.

Так нет же! Семен не собирался безвольно уступать их желаниям без всякого сопротивления. Они забрали его матрац, они разорили его жизнь и его жилище? Ну что ж, он обойдется и без матраца. Вопреки всем их злодейским умыслам, он будет жить так же, как и жил, он все перетерпит и выдержит, но пусть и они поберегутся, пусть и они поопасаются заходить слишком далеко — терпение его не безгранично, и он сумеет за себя постоять!

Семен сильно выдохнул заломившей грудью и решительно опустился на пол. Он лег на теплую крашеную поверхность, положил локоть под голову и повозился, умащиваясь поудобней. Что и говорить — лежать на бетоне без матраца и подушки было несколько жестковато, но другого выхода не предвиделось и приходилось принимать новый поворот судьбы таким, какой он есть.

А теплый, нагретый за день воздух окутывал Семена бесплотным ласковым покрывалом, тонко верещал сверчок в углу веранды, тихие звезды протягивали к нему с неслыханной высоты свои тонкие, прозрачные пальчики — волшебная книга природы была открыта на одной из самых увлекательнейших своих страниц и ждала только сердца, способного и желающего прочитать ее. В каждом звуке, в каждом исчезающе малом своем проявлении мир был прекрасен. Радость бытия переполняла этот мир, и на тысячи разных голосов звал он людей присоединиться к этой радости.

8.

Лиза терпеливо сидела в спальне, дожидаясь мужа, — она не услышала, как Семен прошлепал босыми ногами на веранду. Вот прошло десять минут, двадцать, тридцать — его все не было, и Лиза забеспокоилась. Недоумевая, поднялась она с кровати и пошла искать мужа. Она заглянула в гостиную, ванную, туалет — везде было темно и пусто. Она бросилась на кухню, оттуда на веранду и остановилась, глядя, как Семен лежал на полу в одних трусах, свернувшись калачиком и подтянув острые коленки под самый подбородок.

Вот ведь что придумал. Значит, совсем совесть заела, раз постеснялся в спальню идти.

Она наклонилась и тронула Семена за плечо.

— Да что ты, Сема? Зачем сюда-то? Я и матрац твой грязный в чулан убрала. А ты — помылся и на пол. Ну идем, идем...

Лиза потянула с пола упирающегося Семена, и он нехотя поднялся и пошел за ней. Зайдя в спальню, они постояли несколько минут в неловком бездействии, пока Лиза не сказала быстрым, смущенным шепотом:

— Ну что ж ты стоишь? Ложись спать.

Семен лег, укрывшись простыней, и, отвернувшись, влип в стену.

Лиза лежала рядом и уже не вдумывалась и не вслушивалась в себя — темная ночная волна ее жарких сновидений внезапно накатила на нее, сердце неистово заколотилось — не рассудком, не разумом, а истосковавшей по ласке плотью тянулась она сейчас к угрюмому, молчаливому человеку. Нерастроченная нежность, переполняющая ее тело, искала выхода, и Лиза словно забыла прошлое, и не было для нее в эту минуту никого ближе и роднее Семена.

Она судорожно вздохнула и положила руку ему на плечо.

— Сема, ну что ж ты? Ну где ты, я же тебя не вижу? Ну повернись ко мне... — тихо прошелестело в темноте.

Семен неловко завозился, плечо его дрогнуло, и, отлепившись от стены, он повернулся к Лизе. Лица их коснулись. Неловко извернувшись, Лиза быстрым движением горячих пальцев расстегнула лифчик и прижалась круглыми, теплыми грудями к Семенову груди. Ощувив своими возбужденно торчащими сосками густые завитки волос на Семеновом теле, застонала от наслаждения. Горячие истомные волны, зарождаясь где-то у пальцев ног, поднимались вверх по ее полным икрам. Вот они на мгновение сладко задержались в пояснице, и растеклись. А новые волны уходили все выше и выше, обжигая наслаждением ее жаждущие ласки соски.

— Ну обними же меня, Сема, ну обними. Я так по тебе истосковалась, — сбивчиво зашептала она. — Так соскучилась.

Воспаленные губы слепо искали в темноте лицо мужа. Она покрыла его жесткие щеки дождем коротких, быстрых поцелуев и не в силах больше сдерживать себя, поглотила Семеновы губы.

Семен обнял ее за бедра. Тяжелый жар ударил из его ладоней в Лизин крестец, она вновь застонала и прильнула к мужу всем телом, стараясь ощутить каждую его клеточку. Словно бы растаяло, провалилось в небытие все ее гордое, уверенное самоуважение и нежелание ничем поступиться, — сейчас она ни о чем не думала и ничего не понимала, и только одно, необоримое по силе предчувствие неслыханного наслаждения владело ее сердцем.

Тело била крупная, тягучая дрожь, жгучее внутреннее пламя переполняло душу до краев. «Ну скорей же, скорей!» — закричала Лиза умоляюще, почти проваливаясь от острейшего судорожного желания куда-то в черное небытие.

Семен неуклюже провел ладонями по ее спине, сдавил пылающие груди и, когда она уже поворачивалась на спину, с головы до пяток охваченная невыносимо сладкой, расслабляющей истомой, — вдруг неожиданно отпустил ее и отвернулся.

— Я не могу, — глухо сказал он.

Лиза не поняла сказанного, сейчас вообще никакие слова не могли дойти до ее сознания, и она только болезненно застонала в его отвернувшуюся спину:

— Ну куда же ты? Господи, да иди же! Ну давай вместе!..

Семен дернул плечом, высвобождаясь из нетерпеливых Лизиних рук.

— Я же сказал тебе. Не могу!

Только теперь эти чудовищные слова дошли до ее ошеломленного слуха, но она все равно не смогла сразу их осознать.

Он отдал бы полмира, чтоб в те страшные для него минуты, когда Лиза жарко ласкала его, хоть на мгновение ощутить себя мужчиной. Но его мужское естество отказало ему в этом. Все в Семене горело и корчилось, словно на страшном огне, но бессильная, истасканная по пивным плоть жалко предала его.

Почти год у Семена не было женщины. Все его пьяные сны были полны Лизой, но вот, живая, горячая и желанная, лежала она в его объятиях, а Семен только бес- сильно содрогался в корчах не могущего быть удовлетворенным жгучего желания.

— Хватит с тебя и одного хахала! — вдруг зло выкрикнул он, не помня себя от бешенства.

Лиза отшатнулась, как от удара.

— Что ты, что ты говоришь, Сема?! — жалко лепетала она. — Какой хахаль, о чем ты?!

— А, какой?! — еще больше взъярился Семен. — Уже и не знаешь, какой? Думаешь, все! Обманула и проехало? Семен под мухой, Семен ничего не видит? Шалишь, не на того нарвались! Я еще вам обоим ноги повыдержаю — дай срок!

Он грубо оттолкнул Лизу.

— Ишь, разлеглась тут!

Намеренно делая больно, Семен перелез через нее и подошел к туалетному столику. Оттуда послышалось шуршанье коробок и тюбиков, потом зазвенело стекло, и Семен нетерпеливо ругнулся. Наконец он нашел то, что искал, и пошел прочь из спальни. Шлепанье его босых ног прокатилось по комнате, коридору и затихло на кухне. Донесся звук открываемого шкафа, зазвенела посуда, что-то прерывисто забубльало. Снова долетел до нее негодующий голос, стекло тонко зазвенело о

стекло — слышно было, как Семен вытрясает в стакан флакон одеколона, не желающего выливаться через узкое, круглое горлышко. Гулко засвистела вода в кране, и уж совсем слабо донеслись до ее ушей жадные Семеновы глотки.

Весело крикнув, муж ушел на веранду, — хлопнула затворенная дверь, и все стихло.

Лиза лежала на кровати до последней клеточки своего тела мертвая. Она сжалась в комок и уперлась коленями в подбородок. Руки ее с силой заталкивали в рот навстречу рвущемуся наружу истерическому крику туго скомканный край простыни. Тело содрогалось. Лившиеся неудержимым потоком слезы не давали ей дышать. Нечленораздельные звуки срывались с Лизиных губ, прожигали темноту и глохли в прохладном ночном воздухе.

Отчаянье. Отчаянье. Отчаянье...

ГЛАВА ПЯТАЯ

1.

Страшный утробный рев шел из самой глубины его внутренностей. Тело сгибалось в дугу, жилы на лбу грозили лопнуть. Семен хватался руками за стены и скрючивался в длинной мучительной судороге.

Это было наваждением последнего года его жизни. Без пяти четыре, как бы они ни был пьян накануне, Углов открывал глаза и с ужасом прислушивался к неверным, ускальзывающим стукам своего сердца. Холодный, липкий пот окутывал тело скользким покрывалом. Тугая боль стягивала кожу на голове и иглками пробегала по икрам. Бугристый грязный матрац под ним казался горячим.

Весь последний год Углов тратил свою жизнь с остервенением.

— Скорее, скорее! — торопил и гнал он вперед неповоротливое время.

Сердце уж задышалось, не поспевая.

В этом сумасшедшем судорожном беге толкачом было отчаянье, а финишной лентой — смерть. Любые действия были хороши — только бы не остановиться, только бы не задуматься! Больше всего на свете он страшился трезвости. Даже на полчаса. Трезвость приносила с собой тоску и страх.

Будущее! Семен боялся этого слова. Настоящее его состояло из меняющихся доз алкоголя — то больше, то меньше, то по щиколотку, то с головой. Но они, эти дозы, хоть создавали иллюзию какой-то устойчивости. Вот утром он вставал и шел добывать вина и денег, денег и вина. Возникало некое подобие работы — Семен был занят, что-то делал, виделся и говорил с людьми.

Занятость несколько сглаживала волнение его взбудораженной души. Углов не то чтобы всерьез ощущал себя находящимся на службе, на какой-то там официальной работе, какая у него была раньше, — нет, такого открытого самообмана не возникало в его голове. Но он был при деле, неважно при каком (именно об этом-то он и старался не думать). Трезвость же обворовывала его, лишала душевного успокоения. Трезвым — «покойну быть» — оказывалось совершенно невозможно. Мысли съедали его заживо. Пьяным он никого и ничего не боялся; трезвым — боялся всего и всех. Хмель приносил блаженное чувство свободы, он словно бы парил на крыльях вне людского сообщества. Парил над теми жалкими пустышками, из которых в основном и состояла суетная жизнь обычных — смешно сказать! — трезвых людей.

Отрезвев же, он видел, что его собственная перед всеми виноватость окружала его со всех сторон. Невозможно было дышать в дымном воздухе своей вины, — это было хуже любого наказания: каждый встречный на пути человек был ему грозный и беспощадный враг.

Врагов было так много, что он сбился бы со счета, вздумай перечислять их. Они не только тянулись к его горлу, не только торопили его смерть, они забрались в Семенов мозг и расположились там, как у себя дома. Если враги не уничтожили его сразу, то только чтоб верней вызнать все его тайны, установить намерения и в конечном счете неслыханно преувеличить, раздуть его вину! Семен знал, что спасения нет, раз они уже проникли в его голову, раз им стало все открыто, все доступно в его беззащитном мозгу. С каким дьявольским, с каким садистским наслаждением враги медлили прикончить его. Они все выпытывали, все высматривали, все вызнавали, и вина его росла, как снежный ком: ведь враги ухитрялись отыскивать ничтожные, мелкие ошибки, о которых давным-давно забыл он сам.

Но это было бы еще ничего, если бы вампиры, сидевшие внутри его черепа, не придумали еще худшего, против чего Семен был явно бессилён. Они стали возводить на Углова чудовищные поклепы, придумывать ему неслыханные преступления.

Семен отчаянно отбивался, доказывал, что ничего не знает о страшных делах и только мелком слышал о них.

Ему злорадно хохотали в лицо и торжествующе объявляли, что его вина настолько ясна, что она не нуждается в дальнейшем исследовании. Все доказательства давным-давно собраны, и дело стоит только за тем, что он сам должен избрать себе наказание по совокупности собственных злодеяний.

Семен падал на колени, плакал и умолял о пощаде. Он упрашивал не спешить с наказанием, ведь мысли его не были так ужасны, как им казалось. Но ничто не могло смягчить каменные сердца, и Семен, захлестываемый липким страхом, только еще больше запутывался в хитроумных сетях.

2.

После очередного провала в слабый, неверный сон начала брезжить Углову слабая, ускользающая надежда, что не все окончательно пропало, что есть еще хоть призрак какой-то защиты. Он вздрогнул и проснулся.

Тихо журчала вода в канализационных трубах за стеной. Неясное, смутное бормотание ее чуть доносилось до Углова. В это бормотание время от времени начали влетать непонятные, сторонние звуки. Семен невольно вслушался в них.

Он еще не мог различить точно что слышит, но вроде бы почувствовал ему негромкая человеческая речь. Он еще напряг внимание — стали долетать отдельные, явственно различимые слова, обрывки предложений. Журчание воды стихло. И вот уже он хорошо слышал раздраженные мужские голоса. Он услышал свою фамилию, произнесенную с явной угрозой. Семен привстал на локте. Да, точно, несколько чужих людей находились в его доме. Они были совсем рядом, в кухне, и от Углова их отделяла только тонкая стеклянная дверь. И если они вошли в его квартиру ночью, не спросившись хозяина, то конечно имели на то какое-то свое, особое право, несущее явную угрозу Семенову существованию. Волосы встали дыбом на его голове.

Голоса за стеной вдруг разделились и заспорили. Вот один, хриплый и негодующий, возмущенно закричал, что Углову не место на земле, среди людей, что за свои чудовищные преступления он давно должен быть уничтожен. Другой вяло отозвался, что, может быть, здесь вышла ошибка и Углов не так повинен, как кажется.

Семен невольно поддержал дрожащими губами: «Конечно, ошибка...» Но налетели разом все остальные (их, оказывается, была в доме целая свора!), и робкое возражение утонуло в общем слитном, негодующем гуле.

Но чей-то тихий защитительный голос не унимался. Впрочем, Углов, кажется, узнавал его: это была Лиза! Ах нет, не Лиза, но все равно кто-то из самых близких — то ли давно умерший отец, то ли (он вздрогнул от нечаянной радости) ушедшая за отцом его старая мать. Углов не удивился, что они живы: ведь он был сейчас в большой беде, и кто же мог помочь ему, если не они? Робкий голос тихо отрицал страшные обвинения; он защищал, оправдывал и заслонял Углова. Семен, жадно прислушиваясь, подтверждающе кивал головой: «Да, да, — с радостью шептал он. — Все верно... Ну, конечно же... Я не делал этого...»

Но противники не успокаивались, они яростно отметали все объяснения и снова требовали угловской казни. Вот в их раздраженных сильных голосах все чаще стало проскальзывать слово «убийство», и Углов вытянулся и насторожил уши, мучительно пытаясь разобрать, о чем идет речь. Вдруг он вспомнил, что слышал вчера в парке о каком-то зверском убийстве, происшедшем в городе. Злые голоса за стеной обрадовались, оживились. Кто-то, особенно яростно настроенный, громко закричал: «Я же говорил! Он все знает, знает! Значит, он и есть преступник! Что же вы смотрите! Немедленно хватайте его!»

За стенами загудел мотор подъехавшей машины, и враги снова закричали все разом: «Воронки» приехал, «воронки» приехал! Берите убийцу, пока не убежал!»

Углов взмолился, что не виноват ни в каком убийстве, что не собирается никуда бежать, чтобы тем самым не подтвердить косвенной своей вины! Его не слушали.

Тут опять робко вступился в чужую, враждебную толпу голос матери. Углов узнал его и очень обрадовался.

Мать уговаривала кинувшихся за Семеном врагов чуть повременить, не хватать Углова. Ведь ее Семушка никак не мог совершить такого страха; он был хороший,

послушный мальчик, и она начала рассказывать, каким добрым, спокойным ребенком был Семен в детстве. У Углова покатались невольные слезы, когда он слушал ее. Он в отчаянии кивал головой: пусть они поймут, пусть убедятся, что он не может быть жестоким убийцей. Но чей-то сиплый голос резко оборвал мать. Семен почти узнал и его, этого ненасытного своего преследователя. Это был участковый их микрорайона, или, нет, не участковый, а тот человек, что накричал вчера на Семена в парке. Впрочем, голос чем-то походил и на голос соседа, жившего раньше рядом с Угловыми. Но почему сосед вдруг стал его врагом? Семен вслушался в разговор с еще большим напряжением. Близко... Близко... Но никак не удавалось в точности понять, кто же это был на самом деле. Кто так страстно и непреклонно добивался его гибели и почему? Голос был текуч и изменчив, как вода.

Опять робко и бестолково вступилась мать: она рассказывала врагам разные мелкие подробности Семенова детства, и Углов жгуче захотел вмешаться, поправить ее, пояснить, что не это главное, а главное то, что он ни в чем не виноват, но боялся подойти к возбужденной толпе за стеной и испортить все своим вмешательством.

Ведь, увидев его, они могли броситься и схватить, не слушая никаких объяснений и оправданий. Семена отделяла от врагов всего лишь тонкая стеклянная дверь, и было чудом, что они все еще не ворвались к нему на веранду. Ником образом нельзя было даваться им в руки. Пока еще матери удавалось задерживать их своими умолениями, но ярость нарастала с каждой минутой, и Углов кожей чувствовал, как все жаждут его крови.

Он осторожно встал и, прижимаясь к стене, приблизился к кухонной двери. Страшно было слушать голоса, еще страшней казалось самому увидеть недругов, но Углов не мог больше противостоять жгучему желанию хоть краешком глаза взглянуть на них. Он затаился у двери и прислушался.

Странно: голоса стали глуше и словно бы отдалились от него. В гуле как будто начали проскальзывать умиротворяющие нотки. Голос матери, напротив, зазвучал все явственней, все уверенней, словно угловское приближение придало ей новые силы. Углов боязливо, готовый каждую минуту отпрянуть, заглянул на кухню и увидел, что там пусто. А они перешли в гостиную. Он слышал их шаги за тонкой стеной. Семен ощупью пробрался по коридору и со страшным биением сердца заглянул в гостиную.

По комнате плыл серый полумрак. Воспаленные угловские глаза сначала ничего не различали. Потом смутно выступили из темноты хорошо знакомые ему предметы. Дверь в спальню была заперта, и за ней слышалось ровное Лизино дыханье.

Семен с облегченьем вытер потный лоб дрожащей рукой. Они ушли... Ушли... Матери удалось уговорить их не трогать его. Она совершила невозможное: спасла Семена еще раз, когда ему казалось, что нет уже никакого спасения. Углов тяжело вздохнул и пошел на веранду. Матрац ждал его. Семен лег и вновь погрузился в изматывающий полусон.

3.

В половине седьмого встала Лиза. Семен услышал, как она завопилась на кухне: там вспыхнул свет, и косые лучи его, отразившись от стекол веранды, больно резанули Углова по глазам. Для воспаленных глаз удар света оказался нестерпимым.

Потом загремели кастрюли, сковородки, тонко запел чайник, и под этот общий слитный шум Углов снова впал в полузабытье.

Вывел его из дремы гулкой удар входной двери. Далеко процокали Лизины каблучки, и все стихло. Семен с трудом оторвал от матраца пудовую голову: «Господи, да как же я прозевал?»

Ускользнула надежда выманить, вымолить, выцыганить у Лизы хотя бы полтинник. А без него нечего было и думать опохмелиться!

Углов перегнулся к концу матраца и нащупал в полумраке жеваный, пыльный комок брюк.

— Может, хоть что-то осталось? — то ли пробормотал, то ли подумал он. Еще сохранялась робкая, призрачная мечта, что осталось хоть немного мелочи от тех мятых рублей и трешек, с какими гоняли его вчера в магазин кореша. Углов всегда бегал по-честному, не крысятничал (не рискуя отломиться от компании на гривеннике), но к последней полбанке все уже «захорошели» и могло так статься, что копеек тридцать прошли незамеченными.

Семен ощупал карманы поверх брюк, потом, в жгучем нежелании верить очевидному, залез рукой в каждый карман поочередно, потом вывернул карманы наизнанку и с досадой швырнул брюки.

Несколько поразмыслив, он нагнулся над местом, где брюки пролежали ночь,

и охлопал его ладонями. Потом отвернул край матраца и ощупал пол. Тщетно! Нигде не заваялось ни копыя. Найдись сейчас хоть одна медная полушка — и Углову стало бы легче. Деньги ходят к деньгам, и Семен, мертво зажав в пальцах тонкий медный кружочек, помолил бы судьбу о помощи. Но не нашлось нигде даже медяка, и безысходность положения бросила Углова в бездну отчаяния.

Было уже без четверти восемь. Если не идти в парк сейчас, то незачем было выходить из дому до обеда.

4.

На первый опохмел, к шести утра, Семен уже опоздал. Раньше шести достать спиртного было негде, к шести же открывался хлебный ларек у клуба. Открытие его с восторгом облегчения встречалось двумя десятками мужиков, распределившихся по трое-четверо на разных углах перекрестка.

Но на этот, первый, опохмел нечего было и соваться без рубля. К шести сюда стекалась первая волна, самая непробивная и отчаянная. Тут крутились профессионалы высокого класса, которым Углов и в подметки не годился. Из любой пьянки они уходили с рублем, намертво зажатым в зашник, и не было в мире силы, способной «расколоть» их на этот «похмельный» рубль. Углов и мечтать не мог иметь такую силу воли. Зато и утром у ларька они были короли, и нигде так явственно не ощущал Углов своего ничтожества, как подойдя на рассвете к их солидно деловой компании. Тут он в полной мере понимал и всю свою неумелость, и неправильность собственного поведения.

Семен машинально перебрал их в памяти: «Кривой», «Петро», «Сухоручка» — и покачал головой. Все они имели проникающий сквозь землю нюх на деньги компаньона и к себе в кучку принимали только с показанным рублем. Никакая «лапша» здесь не проходила и была даже опасна. На худой конец, можно было примкнуть к ним и с полтинником, но на полтинник при дележке они наливали меньше полстакана, а какой это был опохмел — полстакана бормотухи? Слезы, а не опохмел! А полтинник он прозевал утром. Своего же рубля, да еще в такое пиковое, утреннее время, у Семена не было в руках больше года. Когда-когда Лиза доверяла ему, в хорошую минуту, сходить за продуктами в магазин, но и тот кровный, сэкономленный рубль не держался у него больше часа.

Да и в шесть утра Семен не только куда-то идти, а и оторвать голову от лежака не имел силы. Так что пришлось перемучивать себя водой. Теперь же, в восемь, открывался буфет в столовке парка, и надо было хоть умереть по дороге, но непременно успеть к открытию. И так уж Углов сильно запоздал. Все бывалые кореша уже с семи дежурили около дверей и завязывали знакомства с подходящими фраерами.

Вторая пьющая волна, та, что прилиwała к буфету в восемь, была недолгой. Ее составляли в основном мужики со строек да мелкий чиновный люд. И те и другие боялись опоздать на работу, и весь «балдеж» закруглялся за полчаса. Оставались только принявшие лишнее.

Тут было Семеново царство, и в былые времена он успевал в эти полчаса «взять под завязку», перекочевав через две-три складчины. Менее удачливые кореша только завистливо маялись, глядя на добычливую угловскую охоту. Однако в последние месяцы он примелькался, и мужики, уже «взятые» у буфета первый стакан и искавшие компании под разговор и магазинную бутылку, стали его обходить. Так что полной надежды подлечиться не было и здесь.

Однако время шло и надо было вставать. Согнувшись в три погибели, Углов натянул брюки, накинул рубашку и, плюнув на ладонь, пригладил волосы. Теперь он был готов и двинулся к выходу.

Первые шаги дались ему так, как приговоренному к смерти даются, вероятно, шаги к эшафоту.

На улице в горло ему ударил пряный утренний воздух, и Семен, пошатнувшись, остановился. Его сразу замутило. Он уже не терпел уличной свежести. Немного постояв, он двинулся дальше. Его дневной крестный путь только начался, а время подгоняло и надо было спешить.

Но еще больше, чем время, подгонял его жадный червь, сидевший внутри Семеновы головы и начавший уже недовольно шевелиться. Червь только что проснулся, и его первые утренние шевеления еще можно было какое-то время терпеть, но Углов хорошо знал, что через полчаса он распрямит и превратится в дракона. Тогда он заполнит собой каждую клеточку тела — и терпеть дальше станет невозможно.

Громко охая и останавливаясь чуть ли не у каждого встречного стола, Углов спешил через весь город в парковую столовку.

5.

Старый городской парк был заложен в победном 1945-м году.

В последнее воскресенье того неповторимого мая сотни горожан вышли с лопатами на большой пустырь, раскинувшийся в центре городка. Пустырь раскинут здесь со времен доисторических.

Дребезжащая полторка — единственное механизированное транспортное средство коммунального хозяйства — привезла в два захода полторы тысячи саженцев. Пыхтя и задыхаясь в собственных чадных выхлопах, она остановилась у веселой толпы людей. На третью ходку ей бы уж явно не хватило моторесурса.

Городской голова (израненный фронтовой офицер, осевший в городке в сорок третьем), счастливо улыбаясь, сам разметил центральную аллею и место для памятника. Люди разбились на бригады, разошлись по своим участкам, и веселый стук лопат заглушили на время звонкие женские голоса. Работа спорилась. Давно она не была в такую охотку, отдых и радость. Это была как расплата с проклятой войной, это был первый по мечте, по сердцу мирный труд, и к полудню ровные ряды саженцев укрыли большую часть пустыря. Широкий арык был прокопан от центрального городского оросителя до главной аллеи. А это означало, что деревца с уверенностью будут жить, что они не оскудеют силой под беспощадными лучами азиатского солнца.

В сорок седьмом, когда молодые чинары и тополя уже зашелестели буйными веселыми кронами, а карагачи и акации тронулись в свой долгий и медленный путь роста, — послевоенное лихолетье и крутой излом судьбы забросили в городок немолодого ленинградского архитектора. Душа его, уставшая под грузом несчастий, истосковалась по красоте, и он спроектировал решетку парка и вход в него, заставляющие вспомнить величавую простоту Фельтена.

Бывший фронтовик, а ныне predisполкома, долго смотрел на пылающий акварельными радугами эскиз, разложенный перед ним потрепанным жизнью человеком, потом покачал головой и тихо сказал: «Да брат... Эка, ты размахнулся! Как бы нам с тобой рога не обломали за этикие-то дела».

Но глаза его заблестели лихим азартным огнем, покалеченная рука сжалась в тугую, тяжелый мосол, и сразу стало видно, что недаром у себя в полковой разведке этот худощавый тамбовский парень, как будто весь собранный из стальных пружин, — ох, как недаром носил грозное прозвище — «Украсть фрица»!

И с тем веселым и яростным блеском глаз, с каким он когда-то полз через ничейку за зазевавшимся фрицем, председатель рванул грудью сквозь надолбы чиновничьих запрещений и колючую проволоку инструкций.

На ноябрьские в сорок восьмом парк обежала литая по проекту чугунная решетка, арки парадного входа выгнули свои лебединые шеи, а бетонный монолит у ворот словно бы просел под тяжестью вставшего на него величия. В пятьдесят втором в парке появился бассейн, в пятьдесят третьем — танцевальная площадка. По обе стороны главной аллеи встали ряды постаментов с бюстами известных стране людей.

Вечерами духовая музыка плыла над притихшим городком, чинные семейные пары с детьми прогуливались по аллеям. Встречаясь, главы семейств приподнимали новенькие шляпы и вежливо раскланивались: «Как ваше здоровье, Василь Кириллыч?» — «Спасибо, а ваше, Ахрар Мурадович?»

...А рядом печально и тонко жалобилась труба и, важно поддыхивая, утешал ее добродушный бас: «Пах-пах... пах-пах-пах...» А труба подымалась все выше и выше и вела все пронзительней и безнадежней. И все трогательней становились ее шемящие душу плачи, но уж на подмогу вступали альты и баритоны и говорили с ней на том чудном небесном языке, что понятен любому живому сердцу.

Ах, духовые оркестры моего детства! Где ж вы теперь?!.. Самодельные неуклюжие пюпитры, ноты, переписанные от руки на серой, шершавой бумаге, выструганная ножом палочка капельмейстера, облупившиеся инструменты, драный барабан — и самозабвенное служение музыке разношерстно и бедно одетых людей — рабочих с местного цементного заводика.

6.

Было время... Угрюмый и расстроенный, сидел я в тени тополя и потерянно повторял про себя: «Как жить дальше? Как жить?... И надо ли жить?!»

И сильное молодое существо непреклонно и гордо отвечало мне: «Живи! Живи и борись за жизнь!»

Серебристые листья трепетали; крепко и упрямо рвались тогда в небо веселые ветви, и не было для тополя иной дороги, кроме той, на которую он звал и меня: «Надо жить! Да, надо жить!»

Теперь тополь сгорбился и покривился, как, наверное, сгорбился и покривился я сам. Уж не так цепко держат землю в своих объятиях его могучие корни. И как первый звонок вечности — напоминанием и символом — торчит среди его еще буйно-зеленой листвы одинокая сухая ветка с обломанным мертвым концом — предвестница будущего угасания.

Что-то уйдет из моей жизни вместе со старым деревом. Да! Голубые лезвия бетонных лотков прорежут бока старых глинистых арыков. Лаковое асфальтовое благолепие зальет кривые тропинки, протоптанные когда-то как бог на душу послал. Прямые, как штыки, стержни цементных бордюров ограничат прихотливые плески дорожек. Каждый ухоженный кустик опояшется точеным асбестовым кольцом с отмошкой из синих глазурированных плиток.

Приедет умная и сильная машина и легко выдернет из земли вместе с корнями сухое старое дерево. Смышленные ребятишки в красных галстуках, празднуя воскресник, посадят на освободившееся место аккуратное молодое деревце с мудреным научным названием. И новый круг жизни начнет отсчитывать на циферблате вечности беспощадное время.

Все так... Но все же что-то уйдет из моей жизни. И незачем и не к кому будет приходиться туда, где когда-то шелестел мой тополь. И красивый бетонный лоток, может быть, не покажется мне таким уж красивым. И нога, помнящая тепло обнаженной живой земли, едва ли захочет ощутить босой подошвой горячий, мертвый асфальт.

Все будет лучшим! Все будет и красивей, и умней, и талантливей, и, может быть, нужней людям. Но будет ли оно таким же моим, каким был старый тополь, глинистый арык, самодельная скамейка в старом парке?

Им, идущим за нами, — им и новый комфорт, и мало понятная мне функциональность, и разумные высокотеоретические решения, и ясный рационализм, — но будет ли, но вызреет ли в глубине их ученых голов то живое, что мы, понемногу уходя, уносим с собой?!

7.

Время, время! Ты проехало по старому парку, как паровой каток по асфальту. Первыми исчезли постаменты. Потом прекратились семейные гуляния. Голубой ящик, появившийся в конце пятидесятых, как насос, выкачал с улиц городка вечерние толпы людей. Потом стихла музыка.

И парк опустел. Лишь изредка, зачарованные еще не свершившимся, заглядывали в него влюбленные.

А в пятьдесят девятом случилось страшное. И, как всякое подлинно страшное, подкралось оно незаметно, и выросло во весь свой исполинский рост с сущего пустыка. Выглядело оно поначалу серо и буднично.

Общепит построил в парке столовую. Потом это низкое продолговатое строение много раз меняло свое название — оно именовалось и буфетом, и кафе, и забегаловкой, и гадюшником, и грязнухой, — но главная, нутряная его суть всегда оставалась неизменной.

8.

В этот день чистый утренний воздух был удивителен. Как будто весь его отмыли в заоблачных ручьях и просеяли сквозь тонкое небесное сито.

Ночью в старом парке был полив, и деревья, вдоволь напившись сладкой арычной воды, распрямили усталые спины и расправили кроны. Ветки тихо шелестели, радуясь и свежести, и воде, и солнцу, и утру. Каждый листик с наслаждением пил прозрачный воздушный эфир и трепетал от переизбытка жизненной силы.

И только маленькие группки людей, рассыпанные в окрестностях столовой, выглядели угрюмо и мрачно. Сверху они, наверное, походили на темные кучи опавшей прошлогодней листвы, сметенной с дорожек. Будто бы сгреб нерадивый садов-

ник в кучки с тропинок и аллея полусгнивший пал, да так и не удосужился сжечь его. Пожухлая и мертвая старая листва догнила в небрежении, обросла пылью и паутиной и превратилась в мусор. Теперь ее брезгливо обходили. К одной из таких черных человеческих кучек и подошел Семен Углов. Первое похмелье досталось ему трудно и тяжело.

Буфетчица Поля припоздала открыть буфет вовремя и появилась в парке, когда уже все дожидавшиеся ее непохмеленные мужики истомились и исстрадались в истую. До законных-то восьми часов ждать было невыносимо: каждая минута тащилась, как вечность, а уж не прийти после восьми — это был форменный разбой с ее стороны. Тут ведь счет шел прямо на секунды. Как пропикало восемь, никто не смог устоять на месте. И хоть все знали, что Поля еще не подошла и буфет закрыт, а все же каждый хоть по разу, а подошел к запертому на стальную решетку окошку и заглянул внутрь.

Подошел и заглянул и Углов.

Внутри темной комнаты громоздилась до потолка груда деревянных решетчатых ящичков с пустой посудой, рядом стояла такая же груда с полными бутылками. На стойке лежали три пыльные тарелочки с прошлогодними конфетами и раскрошенным печеньем — закусь была на месте. Под стойкой, в стеклянной витрине холодильника, виднелись запотевшие винные бутылки. В уголке сиротливо уютно висело несколько жалких бутербродов с глянцево-масляным сырком. Углов помнил эти бутерброды с прошлого года.

Поля появилась в пятнадцать минут девятого, когда общие страдания достигли невиданного градуса и среди мужиков начало возникать угрожающее ворчание. Впрочем, при ее появлении никто не осмелился проявить ни малейшего недовольства — напротив, лица зацвели деланными улыбками, посыпались преувеличенно-заинтересованные вопросы: не случилось ли с дорогой Полечкой какой-либо, упаси бог, беды или неприятности, а «Огонек» — столовская крыса на побегушках — подскокил к буфетчице и, радушно улыбаясь, подержал сумочку, пока Поля возилась с ключами.

Куда уж тут и кому было проявлять особое недовольство? Завсегдатаи были у буфетчицы в долгу, как в шелку, а разовые утренние посетители хорошо знали, что могут легко в таком долгу оказаться. Как можно было рисковать Полиным расположением? Не последний день живем — а ну как завтра не достанет денег на опохмел, и кто ж тогда поверит в долг до получки или аванса, если не Поля?

Углов издала поглядел, как опохмеляются первые заждавшиеся. Вперед хлынул народ с деньгами, уверенный в своем праве. Иные, увидев Углова, отворачивались — и Семен мудро сопонимал их: с одного рубля не разгуляешься, а отлей из стакана глоток такому вот Углову — и его не спасешь, и самому останется уж не столько, сколько душа просит. К ним какая ж могла быть у Семена обида? Богатых же фраеров пока не было видно. Самому Семену покудова подходить к стойке было незачем, сейчас шли первые за день рубли в Полину кошелек, и не дай бы бог Углов вдруг тыркнулся попросить стакан в долг: он бы тем самым нарушил железное, непреклонное, неписаное буфетное правило разливной торговли: первый стакан должен был быть оплачен наличными. Все равно, не продав первого стакана вина за живые деньги, Поля и министр торговли не налила бы в долг с утра, окажись министр в парке в это время, — но даже и самая попытка такой неслыханной угловской наглости привела бы, конечно, к неизбежному «сглазу» Полиной торговли. Или бы санэпидстанция вдруг появилась с проверкой, или народный контроль, или, не дай бог, сама «обехаэс». И опять, давай пой их, корми, плати, а сколько недолива надо сделать да на ногах выстоять, чтоб перекрыть те дурные расходы? Никакой Углов таких денег не стоил.

После безумного нахальства нечего было бы Семену и подходить к Полиному прилавку, тем более что и парковые мужики уважали торговое суеверие и, конечно, не одобрили бы явного нарушения буфетной этики. А там хоть из парка беги! А куда бежать? Отсюда бежать Углову было некуда.

Он покрутился туда-сюда и набрел на таких же бедствующих с утра, как и он сам, Леху и Фазыла. У каждого из них была зажата в ладони горсть считанной-пересчитанной мелочи, и не складывались они вместе только потому, что на полбанки все равно бы не хватило, а брать на имеющуюся мелочь у Поли всего по полстакана портвейна было бы очевидной глупостью. И последние деньги бы ушли, и никакого разумного опохмела, конечно, не получилось.

— Здорово, братьяны, — хрипло сказал Углов и пожал вялые, бессильные руки. — Сколько не хватает?

И Леха и Фазыл сразу насторожились: самый вопрос, казалось бы, обещал наличие некоторых денег в вечно пустом угловском кармане, но застарелая опытность взяла свое, и Леха, не отвечая прямо, недоверчиво бросил:

— Добавь «дуб» и возьмем «бомбу».

У Семена мгновенно сработал безошибочный арифмометр. «Так, бомба — это два с половиной. Без моего рубля — полтора; значит, у них по семьдесят пять копеек на брата». И Углов привычно ввел поправку на приманивание. «Конечно, на деле не по семьдесят пять, а копеек по шестьдесят, не больше. Было бы семьдесят пять, они бы уж ни за что не выдержали, сунулись к Поле; за такие деньги она наливает почти полный стакан, сочувствует, а вот с шестьюдесятью копейками у нее ловить, конечно, нечего. Значит, мне надо добыть еще копеек шестьдесят, и тогда уже точно можно будет сгонять за бутылкой, пусть не за «бомбой», о такой роскоши сейчас нечего и мечтать, но и поллитровая бутылка бормотухи на троих — это вполне нормальный первый стакан».

— Эх, — горько пожалел Семен. — Кабы сейчас иметь тот полтинник, что прозевал утром, уже б жилось по-другому.

Но все же хоть какая-то, хоть самая малая подвязка в компанию появилась, и Углов несколько ожил.

— Сейчас сделаем, братаны, — сказал он и вышел их парка на улицу. Оставался единственный и последний реальный выход из его безысходного положения, и Семен, горько вздохнув, признал его неизбежность. Время было — половина девятого, самое охотничье по сезону время; люди шли на работу, и если бы сейчас ему не повезло, то когда бы и везти-то?

9.

Женщину с ребенком Углов пропустил, двух намазанных девиц тоже: эти не годились для его дела — не тот кадр. Семен ждал своего человека. На мужчину с портфелем он глянул внимательно и сразу определил: пустой номер, нельзя. Серьезное, сосредоточенное лицо прохожего не обещало ничего хорошего для Семеновской задумки. Следующим из-за угла вывернул высокий, худой парень спортивного склада в потрепанных джинсах, и Углов сладко поздравил себя: «С полем!» Правда, оказалось, что с «малым полем». Парень прошел, оставив в угловской ладони всего-навсего двенадцать копеек. Но лиха беда начало: гривенник и двущка нежно ласкали истосковавшуюся по деньгам Семенову ладонь.

Потом промелькнуло еще несколько пустых номеров, и Углов нервно ругнулся: «Ну же, ну!» И тут вдруг сразу отпустило сердце, как с неба капнуло — навстречу ему шел «карась».

«Ух,— сказал сам себе Углов.— Вот же он где!»

Невысокий полноватый мужчина в очках рассеянно натолкнулся на Семена, загородившего дорогу, и остановился.

— Вы, извините, пожалуйста, — сказал Углов, смущенно потупливаясь. — Но тут такое дело, мне, конечно, неловко, но приходится обратиться, я подумал, вы поймете, как мужчина мужчину...

Это был первый хитрый припев. Важно было сразу дать почувствовать «карасю» всю свою былую якобы интеллигентность и порядочность. Преувеличенная, смущенная за себя вежливость была лучшим способом без нажима, но достаточно явно показать свой былой лоск. На фоне царящего вокруг всеобщего взаимного хамства такая система действовала безотказно. Угодливость здесь тоже не годилась и не проходила; «карась» не должен был с первых же слов проникнуться презрением к просителю — нет, просто вполне хороший человек попал в небольшую, даже скорее пустяковую беду, попал по своей собственной слабости характера. Тут «карась» невольно должен был ощутить всю силу и значимость собственной волевой натуры и проникнуться к падшему собрату некоторой самодовольной жалостью, с оттенком горделивого превосходства.

Дальше уж все было делом голый техники: можно было доить его на сумму от десяти до девяноста копеек почти со стопроцентной гарантией. Тут важно было не перегнуть палку, не пережать. Если девяноста копеек еще могли выглядеть мелочью, то при слове «рубль» невольно возникала в уме хрустящая бумажная кушора, а разбрасываться неизвестно кому настоящими деньгами — тут любой «карась» бы призадумался. Просить рубль нельзя было ни под каким видом. Так же нежелательно было упоминать и круглые цифры: скажем сорок, пятьдесят, шестьдесят копеек. Здесь тоже имелась своя тонкость: если просить с утра полтинник, то невольно возникало разумное подозрение, что заурядный алкаш набирает на бутылку, не имея ни гроша за душой, и легко могли отказать. А вот стоило подойти по уму, и осечки почти не бывало.

— Понимаете, в чем дело,— продолжил Семен и как можно слышней позвонел в кармане двумя своими жалкими монетками.— Вчера, был грех, перебрал я ма-

ленько, сегодня, конечно, болею, и надо бы полечиться перед работой, да как назло немного не хватает на стакан, всего каких-то тридцати двух копеек. Неловко, правда, просить у незнакомого человека, но, гляжу, вы вроде человек свой, работающий... Может, выучите?

Очкастый недоуменно выслушал Углова, окинул его глазами, неловко залез в карман и, достав горсть мелочи, положил ее в протянутую руку.

— Спасибо большое, спасибо! Да тут лишнее, спасибо большое,— зачистил Углов, быстро сжимая ладонь.— Мне ведь всего-то надо...

— Ничего, ничего, возьмите, бывает,— слегка покраснев, отодвинул очкарик угловский кулак. Он повернулся и пошел прочь.

— Еще раз спасибо большое!— крикнул вслед Семен, провожая «карася» повеселевшим взглядом. Повезло, ах как повезло: да ведь там копеек шестьдесят. На всякий случай несколько преуменьшил свою удачу Углов. Еще несколько минут он стоял не считая добычи, растягивая удовольствие сладко гадать, сколько же он все-таки урвал на самом деле. Потом открыл потную ладонь, и на сердце потеплело: в его тяжелой хватистой руке лежало девяносто две копейки. Плюс двенадцать парнишкиных — это составляло рубль и четыре копейки — целое состояние на текущую тугую минуту. Одним удачным ходом он из бездны нищеты встал чуть ли не в первые ряды парковых миллионеров.

— Покрутятся теперь Леха с Фазылом!— злорадно пробурчал Углов, направляясь ко входу в парк. Еще вопрос, стоило ли теперь вообще иметь с ними дело. Мелькнула было у него шальная мысль, а не добрать ли у прохожих еще мелочи до полного бутылка, но стрелять гривенники на углу улицы, не зная на кого нарваться, было дело все же опасное в смысле милиции, и Семен решил не искушать больше и так благосклонно к нему нынче судьбу.

10.

Сейчас, прямо на ходу, прежде чем подойти к мужикам, Углову надо было срочно решить для себя, как распорядиться добытым рублем? Можно было, конечно, шмыгнуть через боковой вход прямо к Поле (как бы никого не видя вокруг) и просто замочить законно заработанный стакан.

Но что он стоил, один-то, первый-то?! Настоящим похмельем считался и был, конечно, на деле не первый, а второй стакан вина. Первый не вполне принимался раздраженным желудком, и приходилось посасывать его по граммалке, по глоточку, с отдыхом и перерывом, каждую секунду тревожно прислушиваясь к желудку. И все равно, как ни медлил Семен с первым стаканом, как ни осторожничал, а все же почти половина вина пропала зря: секунда, и драгоценная, с таким трудом добытая жидкость одним резким спазмом желудка выбрасывалась на траву. И только потом, когда уж хоть сколько-то вина впиталось в воспаленные стенки желудка и горячая спасительная волна поднималась по пищеводу все выше и выше — только тогда можно было без опаски опохмелиться по-настоящему — для головы. Тут-то и требовался основной похмельный, второй, стакан. А на него денег как раз и не хватало! И уж о следующем, третьем похмелье — для настроения, для «кайфа» — пока нечего было и мечтать.

Или можно было все же закорешиться с Фазылом и Лехой, добавить к их мелочи свой драгоценный рубль и принести «бомбу» из магазина. Но здесь опять возникала несправедливость, хотя и другого рода: он ведь один давал целый рубль, а они на двоих имели только полтора, а ведь как разливать станут, никто и не подумает налить Семену хоть на каплю больше — как же, компания, кореша! Да еще (Углов знал это так же хорошо, как и цены на вино) неизбежно кто-нибудь сторонний, увидя, что рядом разливают бутылку, «сядет на хвост», то есть подойдет и будет нахально стоять рядом и заговаривать уши, дожидаясь, пока хозяева вина не смилуются, не нальют. Этого тоже никак нельзя было избежать: рядом стоящий, совсем еще не опохмеленный однокорытник самым угнетающим видом своим неизбежно ломал всякий «кайф», и было, конечно, очень тревожно думать, что завтра сам окажешься на его месте, и тебя тоже вот так вот запросто возьмут да и обойдут. Поневоле рука сама тянулась оторвать от ужаснувшегося сердца и бесценной бутылки полстакана вина.

Так ничего толком и не решив, Семен сунулся обратно в парк. Тут он сразу наткнулся на Леху и Фазыла и подивился про себя братанову нюху.

Леха ощупал его острым пронизывающим взглядом и уверенно спросил:

— Сколько урвал, Угол?

Углов нехотя пожал плечами.

— Э, да что там... — Ему хотелось все же решить самому, как распорядиться добытой наличностью.

Фазыл взял его под локоть.

— Да ты не темни, дура,— сказал он ласково.— «Дуб»-то набрал?

— Набрал,— невольно вырвалось у Семена.

Леха в восторге хлопнул себя по плоскому затылку.

— Ну Угол, ну хмырь! Что ж ты хвоста коту крутишь?!— И деловито подсчитал: — Так, «дуб» да «дуб» тридцать — два тридцать. Эх, еще двугривенный, и «бомба»! Где ж взять?— нетерпеливо повел он глазами по сторонам.

Фазыл мигом остановил его.

— Ни-ни... Никого «на хвост» не берем. А двадцатчик сейчас сделаем. Идем!— И он пошел к танцплощадке. Компания двинулась за Фазылом.

За танцплощадкой располагался «пяточок» — небольшой пустырь возле кучки мусора. Здесь было самое удобное распивочное место в парке — ты видишь всех, тебя никто. Углов принуждал себя умерять шаги. Идти быстро было нельзя, ибо тем самым становилось ясно, что они собрали на бутылку и спешат брать ее,— иначе зачем им было торопиться и куда? И конечно, увидев такую быструю, деловую походку, кто-нибудь обязательно пристал бы к компании. Но Фазыл был опытен, он чуть двигался сам и слегка придерживал за локоть нетерпеливого Леху.

Со скамейки, впереди их, поднялся Дамир, коренной парковый житель. Он почувал неладное.

— Ну чё, братаны, добавить? — вопрос был задан как бы между делом, с полным отсутствием заинтересованности. Но Фазыла ли было купить на такую дешевую уловку?

— Что ты, Дамир?— уныло махнул он рукой.— Сами ищем, кому на хвост упасть. Вот, на троих полтинник.— И он выразительно похлопал ладонью по пустому карману.

— А идете куда?— подозрительно спросил Дамир.

— Да чё у входа кучковаться? Все пустые... Может, там кто есть?

Фазыл неопределенно махнул рукой вперед. На подмогу вступился Леха. Он озабоченно провел руками по карманам, укоризненно покачал головой сам себе и спросил у Дамира:

— Братан, курево есть? Верить-нет, с вечера «бычка» во рту не было.

Дамир вздернул острые плечи, удивляясь:

— Что ты? Откуда?— и, сразу потеряв к компании всякий интерес, уныло побрел на свою скамейку.

Компания прошла дальше и завернула за сквозной забор танцплощадки. Фазыл быстро огляделся по сторонам — никого не было. Тогда он шустро метнулся к мусорной куче, деловито порылся в ней и вытащил пустую бутылку.

— Вот вам и двадцатчик,— сказал Фазыл торжествующе.— Вчера причаил, как знал, что сегодня занадобится.

— Дай сюда!— Леха вырвал из его рук бутылку и, задрав рубашку, сунул бутылку под ремень.

Они ссыпали в его ладонь всю свою мелочь; Леха еще раз, на глазах у всех, пересчитал ее — чуть не достанет, иди потом докажи, что не отначил, и, убедившись, что нужная сумма есть, аршинными шагами припустил в магазин. Углов с Фазылом постояли пяток минут в нетерпеливом, жаждущем ожидании, потом Фазыл не выдержал.

— Пошли, Угол,— сказал он, устремляясь вперед.

Углов и сам не мог дольше оставаться на месте, ведь они доверили Лехе все свои деньги, и хотя обмануть их он, конечно, не осмелился бы, но чем черт не шутит — вдруг по дороге прискребутся «менты» или случится еще что-нибудь необычайное. Тут-то и пришлось бы кинуться на подмогу. Хотя, что была «ментам» за польза от Лехино уловления? Таких, как он, они старались не замечать: нигде не работает, в карманах шаром покати, нечем даже заплатить за ночевку в вытрезвильковке,— мало было, что ли, у «ментов» других забот? Разве что шуганут когда, для смеха.

Углов вывернул из парка и остановился. Он издали приметил спешащего навстречу Леху. Магазин был недалеко, и долгоногий Леха слетал на удивление моментально.

Фазыл облегченно вздохнул:

— Идет.

Они вернулись назад. «Пяточок» ждал их. Углов поискал глазами поверху.

— Да вот же!— Фазыл поднялся на цыпочки и сдернул с обломанного сука липкий граненый стакан. Семен перенял стакан и ополоснул его в арыке. Фазыл нагнулся к мусорной куче и сорвал пучок растущего около нее щавеля. Закусон и посуда были готовы, бутылка шла им навстречу.

Леха подскочил, задыхаясь от быстрой ходьбы.

— Так,— сказал он, вынимая бутылку.— А ну давай по-шустрому, а то вроде меня по дороге Дамир засек.

Все засуетились. Да, если Дамир увидел, что Леха идет из магазина, то есть явно не пустой, значит, через пять минут он будет на «пяточке». Отлетела запечатка, забулькало резко пахнущее вино,— через три минуты Фазыл снова спрятал в мусор пустую бутылку, а еще через минуту из-за угла танцплощадки вылетел Дамир. Он обвел глазами индифферентно молчащую компанию и сразу все понял. Тяжелое разочарование разлилось на его опухлом лице. Дамир пожевал губами, хотел что-то сказать, но безнадежно махнул рукой и вновь скрылся за углом.

Леха зашелся в беззвучном смехе. Он тыкал пальцем в сторону ушедшего Дамира и с трудом выдавливал из себя:

— Не обломилось!

Фазыл строго остановил его:

— Чего зазря зубы скалишь? Не видишь, болеет человек.

Леха мигом взъерошился.

— Ну так налил бы! Чё ж не отначил от своей доляны?!

— На всех не отначишь,— нравоучительно заметил Фазыл.— А ржать не над чем. Сами только что помирали.

И Фазыл тяжело вздохнул:

— Эх, жизнь наша бекова. Не жизнь, а цирк...

— Почему — цирк?— заинтересовался Леха.

— А я в цирке в детстве видел,— охотно отозвался Фазыл.— Лежит мужик на кресле, да вверх ногами, лежит и бочку на пятках крутит. Вот так и мы — живем как вверх ногами, аж голова кружится.— Он сплюнул.— Антиподы, что ли, называются такие мужики,— с гордостью припомнил полузабытое слово.

— Нет,— вступился Леха.— Не антиподы, а антиподисты.— Леха был грамотный в прошлом человек. Поговаривали, что он когда-то ходил в больших чинах и имел диплом инженера.

— Земля-то ведь круглая. Антиподы — это те, что с другой стороны живут. У Фазыла разом вспухли на скулах малиновые желваки.

— Ученые сильно стали,— свирепо проскрежетал он.— С той стороны...

Леха опасливо попятился.

— Все беды от вас, от таких вот шибко грамотных, уже землю в шар превратили! Да ты раскрой глаза, ты погляди!— Фазыл яростно потыкал в стороны кривым пальцем.— Где ж тут круглость? Не видишь уже, глаза застило? Ровное же все, как блин ровное!

— А космонавты? — попробовал было возразить отступивший от предосторожности Леха.— Они-то видали ведь, что круглая.

— Видали?— Фазыл возбужденно засмеялся.— А ты откуда знаешь, чего они там видали? Они наговорят, держи уши...

Фазыл был абсолютно уверен, что все эти грамотеи, эти профессора да космонавты — просто одна хитрая шайка-лейка, где все они покрывают друг друга, чтоб только ловчей обманывать таких вот простецов, как он. Ведь темное профессорское невежество явно било в глаза: это надо же было на весь свет объявить землю круглым шаром, да еще упрямо стоять на этой очевидной нелепости. Конечно же, одни жулики прикрывали своим дутым авторитетом других, и как же было обидно — и те и другие жили просто припеваючи!

Вот она грамота, вот она образованность: сплошное жульничество и ничего больше! Фазыл и сам имел когда-то такую глупость: закончить местный техникум, да вовремя спохватился и загнал свои корочки какому-то лопуху за двести целковых. Все хоть какая-то польза от этой науки.

Теперь он люто ненавидел галстучных, очкатых обманщиков: они огребали громадные деньги, а за что — невозможно было понять! Впрочем, когда заходили эти гнилые разговоры о якобы круглой земле, ему сразу становилось ясно за что — за шарлатанство!

— Да ты пойми, лапоть!— шагнул Фазыл к отпрянувшему Лехе.— Какая же она круглая, раз вода стоит?! Вон, гляди,— ткнул он в сторону журчащего арыка.— Ровная! А с круглины-то уж давно бы вниз стекла. Эх ты, голова...

Фазыл сожалеюще усмехнулся. Леха осторожно приблизился к нему и примитивно протянул:

— Да ладно, чё там? Ровная, так ровная. Антиподы, так антиподы.

Разговор иссяк. Они еще немножко постояли вместе, но ничто уже не связывало компанию. Первым шагнул на дорожку Леха, за ним тронулся Фазыл.

Углов остался один. Он не вникал в мудреный научный спор. Те полтора стакана вина, что ему достались при дележке, просились сейчас наружу. Проклятый Дамир сломал всю Семенову систему. Пили торопясь и чуть ли не захлебываясь, чтобы поспеть кончить бутылку до Дамирова появления, а сейчас приходилось

расплачиваться за это. Углов отщипывал листики от пучка щавеля и старательно разжевывал их. Во рту никак не кислило.

— Вишенка... вишенка,— пытался уговорить желудок Углов.— Кислая вишенка.

Кишки вроде бы немного прислушались к его словам.

— Лимон... лимон,— подключил Семен тяжелую артиллерию.— Кислый лимон... Вот кусаю лимон зубами,— и он отщипнул еще листик щавеля.

Уламывать пришлось еще с полчаса, и все это время он буквально не мог сдвинуться с места. А там, возле столовки, наверняка уже гудели веселые компании и лилось рекой вино, но проклятые кишки не давали ходу и возможности.

Наконец вино присосалось. Углов сразу почувствовал это по испарине, выступившей на лбу. Намертво, словно клещами, зажатое сердце отпустило. На душе стало веселей, и он решительно вывернул на главную аллею.

Навстречу ему (бог сегодня стоял за Углова) шел его бывший бригадир, дядя Жора. В руке его виднелась бутылка с водкой. Рядом, чуть отстав, семенил Дамир. Вчера давали аванс, и, как видно, дядя Жора заглянул сегодня в парк, чтобы маленько подлечиться.

Сладко улыбаясь, Углов двинулся ему навстречу. Дядя Жора, завидев Семена издали, приветствовал его поднятой к небу бутылкой.

11.

А счастливый все же был сегодня день! Семен и запомнил с похмелья, что вчера давали аванс: бутылки сыпались с неба одна за другой. С аванса народ был тороват. Углов даже и сбегал-то в магазин сам всего каких-нибудь два раза. И все подходили и подходили новые знакомцы и незнакомцы, через пять минут знакомые, доставали из оттопыренных карманов бутылки; отлетали в сторону сдернутые нетерпеливыми пальцами полиэтиленовые запечатки; булькала разливаемая по стаканам маслянистая жидкость; и Семен скоро потерял счет выпитым им полстаканам и стаканам. Он лил и лил в себя вино, уже перестав прислушиваться к ощущению, которое оно производило. Ни о каком лечении от похмелья, ни о каком «кайфе» не было и речи; все эти заботы кончились и отлетели после четвертого стакана; теперь очень важным и необходимым стало другое — рука Семена должна была чувствовать тяжесть полного, еще не отпитого стакана и глаз Углова, нет-нет да косивший на бутылку с вином, хотел видеть, что в ней еще остается больше половины.

Если уровень жидкости в «бомбе» падал ниже этой заветной грани, то Углову становилось неудобно. До этого проклятого момента он был покоен; никакие тяжелые мысли и чувствования не посещали его, и он всерьез, без всяких задних помышлений, увлекался общим разговором. Но минуты текли, раз за разом разливалась новая порция бормотухи, и Семен все чаще и чаще поглядывал в сторону последнего пузыря.

Вот вино в нем опустилось ниже предельной допустимой грани, и дальнейшая жизнь сразу потеряла для Углова половину своей прелести. Это было невыносимо. Лица окружающих начали казаться ему грубыми и злыми. Разговоры были пусты, да и о чем можно было говорить, когда вино кончилось! Углов не без основания подозревал, что и остальные думают о том же, поскольку разговор иссяк с исчезновением последней бормотушки.

Страшное слово «потом» встало перед Семеном во весь свой гигантский рост. Что делать потом, когда уже все выпито, а он еще стоит на ногах?

На этот вопрос у Семена не было ответа. Впрочем, наскочили новые «друзья» и задача решилась сама собой.

12.

Через три часа, тяжело покачиваясь и несвязно бормоча под нос, Углов зашагал к выходу из парка.

— Эй, братан,— хрипло донеслось до него сзади.— Ты куда? Сейчас еще пузырь принесут, его сделаем, потом отвалишь.

Загул перешел уже ту грань, когда каждый следил за каждым, чтоб не больше налили, или не сквозанули бы куда с «бабками» или «полбаней». Теперь пили неспешно; и первая, и вторая жажда была утолена; пришел и прошел и малый, и большой «кайф», и мужики добирали теперь дозу между «кайфом» и «завязкой».

— Я сейчас,— с трудом разлепляя опухшие губы, выдавил из себя Семен и при-

бавил ходу. Неистребимый, спасительный, безошибочный инстинкт вел его сейчас прочь от дружков. Голова перестала ориентироваться в окружающем — и только мелькали перед его глазами ставшие незнакомыми багровые, распаренные физиономии; горячо накалялся тяжелый, бессмысленный спор; кто-то опять побежал в магазин за следующей порцией. Углов уже не вполне понимал, кто и что находится перед ним, и только, неслышный постороннему уху, внутри него звенел тонкий спасительный звонок: «Домой! Домой!»

Откуда шел этот таинственный приказ, Углов не знал, да и не мог знать: вино уже положило его на обе лопатки; сейчас он был безусловный раб стакана с бормотухой, но сила внутренней команды была такова, что Семен повиновался ей, как бессловесная машина.

13.

Словно что-то толкнуло под ребро, и Углов, дернувшись всем телом, ударился макушкой о стену и проснулся. Ошалелыми, невидящими глазами повел он вокруг и, не понимая, где находится, остервенело затряс головой. Наконец вещи вокруг него перестали раскачиваться, и Семен окончательно пришел в себя.

Он лежал на полу гостиной, у дивана, рядом с ним валялся надкусанный огурец и круглый зеленый флакон с туалетной водой. Увидев флакон, Углов воровато оглянулся по сторонам (ему послышался было сторонний шорох) и быстрым движением закатил флакон под диван.

— Папа! Папа! Ну вставай, пожалуйста!— В комнату вбежала худенькая девочка с белым бантом в светлых волосах. Пытаясь на ходу повернуть в Семенову сторону, она не удержалась на тоненьких ножках и со смехом повалилась на пол.

— Доча, ты откуда? Ты как здесь?— удивленно пробормотал Семен, прижимая к себе хрупкое, словно бы игрушечное, тельце.— А где мама? Дома?

— Ох, какой ты беспонятный, папка,— затараторила дочка, горячо колотя воздух крохотной ладошкой.— Я же была у бабушки, а ты пришел и сам забрал меня домой. А бабуле сказал, что мама велела, а сам маму спрашиваешь. Ну вставай, чего ты все спишь и спишь, ну вставай, пожалуйста, мне скучно.

Углов не мог без сладкого спазма в сердце слышать, как Аленка выговаривает свое первое ученое, взрослое слово «пожалуйста». Нестерпимо-важная серьезность преображала ее улыбчивое личико, быстрые светлые глазенки слегка темнели, и, вся преисполняясь значимости совершаемого деяния:— «ну, пожалуйста»,— повторяла она после каждого второго слова, невольно кося уголком глаза в сторону отсутствующей воспитательницы.

— Как — взял? А бабушка? Она что ж?— удивился Углов.

— А ты бабулю побил,— ответила Аленка, становясь на миг серьезной.— Ты, пожалуйста, больше ее не бей, а то я маме скажу!

— Как — побил?— вздрогнул Углов, отстраняя дочку. Его разом прошибла холодная испарина.

— Побил, побил!— загрозила Аленка тоненьким пальчиком.— И бабуля плакала. Правда, правда! Я сама видела!

Углов резко встал с пола, его шатнуло, и, чтобы не упасть, он тяжело опустился на диван. Обхватив руками чугунную голову, он пытался привести соображение в относительный порядок. «Да нет, не может быть! Я же совсем не помню, чтобы сегодня был у Татьяны Ивановны... Да и чего мне там было делать после парка? Я же шел домой! Домой!»

Последние слова вырвались наружу сквозь его мертво стиснутые зубы, и Аленка, как эхо, подхватила их.

— А мы дома! А мы дома! Эх ты, папка, совсем пьяненький «алаколик»,— с трудом выговорила она это главное слово и на всякий случай добавила:— Пожалуйста!

Углова как током ударило.

— Что ты, что ты?— забормотал он испуганно, прижимая к себе Аленку.— Это нехорошее слово, ты так больше не говори, не надо!

— Да уж, нехорошее, скажешь тоже,— ответила Аленка с явным чувством превосходства.— А мама все время так на тебя говорит! Значит, хорошее!

— Ты погоди, погоди. Иди-ка поиграй,— сказал Семен, отстраняя дочку. Обнимать ребенка и, отвернув голову, дышать в сторону было невмоготу.

— А я какаю хочу!— заняла дочка, дергая отца за руку.— Какаю-у-у! Ну сдelaй, пожалуйста! Ну, пожалуйста!

— Сейчас, сейчас,— ответил Семен, встал и, пошатнувшись, направился на кухню.

Последний год Лиза приспособилась готовить новое лакомство для Аленки: брала банку сгущенки и варила ее пару часов в крутом кипятке. Получалась желеобразная коричневая масса, невероятно вкусная, по убеждению дочери. Аленка сразу окрестила новое кушанье словом «какау».

Семен зажег газ, набрал в большую зеленую кастрюлю воды и поставил кастрюлю на плиту. Порывшись в кухонном шкафу, отыскал банку сгущенки и бросил ее в воду. Сделанные ничтожные усилия крайне утомили его. На лбу выступил крупный пот, и Углов, вяло обмахнувшись кухонным полотенцем, присел на стул. Аленка прошмыгнула на веранду и, напевая, принялась убаюкивать куклу Машу.

Прошло уж целых четыре часа, как Углов ушел из парка. Сейчас он сидел, бездумно глядя в стену, и слегка поскуливал: начиналось новое похмелье, но в глубине его мозга, как крепко вбитый гвоздь, сидела нечаянная и прочная радость. Ведь в гостиной под диваном, чуть отсвечивая зеленым боком, притаилось его спасение.

Ах, какой он был молодец сегодня, и как удачно распорядился и своим временем, и своими поступками. Семен не знал, каким способом: гениальным ли, глупым ли, он раздобыл и принес домой заветный зеленый флакон, — но что флакон этот въяве ждал его под кроватью, лучше всяких слов доказывало прозорливую угловскую распорядительность. Семен слабо усмехнулся про себя: он бы мог сегодня с гордостью, как равный, сказать тому же «Сухоручке»: «А я нынче встал с похмелюги, гляжу — флакон туалетной воды заначен; как-никак, а похмелиться можно!» И «Сухоручка» уважительно покивал бы Семену кудлатой головой. Ведь это был высший бормотушный класс: удержаться, не добить похмельной, исцелительной на завтра, заначки!

14.

Громко бурлил кипяток в кастрюле. Углов сидел за кухонным столом, подперев ладонями голову, и не видел ни стены, ни двери, ни кипящей воды. Все его устремления, чувства и внимание были направлены внутрь себя. Вот, дьявольски знакомая, возникла где-то внизу живота короткая, вялая судорога и медленно прокатилась по угловским внутренностям. Следом уже готовилась к рождению другая. Семен схватился руками за живот и шумно выдохнул воздух: оттягивать похмелье дальше было никак нельзя. Начнется сердцебиение, рвота, и присосать к кишкам крепчайшую лесную воду станет до невозможности трудно. Раздраженный желудок принимал в таком возбужденном состоянии только самый слабый градус, а разводить водой огненной силы флакон Семен не стал бы ни под каким видом — хоть отсохни рука!

Разжигать крепость, превращать истый спирт в белесую, мутную, теплую бурду и пить ее потом — было почти безнравственно. Во всяком случае, услышь о таких его безумных, фраерских поступках братаны — и к псу под хвост полетел бы весь алкашный угловский авторитет.

Семен тяжело встал, прошел в гостиную и, опустившись на колени, выудил флакон из-под дивана. Легкая радуга играла на круглых зеленых боках. Пушистая пена вздыбилась в воздушном пузыре. Углов невольно погладил овальную поверхность ладонью. Флакон отозвался на ласку тихим довольным урчанием. Он был живой. Могучие алкогольные радикалы притаились в нем.

Углов поерзал глазами вокруг. И огурец тотчас нашелся. Вот он, лежал рядом — с одного бока надкусанный, с другого испачканный землей.

— Верно, кто из братанов угостил, — благодарно подумал Углов. В животе снова забурлило и, кой-как поднявшись с колен, он поплелся на кухню.

Его стакан (Углов не признавал для питья никакой другой посуды, кроме этой) стоял в самом низу шкафа, за банками с консервированием. Граненый, мутного серого стекла, вмещал он в себя ровно сто шестьдесят шесть граммов вина. Бутылки бормотухи хватало на три таких стакана: хоть вытрясай ее до сухости, хоть не вытрясай. И, «кайфуя» с полбанкой один, Углов всегда абсолютно точно знал, сколько он уже принял и сколько еще остается принять. Организм Семена был настроен на камертоне этого стандартного объема: стоило недолить в стакан хоть полглотка, и не создавалось полного душевного комфорта. Если же попадался другой стакан, вмещающий больше, то лишний глоток Семен принимал мучительно.

Он обтер огурец рукой, вытряс полфлакона в стакан и, зажмурившись и задержав дыхание, вылил в себя жидкий огонь. Словно мина взорвалась у него во рту. Пищевод ожгло, небо пошло волнами, как резиновое. Углов крикнул и решительно откусил огурец. С закусью-то оно шло!

Через десять минут флакон был пуст, и повеселевший Семен начал рыскать по карманам в поисках сигареты.

Бат-т-т-тюшки-светы! Он держал в руке возникший из нагрудного кармана мятый рубль и не верил глазам своим. Откуда? Смутно припомнилось, как уже к обеду, в парке, пьяненький дядя Жора, плача обильными стариковскими слезами, мял в руках какие-то деньги и совал их в угловский карман.

— Петрович!— всхлипывал он, цепляясь за Семеново плечо.— Петрович, мы еще с тобой послужим! Мы еще с тобой работнем! Ты людям, и люди тебе! Петрович!

А Углов кричал в ответ, раздувая на шее лиловые жилы:

— Они еще увидят, дядя Жора! Они еще поймут, кто такой прораб Углов!

И он гордо отказывался от денег и отталкивал потную с деньгами руку, а рядом одобрительно шумели братаны, и кто-то, совсем уже закосевший, скрипя зубами, глухо рычал:

— Всех их-х-х!.. всех их-х-х!

С запоздалым сожалением Семен погрузился об упущенном — надо было, конечно, взять эти деньги! они сами шли в его руки; ведь все равно дядя Жора пропьет их — раньше ли, позже ли, а пропьет. Или вытащат у него, пьяного, из кармана и тоже пропьют такие же, как он сам. Но делать было нечего: что упущено, то упущено; хорошо, что возник из небытия хоть этот вот измятый желтый спаситель: то ли Углов все же взял его у бригадира, устав противостоять напору, то ли остался он сдачей с каких-то других денег, но он был, был! И сердце Углова привычно загорелось выпить вина. Как хорошо бы лег сейчас стакан бормотухи поверх лесной воды! Нет, точно, именно его и не хватало для полного душевного покоя.

Аленка выскочила к нему с веранды с нытьем о своем «какау»— Углов досадливо отмахнулся от нудной пустяковины. Быстрая мысль молнией мелькнула в его голове: возле Семенова дома был вкопан соседями столик с двумя скамейками, на которых по вечерам заседали все окрестные старушки, ну а сейчас, к концу дня, там обязательно стучали костяшками заядлые доминошники. Среди них, конечно, всегда можно было найти делового мужика, готового сложиться рублем.

Углов перевел дух. Да, точно, нужно было немедленно ссыпаться вниз и сделать бутылку вина. Это выглядело вполне реально — благо, он был сейчас при деньгах, а там, глядишь, чье-то сердце могло загореться на хорошую выпивку, а уж тогда его, заводилу, конечно, не обошли бы лишним стаканом. Углов заторопился. В спешке он забыл выключить газ, и объемистая, чуть ли не ведерная кастрюля кипятка осталась бурлить на газовой плите.

15.

Семен, проскочив пролет, вылетел на улицу и бросился за угол. Мати пресвятая богородица! Сидел за доминошным и сплетниным столиком всего лишь один человек,— но какой человек! О таком Углов мог только мечтать! Сердце забилося часто: счастье не ходило в одиночку, и такой уж, видно, был сегодня день: сидел за столом «бич», живущий в подвале под Семеновым домом мужик лет тридцати по кличке «Алмаз». Рядом с ним лежала рваная авоська с буханкой хлеба и бутылкой бормотухи. Семен ужом подвильнул к «бичу».

Алмаз скосил на него край глаза и отвернулся: «от «бухарика» чем поживишься? Сам тот же «бич», только на этаже ночует. Ну да ничего, его время выйдет, клюнет жареный петух в темечко и разом выбьет из башки барские замашки. Он, Алмаз, тоже, было время, шиковал — по этажам-то по этим.

— Ну што, Алмаз?— льстиво спросил Углов, садясь рядом.— Как жизнь? Што-то тебя не видно было последнее время?

«Бич» солидно помолчал, не спеша расстилаться перед никчемным «бухариком», потом разъяснил весьма обстоятельно, что в этом сезоне подрядился и поехал на прополку лука, а хозяин попался ему таков, что подолгу мурыжил с поденным расчетом, скверно кормил, жилил курево да еще принуждал пахать сверх меры, злоупотребляя рукоприкладством, и он, Алмаз, не выдержал такого яду и бросил лук и проклятую луковую прополку и драпанул сюда, к себе домой,— он кивнул на подвал угловского дома. Теперь, малость отдышавшись от обману, он передохнет месячишку-другой и опять займется поденно, но уже не на прополку, а на уборку того же лука, и уж не к этому профуристу подлецу, а к другому, хорошему. Для этого придется ломануться, конечно, в другой район, чтобы не дай бог не нарваться случаем на старого хозяина, от которого Алмаз (удачно выманив небольшой аванс) очень вовремя дал деру!

Семен выслушал его нетерпеливо. В другое время он и сам порасспросил бы Алмаза кой о чем досконально (крутилась у Семена в голове вот уже полгода одна мыслишка в этом как раз направлении), но сначала надо было решить главнейшее.

— Полбанку взял?— спросил он Алмаза, кивая на авоську.

Тот усмехнулся:

— Ну, взял.

Но не стал особо рисковать и пододвинул авоську к себе. У «бича» какие права? Против него все короли, и если по нужде не помогут ноги да свой крепкий кулак, то уж никто не поможет, а подсевший «бухарик», хоть и шибко запитой с виду, был здоровый мужик, и трудно было рассчитывать, в случае чего, устоять против него на тех хилых харчах, что перепадали Алмазу последнее время.

Семен заметил и оценил владельческую настороженность «бича» и успокоил его:

— Да не пустой я. Есть «дуб».

Алмаз усмехнулся и промолчал.

Алмазова планида и путь становились потихоньку хрустальной Семеновой мечтой. Углов вглядывался в сидевшего рядом «бича»: вот умеет же человек жить, как птица небесная, сегодня там, а завтра здесь, не жнет не сеет, а все же и сыт, и пьян, и нос в табаке! И никаких над ним ни жен, ни начальников: не жизнь, а любезная разлюли-малина.

В долгих и мучительных ночных бдениях Углова не раз посещала страшная мысль: ну вот, запой кончится и что ж дальше? Сначала он успокаивал себя: вот отрезвею, вот приду в себя, а там устроюсь на работу и все пойдет, как прежде, все наладится. Но дни шли, и не шли, а летели; бездельный разрыв времени в трудовой книжке все нарастал и нарастал, сильно препятствуя трудоустройству; кроме того, мимо парка ходили сотни людей, да и внутрь его, принять сотку разливухи, заглядывали почти все городские строители, и все они видели Углова. Видели его, пьянящего, с потухшим взглядом сшибающего гривенники у прохожих.

Кто бы теперь взял его хоть на самую маленькую, начальническую должность, кто доверил бы ему материалы и деньги, не говоря уже о людях?

Но городок был маленький; все знали всех, и дурная слава ходила за Угловым по пятам. Да что там ходила — она оседлала его хребет и выглядывала бешеной стервой из каждого мертвого Семенова зрачка. Через еще несколько пьяного времени растаяла и эта, нереальная, фантастическая, мечта о том, что он опять встанет на ноги и снова войдет в недосягаемый, сияющий мир, в котором жил когда-то.

Ушла эта мечта и появилась другая, как видно последняя, за которую Семен ухватился со всей силой и безнадежностью утопающего. Вот он каким-то чудом (должно же и ему когда-то повезти) добывает заветную, давно обдуманную десятку — Углов явственно ощутил в руке хрустящий, новенький червонец — и вот, помывшись и смахнув со щек недельную щетину, садится в автобус, идущий в областной город.

Ах да, десятка была уже неполной, рубль неизбежно отламывался от нее еще до отъезда, на городской автостанции, — не ехать же на сухую, ведь с ума спрыгнешь по дороге; пожалуй, и не доберешься вовсе. И вот, приняв посошок на дорожку, он садится в шикарный междугородный автобус и баринком катит себе в областной центр. Правда, по пути была на пяток минут остановка в райцентре, и там, рядом с автостанцией, тоже располагался один хорошо знакомый Семену домишко, в котором, умри душа, а пару рублей отщипнешь на поддержание тонуса и духа, — но все равно, за минусом трех рублей на билет, ему оставалось целое состояние: четыре кровных, живых рубля, с которыми он гоголем подкатывал к базару областного города.

Здесь, на задворках за пивной, полулегально функционировала биржа сельскохозяйственного наемного труда. Подкатывали запыленные дальней пылью «Жигули», из них выскакивали шустрые, худощавые люди, их сразу плотно обступала шумная, окутанная винными перегарами толпа «бичей» и «бичих», и начиналась торжище.

Назывались и ставились условия, шел ожесточенный торг за вино, за курево, за кормежку, за норму выработки — за деньги не торговались: цена на труд была стандартная, не менявшаяся долгие годы, «бич» стоил пятерку в день. Но кроме того, он хотел за этот же день выкурить пачку сигарет, выпить бутылку вина и трижды поесть с мясом — все сверх синенькой.

Здесь уже вспыхивали страсти. Работодатели юлили, клялись в своей добросовестности, в знак правдивости стучали ногтем большого пальца по золотым, сверкающим зубам, а сами опытным глазом просматривали, словно бы просеивали сквозь мелкое сито, бушующую толпу.

Ценились «бичи» тихие, безответные, и желательно парные, с «бичихой». Таких можно было взять за хиршу плотнее, тем более, что и «бичиха» была бы подвязана в дело: она шла стряпухой и содержалась самими «бичами», но часть дня, конечно, левачила бы на прополке.

Углов ясно представлял себе, как он уверенно входит в толпу, алкающую денег, вина и хлеба, как солидно ставит будущему хозяину свои деловые условия; как, провожаемый завистливыми взглядами, садится в пыльный корейский «жигуль» и катит куда-то в дальний район, на неведомое ему луковое поле.

Ведь он же был молод, здоров, неизношен: чего же ему было бояться чьей-то конкуренции? Ясно, что его должны были нанять в первую голову! Дальнейшее терлось пока в тумане.

Но ведь приезжали же поздней осенью с поля его знакомые «бухарики» с тремя, четырьмя сотнями в кармане; веселые, загорелые до черноты, поджарые, и начиналась осенняя парковая гулянка, со страшной бахвальбой, с нескончаемыми рассказами о том, кто был хитрее, кто больше урвал, и как одни хозяева переманивали к себе работников у других, и не скупилась: поили от пуза, жалея потерять горячее рабочее время, и как легко было при этом сделать большие деньги...

Углов всегда слушал с невольной завистью: и он бы конечно не растерялся, случись попасть на такое горячее место, и он бы легко урвал долю своего короткого счастья, — в этих мечтах Семен был смел и удачлив, и деньги сами шли к нему в руки, а там не за далекими горами он уж видел и себя владельцем собственного лукового, или еще лучше — арбузного, поля: ведь хозяева все время играли в карты, и проигрывались, и ставили землю и урожай на кон, и они шли в бесценок, в две, три тысячи, и легко можно было при слепой картежной удаче, при фортуна в каких-нибудь полчаса стать настоящим богачом. В рассказах «бичей» счет шел только на большие тысячи, и сами эти тысячи денег выглядели чем-то вроде разменной монеты, чуть ли не гривенником — десять тысяч, двадцать тысяч, тридцать тысяч. И Углов всем сердцем втягивался в эту призрачную, колдовскую игру, где все казалось таким простым и легко достижимым.

Да-а! Семен сглотнул слюну, и чудесные видения разом исчезли. Остался только один сидевший рядом Алмаз, да и тот вроде собирался улизнуть. Углов вытащил и показал ему желтую бумажку.

— В самом деле, рупь?! — сразу оживился Алмаз. — Чего ж ты му-му-то крутишь? А я уж думал, внаглянку на хвост упасть норовишь. Дуб — это хорошо! Накось вот, держи, — он порылся в кармане (у Семена екнуло радостью задрожавшее сердце) и вытащил еще один целковый. — Гони в магазин!

Углов поднялся, зыркнул глазами по сторонам (стоило только наскрести на полбанку, как немедленно возникало тысяча друзей), но «бич» успокоил его:

— Пойдем ко мне в подвал, уж туда-то никто лишний не сунется. Ну, я отвалил, а ты лети, бери да вали вниз...

Да, это была хорошая мысль, и успокоенный Углов быстро зачесал в магазин. Взять бутылку и притаить ее под поясом на животе оказалось делом минуты; Семен возвратился мигом и шмыгнул в подвальный Алмазов подъезд.

Алмазово логово (Углов невольно усмехнулся), почти ничем не отличалось от его собственного. Матрац был точной копией угловского. Впрочем, в отличие от Семена у «бича» имелась и собственная мебель, и собственная посуда: на двух кирпичках лежало дно фанерного ящика с торчащими по углам обрывками металлической ленты и ржавыми гвоздями; на фанерке стоял почернелый граненый стакан и закопченная консервная банка с отогнутой крышкой — «бич» варил в ней чифирь.

Семен принюхался и невольно повел носом. Даже его, привыкшего к состоянию собственного лежбища на веранде, все же замутило.

«Бич» был прост, как березовое полено. Дворянские тонкости его совершенно не волновали, — впрочем, могло случиться, что в длительных странствиях он начисто утратил обоняние, и Углов, вздохнув, смирился: со своим уставом в чужой монастырь не ходят.

Алмаз повозился под матрацем и достал обкусанное яблоко.

Налили — выпили. Налили — выпили. Налили — выпили — закусили. Алмаз не любил разговоров. Делу время, потехе час. Выпивка была самым серьезным делом Алмазовой жизни: какие такие тут могли быть еще разговоры?!

Через полчаса распаренный, разнеженный Семен вынырнул из подвала. Он подошел к столику, сел, поднял валявшийся рядом «бычок» и, спросив у прохожего огоньку, закурил.

Жизнь благоприятствовала. Ближайший спокойный час был его часом.

Но тут (ах, нет на свете полного счастья!) зацокали невдалеке каблучки. Углов нехотя повернул голову: так и есть, к нему быстро шла Лиза.

«И чего бегаешь? — недовольно подумал Семен. — Ишь какая запаренная, будто из бани...»

Вид Лизы действительно был нехорош: лицо в красных пятнах, глаза испуганы.

— Где Аленка? — встревоженно обратилась она к мужу, вся задыхаясь от быстрой ходьбы и напряжения.

— А я откуда знаю? — бездумно удивился Семен. Он давным-давно и думать забыл о делах семейных.

— Как? — мгновенно побелела Лиза. — Ты ведь забрал ее у мамы (она схватила Семена за руку), где ребенок?!

Углов с сомнением посмотрел на Лизу и задумался. Убей бог, он не помнил ничего подобного. В последнее время все, что происходило с ним какой-нибудь час назад, начисто вылетало из его головы. Сейчас, с недоверием глядя на Лизу, Семен старался сообразить, не врет ли глупая баба, не берет ли, чего доброго, на пушку? И вообще, с чего это она вдруг пристала к нему с Аленкой, не видел он с позавчера ни сном ни духом никакой Аленки; точно, Лиза просто набивалась на очередной скандал; совсем житья не стало дома, — баба уже не стеснялась привязываться к нему со всякой ерундой прямо на улице.

Углов грозно нахмурился.

— Отвали! — сказал он, выдергивая руку из ее слабых пальцев. — Совсем спятила. Напилась, что ли?! У бабки же Аленка...

Лиза не отводила от него обезумевших глаз.

— Куда ты дел ее? — повторила она в нерассуждающем, грозном страхе.

Семен невольно попятился. Но тут стукнула форточка на балконе их квартиры, и в проеме появилась улыбающаяся Аленкина рожица.

— Мама, мама! — весело закричала она сверху. — А мы с папой «какау» варим! Оно уже готово! Я сейчас достану!

— Подожди! — испугалась Лиза. — Без меня не трогай! Вот я поднимусь...

И Лиза шагнула к подъезду.

— Да я сама! — дочка махнула веселой ладошкой и исчезла.

Семен взъерился до глубины души.

— Стой, куда?! — схватил он за рукав двинувшуюся к дому Лизу. — Што ж замолчала? Што ж не прешь дуром? Давай ори дальше, качай права, доказывай!

— Пусти! — Лиза попыталась высвободить плечо из железных Семеновых пальцев. — Ну пусти, ребенок же один, а там кипяток!

— Нет, погоди, — с упрямой, хмельной настойчивостью удерживал ее на месте Углов. — Давай разберемся, какой такой Семен Углов человек!

Он рванул рубаху на груди: полетели выдранные с мясом пуговицы; Лиза пошатнулась и едва удержалась на ногах. Она безуспешно боролась, стараясь вырваться.

— Значит, на улице уже меня позоришь! — рычал Семен, выкатив налитые кровью глаза. — На людей волокешь! Ну давай разок разберемся на людях!

Их возню прервал истошный вопль, раздавшийся сверху. Он громом прорезал воздух и поразил, как молния. Оба сразу узнали голос дочери и оцепенели. Раздался второй страшный крик, в котором, казалось, уже не было ничего человеческого.

— Ма-а-а-а! — пронеслось над притихшим двором. — Ма-а-а-а!!

Лиза, смертельно побледнев, бросилась в подъезд. Углов оставался еще несколько секунд в нерешительности, потом сорвался с места и бросился за ней. Они бежали по узким маршам и площадкам лестницы, впереди бежал задыхающийся, отчаянный страх за дочь, а навстречу им неся неутраченный вопль нечеловеческого страдания:

— Ма-а-а-а!!!

Лиза пропала за распахнутой дверью квартиры. Из соседних дверей выглядывали перепуганные соседи. Углов пробежал прихожую, повернул по тесному коридорчику на кухню и остановился, потрясенный увиденным. Весь хмель разом вышел из него. По кухне, вверх до самого потолка, плыли клубы горячего пара. В стороне валялась опрокинутая зеленая кастрюля; банка сгущенки, сверкая отпаренным, идеально чистым боком, лежала рядом.

Аленка, выткнувшись в струнку, стояла посреди кухни, глядя перед собой обезумевшими от боли, невидящими глазами; рот ее был открыт страшным усилием крика, но из него вырывалось теперь только глухое, хриплое мычание, — голосовые связки не выдержали напряжения и сорвались. Мокрое байковое платице плотно облепило ее худенькое тельце.

Углов охватил взглядом открывшуюся ему картину и впервые в жизни на секунду потерял сознание. Еще запомнилось ему, как обезумевшая Лиза трясущимися пальцами расстегиwała, снимала, сдергивала с дочери не хотевшую сниматься кипятковой горячести материю и как вместе со снимаемым платьем отрывались от Аленкиного тела большие полосы сваренной белой кожи.

Наконец, оставляя на байке мгновенно сварившиеся подушечки собственных пальцев, она раздела дочку, и (Углов попятился и закрыл руками лицо) ее истощенный, безумный крик ужаса слился с хрипением Аленки.

Позади слышались всхлипы и причитания сбежавшихся соседок.

17.

Дальнейшее слилось для Углова в сплошной, неразберимый хаос.

Его мотало, как пену на волне. Испуганные и разгневанные лица мелькали перед лицом, у него чего-то требовали, что-то ему доказывали — Семен не воспринимал ничего. В оглохших ушах его несмолкаемо звенел высокий кликушечий крик Лизы, перебиваемый утробными Аленкиными мычаниями. Наконец до Семенова обезумевшего сознания дошли первые слова.

— Гусиный жир! Гусиный жир! — втолковывала соседка, дергая его за рубашку.

Семен дико огляделся.

— А?.. Что?!.. Где они?!

— Ищи, говорю тебе, гусяного жира! В больнице сейчас делать нечего. Беги немедленно по тем, кто птицу держит, добудь поллитра гусяного жира да неси врачам! Первое средство, жир-то, этот самый. — И соседка с досадой толкнула Углова в грудь. — Ну понял, что ли? Экий недотепа, прости господи!

Углов испуганно закивал головой: понял, понял! И, заторопившись, выскочил на улицу.

Он пролетел по городу, как метеор; побывал в десятках чужих дворов, бесконечно рассказывая одно и то же и слушая испуганные расспросы. Везде он набирал в неизвестно как оказавшуюся в его руках литровую банку (там немного, и там немного) похожего на парафин белого гусяного жира. Уже и банка была почти полна, и уже, верно, хватило бы собранного, но ноги несли его все дальше и дальше по новым чужим дворам, и не было в его душе силы повернуть к городской больнице и увидеть дочь.

Прошло больше трех часов, прежде чем Углов осмелился приблизиться к тому страшному месту, где сейчас страдала Аленка. С трепещущим сердцем, на подгибающихся ногах он вошел в пятиэтажное белое здание и сразу заблудился в бесчисленных подъездах, коридорах и запертых проходах.

Углов бестолково поднимался и опускался с этажа на этаж; суетливо называл встречным спешащим медсестрам свою фамилию; они недоуменно пожимали крахмальными плечиками и легко проносились дальше — и вот он, наконец, догадался сказать, что пришел к сгоревшей девочке Аленке и принес с собой первейшее средство для спасения ребенка, и тогда очередная бежавшая медсестра резко притормозила около него.

— Тут она, за дверь. Только туда сейчас нельзя, приходите в приемные часы.

— А когда у вас приемные часы? — машинально спросил Углов.

— Завтра с одиннадцати до часу, — донеслось до него уже с низу.

— А у кого узнать? — закричал вслед Углов, но только гулко лестничное эхо повторило его вопрос. Он хотел узнать, в каком состоянии Аленка и кому отдать принесенный им жир, и что еще надо сделать, чтобы хоть чем-нибудь помочь дочке, но спрашивать было не у кого, площадка опустела, а стеклянная закрашенная дверь перед ним была заперта.

Углов потолкался подле нее, робко подергал за ручку, но никто не отозвался. Семен постоял в задумчивости и решился ждать, пока кто-нибудь не пройдет через дверь. Ждать пришлось долго, наконец за стеклом послышались шаги, заскрежетал замок, дверь отворилась и пропустила молодого парня в белом халате. Парень вышел на площадку и тотчас начал запирать заветную дверь.

— Доктор, — робко спросил его Углов в наклоненную спину (как видно, с замком что-то заело), — доктор, как там Углова Аленка, обожглась которая? В каком состоянии? Я вот тут принес ей гусяный жир, так кому бы передать?

Врач продолжал возиться с замком, никак не реагируя на угловское обращение. Наконец он запер дверь и распрямился. Углов снова обратился к нему с робким напоминанием.

— Что — Углова? Какой еще жир?!

Углов, униженно сторбившись, начал было объяснять, что вот дочка его сильно обожглась, и вот он достал народного средства, которое, как говорят, сильно помогает при ожогах, и что не надо ли еще чего-нибудь добыть для наилучшего лечения, но парень в халате резко перебил его речь.

— Удивляюсь я! — бросил он с возмущением. — Ведь, кажется, не средневековье на дворе, уж и спутники давно летают, — так нет же, ничего вам не впрок: все какие-то знахарские штучки, все какие-то шаманские снадобья, как будто нет на свете антисептики, как будто нет в больницах дипломированных врачей. — Тут парень несколько приосанился и, солидно откашлявшись, продолжил: — Вот вы, например, нормальный с виду человек, а что же, всерьез верите во все эти дремучие панацеи?

Углов смешался. Он не совсем понял, о чем идет речь. «Панацея — это что, болезнь какая?» — старался припомнить Семен.

Врач еще раз с сожалением посмотрел на него и покачал головой.

— Да нет, — постарался забежать вперед Семен. — Я, это... дочка тут у меня...

Врач не слушал его.

— Простые, кажется, вещи, а как трудно объяснить их! — Он повернулся и стал спускаться по лестнице.

Углов слушал парня с открытым ртом, кивая в знак согласия головой, и запоздало спохватился, когда тот уже поворачивал с площадки на следующий лестничный марш.

— А Аленка-то как? Дочка? — крикнул Семен в важную белую спину. Сухо и невыразительно прозвучало ему в ответ, что сделано и делается все возможное; что никаких посторонних невежеств не требуется; и что навещать родственников следует в назначенное для этого время.

Углов простоял на площадке еще около часа; с трудом умолил случайно заглянувшую в отделение чужую сестру взять криминальную банку с жиром и, так ничего толком не узнав, вышел на улицу.

Вечерело. Тихие сумерки упали на город. Страшно было и подумать идти домой, опять туда, где случилась беда, и Семен машинально повернул в сторону парка. Сторожась увидеть кого-нибудь из собутыльников, он прошел вдали от ярко освещенной столовой и присел на скамейку под большой тополь, стоящий в стороне от главной аллеи.

Серый полумрак плыл по парку; тополь тихо шелестел мириадами листьев; начинали свои вечерние переговоры лягушки и сверчки, — и не было, казалось, никакого дела никому на свете до страшной угловской беды.

Он провел эту ночь в парке.

18.

Следующий день прошел в безуспешных попытках проникнуть за белую дверь. Никакие уговоры не помогали. Семена обходили, как вещь.

Но вот к вечеру сменились медсестры в корпусе. Дневная смена — веселые щегуны в белых халатиках — разлетелась стайкой испуганных воробьев; теперь заступили на дежурство ночные медсестры, в большинстве своем пожилые, многодетные, всегда нуждающиеся в лишней копейке. Заветная дверь на третьем этаже наконец-то открылась перед Угловым.

Невысокая, расплывшаяся, в летах, женщина с простым русским лицом молча выслушала его сбивчивые просьбы и тихо кивнула:

— В палату тебе, милок, нельзя, врачи заругаются, коли прознают, ты здесь подожди, а я позову твою жену на минутку. Она тебе все скажет.

Еще раз внимательно оглядев понурую угловскую фигуру и тяжело вздохнув, она ушла. Семен остался один на лестничной площадке перед закрытой дверью. Прошло пять минут, десять. Наконец послышались шаги, и Углов нервно переступил с ноги на ногу. Он страшился встречи. Дверь отворилась — перед ним стояла Лиза. Семен взглянул на нее и невольно попытался. В первую минуту он не узнал жены. Багровое, воспаленное лицо; безумный взгляд невидящих глаз; забинтованные кисти рук (по спине Углова прошла тягучая волна страха) — это была не Лиза.

Медсестра осторожно поддерживала под локоть вышедшую к нему женщину.

— Вот, — сказала она, указывая пальцем на Семена. — Вот ваш муж пришел узнать, как себя чувствует дочка...

Женщина повернулась в Семенову сторону и потянулась к нему забинтованной рукой. Волосы зашевелились на угловской голове.

— Я... Жир-то... — сказал он, с трудом удерживаясь на словно ватных ногах. — Я... жир-то... ну как там, что она?

А Лиза все тянулась к нему белой бесформенной рукой, с напряженным вниманием вглядываясь в потное Семеново лицо. Наконец она отрицательно качнула головой, и рука ее бессильно упала.

— Но это же не доктор, — сказала Лиза, поворачиваясь к медсестре.

Та невольно всхлинула и ответила сквозь слезы:

— Придет, придет доктор... А это муж твой. Муж... Об Аленке просит узнать...

Лиза словно бы обрадовалась, услышав об Аленке.

— Вы знаете, — доверчиво потянулась она к опешившему Семену. — Ведь мы с дочкой решили уехать из этого города, как только она поправится. Вы ведь знаете мою дочку? Такая худенькая, беленькая. Она сейчас заболела, но обязательно, обязательно поправится. Мне и доктор обещал. Мы положили бинтики... — подбородок ее запрыгал, и пожилая, много горя повидавшая женщина тихим, бережным движением обхватила ее за плечи.

— Тебе надо немного поспать, дочка, — негромко сказала она. — Идем, я провожу...

— Ей уже лучше, правда лучше! Она уснула. Вы приходите ее навещать. Она будет рада. Мы теперь с ней всегда будем вместе, всегда вместе...

Углов хрипло кашлянул и попытался заговорить, но сильный спазм в горле помешал ему, и он только с трудом выдавил из себя что-то невнятное о лекарствах.

Лиза согласно закивала головой.

— Да, да, лекарства хорошие, — заторопилась она. — И все тут хорошие. И доктор сказал, что все будет хорошо. Я вам разве не говорила: она ведь уснула? Она теперь должна много спать, и тогда все заживет. А потом мы с дочкой уедем — далеко, далеко уедем.

Медсестра мягко повернула Лизу и повлекла ее за собой. Углов остался стоять на площадке потрясенный, с полуоткрытым ртом: жена не узнала его. Прошло еще несколько времени, медсестра вернулась запереть дверь, и Семен снова обратился к ней: он хотел, наконец, узнать, в каком состоянии находится дочь и есть ли хоть малая надежда на поправку. Но спросить об этом прямо в лоб ему было страшно: по Лизину ошеломляющему состоянию и виду он смутно предчувствовал безнадежный и страшный ответ, — и он спросил другое, тоже поразившее и напугавшее его.

— А что с женой? Почему у нее забинтованы руки?

Медсестра скорбно поджала губы.

— Платяще-то, когда она с девочки снимала, так все пальцы на нем и оставила, пожгла. Байка ведь вся и прилипла, будь она проклята!

— А дочка? Есть ли надежда? — со страхом вымолвил, наконец, Углов.

Медсестра замолчала. Потом она снова взглянула на согнувшегося Семена и решительно сказала:

— Что ж, надежда всегда есть. Хотя, конечно, что тут можно поделать, когда половина кожи...

Углов засуетился.

— А пересадить? — с сумасшедшей надеждой спросил он. — Я дам сколько надо, только скажите.

Медсестра безнадежно покачала головой.

— Ты иди, милочка. Что нужно, мы и сами все сделаем. Утром придешь.

— Жена что, не узнала меня? — робко спросил Семен.

Медсестра нахмурилась.

— Она сейчас и себя не узнает, не только кого другого. Эх, да где вам, мужикам, что понять? Выносили бы сами, выкормили, а тогда, может, и поняли бы, каково матери, когда родная кровинка на руках помирает. Эх, видно не даром старые люди говорят: бог долго терпит, да больно бьет!

Она захлопнула дверь, щелкнул замок.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1.

Пронзительно затрещал электрический звонок во дворе.

— Подъем! — заорал на всю казарму ночной дежурный. Углов сонно перевернулся с одного бока на другой и натянул на голову тоще байковое одеяло: вставать смерть как не хотелось.

Было только еще шесть утра. В последнее время санчасть придумала себе и

людям новую забаву (лечить, так уж лечить!) — зоновский день с самого синего ранья стал начинаться физзарядкой. Предполагалось, что, весело отзанимавшись сорок минут по системе Мюллера и восприняв тем самым огромный заряд бодрости и нервной энергии, стриженная синяя толпа радостно построится в длинную колонну и с песнями зашагает на работу.

Мысль была больше теоретическая. Практика же, как всегда, внесла некоторые коррективы. Лечащиеся трудно поднимались; поднявшись, не очень спешили в серый, промозглый полумрак. Тощие тела были плотно впечатаны в бугристые соломенные матрацы. Бр-рр-р-р... Выходить на физзарядку? Да на черта это надо?!

Но уж по проходам забухали пудовыми сапожищами прапорщики. В разных углах барака приподнялось с подушек несколько голов: чья сегодня смена, не усатого? Этот будил просто: хватал железной лапой за одеяло, и все, что попадалось ему под руку, оказывалось на полу.

В первых рядах коек послышался грохот: кто-то спланировал со второго яруса. Точно, он! Барак резко зашевелился: с усатым шутки были плохи и шибко рисковать не стоило; по горячке легко можно было схлопотать по сусалам — иди потом доказывай, кто прав, кто виноват; надоказываешься, что еще добавляют.

Отряд начал вставать.

Углов, услышав грохот, зевнул и отвернулся к стене. Он был не рядовой лечащийся, а прораб зоны — шишка на ровном месте — и мог позволить себе понежиться полчаса после пробудки на некотором полузаконном основании. Шел второй год его пребывания в ЛТП, и приобретенный за это время опыт не давал ему полностью расслабляться. Тронуть-то его, прапора, пожалуй, и не тронут (не должный бы — тут же поправился он), но кто знает, с какой ноги встал нынче усатый прапорщик: он давно уже с неприязнью косился в угловскую сторону.

Семен спиной чувал, как раздражает усатого прапора особое угловское положение. Он так и искал повода для стычки. Они уже разок сцепились на вахте, и тогда Углов, к несчастью, настоял на своем. В тот день, на его беду, рядом оказался дежурный и велел усатому пропустить звено строителей за колючку, не томить их по пустяшному на проходной, и усатый, заскрежетав зубами, смирился и пропустил. Теперь каждую минуту следовало ждать подвоха: усатый никому ничего не забывал и не прощал.

После памятной стычки, уже к вечеру того же проклятого дня (видно, не утерпела дольше непривычная к отпору натура), он остановил Углова за бараком и с явной угрозой спросил:

— Ты кто тут, король?!

Семен, не подумав, тоже встал на дыбы:

— Это не я, это ты, видно, король. Тебе же больше всех всегда нужно!

Усатый нехорошо усмехнулся в ответ и велел вывернуть карманы. Углов побледнел и нахмурился, но тихий предостерегающий голос, возникший где-то внутри позвоночника, осторожно шепнул ему, что связываться не стоит, и он вывернул карманы.

Прапорщик, прищурясь, оглядел его с головы до пят и покачал кончиком лакированного сапога.

— Значит, король, — повторил он со странной интонацией. — Ну ладно, поглядим как-нибудь, что ты за король такой.

Какая-то непонятная самому любопытствующая сила словно бы толкнула Семена в спину и не дала удержаться.

— Все? — спросил он с демонстративным пренебрежением. — Сыт? Теперь мне можно идти?

Усатый неопределенно покивал головой.

— Гуляй, гуляй, — ответил он раздумчиво. — Гуляй покуда!

Семен повернулся и пошел, чувствуя на спине холодный тяжелый взгляд. С той самой поры в «усатую» смену ему стало неуютно.

Вот и теперь он полежал еще минуту-другую, чувствуя, как нарастает внутри его неосознанная тревога. Наконец, не будучи в силах перебороть ее, Углов резко поднялся и свесил ноги с койки. Он бросил быстрый взгляд в проход, и в сердце невольно заохлоло: в проходе стоял усатый прапорщик. Да, Семен встал явно вовремя.

Усатый криво усмехнулся:

— Долго спишь, прораб!

— Да работы много. Засиделся вчера допоздна, — примирительно ответил Углов. У него не было никакой охоты начинать день с лая. Кроме того, рядом лежали, сидели и стояли не дружки Углова, а его подчиненные: пятый отряд сплошь состоял из строителей, и многие из них дорого бы дали, чтоб насладиться видом прорабского унижения. Ведь что ни говори, а Углов находился если и не по ту, то уж явно не по эту сторону баррикад. Людская масса была здесь проста: раз началь-

ник — стало быть, враг, ну, или заодно с врагами. Да, надо было как-то сгладить ситуацию, скатить ее на тормозах.

— Давай на зарядку, прораб! — приказал усатый.

— Сейчас иду, — ответил Углов и послушно встал.

Прапорщик повернулся и пошел назад по узкому проходу между рядов железных коек, поставленных в два яруса. Углов проводил его равнодушным взглядом, снова опустился на койку, подпер голову ладонями и задумался. Сверху свесилась стриженная лопухая голова.

— А я задрог! — весело сообщил Семену сосед. — Ну, думаю, все! Кранты! Счас на отсидку прораба поволокут! — И, довольный, расхохотался.

— Иди ты! — беззлобно ругнулся в ответ Семен.

— А че? — продолжал веселиться сосед. — Глядишь, погонялы не будет, так отдохнем недельку — чем плохо?

— Тебе лишь бы отдохнуть, — усмехнулся Семен. — Двадцать лет отдыхаешь, а все не отдохнул. Не устал, случаем, от такого отдыха?

— Устал, не беда! — бодро отозвался лопухий. — Усталому завсегда по ной отдохнуть можно! Вот оно как!

Углов только махнул рукой — мели, Емеля, язык-то без костей.

Лопухий исчез.

2.

После Аленкиной гибели Углов окончательно сорвался с катушек. Очнулся он в ЛТП. Сколько времени прошло с момента дочкиной смерти до его определения в лечебно-трудовой профилакторий — сказать он не мог, поскольку не помнил сам. Вся конкретная технология его осуждения на два года к принудительному лечению от алкоголизма осталась для Семена загадкой; позади него лежал сплошной черный туман.

Первые тревожные звонки проснувшейся мысли зазвучали в угловской голове месяца через два после начала его сидячей жизни. Начальных полсотни дней он попросту не заметил: застарелый, впитавшийся многолетний хмель выходил из него с большой натугой и неохотой. И лишь только когда Семен отрезвел окончательно, ему стало ясно, какая страшная по силе, могучая, все подавляющая, неистребимая потребность в спиртном сидела в нем.

Выпить хотелось невыносимо. Все маскировки этого сокровенного желания отлетели сами собой. В ЛТП он не мог обманывать себя, как обманывал на «гражданке»: что совсем не пить ему охота, а вот настроение — ну ни к черту, и не мешало бы слегка поднять тонус; или вот просто ребята позвали — такой выпал случай, что никак не отказаться, чтоб не обидеть людей, ну а сам-то он — ни-ни, и вовсе не хочет, а так вышло невзначай.

Кому он теперь мог молоть эту жалкую чушь? Здесь все поголовно были такие, как он; и скрывать всем известное — дело дохлое: кто ж поверит?!

Только теперь Семен по-настоящему понял, что желание или нежелание его к выпивке ничего, в сущности, не могут изменить в доведенных до автоматизма внерассудочных действиях: дракон, сидевший внутри Семеновой головы, хотел пить, и это именно он командовал. И команда его всегда была одна и та же — пей! И Семен подчинялся.

Ночами Углов прислушивался к странному голосу, непонятно откуда возникающему в мозгу, и невольное смущение охватывало его. Он уж не совсем понимал, кто с кем говорит. То ли это были его прошлые пьяные мысли, то ли...

Иногда ему казалось, что он сходит с ума.

В тяжелой предутренней полудреме вновь и вновь возникало перед ним странное, невиданное чудовище, смутно похожее на того диковинного зверя, которого Семен разглядывал в детстве в школьном учебнике по биологии. Волочился по земле длинный, бугристый, тяжелый хвост; передние лапы были несуразно малы; задние, казалось, обнимали собой половину туловища; оскаленная, рогатая и клыкастая голова находилась где-то на уровне пятого этажа; маленькие кровавые глазки смотрели разом во все стороны; зверь наклонялся к Семену со страшной высоты, и писклявый человеческий голос его наполнял ужасом Семеново существо. Зверь просил пить! После первого трезвого месяца дракон словно обезумел. Сначала он никак не хотел верить, что похмелья не будет, и принялся действовать старыми методами: мучал угловское тело и неумолчно орал в Семеново ухо свое, привычное: «дай вина! дай вина! дай вина!»

Углов ничем не мог ему помочь и униженно упрашивал подождать, сам надеясь в ближайшем времени раздобыть спиртного. Но время шло, а выпивки не

перепадало. Тогда дракон, видя, что крики не помогают, сменил пластинку, перекрасился и начал уламывать Углова в побег.

«Гляди, — осторожно нашептывал он Семену изнутри черепа, — гляди хитрее, видишь? Контроль на вахте, да и на запретке, не такой уж строгий, и можно при случае извернуться и удрать».

«Так ведь в строгащ посадят», — пугался Углов.

«Да что ты?! Мы ж не насовсем, — лицемерно успокаивал угловские страхи настойчивый голос. Мы ж с тобой ненадолго, выпьем чуть-чуть — и сразу назад». Семен отрицательно качал сам себе закружившейся головой.

«Попутают же сразу! И выпить не успею. Ну куда мне? Какой я побегушник? В бушлате, стриженный».

Дракон скрежетал зубами и грыз угловские внутренности.

«Ну достань вина, достань хоть немного! Ведь пьют же некоторые и здесь!»

«Так деньги нужны, — отбивался Углов. — А у меня откуда?»

«Достань! — кричал дракон. — Найди, укради, выслужи!»

И он снова остервенело грыз и терзал Семена. Потом дракон, как видно, упал духом, в поведении его появились несвойственные раньше угодливость и лстливость; наглые, требовательные интонации вытеснились из голоса подхалимскими; дракон начал подлаживаться и унижаться.

«Ну давай, Угол, ну что тебе стоит? Ты ведь обжился уже, завел кой-какие полезные знакомства, раздобылся деньгами, я знаю, я знаю! — Дракон чуть ли не грозил кривым пальцем. — Теперь тебе приволокут вина; ей-ей, стоит только захотеть. Ну сделай бутылку, ну не томи душу!»

Но Углов уже был не тот, что раньше. Характер его стал постепенно меняться. Дряблая отечность сходила с Семенова лица, и вместе с ней словно бы сходила и дряблая отечность его упавшей души. Загорелая кожа плотно обтянула массивные скулы; глаза очистились от дурной пелены, и впервые за последние годы из оплывшей, пьяной физиономии выглянуло человеческое лицо. Голос стал строже; с Углова, наконец, слетела шелуха бездумья и суетности.

Первым несомненным и обнадеживающим признаком начавшейся в нем мучительной и исцеляющей душевной работы явилась огромная тяга к труду. Потребность работать постепенно становилась главной его потребностью. Он словно бы очнулся от безделья, от дармоедничанья, и радость хорошо сделанной работы начала перелопачивать пустыню Семеновой выжженной души.

Ему казалось, что трудиться он сможет, только понуждая и принуждая себя к ежедневному трудовому уроку, и что это может сделаться лишь вопреки его внутреннему настрою и ощущению. Да так оно и было поначалу. Тело Семена и мысли его развратила бездельная пьяная жизнь, и первые усилия преодоления последствий этого разврата были мучительно трудны.

3.

После карантина Углов попал в строительную бригаду. Здесь к людям особо не присматривались: труд высвечивал человека насквозь, как хороший прожектор, и незачем было терять время на излишние расспросы. Тот, кто мог и хотел работать, был еще не потерян для жизни.

Первая рабочая неделя прошла для Семена как во сне. Бригада вела демонтаж старого оборудования в токарном цеху. Углов механически бил тяжеленным ломом в упругий бетон; изгибаясь в дугу, двигал по каткам многотонные махины старых станков, и ему никак не верилось, что все, что с ним происходит, — это не сон, не чья-то страшная выдумка, а что это его жизнь, повернутая всерьез и надолго. Что целые ближайшие годы его пройдут именно здесь, в отрыве от всего того, что он привык считать своей подлинной жизнью.

Семену все казалось, что он словно смотрит на себя со стороны; что это вовсе не он, а кто-то другой долбит неподатливый бетон, задыхаясь от каждого сделанного удара; что это не он, а кто-то другой ежедневно ходит строем в середине синей стриженной колонны; что это не он, а кто-то другой падает в изнеможении поздним вечером на железную тряскую койку в длинном темном бараке.

Но через три месяца тяжелого, изнуряющего труда словно что-то треснуло в стенах обступившей его темноты; словно ослабли какие-то опутывающие его вервия, и он впервые за долгие пьяные годы вдохнул в себя живительный воздух подлинного душевного освобождения.

Труд, коллективный труд многих людей, не спрашивал никакого угловского согласия или несогласия, властно втянул его в свою орбиту. Что было за дело и кому до Семеновых мыслей и чувств? Они нисколько никого не интересовали, но

руки, грубые, сильные руки Углова были нужны (он с радостью в этом убедился), были нужны всем, и ежедневным безмянным мускульным усилием Семен, как ручей, влился в могучую реку труда. И когда он, поневоле втянутый в это мощное течение, ощутил через собственное малое усилие и пот свою сопричастность единому ритму никогда не прерывающейся напряженной работы, тогда изменилась и жизнь его, и самые мысли.

Конечно, невозможно было в одно мгновение произвести кардинальную ломку сознания; торосы эгоизма и равнодушия не очень-то поддавались слабым человеческим ударам; но весна пробуждения от страшного пьяного сна вошла в угловское сердце. И многолетний, спрессовавшийся лед, намертво оковавший его совесть, не выдержал напора яростной трудовой жизни и треснул.

Прошлогодня смутная горячая осень, трезвая осень, ударила в угловскую голову. Впервые после страшных дней и ночей Аленкиного умирания он почувствовал себя не умершим вместе с ней, а живым. И хоть стыдно было жить ему на этом горьком свете, где она уже не жила, и хоть звал его еще к себе, в черную даль, ночной хватаящий за сердце детский плач, но уже зрели в нем новые чувства и просыпались новые стремления.

Лежащий перед ним путь был еще во мгле, и только где-то в страшном, ускользающем далеке, за невидимым и нечувствуемым окоемом, чуть брезжила Семену слабая, неведомая звезда.

4.

Через полгода Углов стал бригадиром, еще через два месяца — прорабом профилактория. Каждый прожитый день приносил теперь Семену маленькую радость — полузабытую им радость преодоления. Страшная махина дел наваливалась на него с утра; записав в свой рабочий блокнот все, что срочно, безотлагательно должно быть исполнено к вечеру, Семен сам ужасался прорве нахлынувшего.

Начальник профилактория был переменчив в чувствах, как погода: никогда нельзя было угадать, какая промашка могла стать началом Семенова падения. Приходилось поэтому относиться ко всем заданиям без исключения с сугубой ответственностью. Углов сразу усвоил себе: нет главного и второстепенного, есть только некоторые ничтожные градации спешности, а в идеале следует выполнять все сразу и немедленно. Правильность его линии поведения доказывало устойчивое угловское положение на месте весьма неустойчивом.

И вот каждое утро Семен смотрел на исписанную мелким бисерным почерком страницу своего рабочего блокнота, и странные чувства пробуждались в нем. Да, дел было много, невыносимо много, куда больше, чем, казалось, позволяли сделать его силы, но в глубине души Углов знал, что извернется как только возможно и выполнит замысленное. Он был необходим, он был нужен, казалось, всем сразу: вот пройдет еще час и десятки людей будут звонить ему в прорабку, требовать, приказывать, наседать, угрожать, и он завертится в бесконечной карусели дел и суете человеческих притязаний.

И ощущение этой полезности, нужности наполняло Семеново сердце победительной радостью. Дело кипело и спорилось в его руках. Труд ежечасно формовал заново его растрепанную душу. В характере произошли резкие изменения. Они остались незамеченными только для самого Углова. Ему все казалось, что он такой же, как прежде, но вот странное дело — окружающие его приятели и «союзники» стали странно меняться, трансформироваться в Семеновых глазах.

Углов работал не покладая рук, не за страх, а за совесть, а большинство его новых и старых приятелей избегало труда любой ценой. Казалось, что клиентура профилактория состоит из сплошных принцев крови — так чурались любого физического труда вчерашние подзаборники. И чтобы уложиться в намеченный срок, Семену поневоле приходилось принуждать вчерашних собутыльников к труду.

Он не делал для этого ничего сверхъестественного или стыдного, но платил бездельникам по нарядам впятеро, вшестеро меньше, чем работягам, считая это по корню, по сути справедливым, — и не сразу ощутил, как вокруг него начал потихоньку образовываться вакуум. Еще вчера он и его друзья понимали друг друга с полуслова — сегодня Семен видел обращенные в его сторону кривые ухмылки, и за его спиной, а то и в глаза, стало раздаваться неприязненное: «Смотри не прогадай!» Углов невольно ежился: за полбанкой они понимали друг друга гораздо лучше, так что же произошло теперь? Почему они словно стали говорить на разных языках?

А произошло самое простое: дело стало главным содержанием новой Семеновой жизни, и вот этого никак не выдержали фальшивые отношения алкашного товарищества. Трудно было Углову становиться в неприязненную позицию к старым, испытанным водкой корешам; но дело, непосредственным организатором которо-

го он стал, требовало честного отношения; и застарелые коросты самообмана, наросшие на Семенову душу, стали понемногу растрескиваться и осыпаться.

Изменялся он сам, начали меняться и люди вокруг него. Постепенно выявилось, что бывшие угловские бригадиры — братаны из его первой семейки — не годятся в исполнители его воли; они не выдерживали сумасшедшего темпа, взятого Семеном, и им пришлось уйти, уступить свои клевые места другим людям. Некоторая прослойка новых людей уже начала образовываться вокруг Семена.

5.

Разнарядка людей, раскидка стройматериалов и техники, вызов к начальству, первый пробег по объектам, новый вызов к начальству — Семен и оглянуться не успел, как время подбежало к двенадцати. За полчаса до обеда в прорабку зашел начальник пятого, угловского, отряда капитан Костенко.

Нормировщик вскочил из-за стола и начал было рапортовать по установленной форме. Костенко остановил его движением руки.

— Не надо, не надо. И так, гляди, жарко.

В последнее время начальник отряда стал частенько заглядывать в прорабскую. Появлялся он обычно перед обедом; сидел десять, пятнадцать, двадцать минут; расспрашивал Углова о том о сем; подхохотывал; сам выплетал всякие забавные байки, — а Семен, сидя как на иголках, мучительно старался понять, и что же от него нужно отрядному. Но Костенко ничем не выдавал своих тайных умыслов; потолковав обо всем на свете, он вставал и уходил. Углов терялся в догадках. Что за чертовщина? Наконец перед ним начала брезжить слабая догадка о причинах непонятого Костенкиного поведения. Догадка была так смешна и нелепа, что Семен сам долго не мог поверить в нее. Однако время шло, и никакого лучшего объяснения не находилось. Капитан Костенко, начальник пятого, ходил в прорабскую перевоспитывать Углова! Семен, когда понял это, начал невольно ухмыляться, думая о костенковских подходах. А визиты все продолжались и продолжались. Сначала молча внимавший ему Углов незаметно разговаривался. Не такой был у него характер, чтобы долго терпеть подначки. Ага, воспитываешь? Ага, споришь за жизнь? Ну давай поспорим — а там еще поглядим, чья возьмет.

Сегодня Семен встретил отрядного с неудовольствием. Он еще не отошел от сватки с Брянцом. Бригадир глядел поверх прораба в сумасшедшую даль; изъяснялся непременно гексамером и встречал любые угловские указания в штыки. Углов в такие минуты и ненавидел форсилу от всей души, и восхищался им. Брянец есть Брянец, ну что с ним поделаешь? Работать он умел как зверь, а вся бригада только и заглядывала ему в рот. Братанам импонировали графские замашки Брянца.

Да, Костенко прибыл в прорабку не совсем ко времени. Не отошедший от ссоры с бригадиром, Семен огрызнулся раз, огрызнулся другой. Костенко оставался невозмутим. Углов не выдержал.

— А пропади она пропадом, ваша тюрьма! — невольно вырвалось у него. — До чего все здесь осточертело!

Костенко усмехнулся:

— Да ведь вас сюда, собственно, никто не звал. Мы, поверьте, прекрасно обошлись бы и без вашей ценной персоны.

— Как бы не так, не звали, — ответно усмехнулся Углов. — Очень даже звали. И на дом за мной не поленились приехать, и сюда на казенном транспорте довели, и здесь под охраной держите, чтоб ненароком не удрал!

— А ты как бы хотел, Углов? — перегнулся к нему через стол капитан. — Ну вот скажи мне по совести (он зорко заглянул в Семеновы глаза) вот не пригласи мы тебя сюда — что бы с тобой дальше было? Сам бы ты остановился? Ну, как на духу, скажи!

Семен подумал.

— Нет! — сказал он решительно.

— Так, — удовлетворенно кивнул капитан. — А вот, к примеру, привезли мы тебя сюда, а тут ни колючки, ни запретки, одни бараки да санчасть, — что б ты сделал первым делом? Вот прибыл — и что?

Углов засмеялся.

— Ясное дело — в магазин, — ответил он сквозь смех.

— Вот-вот, — согласился отрядный. — И опять пошла стрельба через старый прицел да по привычной мишени. Стоит ли ради этого таскать тебя за тридевять земель? Нет, пожалуй, не стоит. И вот, стало быть, не злиться тебе надо и не сто-

нать — тюрьма, тюрьма! — а большое спасибо сказать тем добрым людям, что тобой, балбесом, не брезгают, а время, силы да нервы на твои художества тратят! А то ведь чего проще было бы плюнуть да бросить — пропади ты пропадом, раз сам себе враг! Ведь все вы, по приезде-то сюда, только на помойку и годитесь. Или забыл, каким ты, голубчик, к нам пожаловал?

Углов поморщился.

— Да чего там, — сказал он неохотно.

Капитан улыбнулся.

— Мы с вами как с малыми детьми возимся: заново ходить, заново говорить, заново работать, заново думать, заново жить учим! Видал, сколько всяких «заново»? А ты тюрьму поминаешь. Да ведь тут по сравнению с бывшей волей — курорт! — Костенко помолчал в раздумчивости и продолжил: — Конечно, разные среди вас ученики попадают: кому хоть кол на голове теши, а все без толку; другой, глядишь, задумается, а там и разбираться начнет, что к чему в этой жизни. А что мы вас тут в строгости держим, так не обессудь: воля, она, брат, для трезвых людей, а не для пьяных. Пьяному ее дать — у трезвых отнять. Несправедливо получится!

Углов взвился:

— Так мы здесь уже через неделю трезвые, а ведь все равно не выпускаете. Это справедливо?

— Не пускаем? — удивился капитан. — Куда не пускаем? Водку жрать? Так и не пустим.

— А может, я вовсе и не пить пойду, — захитрил Углов.

Костенко прищурил серые глаза:

— Кому гонишь? Ты, приятель, сколько лет уж только то и делал, что всех обманывал, — себя, жену, государство. И вот на день от запоя очнулся и хочешь, чтоб весь мир перед тобой ниц упал — как же, а может ты не в забегаловку, а в оперу собрался!

Углов невольно усмехнулся.

— Доверие, его ведь только утратить легко, а заслужить ох как трудно, — сурово сказал капитан. — Вот ты и послужи, вот и заслужи доверие. Назначили тебе год трезветь — год трезвей! Назначили два — трезвей два. Вот и вся твоя нынешняя математика. Трезвым ты не через неделю станешь, а как срок твой подойдет. Раньше отрезветь охота и за воротами оказаться — и раньше не мешают, только заслужи! Покажи себя, кто ты нынче есть, бывший алкоголик, а нынешний трудовой человек Семен Углов!

Семен притих и задумался.

— Да ведь проку никакого нет от лечения вашего, — сказал он с тоской. — Черт с ним, держите сколько положено, только хоть бы уж взаправду вылечивали!

Капитан засмеялся от всей души.

— Эка ты, гусь! — сказал он сквозь веселые слезы. — Да сколько ж тебе лет, черт лыковый? Пять, десять? До каких же пор тебя по жизни за ручку водить? Ведь тебе уж за тридцать. Ведь это ты всех учить должен, как жить нужно, прораб Углов! Ну, не стыдно ли тебе, право? Не вылечивают, видишь ли, его! Это надо же. Да тебе тут целых два года на деле показывают, к чему тебя водка привела, и показывают, что можно все-таки из твоего свинячего положения подняться на устойчивые, человеческие ноги. Тебя тут каждый день занятые люди отскребывают от той грязи, в которую ты врос с макушкой: так не лежи, встань лицом к себе, загляни в собственную душу, сделай же и ты хоть самое малое нравственное усилие, скажи себе: я человек, а не грязь на дороге, и, стало быть, обязан быть трезв! Мы для тебя выкладываемся сколько можем — так шагни же и ты к нам навстречу! А как шагнешь — вот оно все и есть главное твое лечение. И другого не понадобится. — Костенко повел, разминаясь, крутыми плечами. — Ты вот, Углов, я замечаю, все с Байматовым, с прапорщиком, никак не ладишь.

Углов криво усмехнулся.

— Это он со мной не ладит, а не я с ним.

Слова отрядного произвели сильное впечатление. Впервые души Семена коснулось острое чувство боли, вины, сожаления о разрушенной собственными руками жизни, и, защищаясь от этого мучительного чувства, он убежал в привычное бездумье:

— Мы ста, да вы ста...

— Ты, прораб, не гаерничай, — остановил его отрядный. — Смешочки эти как бы тебе же боком и не вышли.

— Ваша сила, — охотно согласился Углов.

Капитан помолчал.

— С ним я, конечно, потолкую. А тебе вот что скажу: не спеша всех мерять по одной мерке. И мерку эту свою осмотри еще разок. Ведь он, Байматов, твой

ровесник, и звезд вроде с неба не хватает, и образование его с твоим не сравнить, а жизнь его, Углов, как стекло! С какой хочешь стороны смотри, и все чисто! Я его двенадцатый год знаю, и все эти годы на службу он приходит по секундам, а уходит когда не ему, а службе того хочется! А служба у него, ты видишь, какая. А ведь у него трое, Углов. Трое! И какие ребята: молодец к молодцу! И вот приходит он на службу в пять утра; начищенный, подтянутый, наглаженный; видел на нем когда хоть морщинку, Углов?

— Да, службака, — процедил Семен сквозь зубы.

— И вот идет он в барак и видит, как сотни здоровых мужиков лежат себе и подыматься, видишь ли, не желают. Как думаешь, Углов, окажись ты на его месте — сильно бы миндальничал? Ты ведь недавно, я слышал, тоже кого-то приласкал, за эти дела? Или не было такого?

Углов молча пожевал губами.

Позавчера маляр Семушкин красил железную крышу цеха; и красил ее, как последний гад, по самой ржави и наплывам прошлогодней грязи — в наглой надежде, что прораб заленится залезть наверх проверить. Но Семен не заленился, залез. И после грозного угловского рыка Семушкин заартачился, не стал счищать свою же халтуру. Углов раздражился донельзя, и не столько самим фактом обмана (на то она и стройка, всюду глаз да глаз нужен), сколько тем, с каким показушным безразличием выслушал рабочий его упреки. Семушкин только сплюнул в ответ на Семеновы беснования, обмакнул кисть в ведро с краской и внаглую продолжал халтурить по грязи. Семен быстро оглянулся по сторонам — на крыше они были одни, до охраны на вышках было добрых сто метров. — сжал пудовый кулак, ну и...

И вроде бы никто ничего не увидел; самому Семушкину резона особого не было распространяться, как прораб его приласкал, а вот, поди ж ты, уже и отрядный знал. Впрочем, Семен особо не волновался: поучил он халтурщика по делу, так что никто тут особо ковыряться не станет.

— А ну-ка представь себе, что это Байматов тебя так вот повоспитывал, а? — с хитрецей спросил Костенко.

Семен невольно поежился.

— Вот то-то и оно. Так что, прежде чем людей дразнить, подумай, правильно ли ты делаешь. Да и вообще больше думай, Углов.

Семен махнул рукой.

— Да нужно мне очень-то к нему цепляться. У меня свое дело, у него свое. А думать, что ж, стараюсь думать.

Капитан надвинул на лоб околыш фуражки.

— Ну, будь здоров, прораб. Трудись...

6.

Углов проводил Костенко глазами, подперся рукой и задумался. Отрядный обнажил перед ним суть дела, которую он понемногу начал нащупывать сам.

Канули Семеновы робкие розовые мечтания, что вот, наконец, тут, в профилактории, дадут ему небывалую, чудесную пилюлю, которую стоит только проглотить, и можно будет пить сколько угодно и не запиваться! Ведь должна же была существовать на свете какая-нибудь хитрая врачевная придумка. Он был согласен на любые лечебные ужасности, только бы избавиться от унижительной зависимости от ста граммов. Не пить вовсе — об этом и не думалось; вот пить как все — это было да! Это была его главная мечта.

Но розовой пилюли здесь не нашлось, а предложенное ему средство вызывало невольное недоверие: эка, труд лечит! Семен как раз и записался на работе. Да мысленное ли это вообще дело — излечиться от чего-то трудом? Ну, другое дело — больничная палата, чистые, хрустящие простыни, мази, уколы, порошки. А тут — лопата в руки, и через год ты здоров?! Это больше походило на издевательство.

Тюрьма, тюрьма... Углов слабо усмехнулся. Теперь он больше лукавил, больше играл, произносил это слово. Яснее стала вырисовываться перед его глазами ужасная правда: подлинной-то тюрьмой, настоящей несвободой оказывалась его прошлая жизнь. Жалкий слепец, он бегал от одной забегаловки к другой, от пивнухи к кафе и от кафе к пивнухе, — и всерьез считал это подлинной свободой! Окованный вином крепче, чем наручниками, привязанный внутри своего мозга к бутылке прочнейшим невидимым канатом, жалкий раб этой бутылки, он видел себя счастливейшим из смертных! Мозг его был брошен в темный каземат, тело дрожало и изнывало от постоянной тоски по вину; заключенный в самую страшную из придуманных человеком тюрем, Углов еще боялся лишиться своего чудовищного положения. Лишенный самим собой главной человеческой свободы — свободы

трезво мыслить, — что он мог еще потерять, кроме того, что потерял по собственному хотению?

Теперь его передвижения в пространстве были ограничены сотней метров. И именно это обстоятельство он называл тюрьмой? Смешно! Да если бы в прошлой его жизни рядом с ним вдруг забил из-под земли фонтан вина, разве смог бы он отойти от того фонтана хоть на десяток метров?

Вот это и была его настоящая тюрьма, а вовсе не то административно-лечебное заведение, в котором он теперь находился. Здесь никто не препятствовал ему в нормальных человеческих начинаниях. Вино же и капли бы такой вольной волюшки не позволило.

Углов вздохнул и поднялся. Надо было еще раз проскочить по объектам, глянуть своим глазом — где что делается.

7.

На отделке столовой дым стоял коромыслом. Работа кипела. Углов покрутился немной возле плотников и успокоенно отошел в сторонку.

Брянец, лихо подкручивая залихватские рыжие усы, присутствовал, казалось, во всех углах здания сразу: в одном он отбивал филенку, в другом показывал, как раскреплять прогоны, в третьем самолично резал ножовкой хрусткий блестящий пластик, успевая при этом еще и пошучивать и нет-нет приложиться к закопченной кружке с чифирем.

Углов мельком заглянул в кружку и знобко передернул плечами. Брянец, заметив его мину, расплылся в довольной улыбке и приглашающе мигнул:

— Купеческий! Примешь глоточек?

Семен замахал руками:

— Иди ты к бесу со своим помоем!

Он уже разок попробовал этого пойла. Случилось это вскоре после начала его новой жизни и запомнилось Углову надолго. Семен тогда только-только обзавелся знакомствами и примкнул к семейке земляков.

Первое же совместное чифирение, в котором он принял участие, оказалось для него последним. Тогда Углов еще любопытствовал узнать, чем же так притягателен загадочный напиток, раз зона выпивает его ежедневно чуть ли не цистерну — в тайной надежде, что действие чифирия окажется сходным с действием бормотухи. Для Семена все еще было внове.

Оказалось, что церемония приготовления и употребления чифирия отработана не хуже китайского чайного церемониала. Его новые друзья — семейка, усевшаяся вечером в полном составе в темном и тесном проходе между койками, — знали дело туго. В семейке гужевались четыре человека; Углов примкнул к ним пятым.

Поздним вечером, сидя рядом, они долго и вдумчиво дебатировали: как заварить? День выпал богатый: семейке перепало две пачки тридцать шестого чая. Кроме того, в заначке имелась еще пачка грузинского, тридцатикопеечного.

Углов прожил на свете тридцать с лишком лет, но только в этот вечер он впервые узнал, что за пачку тридцать шестого давали две пачки второго сорта грузинского. Краснодарский ходил с зеленой рубашкой и с желтой. Полторы желтых рубашки проходили за одну зеленую. Индийский шел в три краснодарских. И он тоже разделялся — на просто индийский и индийский со слоном. Со слоном котировался выше. Впрочем, индийские чаи были вообще вне всякой конкуренции. Высший сорт краснодарского побивал высший сорт грузинского, причем вышак с зеленой рубашкой превосходил вышак с красной. Грузинский женатый (пополам с индийским) шел за две пачки любого чая из подарочных наборов. Заманчив и практичен был плиточный чай. Углов впервые воочию убедился в реальности его существования только в зоне, до того он встречал лишь упоминания о плиточном чае, и уж совсем ни во что шел зеленый.

Цейлонский звучал хрустальной мечтой и встречался редко. Впрочем, старые, заслуженные чифиристы, держа в руках пачку цейлонского, недовольно ворчали, что вот-де уж и цейлонский чай стал не таким, может быть, и цейлонским: не иначе как тоже разбавляют его грузинским барахлом, поскольку и вкус в нем и градус стал в последнее время явно не тот.

Пока еще такой шик, как индийский со слоном, был угловской семейке не под силу; на работу за зону ходили только двое, да и то одного возили на крытую стройку, а там, понятное дело, шибко не разживешься. Но тридцать шестой уж нет-нет да перепал, вот как, к примеру, сейчас. И семейка несколько возгордилась. Возникли даже некоторые дебаты: чем запарить — то ли одним тридцать шестым, то ли размутить его вторым сортом в черной упаковке? Как всегда

победила предельная, близкая всем точка зрения: хоть час, да наш, а там что бог даст; авось не пропадем! Решили запарить чистоганом тридцать шестого.

«Шестерка» Бутя молча ждал решения больших голов. Бутя загорал в профилактории по пятому разу и ой-ей-ей сколько повидал за это время любителей пошиковать. Он всегда предпочитал синицу в руках журавлю в небе, ну да хозяева бары. Бутя осторожно принял в руки нарядную зеленую пачку, суетливо полез в тумбочку, достал чайничек и поднялся уходить.

Семейка чинно ждала «шампанского». Разговоры стихли. Углов несколько трепетал: градус, градус есть ли в том чифире? Скоро появился Бутя. Чифирь перелили в кружку, и он начал ходить из рук в руки.

Глоток — и следующему, глоток — и следующему. Приложился к кружке и Углов. Сначала он ничего не понял. Горько вроде? Чифирь пошел по второму кругу. Семен приложился опять. Да где же градус?

Однако градус в чифире оказался, да еще какой! Прошло всего ничего, как напиток вдруг проявил себя. Семен ощутил нечто такое, чего он никак не ожидал ощутить. В следующую минуту он пулей вылетел на улицу. Волна неудержимой рвоты поднялась в нем из самых недр желудка; никакое похмелье не шло в сравнение с чифирем. Углов согнулся и со стоном вцепился в стену. Полоскало и выворачивало его минут сорок. Когда Семен несколько оклемался и оглядел себя, он понял, что в таком виде в барак появляться не стоит. Впрочем, и в прачечной тоже не стоило. А стирка требовалась незамедлительная. Благо рядом протекал арык, Семен застирал кой-что. Через какой-нибудь час он был вполне готов к вечерней проверке. Чё там в темноте заметишь, на той робе!/? С этого самого вечера он стал относиться к чифирю с почитательной и опасливой настороженностью.

— Эй, прораб, там пустотки на цех привезли. Кран нужен, — окликнул разметавшегося о прошлом Углова бригадир монтажников, Махкам. Углов с трудом оторвал глаза от дымящейся в руках Брянца кружки.

— Давно привезли?

— Час назад.

— Чего ж ты ждал? — взорвался Углов.

Махкам махнул рукой:

— Найдешь тебя.

Углов усмехнулся.

— Ну ладно, побежали, чего там.

8.

Углов вышел из штаба, присел на скамейку во дворе и в раздумчивости закурил. Штаб профилактория находился за зоной, и Семену приходилось бегать в него, проходя через вахту, десяток раз в день. Каждый раз проверяли, последнее время, подходя к проходной. Углов заранее выворачивал карманы.

Сегодня «хозяин» вызвал его в обед и дал задание, превышающее человеческие силы. К утру приказано было произвести полный ремонт клуба за зоной — побелить, покрасить и обшить внутренние помещения на высоту человеческого роста зеркальным коричневым пластиком. Контейнеры с этим самым пластиком прибыли только вчера и еще стояли нераспакованными. Назавтра в десять утра прибывала для съемок кинохроника; вся суть заключалась в том, что к ее приезду клуб изнутри и снаружи должен был цвести и благоухать. Предполагалось запечатлеть для истории административный персонал и самих лечащихся. Персонал готов был увековечиться хоть сейчас, с прочими пока занимался «кум».

Времени оставалось от восьми вечера до восьми утра — попробуй успей! Однако звонкие серебряные трубы уже запели торжествующе в Семеновом мозгу: никто не смог бы выполнить порученного, хоть из кожи вон вылез, а он, Углов, прораб зоны, — сможет! Семен несколько не сомневался, что ночь, отпущенная ему на выполнение задания, не будет потеряна зря, и утром он с законной гордостью встретит «хозяина» в дверях отделанного клуба. Углов никогда еще не подводил начальника, не подведет и на этот раз.

Однако трудно завоеванное доверие могло рухнуть от малейшего непредвиденного пустяка, и Семен не спешил приступать к немедленным действиям. «Значит, так, — подумал он, — чтоб лишней суеты не было и чтоб люди не мешали друг другу, придется обойтись тремя звеньями. Столяров брать? — на секунду заколебался он. — Нет, нет, ни под каким видом!»

Столяры были рабочей аристократией; то им инструмент нехорош, то лес не лес, то времени отпущено маловато. Брать — так уж черную кость — плотников по опалубкам. Этим любой материал и инструмент годились, надо — так сделают!

Грубо, но сделают. Впрочем, качество их работы во многом будет теперь зависеть от Углова; ясно было, что всю ночь ему придется не смыкать глаз и ни на миг не отходить от рабочих.

Зашуршали рядом шины, и, чуть взвизгнув тормозами, около его скамейки остановилась серая «Волга». Углов поднял глаза. За рулем сидела темноволосая дамочка из породы светских львиц. Вот она небрежно сдернула с хорошенького носика солнцезащитные очки и косо глянула в Семенову сторону.

— Где тут можно найти начальника профилактория?

Углов нехотя кивнул в сторону штаба.

— На втором этаже.

Дамочка уже более внимательно скользнула взглядом по синей угловской одежке и неожиданно заинтересовалась: — Простите, а вы что, тоже тут лечитесь?

Углов сплюнул.

— Лечусь, лечусь... — Его раздражали эти пустопорожные вопросы: что, и так не видно, что ли, кто он есть? Синее хэбе, тяжелые рабочие ботинки, стриженная голова.

Дамочка шустро выметнулась из машины.

— И давно вы лечитесь?

— Больше года, — ответил Углов. Он уже знал, о чем пойдет речь дальше. Краешек его зоркого, опытного глаза уловил в машине шевеление живого существа.

Седоватый благообразный человек с характерной опухлостью в лице, таясь за поднятым стеклом, прислушивался к их разговору. Углов глянул на него раз и определил совершенно безошибочно: наш человек!

Семен оживился. Седоватого привезли как раз вовремя, позавчера освободился Бутя — уборщик и шестерка в прорабке. Бутин срок вышел, а Углов еще никого толком не присмотрел на его серьезное место. Требовался зашуганный новичок. Семену чем-то понравился седоватый в машине; своей робостью, что ли? Уж очень он боялся выглянуть из-за стекла.

Да и то сказать, при такой шустрой бабенке, что сама и машину водит, сама и муженька сюда приволокла, — при такой разве характерный мужик удержится? С этакими шустрыми только лапше век вековать вмоготу! Углов посочувствовал неопиту: пусть маленько на метле передохнет от любимой женщины. Да и вообще, такому фраерку, что в зону на «волжанках» прикатывает, очень полезно будет в шестерке походить — самая его должность! И Углов подмигнул через стекло будущему начальнику метлы: не робей, друг, мы из тебя человека сделаем!

А дамочка, плотно подвинувшись к Семену аппетитным корпусом, уже лепила свои хитрые заходы:

— Ну как тут у вас вообще? Очень строго?

— Нормально! — бодро ответил Углов, по-солдатски выпячивая грудь. Знал он таких, сильно ловких. Скажи ей спроста чего-нибудь, так она тут же полетит к начальнику учреждения — как же, другое справочное ее не устраивает — выяснять, почему так странно расходятся ее представления об АТП с угловскими?

— Ну а лечат? — снова уперлась в Семена шустрая мадам. — Помогает?

Углов пренебрежительно сплюнул.

— А как же иначе? Да за два-то года медведя можно выучить на мотоцикле кататься! А вылечить, что ж, — плевое дело! Так что вы не сомневайтесь.

Дамочка успокоенно кивнула и помчалась в штаб утрясать дело. Углов проводил масляным взглядом ее пышную фигуру и усмехнулся: сидеть тебе, парень, да сидеть! Кто перед такой устоит?

Будущий угловский подметала беспокойно зашевелился в машине. Сиденье под ним вдруг перестало быть удобным. Он словно чуял свою блестящую будущность, вчерне набросанную для него Семеном. Наконец его слабенькая, фраерская душонка не выдержала; он выкарабкался из машины и подошел к Углову.

— Курите! — предложил седоватый, протягивая пачку.

Семен глянул искоса и хмыкнул: в холеных, белых пальцах мелко подрагивала коробка «Золотого руна».

— Спасибо, — отозвался Углов пренебрежительно. — Не привык, знаете ли, ко всякому дерьму! Предпочитаю хорошие. — И он достал из кармана пачку «Примы». — Вот огоньку — с удовольствием.

Седоватый смешался. Он нерешительно посмотрел на Углова, не вполне понимая, шутит тот или говорит всерьез, и зажег спичку. Углов молча задымил, равнодушно глядя в сторону. Приезжий откашлялся и робко спросил:

— Кормят-то хорошо?

— Ничего, — спокойно ответил Углов. — Жить можно.

— Ну да, ну да. А как тут у вас со свободным временем?

— Навалом! — коротко ответил Семен, не вдаваясь в ненужные подробности.

— Тут неподалеку, кажется, и речка есть? — закинул хитрый крючок фраерок. — Как вы думаете, можно будет иногда ходить на рыбалку?

Углов усмехнулся: хилый ты расспросчик! Приедем же шибко хотелось узнать, можно ли будет и здесь, втихую выскользнув за ворота, добежать до магазина. Нет, дружок: на хитрую скважину — ключ с винтом!

— Так снасти ж надо, — более простодушно, чем следовало, ответил Семен.

— А я взял, взял, — заторопился седоватый. — И спиннинг, знаете ли, и сачок!

Семен закрылся дымком, пряча смеющиеся глаза, да, приезжий не на шутку замотировал свои будущие веселые отлучки.

— Сачок? — засомневался Углов. — Вот насчет сачка — не знаю...

— А что такое? — удивился фраерок.

— Да всяко может случиться, — рассудительно продолжил потеху Семен. — А вдруг сом?! Что сачок! Тьфу! Багор бы не мешало прихватить.

— Да, вот насчет багра я как-то не подумал, — огорчился приезжий.

— Ничего, — успокоил его Углов, — в крайности, можно будет из дома его выписать, багор-то.

— Да я лучше потом сам съезжу! — обрадовался седоватый.

— И то дело, — поддержал его Семен. — Самому съездить, конечно, всегда надежней.

— А пустят?

— А чего ж? — усмехнулся Углов. — Что вы, алкаш, что ли, какой, чтоб вас заперти держать?

Приезжего передернуло при слове «алкаш», он возмущенно запротестовал:

— Ну что вы, право? — Но тут седоватый видно вспомнил, куда приехал, и сбавил тон: — Я просто изредка выпиваю, вот жена и уговорила лечь к вам, поправить немного здоровье.

Углов оценивающе оглядел налитую дурной, отечной влагой фигуру, отметил дрожжащие непрерывно руки, набрякшее похмельное лицо и успокоил коллегу:

— Конечно, конечно... Какой вы «алкаш»? Вы, считай, в норме. Да у нас тут много таких, как вы. — Он чуть было не ляпнул, что все такие, и других не держат, но вовремя прикусил язык: пугать приезжающих не рекомендовалось. Кроме того, рыбак явно созрел для отдыха в профилактории.

Варианта лучше, чем тот, который бродил сейчас в семенной голове, у приезжего не было. Все остальные были много хуже, хотя «рыбак», пока еще и не знал этого. Знакомство забавляло Углова все больше и больше. Труд да труд, развлечений вокруг было маловато. Впрочем, Семен не питал никаких недобрых чувств к приезжему. Обтешется! Сам-то Углов умней ли сюда прибыл?

— И кто же вы будете на «гражданке»? — поинтересовался он.

Приезжий гордо откинул голову.

— Я заместитель начальника управления культуры!

— А-а-а, — уважительно протянул Углов, посмеиваясь в усы. — Значит, артист. Ну тогда вам у нас самое место. У нас артистов любят.

Рыбак скромно потупился.

— Да нет, я сам не выступаю, но вот обеспечить общее руководство, если попросят, конечно... Ну и если есть подходящий контингент.

— Есть, есть! — подхватил Углов. — Уж чего-чего, а контингента сколько хочешь! И попросить попросят. Такой человек, как вы, нам давно нужен. С прошлой субботы ищем...

— Почему с субботы? — удивился приезжий.

— Да это я так, ляпнул! — выкрутился Углов. — Просто там одно место освобонилось, я и подумал, что вам как раз подойдет.

— Что за место? — заинтересовался культурный работник. — Ответственное? Вы ведь понимаете, я...

— Весьма! — с чистой душой не дал ему закончить Углов. — Я бы сказал даже — сугубо ответственное!

Нет, место было действительно не на шутку ответственное, хотя, может быть, и несколько не в том смысле, в каком понимал ответственность приезжий. Ну да что поделаешь — жизнь, она разная случается! Качели.

Размышления его снова прервал седоватый.

— А что, интеллигентные люди у вас здесь есть? — засомневался он.

— Сколько хочешь! — категорично отрезал Семен.

— С высшим образованием? — с робкой надеждой вымолвил «рыбак».

— Каждый второй! — слегка преувеличил Углов.

Приезжий удовлетворенно кивнул трясущейся головой и отошел к машине.

Он был явно успокоен и потерял к Углову дальнейший интерес. Семен напомнил ему о своем существовании.

— Вы, когда оформитесь, спросите прораба, — сказал он, уходя. — Вам всякий покажет.

Приезжий вдруг засуетился.

— Одну минутку, — остановил он Семена. — Я вот как раз хотел у вас насчет оформления спросить...

— А что? — прикинулся дурачком Углов.

— Да ведь, говорят, судят? — застрашился культурник.

— А чего там — проформа! — пренебрежительно махнул рукой Семен. — Это больше для порядку, чтоб бумага была.

Седоватый согласно кивнул:

— Да, да, конечно...

Мысли его были легки, как у ребенка.

Углов пошел к проходной.

9.

Костенко зашел в прорабку к самому вечеру. Углов вскинулся ему навстречу: чего вдруг к концу дня? Случилось что? Отрядный не заглядывал к нему на работу почти месяц.

Капитан успокоил его:

— Все в порядке, в порядке. Только вот разговор один мы с тобой не договорили, прораб.

— Какой разговор? — удивился Углов.

— Да тот самый, за жизнь, — ответил Костенко. — Не забыл?

— А что — жизнь? — усмехнулся Углов. — Мы глина, она лопата, куда нам против нее?

Отрядный нахмурился. Он помолчал, катая за скулами тугие желваки; потом его прорвало:

— Да разозлился ты на жизнь, Углов! Не кисни! Скажи жизни: «А-а-а, стерва, ты поперек меня прешь, так я сам поперек тебя полезу! Озлись раз, прораб! Ведь ты все же не в юбке, а в штанах ходишь, мужиком называешься, а послушать тебя, а копнуть тебя чуть глубже — так и полезет наружу кислая баба!

— Почему же именно кислая? — спросил Углов, принужденно улыбаясь.

Капитан прищурился:

— Да потому кислая, что уж больно ты спешишь жизни уступать.

— Сказать легко, — не на шутку озлился Семен, — да сказать мало, доказать надо!

— Ой ли? — с усмешливым страхом всплеснул руками отрядный. — А что, если докажу? Попробуем, что ли?

— А чего? — Семен спрятал глаза за прищуренными веками. — Мы послушать толкового разговору никогда не против.

— А раз не против, так слушай, — уже серьезно сказал Костенко. — Ты вот скажи мне: боишься на волю идти?

— Чего это мне бояться? — поразился было Углов.

— Есть чего, — усмехнулся капитан. — Сейчас, здесь, ты кум королю; ни о чем тебе думать не надо: вовремя разбудят, вовремя на работу поведут, вовремя покормят, да вовремя спать положат. Живи, не хочу! Обо всем уже за тебя подумали. А на воле? Там каждый свой шаг ты сам продумать да решить должен. Понимаешь — сам! Вот оно, дело какое. Разве не страшновато? Тут, худо-бедно, а до большой беды мы тебя не допустим. А с той стороны? Тут магазин, там пивнуха, друзья-товарищи... Ты вот теперь внима-а-а-тельно слушай, Углов. Может, никто тебе того не скажет, что я скажу. Я ведь здесь, Углов, не год и не два с вами вожусь, научился угадывать, что к чему. Давно уж приметил я такое дело: вот привезли к нам какого-нибудь, ну, сам знаешь... И вот он бурлит — водку отняли, так чифирь хлещет. С утра до темна, глядишь, только взад-вперед и бегает; все внутри у него горит... Так вот тот, который бегаёт, — он еще ваш, понял меня, Углов? Ваш!

— Понял, — усмехнулся Углов.

— Так, хорошо, — согласился капитан. — Но вот вдруг, примечай, Углов! — вдруг на глазах меняется человек. Что, подменили его! Уж он не бегаёт, а ходит; и ходит смурной, невеселый, и все больше молчит, и ложка за обедом у него из рук валится. С чего бы, а? А вот с чего, Углов! Человек в бывшем живчике проснулся. Человек! А человек, что он сразу делать начинает? Думать, Углов, думать: как ему, человеку, дальше на свете жить? Ведь вы же все, пока думать не начнете, — антипо-ды какие-то; как вверх ногами живете.

— Как, говорите, — антиподы? — переспросил Углов. Ему смутно показалось, и даже не показалось, а скорее почувствовалось, что где-то когда-то он уже слышал нечто подобное. Слово некий круг замкнулся. Но мысль мелькнула и отлетела.

— Да вас как хочешь назови, один черт — не промажешь! — досадливо отмахнулся капитан. — Я не о том. Я вот тебе, может, объяснить не сумею, почему так происходит, что человек задумывается; то ли сам вдруг опамятовался, как хмель из черепушки вылетел; то ли мы ему чем помогли — всякое бывает; но как начал он только всерьез о жизни думать, так уж он не ваш — он уже наш становится, и мы его, такого, назад не отдадим!

Углов засмеялся.

— И меня, выходит, не отдадите? — спросил он. Хотелось Семену выговорить эти обычные, на первый взгляд, слова весело и боевито, да, видно, укатали сивку крутые горки — невольной тревожливой надеждой прозвучал его голос.

Капитан не стал улыбаться в ответ.

— Да, Углов, — сказал он просто, — не отдадим. Groш цена нам будет, если мы свой же тяжелый труд на ветер кинем. А признать ты должен — труда мы на тебя много положили.

Углов опустил глаза.

— Вам виднее, — сказал он тихо...

Отрядный внимательно оглядел его.

— Я ведь тебя недаром спросил, боишься ли на волю идти? Тут стыдиться нечего, что боишься. Боязнь твоя правильная: можно выйти и на новую жизнь, и на старую казнь. Тут-то и может подвести тебя кислотность твоей природы. С таким настроем — мол все пропало! — так я тебе прямо скажу: лучше и не выходить — запьешь!

— Не в одном настрое дело, — тихо ответил Углов.

— В чем же еще? — мгновенно резанул отрядный.

Углов пожал плечами.

— А шут его знает, — раздумчиво ответил он. — Мутно как-то на душе, а почему — не знаю.

— А вот оттого и мутно, что боишься, не выдержишь свободы; что снова загудишь, и тогда уж ни удержи тебе, ни продыху не станет. И боишься ты этого, Углов, оттого, что весело, сладко тебе трезвым человеком быть! Раньше бы не боялся! А сейчас — вон ты каким орлом по зоне идешь! Шутка ли сказать, полтора человека у тебя в прорабстве, и все от твоего слова зависят. Вон какая у тебя жизнь лаковая; да что и говорить, ты уж и зазнаться успел, с прапорщиками не трусишь огрызаться!

Семен невольно улыбнулся.

— Не очень-то разогрызаешься, — сказал он. — Дороговато удовольствие обходится — с вами огрызаться.

Костенко не обратил внимания на его подначку.

— Ведь ты же сейчас лицо перед людьми открыл, — сказал он с силой. — Глядите на меня, люди! Глядите! Вон какой я человек! А ведь раньше лицо свое ты от всех только прятал. — Капитан горько усмехнулся. — Да и верно: бывшее твое пьяное мурло, его прятать честнее было, чем людям показывать. И не верю я, Углов, чтоб тебе опять хотелось не в людские глаза, а в асфальт под ногами глядеться. И ходишь ты теперь по зоне задумчивый и беспокойный оттого, что будущей слабости своей страшишься. Ведь так?

Семен молчал.

Отрядный глянул блестящими, помолодевшими глазами как бы в самое угловское сердце, и Семен, словно эхо, отозвался ему:

— Так!

Костенко сжал в кулак огромную жилистую руку и придвинул ее к Углову.

— Видал, прораб?

Семен недоуменно посмотрел на кулак.

— Ну и что? — удивился он.

— А то, — ответил капитан. — Твоя тыква, вроде, не меньше моей будет? Ты ведь тоже бугаек, будь здоров!

— Дальше-то что? — не мог понять Углов.

— А вот говорят, какой у человека кулак, такое у него и сердце, точь-в-точь, — пояснил отрядный. — И вот если судить по той тыкве, какой ты изредка людей на путь истинный наставляешь, так сердце у тебя, Углов, в самый мужской размер угадало.

— И что? — приоткрыл рот Углов.

Отрядный неожиданно побагровел и трахнул кулаком по столу. Прорабка затряслась.

— А то! — закричал он во весь голос. — Неужели же в нем уже никакой мужицкой силы не осталось, у бугая-то такого?

Углов молчал. Костенко вытащил сигарету и закурил, успокаиваясь.

— Неужели же оно тебе своего слова не скажет? — опять приступил к нему капитан. — Ум-то у тебя уж на поправку пошел, так ты теперь у сердца спроси: как быть? Мне так в детстве мать говаривала: если дело через сердце пропустишь, то и станет твоим. Я, Углов, так думаю: поверишь сердцем, что жизнь твоя вся еще впереди лежит и только труда твоего просит, — жизнь сделаешь; не поверишь...

Углов молча кивнул головой.

10.

Уже после ужина, после самой последней за день проверки и пересчета, забегал по зоне от одного к другому неверный, путанный слухок, что Самвел-армянин, плотник одной из угловских бригад, кинул кранты.

Самвела знали многие. Семен видел его в обед. Удивленный услышанным и привыкший к эфемерности зонавских новостей, Углов не поленился заглянуть в санчасть, разноухать новость. Его шуганули (ты что за чин?), но знакомый санчатовский шнырь мигнул незаметно на дверь: мол, там погоди чуток. Углов вышел на крыльцо и уходит уже не спешил. Шнырь через минуту появился на крыльце:

— Ну чего тебе, прораб?

Семен спросил, и тот подтверждающе кивнул головой и лихо сплюнул в сторону:

— Все, спекся ара! Уже в морге.

— А што с ним стало-то? — поинтересовался Семен.

— Мотор, — коротко объяснил шнырь. — Пока наши тут с уколами — гляжь, а уж и колоть некого. — Он коротко, хрипловато засмеялся и шагнул в дверь.

Углов машинально покивал головой ему в спину и пошел прочь.

Самвел работал зеньевым плотников. Коренастый, крепкий, буйно заросший густыми рыжими волосами, он, казалось, не имел возраста. Мячиками перекатывались под лоснящейся кожей мускулы, когда Самвел, сбросив с плеч синюю зонавку, в охотку тесал топором шишковатую лесину.

Углов в такие минуты невольно задерживал на нем любующийся взгляд: как же ловко, прикладисто бегал инструмент в корявых с виду Самвеловых руках. «Вот ведь дал же бог силушки да здоровья человеку — так, что на троих бы хватило!» — от души восторгался он. Оказалось, что не хватило даже и на одного.

Из отпущенных ему для жизни сорока лет Самвел пропил двадцать пять, у судьбы его оказался свой счет годов. Оставшись с пятнадцати лет круглым сиротой, Самвел начал кормить себя сам. Бичевые строительные бригады приняли его под свою выучку и покровительство. За свою недолгую жизнь Самвел не раздобылся собственным углом. С этих же пятнадцати лет не было прожито мастером на все руки Самвелом ни единого хотя бы случайного трезвого дня. Водкой утекла его жизнь.

Углов прошел от санчасти в чахлый профилактический садик и присел на скамейку у фонтана. Подсвеченная желтыми торшерами, стоящими вокруг фонтана, поднималась с тихим шелестом вверх двойная струя воды. На крайнем верхнем увале своего движения она дробилась на пригоршни разноцветных жемчугов. Легкие сверкающие россыпи падали вниз на темную гладь стоячей воды и исчезали, оттаявая за собой светлую искрящуюся рябь.

«Как же так? — подумал Семен. — Вот жил человек, и умер, и вроде бы ничего особенного не произошло. Как будто так и надо! Нет, тут что-то совсем неправильно. Что-то о смерти и молчат неправильно, и говорят неправильно. Вот Самвел, в сорок умер. Один скажет — мало, другой — и этого ему чересчур. Вон как шнырь-то его аттестовал: мол, взял свое, чего ему особо заживаться? Да ведь разве в том дело, кто сколько до смерти прожить успел? Нет, тут явная неправда. Ведь пока Самвел был живым, вот хотя бы сегодня в обед, так разве кому пришло бы на ум, что он уже хорошо пожил и пора ему помирать? Он жил, двигался, работал, спорил, чего-то добивался, в любой день его жизни, будь ему в этот день хоть сорок, хоть девяносто лет, нельзя было и подумать о смерти: мол, пора! Ведь это же глупейшая условность, возраст человека. Да разве можно мерить человеческую жизнь прожитыми годами? Вот этому еще рано умирать, он молодой, а вот тому уже как бы и пора, потому что много лет за его плечами! Как же неправильно, как же несправедливо приравнивать годы одной прожитой жизни к годам другой, совершенно на нее не похожей», — с физической, томящей сердце тоской подумал Углов.

«Да вот хотя бы я сам, — договорил он еле слышным шепотом, — сколько мне сейчас лет? Посмотреть в документы, так вроде и немного, там год за год канают — положено по бумаге тридцать пять, их и есть тридцать пять. А на деле — кто правильно сочтет? Ведь вот за последний свой год я прожил никак не меньше, чем еще одну жизнь. И какую жизнь! Предыдущая с ней и в сравнение не идет. В какой же

срок оценить такой вот один год — неужели только в календарный? Ведь если взять, что я здесь перечувствовал, передумал и пережил, так в этот год с лихвой уложилась бы вся моя прошлая жизнь. Шутка сказать — целых две недели! А ведь умри я сейчас, и наверняка кто-нибудь скажет: чего там всего тридцать пять лет; и не жил еще толком, а загнулся».

Углов нахмурился.

«В чем же все-таки тут дело? А может, и Самвел прожил не меньше меня? Как знать? Может, в его коротенькое сорокалетие уложилась не одна, видимая всем и каждому, явная жизнь, а две, три невидимых, тайных, дьявольски долгих жизни?»

И Семен подумал, что если все-таки можно в короткий отрезок лет вместить и две, и три человеческих жизни, что если время длинится и растягивается, как резина, то оно наверняка может и сжиматься; и легко может стать, что, отмотав в этой жизни много десятилетий, можно при этом ухитриться не прожить и одной нормальной человеческой жизни. У Семена захватило дух. Мысль, если примерить ее на себя, была крайне неприятна, а он совершенно невольно именно это тут же и сделал. И как только он примерил к своему прошлому эту странную, неведомо откуда взявшуюся мысль, как ему сразу стало чертовски неуютно. И хотя Углов горячился и убеждал себя, что последний его год стоит целой жизни, но куда было деть ясное до ужаса ощущение полной никчемности и бессмысленности его прежнего существования? И куда было убежать от жуткого понимания того факта, что из трех с половиной десятилетий его жизни жизнью человеческой можно было с некоторой натяжкой назвать только этот последний коротенький отрезок?! Семен взвыл бы сейчас, как затравленный волк, если б умел выть, но он был, к несчастью, человеком, и только слабый мучительный стон вырвался наружу сквозь его мертво стиснутые зубы.

Страшным усилием воли Углов вернул свои мысли к Самвелу. Вот жил тот, работал, гулял, пил водку, лечился от нее, лечился не раз, и не два, и вот теперь ушел он туда, откуда еще никто не возвращался. Что же осталось от него на трудной земле, по которой Самвел бродил несколько десятилетий? Немыслимо было поверить, что не осталось и малейшего следа. Сегодня он умер, и о нем еще говорят люди, поневоле скученные затейливой судьбой в маленькое, огороженное от огромного мира пространство. Но быстро, чудовищно быстро пройдет и один день, и другой, и третий... И след Самвелов истает, и кто тогда вспомнит о нем, и кто скажет в неслыханную, чернильную пустоту, что вот жил на свете добрый человек, плотник Самвел-армянин, и что с уходом его ушло и что-то важное в мире!

«Так что же? — с непонятным ожесточением подумал Углов. — Выходит, что мир, человечество ничего не потеряли оттого, что исчез сегодня плотник Самвел? Тогда зачем он понадобился этой самой жизни? Зачем приходил в мир, зачем так трудно жил и больно шел между людьми, раз тем же людям все равно, есть он на свете или нет?»

И тут ему вдруг слабо подумалось, что, может быть, в них самих (в нем, в Самвеле, в братанах) есть что-то такое, что не дает им стать нужными этой горькой и манящей жизни. Семен смутно ощутил, что нащупал сейчас нечто очень важное для себя, но никак не мог уловить, что именно. Слово хорошо известное ему раньше, но нечаянно забытое слово усилием воспоминания сверлило его разгоряченный мозг. «Подожди, подожди, — говорил он кому-то, — я вспомню, я сейчас вспомню, я пойму...» Но темное ощущение неведомого прозрения, приблизившееся было к нему, все отдалялось и отдалялось, пока он с тяжелым разочарованием не понял, что загадка жизни осталась все так же недоступной его пониманию.

Семен встал и угрюмо побрел в темный барак.

11.

Через месяц после памятного разговора с Костенко произошел случай, ставший поворотным в дальнейшей Семеновой судьбе. В этот вечер он задержался в прорабской дольше обычного, Конец месяца — наряды.

На столе перед Угловым раскинулась грудa бумаг. Перо в его руке едва ли не дымилось от напряжения. Лоб прорезали глубокие морщины. На воле-то распределять деньги между рабочими было не мед с молоком; о зоне и говорить нечего — семи пядей во лбу не всегда хватало.

За столом, в углу прорабки, вздыхал нормировщик Сергей. Уборщик Костыль (бывший отвратотник культурного фронта, подлинное имя которого как-то сразу вывалилось из общей памяти и употребления) заметал мусор в совок.

Углов на секунду оторвался от бумаг и сразу уловил четыре жаждущих глаза, с немой мольбой устремленных на него. Семен поморщился: «Вот нехристи — одну конфетку отняли, так они другую немедля нашли!»

Не прошло и полугодя, как за Сергеем закрылись ворота АТП, а уж нормировщик и часа не хотел провести помимо глотка чифиря. О Костыле и говорить было нечего — бывший замнач из одного сна наяву неразличимо провалился в другой.

Семен перевел взгляд на бумажные завалы — работы еще оставалось минимум часа на три. Придется полуночничать. Вечерняя проверка прошла, и за окном густо нарастала темнота.

— Надо бы добить сегодня? — вопросительно повернулся Углов к Сергею. Тот вздернул плечи.

— О чем речь? Вот только глаза слипаются. Надо бы...

Костыль подтверждающе засопел.

Семен достал связку ключей.

— Запарьте, чего уж там. Еще сидеть и сидеть.

Шнырь завозился у большого самодельного железного ящика, заменяющего Семену сейф. В ящике Углов прятал от излишнего любопытства разные копеечные криминалы — кулек с конфетами, полпалки сухой колбасы, блок «ТУ». Деликатесы попадали в прорабский сейф путем не вполне законным, хотя и не сильно наказуемым.

В глубине железного чрева, за коробкой пиленого сахара, прятался небольшой запас основной зоновской валюты — черного чая. Углов держал его для друзей. Именно к чаю и рвались сейчас страждущие души ближайших помощников.

Костыль залез в шкаф чуть ли не до пояса.

— Ну чего там? — не выдержал Сергей.

Шнырь вновь появился на белый свет.

— Нету, — сказал он. — Кончилась заварка.

Углов поднял голову.

— Как кончилась? — удивился он. — Третьего дня «вольняшка» из цеха десять пачек принес, и уже нет?

Костыль развел руками.

— Ну вы и жрете, — невольно восхитился Семен. — И кормить не надо, на одном чифире проживете.

Сергей беспокойно завозился.

— Да ты посмотри получше, растяпа! Не может быть, чтоб не было!

Костыль посмотрел получше.

— Нету!

— Сиди тут полночи! — со злостью прошипел нормировщик. — Ничего голова не варит, хоть убей!

Он оттолкнул от себя бумаги.

— Не пыли, — успокоил помощника Семен. — Найдем, чем голову поправить. Сбегай до склада, — обратился он к шнырю. — Откроешь вот этим ключом, — Углов выбрал один из связки. — Там, как зайдешь, налево коробка с ветошью. Поройся в ней. Найдешь заначку — пару пачек «слона». Тащи их сюда.

Нормировщик проглотил слюну.

— Слона? Ну это другое дело.

Костыль пошел к выходу. Нормировщик включил плитку.

— Пока сбегает, вода вскипит. А я делом займусь.

Сергей углубился в наряды.

12.

Прошло пять минут, десять, пятнадцать, — Костыля не было видно. Нормировщик тихо что-то цедил сквозь зубы.

— Да где его черти носят?

Наконец по коридору послышались быстрые шаги.

— Ну гад копучий, вот я тебя!

В дверях появился уборщик. В руках у него были две большие пачки индийского чая.

— Так напоказ и нес? — изумился нормировщик. — А если бы на прапоров налетел? Прости-прощай, раскумарка? Уже полгода в зоне, а в голове, — он выразительно постукал указательным пальцем по шныревому лбу, — и на копейку не прибавилось! Зря тебя здесь держат, зря. Пришел балдой и уйдешь балдой.

Костыль виновато понурился.

— Да там... да так вышло... — опасливо поглядывая в Семенову сторону, забубнил он.

Перо в руке Углова задвигалось медленнее. Он было пропустил мимо ушей

пустяковую трепотню помощников, но, помимо его воли, какая-то незаметная, почти теряющаяся в фоновом шуме обоюдного зубоскальства струя речи привлекла его внимание. Он не расслышал ни вопросов нормировщика, ни ответов Костыля, но знакомый холодок неведомой опасности внезапно возник где-то у основания угловского черепа и медленно потек вниз по его жилистому загривку.

Семен оторвался от работы. Глаза его внимательно ощупали притихшего у двери шныря.

Да, сильно полинял за истекшие месяцы бывший деятель отечественной культуры. Бесследно растаяла выхоленная вальяжность главы семейного прайда, сданного верной львицей с рук на руки прапорщикам ЛТП.

Поджарая, сгорбленная в загривке фигура, приниженная готовностью к несправедному гонению и претерпению — хороший Костыль выработался из прежнего удачливого распорядителя общественных увеселительных мест. Теперь бывший замнач управления культуры превратился в неумирающий тип — человека без внешности и возраста, всегда готового за минимальную мзду к великому множеству многообразных больших и малых услуг. Что же он все-таки делал столько времени на складе?

Углов кивнул начальнику метлы.

— А ну, иди сюда.

Костыль трусцой подсеменил к прорабскому столу и замер не дыша. Семен пронзительно заглянул в бегающие глаза.

— Кого надуть затеял? — угрожающе сказал он. — Да ты знаешь, что я с тобой за это сделаю?!

Старая, как мир, хитрость сработала и на сей раз беспромахно. Костыль раскололся до самого донышка так быстро, словно был надтреснут с детства.

— Да я-то тут при чем? — жалобно заскулил он. — Грозит же: мол, пикнешь — пришибу! А я-то тут при чем?

Углов хлопнул ладонью по столу.

— А ну по порядку!

Через минуту выяснилось, что Костыля у двери склада припутал с чаем в руках прапорщик Абазов.

При этом имени Углов присвистнул.

— Ясно, — мрачно сказал он. — Что взял?

Шнырь затеял было объяснить, как прапорщик потащил его назад в незапертый склад и как...

Семен раздраженно прервал его:

— Говори — ясно! Чего он там взял?

— Дверь велел вынести, — испуганно всхлипнул Костыль. — До вахты пришлось тащить, вот и задержался.

Углов привстал:

— Дверь? Это какую? Ту, что с резьбой?

— Ага.

Семен снова сел. Замашки Абазова были ему хорошо известны, но чтоб вот так... чтоб такое нахальство... без малейшего спроса...

13.

Двухстворчатую, фасонную дверь связал четыре месяца назад плотник Самвел, теперь уж покойный. Дверь предназначалась для парадного входа в клуб, и Самвел постарался на совесть.

Вкруговую обвязки полотна шла резьба — густо переплетались виноградные грозди, лозы и листья; филенки были набраны из угаданной в цвет буквой клепки; внутренние обводы коробки Самвел обошел декоративным шпоном. Зеркальная полировка бархатной шкуркой, протирка бесцветным лаком, — фактура материала выяснилась и заиграла каждым завихрением, подворотом, каждой складкой теплых слоев дерева.

Однако ремонт клуба отложился на неопределенное время и художественно сработанное деревянное кружево осталось не у дел. Дверь простояла в столарке два месяца, и за это время промозолила глаза всем падким на чужое добро. За забором профилактория кипело индивидуальное строительство, и кто бы из застройщиков отказался по дешевке урвать на личное подворье музейную красавицу? Озверев от покушений, Углов спрятал дверь в склад.

И вот сегодня шустрый на руку Абазов дорвался, наконец, до запретного плода. Семен отлично представлял себе, как развернутся события дальше.

Абазов с краденой дверью уже у проходной. На вахте сидит его дальний родственник. Прапор мигнет, шепнет словечко, и дверь минует проходную так, словно

ее и вообще нет; дежурная машина с утра скучает во дворе штаба профилактория, добежать на ней до дому не займет и пятнадцати минут, и вот экономящая сотняга, считай, весело плещется в абазовском кармане.

Случись такой казус год назад, Семен и в затылке не почесал бы. «Мое, что ли?» Охота была из-за чужого добра встречать в спор с оборотистым прапорщиком.

Но вот сейчас... Словно что-то укололо Семена в сердце. «Как же так? Ведь он над нами властью поставлен, а сам? Ведь если он... что ж тогда о нас говорить?»

Углов поднял глаза. Костыль отвел взгляд в сторону. Он был тут ни при чем. «А я при чем?— подумал Семен.— Я при чем?» Нормировщик махнул рукой. Он заметил Семеновы колебания.

— Брось! С ними только свяжись. Самого же и обвинят.

Сергей ослабилась.

— Все они такие. Еще нас шугают.

— Все?— переспросил Углов.

Молнией мелькнуло в его голове воспоминание о приходившем недавно в прорабку капитане Костенко, о его тяжелых крестьянских руках, устало протирающих носовым платком поношенную дерматиновую окантовку околыша форменной фуражки.

На миг встали в памяти черные, ненавидящие глаза усатого прапорщика, Семенова недоброжелателя, его зеркально начищенные сапоги, по глянцу которых бежала неприметная неопытному глазу паутинка легких трещинок, которая выдавала, что сапоги служат прапорщику вот уже не один год. Он бы упер дверь? А Костенко?

Именно неосторожное восклицание: «Все!»— и решило исход угловских колебаний. «Нет,— прошептал Семен.— Не все. А коли не все, так и ему нельзя. Иначе, как же мы? Нет, нельзя, чтоб Сергей прав остался. Тут я должен, я...»

Сердце Семена сильно забилося. В какую-то ничтожную долю секунды он не то чтобы припомнил, а физически, кожей ощутил те десятки и десятки мелких, привычных уступок страху, которые из года в год разрушали его волю и его представления о добре и зле и довели, наконец, его до нынешнего жалкого и страшного положения...

«Нельзя отступать», — подумал он. И тут же трусливо ворохнулась в душе гаденькая, привычная мыслишка: «А может, не стоит? Ну, взял и взял. Мне-то что за дело? Ну ведь могло случиться, что я бы не узнал ни о чем? Вот не спросил бы Костыля и не узнал. И зачем спросил?»

И тут Углов, со внезапно вспыхнувшим бешенством, прервал себя: «Заткнись! Заткнись, Угол! Прошли твои времена!» Он вскинул на Костыля заблестевшие глаза.

— Где Абазов? На вахте?

Костыль попятился. Он испугался Семенова порыва.

— Ты что, ты что хочешь?— забормотал шнырь.— Он сказал: пикнешь — голова долой!

Сергей подал голос от плитки:

— Брось, Семен, не связывайся. Далась тебе эта дверь. Бомбанешь его потом на десяток пачек «слона» — и всем хорошо.

Семен перевел взгляд на нормировщика. Его невольно покорило.

— Вон ты как, Серега, за полгода говорить выучился. Так скоро «зэком» становишься. А вот я не хочу ставать.

Углов быстро вышел из прорабки. Последний шанс. Если Абазов успел вытянуть дверь за ворота, то уже не остановишь. Не закладывать же дежурному, в самом деле.

И все это недлинное время, все эти роковые двести метров до высоких железных ворот профилактория, тихий позвоночный голос внутри Семена, голос его прошлого уговаривал бросить заведомо опасное дело. «Хоть бы уж выволокли за ворота,— слышал Семен словно издали.— Хоть бы уж не успеть мне заловить».

14.

Он успел как раз вовремя.

Тяжелое железное полотнище, чуть громыхая роликами, поползло по утопленному в асфальт швеллеру. Отъехав полметра, ворота остановились.

Из проходной выскочил родственник Абазова. Резная дверь стояла прислоненной к углу караульного помещения. Двое мужчин подхватили ее. Им не хватило какой-нибудь секунды. Выбежавший из темноты Углов схватился за предмет удачливых абазовских вождедений.

— Стой, мужики. Не спешите.

В первую секунду родственники онемели от неожиданности и испуга, в следующий миг Абазов узнал Углова.

— И откуда тебя черти вынесли, прораб, мать твою перемать,— облегченно выругался он.— Суешься тут.

Углов дернул дверь.

— Клади на пол,— сказал он.— Вы, мужики, свое с чужим перепутали. Это моего склада товар.

Родственник Абазова моментально выпустил из рук угол двери и отошел в сторону. Он предпочитал не искать в чужом пиру похмелья.

— А говорил, все на мази и прораб в курсе,— прошипел он в сторону Абазова. Тот попытался обратить дело в шутку.

— Твое как лежало на складе под замком, так и лежит,— сказал Абазов.— А эту дверь мне ребята со столярки после смены сделали. Так что зря не суешься. Углов усмехнулся.

— Без моего слова никто в столярке и гвоздя не забьет,— ответил он.— Зря не темни. Давай лучше без шума назад дверь отнесем.

Абазов нахмурился.

— Что с вазу упало, то пропало, прораб. Бери десять пачек чая — и до свиданья. Ты меня не видел, я — тебя.

— Нет,— сказал Семен.— Не пойдет базар. Назад понесем. Давай, берись.— Он наклонился и приподнял край двери.

— Вот ты какой стал,— прошипел Абазов.— Тебе по-человечески, а ты в драку лезешь? Забыл, с кем дело имеешь? Забыл, кто ты и кто я? Не помнишь, какой приехал? Теперь чистенький?

— Забыл,— жестко ответил Углов.— Теперь чистенький. Я забыл, и ты, Абазов, забудь. Сейчас с тобой прораб профилактория говорит. И двери этой в твоём доме не стоять. Берись, говорю!

Абазов на секунду задумался. Родственник скучал в стороне.

— Ладно,— пробормотал прапорщик.— Не хочешь по-хорошему, не надо.

Он шагнул к Семену, схватил его за руку и заученным движением нырнул под мышку. От резкой боли Углов сложился пополам, Абазов уже был за его спиной. Свободной рукой он прехватил Семеново горло.

— Волоки за ворота! — скомандовал Абазов застывшему в двух шагах вахтеру.— Туда не сунется! — побег!

Ошеломленный родственник не сразу сообразил, что он него требуется.

— Дверь вытаскивай за ворота, дурак! — зашипел Абазов.

Он с трудом удерживал Углова. Оклемавшийся прораб бешено рвался из его рук. Вахтер подхватил дверь и волоком потянул ее в щель ворот. Углов, неся на себе Абазова, рванулся следом.

— Стой! — удушенно прохрипел он.— Стой, все равно не пущу!

Страшным усилием он сделал несколько мелких, трудных шажков вперед и, чувствуя, как затрещала заведенная за лопатку рука, упал на злосчастную дверь. Сверху грохнулся Абазов. Вахтер бросился на подмогу родне. Трое хрипящих людей слились в неразличимый воровчающийся комок. Схватка проходила, однако, в относительной тишине. Кричать опасались обе стороны.

В самый разгар побоища из темноты вынырнула подтянутая фигура в офицерской форме. Ночной дежурный по профилакторию капитан Костенко несколько секунд молча наблюдал за клубком.

— Встать!

Команда подействовала на сражающихся, как ведро ледяной воды, и мигом остудила разыгравшиеся страсти. Противники с трудом расцепились и поднялись. «Ну, влипли!» Кажется, эта мысль осенила сразу всех трех бойцов невидимого фронта. Однако среагировали на появление начальства по-разному.

Вахтер с проходной бросил руку к виску и бойко отпартовал:

— Дежурю на вахте, вижу, дерутся, ну, я — разнимать!

Опомнился и Абазов.

— Значит, иду по зоне,— он кивнул на Углова.— Гляжу, волокет дверь. Спрашиваю, куда — он драться.

Костенко повернулся к Семену.

— Что скажете, прораб?

Семен угрюмо нахмурился.

— Ничего не скажу.

«Что толку говорить? — подумал он.— Теперь что хочешь говори. Их двое, я один. Они прапорщики, я лечащийся. Ясно, кого обвинят».

И зло плеснуло в голову: «Так мне и надо, дураку. У щук всегда караси за все в ответе. Пропади она пропадом, эта дверь. Теперь начнут крутить. Хорошо, если срока не наматывают».

Однако Костенко был стреляным воробьем, чтобы можно было легко провести его на мякине. Он остро глянул на подчиненных, кивнул на приоткрытые ворота главного входа:

— Это что? Тоже прораб открыл?

Никак не ожидавший такого вопроса, вахтер сразу начал заикаться.

— Это случайно... это не знаю как... да вот, Абазов велел... — лепетал он. Костенко покивал головой.

— Один случайно ворота открыл, другой к ним нечаянно краденую дверь подтащил, третьему за здорово живешь морду набили... — морщась, выговорил капитан. — Не слишком ли много случайностей? С вами ведь уже была аналогичная случайность в прошлом году, — обратился Костенко к Абазову. — Кажется, тогда клялись, что ошиблись в первый и последний раз?

— Углов! — рявкнул капитан. — Кто дверь припер?

Углов безразлично кивнул на Абазова.

— Сам?

— Шныря моего заставил, — объяснил Семен. — С чаем у склада припутал, ну и...

Костенко шагнул к прапорщику.

— Да ты знаешь, что с людей и за меньшее перед строем погоны срывали?!

— Кому вы верите, товарищ капитан? — как перепуганный заяц, заверещал Абазов. — Мало ли что он говорит? Это же алкаш.

— Молчать! — крикнул Костенко. — Ни звука больше.

Он дернул плечом.

— Дежурный, закрыть ворота!

Абазовского родственника как ветром сдуло с опасного места. Заскрежетало железо ворот.

— А вас, а с вами... — Костенко задохнулся.

— Товарищ капитан! — червем скрутился Абазов. — Простите! Попутало! Сам не пойму, как вышло. Затемнение накатило. Товарищ капитан! Четверо ведь у меня, четверо! — По лицу прапорщика побежали крупные капли пота. — Образование восемь классов, специальности никакой. Если не пощадите, куда же я денусь? Товарищ капитан! — отчаянно выкрикнул он. — Как же мне теперь?!

Углов отвернулся. «Ну и заварил я кашу!»

Костенко погонял тугие желваки за скулами.

— Берите дверь, — приказал он прапорщику.

Абазов застыл с открытым ртом.

— Как — берите? — пробормотал он, ничего не понимая.

— Ключи от склада при вас, Углов? — спросил Костенко.

Семен утвердительно хлопнул по карману.

— Помогите Абазову поднять дверь, — жестко сказал капитан. — На спину ему помогите взвалить.

Ничего не соображающий Абазов машинально ухватился за дверь. Углов помог ему взвалить на загробу тяжелое сосновое полотно.

— Вперед, — скомандовал капитан. — К складу.

Абазов шагнул и пошатнулся. Семен кинулся поддержать. Костенко цыкнул на него.

— Не тронь! Иди открывай склад. Сам донесет.

Процессия гуськом двинулась в обратный путь. Впереди шел Семен, за ним — согнувшийся под тяжестью деревянной коробки Абазов, третьим, прямой, как столб, вышагивал капитан.

Когда подошли к складу, Семен облегченно вздохнул. Всю дорогу он молил бога только об одном — чтоб никого не встретить по пути. Углов отомкнул замок. Абазов втащил дверь и прислонил ее к стене. Пока Семен возился с ключами, в стороне опять возник разговор.

— Не губите, товарищ капитан, — шепотом умолял дежурного Абазов. — Одно ваше слово... Не губите...

Костенко угрюмо молчал.

— Не губите...

Капитан шагнул вперед, схватил прапорщика за грудки.

— Не тебя жалею! — крикнул он в обезумевшее от страха лицо. — Не тебя, гадина, из-за которой на каждого из нас тысячу раз теперь любой лечащийся пальцем показать может — мол, они все такие! Не тебя — детей твоих жалею! Ведь тебя под суд отдавать надо, а им каково будет жизнь с отцом-вором начинать?!

— Не губите... — простонал Абазов.

— Завтра же заявление об увольнении к начальнику на стол положишь, — тряхнул его Костенко. — Чтоб к обеду и духу твоего в профилактории не было! Я с дежурства не уйду, пока приказ подписан не будет.

— Спасибо, спасибо, — кланяясь, лепетал Абазов. — Вы святой человек, товарищ капитан, святой человек. Я напишу заявление, сейчас же напишу.

Костенко отвернулся.

— Принесете мне в дежурку. Идите.

Абазов, продолжая шептать слова благодарности, пропал в темноте. Углов молча переминался у запертой двери склада. Костенко подошел к нему.

— Герой нашелся, — сказал он. — В драку полез. Почему в дежурку не позвонил, почему меня не вызвал?

Углов пожал плечами:

— Закладывать... еще чего не хватало... Мы и сами бы разобрались. Я все равно не дал бы вытащить.

— Закладывать... — передразнил он Семена. — Закладывают воры друг друга. Ты что, вор?

— Ну что вы!

— То-то и оно. Службы не знаешь, устава не помнишь. Увидел, крадут — доложи старшему по команде! Потом пресекай.

Углов смешался.

— При чем тут устав? — пробормотал он. — Я в прапорщиках не служу.

Капитан не дал ему закончить.

— Все мы служим! — резко оборвал он. — Все честные люди — служим. Только каждый на своем месте. И устав я не тот имею в виду, что ты в армии вызубрил, а всеобщий устав, устав, который совестью называется! — Он помолчал. — Вообще-то ты, Углов, молодец. Эту ночь в своей памяти накрепко запиши. Она для тебя многозначая.

Костенко задумался и выговорил, словно для себя.

— А может быть, и не только для тебя...

15.

И опять закрутились и полетели дни, похожие один на другой. Углов, спеша по делам, задержался на минуту у щита объявлений. Щит черной и красной красками решительно призывал его к четырем часам полудни в клуб профилактория.

После обеда в клубе провожали лечащихся, покидающих профилакторий. Часть уходящих выслужила весь свой срок, часть — выслужила часть, срока, остаток сократила образцовая, без дураков, работа и отсутствие проколов в поведении.

Углов хотел было увильнуть от обязаловки. Ну чего зря время терять? И так было известно, кто что скажет. Уходившие, они ведь только телом были на собрании, только внешностью, а нутром уже известно где — далеко-далеко, за зоной!

Семен знал: им сейчас что хочешь лепи, всю «лапшу» они уже берут вполуха, за ворота быстрее бы, за ворота!

Но перед тем самым, как Семену нырнуть через внутреннюю вахту из жилой зоны в рабочую (уже туда заленятся посылать за ним, в случае чего), наскочил он, сирота неудачливая, на начальника своего отряда. Капитан Костенко, увидев прораба, заметно оживился, Углов так же заметно потускнел.

Жизнь, она — известное дело — качели. Начальство вольно дышит — подчиненным воздуху не хватает. Подчиненные задышали — у начальства, глядишь, перебой. А уж ежели какой сам на глаза начальнику попался, то лучше и не ворошиться: дело тебе враз найдется. Эх, по грехам нашим!

Углов густо выдохнул застрявший в горле воздух. В душе он смирился с неизбежным: сейчас что-нибудь придумают! И точно, капитан приглашающе махнул ему рукой:

— Вот хорошо! Я посылать за тобой собирался.

Семен снова вздохнул. Вот жизнь, будь она неладна! Торчал бы на объекте до темна и, ей-ей, никому бы за весь день не понадобился. А чуть шагни на люди, и сразу окажется, что тебя все встречные-поперечные чуть не с огнем с утра ищут, и ты словно бельмо на глазу — всем виден! Углов сплюнул.

Костенко нахмурился:

— Дело нужное. Небольшое, но нужное, — строго сказал он. Его понаторевший опытный глаз мигом подметил угловскую досаду.

— Да я ничего, — сказал Углов, подбираясь. — Нужно, так нужно.

Дело шло к УДО, не хватало еще заводить по пустякам отрядного — мужика, к Семену расположенного.

— В четыре проводы закончивших курс лечения, я вот подумал: ты, Углов, у нас на Доске почета висешь, ну а люди уходят разные, какие одумались и хотят новую жизнь начинать, а какие...

— А я-то тут при чем? — удивился Углов.

— А вот ты бы и сказал им пару слов на прощанье. Твое слово, я думаю, солидно прозвучит.

— Это к каким же мне адресоваться, — улыбнулся Углов, — к тем, которые одумались, или к прочим?

Костенко ответно блеснул белозубой улыбкой.

— А это зависит от того, какой ты сам теперь есть! У тебя еще два часа в запасе, есть время подумать, к кому обратиться и с чем. Я бы тебе подсказал, Семен Петрович, будь это дело, во примерно, так полгода назад, а теперь не стану.

Капитан снова широко улыбнулся и отошел от Углова. Семен проводил его растерянным взглядом. Впервые за последние полтора года к нему обратились не по фамилии, а по имени и отчеству, почти им самим позабытым. И кто обратился? Такой крепкий мужик, как капитан Костенко! Что ни говори, а отрядный был мужик — не прочим угловским знакомцам чета. Да, задал заковыку капитан. Как ловко подвел: какой сам нынче есть, к тем и обратишься. Или не то он имел в виду?

Оставшееся до начала собрания время Углов провел в полном душевном смятении. Решить! Легко сказать — решить. Все перепуталось в Семеновой голове. Так ничего и не придумав, он пошел к клубу.

Внутри гулкого, с высоким потолком помещения уже подходила к концу подготовительная суета. Клубный шнырь волок на стол, покрытый зеленым сукном, графин с водой. Торчали в литровой стеклянной банке из-под сока свежесрезанные розы. Электрик подключал микрофон.

Углов крикнул: провода ожидалась по высшему разряду. «А, ну да, — припомнил он, — из двух десятков уходящих на волю больше половины покидало профилакторий досрочно. То-то в цехах мастера взвоют, — посочувствовал Семен, — лучшие производственники уходят. Жизнь — ну прямо курам на смех: хорошего работягу отпускать не хотят. Какой-нибудь дармоед — так катись ты ради бога! А вот трудяга — дело другое. И не отпустить пораньше вроде не по совести выйдет, и отпустить не шибко охота; работать-то кому? На работающий народ по всей земле спрос особый!»

Его позвали из рядов длинных деревянных скамеек:

— Давай к нам, прораб!

Семен подошел к знакомцам; вся нарядная была в сборе, старший нарядчик подвинулся, освобождая Семену место с краю:

— Садись!

Углов мельком оглядел зал. Народ подходил густо. Все ж каждому было интересно взглянуть, кто сегодня пойдет на волю. Поменяться местами — желающих не пришлось бы долго искать. Воля — она сладкая, кто ж этого не знает?

Семен нехотя присел рядом со старшим нарядчиком. В дружбу лезть с нарядной, да еще на виду у всех, ему не очень улыбалось! Дело известное: все нарядчики первеющие кумовы дружки — место такое, что не будешь постукивать, так недолго и усидишь. Но здесь друзей не выбирают. Кого привезла решетчатая карета, те и есть твои будущие закадычные дружки-приятели, и Углов сел, куда пригласили.

Но вот народ повалил в зал валом; вокруг толкались, шумели, рассаживались, снимая беретки. Семен прошелся взглядом по рядам: густо, как колосья на поле, колебались вокруг стриженные, лопухие головы. В дверях произошло шевеление.

— «Хозяин» идет! — толкнул Углова в бок старший нарядчик. Вдоль стены одиноко прошел к рампе начальник профилактория. Отстав на шаг, следом шли замы, начальники отрядов, врачи. За ними держалась плотная группа покидающих зону, часть из них уже переделась в гражданское. Углов пристально вгляделся в отбывающих. Странно было видеть на братах, еще вчера щеголявших в синих бушлатах и тяжелых бутах, нарядные цивильные пиджаки и легкие туфли. О, да некоторые даже повязали галстуки! Углов покрутил головой: он не узнавал старых дружков.

— Глянь, — завистливо шепнул ему сзади Костыль, — в волосях на гражданку идут! Хоть сейчас женись!

Семен машинально провел ладонью по собственному колкому затылку. Да, действительно, вот почему так странно и неожиданно изменились знакомые ему лица, последний перед уходом месяц начальник в упор переставал видеть дослуживающих срок — и соскучившиеся волосы вымахивали на диво. За полтора года Углов так привык к синеватым голым черепам, что всякая прическа, выходящая за пределы «нулевки», казалась ему вычурной.

Наконец все расселись. Начальство разместилось за зеленым столом на сцене, отслужившие заняли первый ряд скамеек в зале. Замполит постукал карандашиком по микрофону. Зал смолк. Началось прощальное собрание. Выступали начальники отрядов, выступали врачи — поздравляли с началом новой жизни, с выходом в мир. Потом потекли ответные, до жути однообразные выступления уходящих.

Углов заскучал.

— И что тянуть? Скорей бы уж кончали.

Несколько оживился он только тогда, когда черным стаканчиком микрофона завладел капитан Захидов, заместитель начальника профилактория по хозяйственной части. Маленький подтянутый живчик, капитан целыми днями сновал по зоне, во все вмешивался, сыпал десятками противоречивых указаний, делал сразу тысячу дел и бывал страшно доволен, когда к нему обращались не по званию, а по должности. Стоило только сказать капитану Захидову: «Разрешите обратиться, гражданин заместитель начальника профилактория (предусмотрительно опуская несущественную добавку — по хозяйственной части), как Захидов расцветал алым маком, и уж откажу никому не было.

Углову частенько приходилось иметь дело с капитаном Захидовым: то на кухне протекали трубы — и требовался немедленный ремонт, то в штабе начинала осыпаться по углам штукатурка — и опять же, без прораба было не обойтись. С беззлобным доверчивым хозяйственным командиром Углов жил душа в душу. Оживился же Семен, увидев капитана у микрофона, по причине, хорошо известной всему профилакторию, — неудержимой страсти Захидова к публичному словоговорению; не вполне владея ораторскими приемами, зам по хозчасти не мог отказать себе в удовольствии послушать из динамика собственный голос.

Захидов придвинул микрофон, откашлялся и начал от Ноя и его непутевых детей. Он долго плутал в дебрях доисторического прошлого, и не раньше чем через полчаса сумел наконец выбраться на полянку современности.

— Я, знаете ли, поздравляю всех вылечившихся, — ласково обратился он к первому ряду. — Вы все ребята хорошие, я знаю, и пить эту отраву больше не будете, и желаю вам сюда не возвращаться, знаете ли.

Капитан еще раз оглядел слушателей растроганными, увлажнившимися глазами. Слушали ничего, уважительно, никто в зале не шумел, не чихал, не переговаривался — нет, действительно, хорошие ж ребята!

— Вот вы сейчас к своим семьям поедете, — поспешил продолжить Захидов, — а тут у нас вы за это время, что были, подлечили здоровье, денег заработали, вас дома ждут, встретят с радостью...

Капитан хотел было продолжить еще.

— С радостью?! — прервал его на высокой истерической ноте голос из зала. — Денег заработали?!

Захидов сбился и замолчал. За зеленым столом задвигались.

— Можно сказать? — Из плотных рядов сидящих тянулся вперед, к сцене, высокий худой парнишка с гладко бритой головой на тонкой, длинной шее. Его хватали за полы форменки, пытались усадить, уговаривали оказавшиеся рядом братаны. Парень упрямо выцарапался из цепких мешающих рук и все лез и лез к проходу между скамейками. — Можно сказать? — взлетела вверх его мосластая рука.

Захидов беспомощно оглянулся на начальника профилактория. Тот приподнял крупную голову, молча вглядываясь в синие ряды сидящих перед ним людей. Возникший в зале шум постепенно смолк. Углов с жадным вниманием посмотрел на начальника и только сейчас с ясностью понял, как одинок может быть человек, занимающий высокий пост. Его слово решало здесь все, и никто не мог разделить с ним груза ответственности. Молчание протянулось несколько томительно долгих минут. В клубе словно осталось только двое людей: стоящий в неловкой растерянной позе парнишка (его уже никто не рисковал удерживать) и лобастый, туго затянутый в хорошо пригнанную форму, словно сросшийся с ней, пожилой офицер за длинным зеленым столом.

— Вы что-то хотите сказать? — негромко произнес он. — Пройдите сюда. — И полковник кивнул на сцену.

Пока парнишка, цепляясь на ходу за сидевших, лез между скамеек, в зале стояла такая тишина, что Углов слышал, как стучит его собственное сердце. «И куда пацан попер? — пожалел Семен несмышлениша. — Сейчас выпросит себе удовольствие».

Парень, наконец, выбрался из рядов и уверенно поднялся на сцену. Он нисколько не смущался.

— Рамазанов из третьего отряда, — представился он.

Полковник кивнул:

— Слушаем вас.

Углов случайно взглянул на начальника третьего отряда, сидевшего рядом с полковником, и улыбнулся. Если б можно было взглядом перемещать предметы, то Рамазанов немедленно улетел бы со сцены со второй (как минимум) космической скоростью — так смотрел на смельчака отрядный. Парень бодро оглядел зал. Глаза его заблестели неистовым вдохновением. Видно, не только капитан Захидов любил ощущать себя пламенным трибуном.

— Вот тут, значит, гражданин капитан, — бойко ткнул Рамазанов пальцем в сторону огорченно внимающего ему Захидова, — тут гражданин капитан доказывал,

как нас радостно встретят дома, да как мы за колючку с пачухой денег выйдем! Гуляй, мол, Ваня, все в полном порядке. А я вот год отбыл, и до выхода мне месяц остался, а у меня на счете ни копейки нет! В магазине отовариться не на что. Выйду — доехать до дому до мамы-старушки не с чем!

Рамазанов громко хлопнул себя кулаком в грудь. Чувствовалось, как хочется ему рвануть рубашку на груди и облегчиться громким криком. Он уже взялся было за отвороты синей зоновской курточки, но, мельком глянув на президиум, натолкнулся на холодный, спокойно-выжидающий взгляд «кума» и опустил чесавшиеся руки. Заинтересованный его финансовым положением, выскочил с вопросом Захидов:

— А вы где работаете, в какой бригаде? — спросил он. — Почему у вас нет денег на счете? Ведь у нас в среднем по четыре рубля заработку на день выходит. Даже и со всеми вычетами должно на магазин оставаться.

Рамазанов подбоченился:

— Что мне бригада? — в голос закричал он. — Суете куда ни попало! А я специалист высшей квалификации, мне работу обязаны предоставить по моему образованию, а не в бригаду совать! Что мне ваши четыре рубля? Я за них в потолок плевать не хочу! Меня уже по пяти бригадам прокатили, да что толку? Не можете по настоящему трудоустроить, так нечего и держать здесь! Еще уколами травите. Лекари!

Рамазанов победоносно оглядел присутствующих. В зале послышались смешки. Доброе лицо Захидова сморщилось.

— А какая же у вас специальность? — участливо спросил он.

Парнишка гордо потупился.

— Мне закрывали на гражданке по шестому разряду, — ответил он. — А тут только по второму. А я специалист высшей категории. А что корочки потерял, так со всякими случиться может. — Рамазанов явно обходил вопрос о собственной специальности.

— Так кем же вы все-таки работали? — не успокаивался Захидов.

— Сварщиком.

И тут Углова как шилом в бок кольнуло: он узнал специалиста высокой квалификации. Полгода назад старший нарядчик, не спросив угловского согласия, кинул в одну из его бригад вот этого самого, распинаящегося сейчас на сцене о своих горьких обидах Рамазанова. Семен, не любивший, когда кто-нибудь наступал на его мозоли, тут же заскочил в нарядную выяснить, за какие грехи их облагодетельствовали. Углов не без оснований предполагал, что это был подарок старлея. Время от времени старлей менял стукачей в бригадах. И хотя перерешить что-либо было не в Семеновй власти, но грех было не воспользоваться законным поводом для поднятия шума.

— Суют кого попало! Прораб я или не прораб?! — Все ж была какая-то фикция власти. Однако дело оказалось гораздо проще.

Старший нарядчик только досадливо пожал плечами в ответ на Семеновы уколы:

— Да куда ж его девать, гниду поганую? Путем работать нигде не желает. Кочует из бригады в бригаду, толку от него нигде нет, а уж надоел всем до смерти. Эх, был бы здесь «строгач», мы б его быстро воспитали, а в ЛТП, сам понимаешь, шибко не развернешься. Вот он и выкаблучивается. Чует слабинку. Замполит велел к тебе перевести. Может, ты его маленько угомонишь.

Углов только присвистнул:

— Вот не было печали... Своих «гонщиков» мало, так со стороны суют.

Но делать было нечего, и Семен определил Рамазанова на рабочее место. В тот же день выяснилось, что сварщик Рамазанов (специалист высокой квалификации, как он себя упорно рекомендовал) не умеет варить. Электроды липли к металлу, Рамазанов ожесточенно дергал держак, и очередной стальной прутик вылетал из зажима. Брянец, разыскав Углова, за руку привел его к месту работы аса сварного дела. Углов полюбовался листом металла, утыканным прилипшими электродами, как ежина спина колючками, и сказал сквозь смех: «Ну пусть учится. Лишь бы хотел».

Брянец яростно плюнул и пошел прочь. Этим же вечером Рамазанов подал замполиту жалобу на своего бригадира. Моральный террор — так определил он брянецкую ругань. Тут поневоле пришлось задуматься, как быть дальше с новоявленным грамотеем. За месяц Рамазанов с трудом выполнил дневную норму выработки. Писать рапорта и жаловаться на собственных рабочих Семен не хотел. Что оставалось делать, если не бить?

Брянец, по истечении злосчастного месяца, сказал Семену:

— Или убери эту гниду из бригады по-хорошему, или я ему сквозь уши электрод продену!

Углов потолковал еще раз с «высоким» специалистом о том о сем и ощутил жгучее желание опередить Брянца в его намерении. Сплавить Рамазанова из строителей в мехцех потребовало двух недель утомительнейших происков и десяти пачек индийского чая на всяческие подмазки; Брянец рыдал, видя, как дорого обходится ничемный гад, но делать было нечего — пришлось подмазывать всех бригадиров в токарном цеху, чтоб выручили, освободили прораба от ноши, непосильной для его слабой хребтины. Потом Углов облегченно вздохнул, забыв о великом спеце. И вот он снова вылез на свет из какой-то запечины, тар-р-р-ракан!

— Не можете, а держите! — снова завопил со сцены Рамазанов, вытирая глаза кулаком. — А как я к мамочке появлюсь домой, голый и босый?

Захидов растерянно повел глазами по залу. Внезапно он увидел Углова и несказанно обрадовался.

— А вот же прораб сидит, — с облегчением закричал он. — У него всегда хороших сварщиков недостает. У вас же еще целый месяц до выхода, вот и успеете заработать на дорогу.

— Прораб, возьмете его к себе?

Рамазанов пренебрежительно махнул рукой:

— А, да был я у них. Что толку? Тоже ничего не заплатили!

Такой наглости Семен уже не смог стерпеть. Давно, с самого начала рамазановского выступления, копилось в Углове невольное раздражение. Семен и сам был не прочь «прогнать дуру» перед начальством. Отчего бы изредка не повеселиться, на глазах у всех пройдясь по лезвию? Но Рамазанов не «гнал дуру», он явно трепал языком всерьез, он явно и думал то, что говорил. Семен потихоньку сатанел. Скажи, какая святая и обиженная невинность появилась вдруг в зоне! Лопата или держак электрода ему не подходят по образованию: подать сюда немедленно министерское кресло! Вот в нем высокий специалист наработает! «А мы-то что ж? — едко подумал Семен. — Нам, выходит, любая работа годится, такое мы против Рамазанова было малограмотное! Ну, гад!» — Но клеветать своего брата, лечашегося, да еще на глазах у режимников, никак не полагалось по всем зоновским меркам, ну, «гонит», крутится, ловчит — ну и его дело! И Углов молчал, хотя так и подмывало его встать и выплеснуть накопившуюся злость перед всем залом. Но когда Рамазанов попер на строителей, которые-де ничего не заплатили за тяжелый рамазановский труд, Семен не выдержал. Он резко встал, чувствуя, как вытанулась в струну, как напружинилась в нем каждая жилочка, и шагнул к сцене. И так стремителен, так резок был его порыв, так похоже было это внезапное движение на смертельный, отчаянный бросок в бой, что все головы в зале разом повернулись в его сторону. Шесть легких шагов оказалось до сцены — всего-то ничего — но бешеной яростью плеснула волна крови от его сердца в мозг. Одним прыжком он взмахнул на сцену, вплотную к отпрыгнувшему Рамазанову.

— Ты кто? — задыхаясь, тихо спросил Углов побледневшего сварного, оберегаясь в крике расплескать переполнявшую его ненависть. Сделай сейчас Рамазанов малейшее движение, попытайся он защититься или сказать что-либо — и Углов не смог бы уже удержать себя. С чувством острейшего физического наслаждения ощутил он, как вламывается его чугунной крепости кулак в кисельное хлюпкое личико недоноска. Семен явственно услышал уже ломкий хруст и до крови закусил губу: сдержаться, сдержаться! Крупный пот выступил у него на лбу. Как будто сошлось в этот миг и в этом человеке все то черное, что изломало и его, и Лизину жизнь, то, что он теперь смертельно ненавидел малым, живым, кровоточащим кусочком своей души, чудом сохранившимся в нем вопреки всем поражениям в великой битве с судьбой. Будь он проклят, этот дармоед! Труд остался единственным и последним угловским прибежищем.

— Да ты кто есть, чтоб тебе за безделье платить? — прорычал Семен сквозь стиснутые зубы.

Захидов испуганно замахал коротенькими ручками:

— Прораб, прораб, да что вы?

Углов не обратил на него никакого внимания. Его глаза были прикованы к смазанному лицу, качавшемуся перед ним. Перепуганный до онемения, Рамазанов не мог выговорить ни слова; и только явственно булькал и хрипел страх в его судорожно дергающемся горле.

— Ты кто, академик? Тебе для работы что надо — самолет? Ты, гад, в зоне год отбыл и ухитрился рубля не заработать, все дела себе по плечу не находишь — это как?! Значит, ты один здесь спец, а все остальные мусор? — У Семена перехватило дыхание. — Я сюда на полгода раньше тебя прибыл, и не из сварных небывалого разряда, а из настоящих начальников; подо мной на гражданке сотня таких раздолбаев, как ты, ходила! А тут мне с ходу лом в руки дали, долби! И я долбил! Не отнекивался своим высоким образованием. Потом сказали: бери вагу, волокиты станки из

цеха в цех. И я волок! Тут кто из двухгодичников в бригадах остался, те помнят, как я начинал: это, мол, тот прораб, у которого первый год рукава бушлата по локоть в машинном масле были. Вот ты и поспрашай у них, как человек пахать может, когда хочет. Они тебе скажут. Не я работу искал, работа меня находила. А почему? А потому, что, может, душа моя по работе стосковалась за пьяные, за бездельные-то годы. Или что — может, образование мое меньше твоего, мне можно в грязи валандаться, а тебе никак? Стонешь: к маме-старушке доехать не на что? Да ведь наверняка она, мама-то твоя, только и живет толком, пока тебя рядом с ней нет. Ведь если ты в зоне ухитрился целый год прокантоваться — так неужели на воле хоть палец об палец ударял? Мамину пенсию и сосал, небось! Денег нынче нет на счету? Так и правильно, что нет; их у бездельника и не должно быть. А вот на мою книжку за эти полтора года «косуха» легла! И я за каждую копейку из той «косухи», ответ дам: где, когда и как я ее заработал! И долго о том рассказывать не придется. Вот он мой ответ, перед всеми тебе даю, а ты погляди да понюхай! — Углов протянул ладонями вверх, под самые рамазановские глаза, свои тяжелые рабочие руки, сплошь проштопанные рубцами невыводимых мозолей.

Зал онемел. Рамазанов удушливо захрипел и, оттолкнув Семеновы руки, бросился со сцены. Углов крикнул ему вслед, напрягая жилы на лбу:

— Вернись, разгляди получше! А то, может, не все увидал!

Вот он и прорвался, многолетний нарыв; вот и пришло к нему время через боль почувствовать живую силу своей неумершей души. И прорвался его нарыв тогда, когда Семен мог менее всего этого ожидать; и прорвался так, как не предвидел, может быть, ни один самый хитромудрый врач на свете! Нет, не напрасными оказались многодневные усилия многих и многих добрых людей, положенные на Углова. Далеко, может быть, было ему до полного выздоровления, но упорный труд их не пропал даром; новый человек появился на свет божий, и чудо этого всеми осознанного преобразования отозвалось в притихшем зале на сотню разных ладов: у кого радостью, у кого завистью, у кого робкой надеждой, а у кого и смертельной, непрощающей ненавистью.

Внезапно в напряженной гулкой тишине зала послышались негромкие, размеренные хлопки. Углов повернул голову к столу. Поднявшись из-за зеленого сукна и глядя на Семена спокойным ободряющим взглядом, сильно бил в ладони начальник профилактория. Углов обомлел. Вслед за полковником поднялись и зааплодировали остальные, а еще через минуту гудел овацией весь зал.

Через полчаса Семен стоял у дверей своего барака, раздумчиво разминая в пальцах сигарету. Он был весьма недоволен собой. Тоже мне, кинозвезда какая выискалась — на аплодисменты набился! Только этого еще не хватало.

Впрочем, чего там? Правильно навтыкал этой гниде. Будет помнить.

Мимо проходил незнакомый лечащийся. В углу рта у него дымилась сигарета. Углов махнул рукой:

— Дай прикурить, браток!

Тот остановился, осторожно придерживая сигарету, дал прикурить. На лице его заблуждала ласковая улыбка.

— А ты молодец, прораб, как я погляжу.

— А што? — лопухнулся Углов. Он еще не вполне отошел от атмосферы аплодирующего зала.

— А ништо, — усмехнулся незнакомец. — Ссучился потихоньку? На УДО работаешь? Нашими костями дорожку на волю стелешь?

Углов побледнел и вхолостую задвигал челюстями. Переход оказался неожидан.

— К «куму»-то еще не забегаешь по вечерам? Глядишь, месячишко-другой скинут. Чего молчишь? Оглох, что ли? Ну да ладно, прощевай покуда. — Собеседник повернулся и пошел прочь.

Углов догнал его одним прыжком. Мелькнула крепкая рука, затрещало плечо, и разъяренные глаза Семена уперлись в холодные глаза незнакомца.

— Легче, легче, прораб, — сказал он спокойно. — А то как бы тебе не ушибиться ненароком.

Движением ресниц он повел угловский взгляд в сторону. Краем глаза Семен увидел у стены еще трех, неприметных на внешность, делающих вид незнакомства и случайного соприсутствия.

— Моя бы воля, — катая желваки, сказал Семен, близко глядя в улыбчивые, спокойные глаза, — моя бы воля, так я б тебя и всю семейку твою — под пулемет! И остальных таких, как вы, — туда же! И никакого бы «кума» мне не понадобилось, своим бы потягом обошелся.

Незнакомец движением плеча сбросил его руку.

— Плавай глубже! — непонятно сказал он и пошел прочь.

Углов проводил его ненавидящим взглядом. Все внутри мелко дрожало.

Вечером следующего дня Углов не спеша проходил мимо клуба, направляясь к бараку. Сзади его негромко окликнули:

— Эй, Семен Петрович, иди сюда!

Углов повернулся на голос. Держа в руках какую-то бумажку, от стены клуба ему ласково улыбался Костыль. Семен грозно нахмурил брови: это что еще за новости такие, чтоб прораба чуть ли не манил к себе пальцем какой-то шнырь? Костыль явно перебрал чифиря. Дернув плечом, Углов отвернулся и пошел дальше. Сзади послышался задыхающийся хрип: Костыль с маху припустил бегом, догоняя его. Семен довольно усмехнулся: побегай, побегай, с чифиря не шибко набегаешься, гляди, уже пыхтит шнырь, как хороший паровоз.

Костыль наконец-то догнал его.

— Семен Петрович, я ведь хотел порадовать вас, — испуганно заторопился он на ходу. — Вы уж не сердчайте на старика, коли что не так...

Углов усмехнулся. При малейшем намеке на неприятность возраст Костыля сразу увеличивался чуть ли не вдвое. Обратная метаморфоза происходила с ним только при виде юбки. Но в зоне юбками любоваться приходилось редко, так и тянул Костыль свой срок жалкой развалиной. Не останавливаясь, Семен на ходу небрежно спросил сквозь зубы:

— Ну чего тебе?

— Да письмо же вам, Семен Петрович! Полез я в ячейку к себе, смотрю — ничего нет. И уж тут как чуял — дай, думаю, загляну, что там на вашу букву лежит, авось что и отыщется. А оно, вон оно, письмо-то, притаилось, лежит себе, вас дожидается. Я и взял. А вы тут как раз и сами идете.

Костыль искательно заглянул Углову в глаза. Семен остановился, как споткнулся. В сердце его резко кольнуло. Новость была, прямо сказать, ошеломительная: за полтора своих профилактических года он еще ни от кого не получил ни строчки и, честно говоря, уже не рассчитывал и получить.

— Да ты не спутал ли? — сказал он, стараясь унять сумасшедший бой сердца. — Может, оно и не мне вовсе, а какому другому Углову?

— Скажете тоже, — удивился Костыль. — Да разве я кого в зоне не знаю — и по фамилии, и на личность? У нас вы один и есть Углов, опять же и имя ваше. — Он подал Углову тощий конверт. — Глядите вот — Семену Углову. Так что с вас причитается, Семен Петрович. Запарить бы не мешало, а? — Костыль льстиво улыбнулся и только что не завилал хвостом.

Семен нерешительно повертел в пальцах конверт, все еще не решаясь взглянуть на лицевую сторону: страшно было и подумать, что письмо может быть написано Лизой. Костыль суетился рядом, чуть поскуливая от нетерпения.

— А ну беги, возьми у меня в тумбочке, запарь. Там лежит пачуха тридцать шестого, — отмахнулся от него Семен. Костыля как ветром сдуло.

Семен постоял минуту, облизывая внезапно пересохшие губы, и, словно бросааясь с обрыва в ледяную воду, решительно поднес конверт к глазам. Жадный взгляд его разом охватил написанное. Неожиданным взрывчатым жаром ударила прыгнувшая кровь в Семенову голову; в висок забухал знакомый молоток: Лизин почерк на конверте! Это ее округлой, размашистой скорописью были выведены два показавшихся ему незнакомых слова: Семену Углову. Он прочел их и не сразу ухватил смысл написанного. «Семену Углову — это кому же? Какому такому Углову?» — пронеслась в его голове испуганная, глупая мысль. Но через мгновение он снова обрел соображение и облегченно успокоил себя: «Ах, да-да. Это же мне. Это же я Семен Углов, я!»

Мурашки знобкими прикосновениями побежали по Сееновой спине. «Ответила, — подумал он, переступая с одной ватной ноги на другую. — Боже мой, ответила! Да как же это произошло?»

Он держал в руках конверт и боялся верить собственным глазам. Ошалело оглянувшись по сторонам, Семен уцепился за щеку, потом крепко подергал за ухо: да нет, он, конечно же, не спал! Пьянящая, сумасшедшая радость неудержимым потоком хлынула в его сердце.

Лизино письмо прогремело по Сееновой душе, как гром по ясному небу. Он тайно написал и тайно же отправил через волю шесть писем жене. Эта его скрытая, отдельная от семейки жизнь началась четыре месяца назад. Он пережил уже здесь

свою первую зиму, оброс бытом, знакомствами, тысячью дел, и единственное, чего у него не было и не могло быть, — это переписка с семьей.

Впрочем, Семен, так же как и все прочие, такие, как он, обездоленники, не получающие и не посылающие писем, хохорился и высмеивал такое сугубо немужское занятие, как изящная словесность. За это время Углов столько раз повторил про себя и на людях, что ни в сем и ни в ком не нуждается (точно так же, как не нуждаются и в нем самом), что не то чтобы полностью поверил, а как-то привык к этой мысли.

Аленкина смерть лежала между ним и Лизой неодолимой, бездонной пропастью. Все, или почти все, можно было поправить в этой жизни, лишь одно не поддавалось никакому поправлению. Долго, очень долго Углов не мечтал и думать о том, что его собственная жизнь еще не кончена с жизнью дочери, что та непробудная душевная спячка, в которой он утонул, как в трясине, когда-то кончится и главный вопрос человеческой жизни (вопрос — как жить дальше?) снова во всей своей обнаженной наготе встанет перед ним.

Первая несвободная зима прошла тяжело, лето — незаметно, а к осени Углов стал все чаще и чаще задумываться. На его алюминиевой кружке появилась процарапанная вилкой вторая годовая цифра — оставалось чуть больше восьми месяцев до выхода.

Шесть писем, адресованных Лизе и написанных им не столько чернилами, сколько собственной кровью, словно бы провалились в пустоту. Первое письмо он писал в глубокой душевной неуверенности, в полном разброде мыслей и чувств; то казалось, что вина его перед умершей дочкой и женой слишком велика, чтобы можно было рассчитывать хоть на какое-то милосердие, то вспыхивала в глубине его сердца фантастическая надежда, что можно если не изменить, то хоть как-то заглядить прошлое своей новой, чистой и праведной жизнью. Да, он уже был не тот, что раньше. Пылавшая когда-то в нем злоба на весь свет выжгла саму себя дотла.

В последнем своем письме, уже перестав надеяться на ответ, Углов писал Лизе о своем быте и работе, писал только потому, что письма к жене незаметно стали для Семена глубокой внутренней потребностью. Не получая никакого ответа, он все же суеверно боялся перестать писать почти что в никуда, этим как бы оборвалась последняя ниточка, связывающая его с горестным и дорогим прошлым. Отвечала бы Лиза, или (как это и было на самом деле) не отвечала — это уже не имело для Семена решающего значения; ему важно было для самого себя, для рождающегося в нем человека, открыться, исповедоваться перед кем-то близким. А никого другого не осталось у Семена в целом огромном свете.

В последнем письме он уже ни в чем не упрекал Лизу, ни на что не жаловался и ни в чем не каялся. Мелкие, любопытные подробности своего несвободного существования, некоторые черточки и мысли окружающих, показавшиеся ему интересными, — вот чем наполнил Семен свою последнюю исповедь. И лишь в самом конце, не удержавшись (желание это оказалось сильнее его самого), он мельком проговорился, что часто видит Лизу во сне и мечтает хоть издали посмотреть на нее наяву.

18.

Тут-то и ждала Семена самая сильная отповедь. Видно, не удержав пера, Лиза с сердцем отвечала на его робкое мечтание.

Семен жадно впился глазами в размашистые ряды неровных строчек. Письмо было длинным. Сквозь внешнюю суховатость и нарочитое безразличие то тут, то там пробивался страстный, живой огонь; Углов физически ощущал, как Лиза сдерживала себя, не желая сказать больше того, что было сказано; как трудно ей было не выплеснуть на бумагу, в самое лицо его, всю горькую и правдивую силу своей страшной и незабываемой беды.

Видно, все же Лиза со вниманием прочитала все его письма, хотя и не ответила на них, и сейчас обмолвилась как бы мельком, что прочла только последнее, все же предыдущие бросила в мусорное ведро, не распечатав. Но по некоторым мелким подробностям Углов почти с уверенностью угадывал, что прочтено было не только последнее его письмо, а и два предыдущих.

Лиза писала, что удивляется не столько тому, что именно он пишет, сколько тому, что, разрушив собственными руками все, что их когда-то связывало, он еще надеется восстановить развалины. Ведь Семен ей теперь, мало сказать, что чужой, — злейшего врага своего она бы не ненавидела с такой силой, как бывшего мужа. Потому что никакой самый страшный враг не смог причинить ей такого непоправимого горя, какое принес Углов. Восстановить между ними ничего нельзя так же, как нельзя вновь вернуть на белый свет Аленку. Угловские же предыдущие упреки в

том, что она якобы подписала со зла какие-то бумаги, которые привели его за решетку, кажутся ей глупыми. Ведь если в Семене еще сохранилось какое-то подобие разума, то он не может не понимать, в каком состоянии она была сразу после смерти дочки; в те страшные дни она не задумываясь подписала бы и собственный смертный приговор; да и могла ли она вообще в такой разрухе души понимать, что подписывает и зачем?

Впрочем, Лиза очень сомневается, что ее жалкая подпись могла что-то изменить в дальнейшем течении уголовской жизни; ведь и слепому было видно, куда катится Семен; и катится не по чьей-то чужой вине или подписи, а своим собственным неудержимым ходом и желанием. Если же Лизина подпись как-то помогла этому естественному ходу событий, так неужели ей следует испытывать какое-то сомнительное раскаяние? Напротив, она от души рада его теперешнему положению, и если уж кому-то стоит раскаиваться в своих поступках, то Углову незачем для этого далеко ходить — достаточно будет просто заглянуть в зеркало!

Кстати, она не очень понимает, почему он именуется лечебное учреждение тюрьмой, — разве что там ему наконец перестали позволять пьянствовать? Видимо, для Семена это и есть основной критерий различия между местами лишения свободы и организациями здравоохранения? В таком случае, по истечении срока лечения его ждет большое разочарование: с пьянством начали всерьез бороться повсюду, и как бы теперь весь мир не показался Семену тюрьмой!

Лиза, конечно, жалеет, но ничем не только не может ему в этом помочь, но даже не желает нисколько и сочувствовать, по ее горячему убеждению, таких людей, как Углов, следует не лечить, зря переводя на никчемную затею крайне нужные государственным деньги, публично расстреливать! И большие средства были бы при этом сбережены, и самим пьяницам, на ее взгляд, было бы, пожалуй, так проще — перестали бы, наконец, и сами мучаться, и людей мучать!

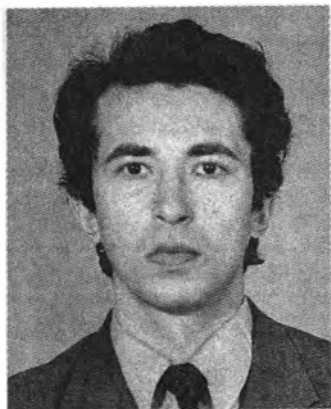
Углов горько усмехнулся: он и сам был теперь не очень далек от Лизиной точки зрения. Слова жены врезались в самую глубину его сердца. Он держал в руках письмо и едва стоял на ногах. Это была тонкая, как паутинка, ниточка, протянувшаяся к нему из страшного далека. Во всем божьем мире не осталось больше никакого другого человека, которому он был хоть чем-то интересен. Есть Углов на белом свете, нет Углова на белом свете — это никого не задевало и не трогало. А уж до того, что лежало внутри его души, и подавно никому не было ни малейшего дела. Лизино письмо явилось для Семена первым несомненным признаком, что он действительно въяве жив, что он человек, а не только номер и фамилия, занесенные чужой рукой в одну из граф длиннейшей ведомости.

«Ответила, ответила!» — тихо шептал Семен дрожащими, сухими губами. Лизина рука была на конверте, это ее тонкие пальцы вывели аккуратно его имя и его фамилию, это Лизина, до боли родная, светловолосая голова склонялась над листами бумаги, которые Углов держал сейчас в своей корявой зацепеневшей руке; скажись внутри конверта его собственный смертный приговор — Семен не повел бы и ухом: лишь бы приговор тот был подписан Лизой. Никакая сторонняя мысль не могла смутить его нерассуждающей радостью. «Ответила, жена ответила!» — снова прошептал он, не в силах удержать в себе эту радость, и лицо его, годами отвыкавшее от смеха, исказилось невольной мучительно-сладкой судорогой, больше похожей на гримасу плача, чем на улыбку.

Семен шел и смотрел по сторонам новыми глазами. Письмо жены, лежавшее в нагрудном кармане, грело его сквозь грубую материю гимнастерки. Все изменилось, ведь раньше он был пассажиром эшелона, идущего в никуда, теперь вагон его свернул на новую колею. Там, впереди, за окоемом, лежала настоящая человеческая жизнь, и хотя путь к ней был еще очень труден и долг, Углов ни минуты не сомневался, что одолеет его.

Он шел по центральной аллее профилактория, знакомые братаны поднимали руки, приветствуя его. Семен кивал в ответ, ничего не понимая, выслушивал обращенные к нему вопросы и улыбочиво соглашался: «Да, да... Конечно...»

И снова шел, провожаемый недоуменными взглядами, и низкое вечернее солнце расстилало перед ним пылающие алые ковры.



Григорий Резниковский

Орлеанская дева

Спектакль Самаркандского русского драмтеатра

В белесую классическую зиму
По грудь душа проваливалась, плача
О том, что все живое исцелимо,
А неживое ничего не значит.

Плоть, словно белый мрамор, промерзала.
Немели ноги на скрипучей сцене.
И медленно ронял в пустую залу
Тяжелые слова далекий гений.

И с тишиною скрещивалось эхо.
Сухие губы целовала вечность.
И хлопья света, словно хлопья снега,
Крылили поникающие плечи.

Мерцали тихо, как бинты над раной,
Тугие всплески королевских лилий.
И неустанно, как рабы тирану,
Угрюмые безбожники молились.

Над пылью, кашлем, бутафорским хламом,
Над холодом, над мерзлыми сердцами
Живой картиной в обветшавшей раме
Вставала огнедышащая память.

И шел спектакль. И было слышать странно:
«Святой отец, меня зовут Иоанна..»

Историк

Я свой в стране теней, где никого не встретишь.
Забвения река — напился и отник.
Планета дорожит итогами столетий,
Как памятью своей тщеславится старик.

Голодные века, их никуда не денешь,
Не спрячешься от них в грядущем торжестве.
И вновь пытливый ум историю разденет,
На старые рубцы роняя соль и свет.

Нет силы предсказать: «Ушло и не вернется»,
Ведь список ярких дат слоится — кровь на кровь.
Блистательный садизм великих полководцев.
Напыщенная ложь придворных мудрецов.

Забвения река. Туманы побережья.
Сырое бытие — прошли, но не прочли.
А тем, кто верует томительной надежде,
Ворота радуги мерещатся вдали.

Им — многоцветье дней, а остальным — похмелье.
Утратив полюса, вращается магнит...
Праматерь или мать поет над колыбелью?
Младенец или бог в той колыбели спит?

Аптекарь

Скажи, зачем и кем
Змеиный зуб разгадан?
К чему лесной траве
О темной смерти весть?
Аптекарь на весах
Отмеривает яды,
Отмеривает так,
Чтобы убить болезнь.

И точен глазомер,
Хоть и бликует лупа.
Угрюмых капель вкус —
Он, как любовь, жесток.
Пойми, какой ценой
Напиток этот куплен,
Какая мера мер —
Спасения залог.

Овчар

Под носом у барашков глупых
В запретной зоне
Посеяли драконьи зубы,
Взошли — драконы.

Палящий ужас ближе, ближе,
Как блеет бегство!
Стал луг зеленый огнедышащ,
Загон стал пеклом.

Да, этот промысел законен,
Хоть не во благо.
На то драконы, чтоб драконить,
Чтоб гибли агнцы.

Но, изойдя холодным потом,
Тропой нагорной
Пастух торопится — походкой
Драконоборца.

Египет

За горизонтом давних эр —
Нарыв на памяти бессонной.
Здесь все живое строит смерть
Священному потомку солнца.

Что из того, что в наших лбах
Мозг просвещенней и умнее?
Так величаво погребать
Лишь эти древние умели.

Что — человек? Зарыт, забыт.
Пришла пора — и ворон каркнул.
А Смерть в нагих песках стоит
И дышит громко, жадко, жарко.

Какая все-таки тоска
Трехгранник этот похоронный...
Сфинкс улыбается, пока
Египет верит в фараонов.

Триптих

1.(0000)

Круг — траектория судьбы.
Я верю в совершенство круга.
Земля кругла. Тому не быть,
Чтоб мы не встретили друг друга.

2.(1978)

О ангел!
Молоко степных кобыл
В твоей крови бурлит и закипает.
Языческий,
Простой и нервный пыл.
Басмачество.
Гнев толстомордых баев.

Палящий жар.
И ледяная стынь
Нагорных рек,
Ломающая тело.
Восток! Восток!
Я твой внебрачный сын,
От чада городского
Пожелтый.

3.(1983)

Без хвастовства.
Мне ясного ясней —
В Москве я для того и рос, и вырос,
Чтоб в детских жилках дочери моей —
Смешение кровей народов мира.
И благодарен я звезде земной
За дальний путь,
Быт трудный и не мелкий,
За то,
Что в пору юности шальной
Вошла мне в сердце компасная стрелка.

* * *

Над землей опрокинутый свод тишины.
В гороскопах сплетение огненных линий.
Знаю я, как друг к другу тянуться должны
Две звезды одинокие в черной пустыне.

Мельтешенье комет, блики с чуждых орбит,
Суета неземного и слишком земного.
Знаю я, что за пламя скитальцев палит,
Как жарка ненасытная плазма сверхновой.

Равнодушно-надменна пустыня небес.
Млечный Путь размывает светил силуэты.
Тишина. И зрачков неотступная резь
Болевым отраженьем бессмертного света.

Хорал молчания

Шелестом, шумом вороньих крыл
Черные звуки ведут осаду.
Только не надо, не говори,
Вымоли,
 вымолчи нам пощаду.

Только не вырони этих нот,
Чтоб навзрыд не металось эхо.
Вот они: всплески духовных пустот,
Древних обид иглозубые смехи.

Тут они: шепоты ближних невежд,
Ропот надежд над согбенной спиною.
Вымолчи в этом молчании брешь,
Чтоб провалилось молчанье покоя.

Вымучай времени смертный грех,
Эти часы без завода, но с боем.
Вымолчи ночи смыкание век.
Вымолчи —
 голос для нас обоих.

* * *

За злую кровь, за душный едкий пот,
За ярость слез и, наконец, за подвиг —
В измятом теле юность оживет
Еще светлее, строже и свободней.

Всему, за все — награда и цена.
Так вот оно, лечение горьким корнем!
Еще прекрасней мира новизна
Без замиранья в чувственном восторге.

Мельчает память пыток и невзгод,
Ожогов постоянных и поденных,
Когда дано сдвигать судьбы отсчет
Со дня рожденья к датам возрожденья.



Насыр Мухаммад

Калам¹ поэта

Время поэтов ведь столько знавало,
И всем без разбора
(Решай, мол, уж сам —
К счастью, к беде ли)
Любовно вручало
Остро заточенный вещий калам.
Кто-то прошел с ним,
Народ воспевая.
Был для других он
То посох, то меч.
Кто-то,
Им, вещим, в зубах ковыряя,
Сытым покоем не смог пренебречь.
Время по всей справедливости судит —
Славит кого-то,
Кого-то клеймит;
Кто-то, почив, вечно с нами пребудет,
Кто-то, в неизвестности сгинув, забыт.
Сердцем усвоив бывшего уроки,
Времени гулким внимаю шагам —
Стольких напевов
Несхожие строки,
В сердце вливаясь,
Безмолвствуют там.
Отзвука ждут —
Как велось, как ведется —
Времени память
И времени бег...
Что и компьютер
Решать не берется,
Сможет ли
Сердцем решить человек!
Если бы только проблемы науки,
Если б загадки далеких планет...
Отзвук рождает негромкие звуки —
Их не расслышит вовек не поэт.
Горести чьи-то
Все стонут по свету,
Чьи-то обиды

¹ Калам — ручка, карандаш.

Молчат тут и там...
К счастью, к беде ли,
Но время поэту
Вечно вручает
Не посох — калам.

Тегеранский базар¹

Здесь все чудеса,
Все богатства Востока,
Здесь пестро смешались народы и страны...
Ты щедр беспредельно,
Ты жаден жестоко,
Базар Тегерана, базар Тегерана.
Вот золото блещет, алмазы сияют...
Вот ткани...
— И все-то — едва ль не задаром!
— Спешите! Купите!
Спешат — покупают,
Неспешно идя тегеранским базаром.
Есть деньги —
И жизнь, будто райские кущи,
Достатком порадует, счастье подарит.
С дырявым карманом лепешки не купишь
На будто приснившемся только базаре.
Носильщик, работой согбенный, как старец:
Под грузом надсадным состаришься рано, —
Он, силу отдавший тебе тегеранец,
Базар Тегерана, базар Тегерана...
Малец с сигаретами:
«Малборо!» «Вистон!» —
Вот так оглашенно кричат на пожаре.
Да, детство осталось и серым, и мглистым
На ярком таком
Тегеранском базаре.
Глаза под чадрую, должно быть, прекрасны
И были б кому-то навеки желанны —
Неужто во тьме они так и угаснут?..
Базар Тегерана. Базар Тегерана...
Обвил, как змея, тысяч жизней могильник,
И новые жертвы идут непрерывно...
И ты беспощаден.
С того, что — всеильный
Базар Тегерана. Базар Тегерана...

Опять весна...

Дождинки в струях солнечных
скользят —
И словно вновь из давнего струится
Улыбкой светлой
Глаз счастливых взгляд
Сквозь блестящие капель
На твоих ресницах.

¹ Тегеранский базар — один из крупнейших на Востоке. Общая длина его извилистых крытых коридоров около 10 километров.

Весны той дождь живительный пролил
Любовь в сердца,
Распахнутые настужь.
Как свеж был дождь,
Как радостен он был:
Ведь вечным
Нам любви казалось счастье...
Мы окунались в радуги цвета,
Несчетным каплям подставляя лица.
И в ослепленье виделось тогда,
Что без конца
Весне той нашей длиться.
Но свет померк,
И грянула гроза —
Вошла в сердца,
Разлуки мрака полной:
Лишь в боли всплесках
Виделись глаза,
Любимые глаза —
При свете молний.
Во все века
Живительна весна,
И вечно травы выжигают лето:
Легко сказать теперь, издалека,
Что, мол, любовь
Сожгла разлука эта.
Опять весна волнуяще трубит,
Клин журавлиный в небе — как качели:
Вот-вот и сердце радостно взлетит
В ту боль,
В которой вместе мы летели....

* * *

Поэт — он не смертью своей умирает:
Мечтаний несбывшихся горестный ряд,
Печали — все капли...
И вот убивает
Его жизни чашу наполнивший яд.

Нешадно пытаемый жизнью, умеет
Смеяться и плакать — достало всего.
Но только все трудности он одолеет —
Довольство
Тотчас убивает его.

Перевод с узбекского Владимира Лещенко.



Зоя Туманова

ПОКА ГОРИТ СВЕЧА

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Фонари на мосту — рыже-пламенный, и все-таки неживой, синтетический свет, черные дуги пролетов...

Человек на мосту — руки в карманы, вздернутые плечи, нахлобучена шляпа; подозрительно пристыл к парапету, уставился вниз. Еще медлит, но с ним все ясно: разорвалась нить судьбы — концы в воду...

Борис словно увидел себя со стороны в описанной выше позиции: экое дешевое кино!

Нет, дорогие мои, имея разряд по плаванию, не очень-то утопишься, да и вообще подобные крайности не в стиле эпохи. Надо попросту обдумать все, проанализировать с самого начала, сделать разумные выводы. А что сердце саднит да горло перехватывает — это, дорогие мои, детали...

Итак, была ссора — не первая и, надо думать, не последняя. Правда, Лидия на этот раз превзошла себя, выдала все, на что способна современная дева, вооруженная интеллектом и сознанием полной безнаказанности...

Захотелось наказать. Захотелось, чтоб в войне нервов она сдалась первой...

Эти дикие вечера у молчавшего телефона! Уставишься — и вдруг открываешь, что его коробка похожа на голову барана в профиль, с рогами, загнутыми книзу... Упрямая башка упрямо молчащего барана!

Мама... Что-то она чуяла, у нее ум сердца. Никогда не вмешивалась прежде, а тут... «Что ты не звонишь Лидии?» Он огрызался. Вытягивался в кресле, зажмурился... Воображая себе это молчание, эту непосильную тишину, как черную бездну, — когда ж хрупким мостиком протянется дрожащая трель звонка?

«Краснословие!» — сказала бы Лидия.

Молчит. Онемел телефон, великий болтун века...

А нынче вечером... Все издыргали душу — не те звонки. Сбор ветеранов добровольных пожарных дружин. Эпидперевозка. Детский голошишко, с запиночкой: «П' зовите, п' жалуста, Ва-а-дика».

На этом Вадике он и сломался. Презирая себя, каждую секунду готовый повернуть обратно, не шел, тащился — подошвы словно свинцовые — и все же шел туда, только туда...

А когда доплелся до треклятого, трижды блаженного подъезда, почувствовал обморочную пустоту в голове.

Под окнами — так уютно, привычно припаркован синий «жигуль» Леонида. И золотистый квадрат окна на пятом этаже, два темных силуэта на светлом фоне... сближаются, расходятся, жестикулируют. Этаким выразительный театр теней... И заключительный кадр, не оставляющий и щелки для сомнений. Поцелуй в диафрагму, как говорили на заре киноискусства. Не хватало лишь титра «Конец фильма».

...Что было делать? Ворваться, потребовать объяснений? Будто и так не ясно. «Добрый мой, поезд уже ушел...»

...Только и осталось — стоять на мосту, глядя вниз, на воду. Есть на что посмотреть.

В нефтяной черноте реки дробятся, струятся отражения фонарей... Оранжевые блики, лоскутья пламенного атласа... колышутся и плывут, упиывают, и все на месте... движутся и остаются...

Остается — блеск, блик, мираж, а река — течет...

Как же он прозевал, просмотрел, не догадался? Каждый вечер, прямо под окнами, человек заводит машину и едет... Куда? Его дело, но трудно не помнить, каким взглядом Ленечка смотрел на Лидию тогда, у Коломейцевых. И разве можно было забыть, каков он сам, лощеный хлыщ, супермальчик с гладкой физиономией и девизом «Лови момент!»

...Каждый вечер, со дня их ссоры, Ленечка, вечный, с мальчишества, друг-соперник, ловил этот свой момент... И поймал!

— Закурить не найдется?

Хрипловатый, с уголовщиной, баритонец впихнул в реальность. Голова отщелкала, как ЭВМ: ночь, ни души, классический вопрос, что ни ответ — нож под ребра и требование «Гони шуршики!» Иль, как у них там, «фанеру»?

Черт бы с ним, с пятеркой, с десяткой, да ведь выскочил — без бумажника... Что бицепсы — против ножа?

Спине под курткой стало горячо и липко. Все же Борис совладал с дрожью, вытащил из кармана смятую пачку «Космоса», протянул, сам весь напрягся — как ждут судейского пистолета на старте — рвануть с места.

А тот попросту закурил, бросил спичку в воду...

Отпустила, отхлынула затопившая с головой жаркая волна страха. Тут уж можно было и глянуть — парень как парень, даже чем-то похож... Впрочем, все мы усреднены мировым стандартом.

А тот, зябко поведя плечами, поднес к глазам руку, глянул на циферблат, тихо ругнулся:

— Черт, опять отстали... Слышь, Василий, сколько на твоих?

Пусть буду Василий, лишь бы мирно разойтись. Борис отозвался:

— Двенадцать — без четверти!

Парень фыркнул, выставил на свет запястье с часами:

— Глянь, какой подлый достался механизм! Отстают, понимаешь ли, регулярно...

— В мастерскую сносить! А так — машинка хоть куда...

Часы, в самом деле, глянулись ему — огромные, в духе «ретро», цифры римские, стрелки с узорчиком...

— Что, понравились? Может, махнемся? Надоело стрелки переводить...

Снова застучало в голове: вот как нынче, культурненько, не «Давай котлы, фраер!», а подсовывают тебе обмен, туфту неходячую, а то и просто корпус без механизма, ну и ладно, все равно часы пора менять, у всех в отделе электронные, ладно что не куртку — моя-то кожаная...

Вслух же Борис сказал, с усмешечкой, небрежно:

— Давай — для смеху...

И вот уже у него на ладони — тяжесть металла, хранящего тепло чужой руки.

Борис машинально глянул на циферблат: половина одиннадцатого. Как же это?

...Что-то стронулось в голове, поплыло. Оранжевые круги на черном, мерцают, крутятся...

Вот что бывает, когда вдруг увидишь знакомый «жигуль» у знакомого подъезда.

Поздновато — для визита. А этому — не поздно?

Тяжко ухнула дверь подъезда — лифт где-то вверху, пока дождешься этой черепахи, — бегом, разрядник!

Лестница отскакивала от подошв, на площадке пятого, уже в белом накале, втер кнопку звонка в стену, держал не отпуская.

Леонид открыл — отшатнулся. На перекошенной физиономии ясно читалось: «Принесло тебя!», вслух же прозвучало кислое:

— Поздненько...

— Не поздней тебя.

— Я тут уже давно.

— Я тут давнее...

— Слушай, бывают ситуации, когда третий должен уйти...

— Вот и уходи...

— У нас решающий разговор, она согласна...

— Еще поглядим, — Борис, взявшись за Ленькино плечо, хотел его передвинуть, как шкаф, тот неожиданно уперся...

Скрипнула дверь. Лидия с порога уяснила ситуацию и вмиг приняла решение:

— Леня, спасибо за книгу, в среду занесу...

Была еще какая-то суета, разговоры, все — мимо, мимо...

Она, только она, такая же — и в чем-то неуловимо другая, — похудела, прическу изменила? — со строгим, ожидающим взглядом, и эта тишина в квартире, и все зависит от него, от его слов — или ничего не зависит?

...Упреки, обвинения и извинения, и горький, терпкий вкус обиды, и жалкие слова, и злые слова — словно буря трясла обоих, и теплая тяжесть рук вокруг шеи, ее волосы, щекочущие прикрытые веки, и сердце бьется где-то у горла, нестерпимо, ликуя, трепыхаясь, на разрыв, и одна мысль, поглотившая все, — успел! Успел!

— Боря, по-моему, ты опаздываешь на конференцию...

— Мама, по-моему, в последние десять лет я сам знаю, что мне делать...

Замолчала круто, обиженно, неслышно сновала по квартире, что-то переставляя, перекладывая... Кликнула Томку, собака, ошарашенная радостью внеочередной прогулки, подметала хвостом пол в прихожей... ушли.

Распространенное заблуждение стариков — будто они все знают и все предвидят. Будто они — островки в бегучем потоке времени.

А время бежит, бежит, все меняя. Кажется, давно ли — пепелил взглядом телефон, ждал чуда-звонка? А теперь — тому же телефону — мысленный приказ: молчи! Нишкни! Вроде и нет тебя!

И отключить нельзя, и трубку положить нельзя, шеф, словно собачку на цепочку, посадил: «Я буду звонить, возможно, вы мне еще понадобится...»

Очень, очень возможно. В последних работах половина расчетов — его, Бориса. Но кто про то знает? Для всех это Прохоров, ого! И когда собственная защита еще зыблется в сиреновом тумане... Но разве им это объяснишь — Олегу, Витьке? Сохранился в них еще этот студенческий наив — «стучи в барабан и не бойся!»

Дррз! Тьфу! Дернулся, словно ошпаренный. Вот что значит — нервы на вздержку!

Ну, поори, поори... А если не брать трубку? Уже, мол, в пути.

А если это шеф — и действительно потребует, вызовет, займет, создаст несокрушимое алиби?

Все-таки это был Витька. Обрушился без предисловий:

— Ты что, околпел?

И дальше — открытым текстом...

— Крикун, ты хоть выслушай, — попробовал поговорить как с человеком, — ты же знаешь, мой старик...

— Не прячься за своего старика, он у тебя сухопаренький, твои собственные плечища — торчат... Ты что, хочешь, чтоб Олежку забодали при твоём блистательном неучастии? Ты же обещал, медуза!

— Ну, обещал, но мой старик...

— Да пошел ты со своим стариком!

— Я тебе все объясню, не кипи...

Начал и осекся: Лидия дома! И когда вошла, давно? Слышала?

Невозможно было придумывать, оправдываться под этим взглядом. Смотрит, как на букашку под стеклом, — с брезгливым любопытством.

Борис нажал на рычаг, пусть Витька подумает, что разъединило, перезванивать ему некогда, сейчас там начнется...

Но и здесь началось. Не смолчала, спросила:

— Ты не пошел на конференцию?

Как будто и так не видит, что не пошел!

Борис ответил, сдерживаясь:

— Викентий сказал, что будет звонить, я ему зачем-то нужен...

Грациозно откинулась в кресле — Борис невольно, зло залюбовался: королевская пластика! С лентой, но четко, отдельно — сформулировала:

— Жидкость принимает форму сосуда, в который она налита.

Борис взвился, как подстегнутый:

— Ненавижу этот тон! Я тебе не мальчик и не мячик! Не подопытный и не подследственный!

— Твое красноречие неистребимо... Жаль, что его не хватило для дела — как всегда.

Он еще попытался довести до сознания, втолковать:

— Пойми: есть направления и школы, есть учителя и ученики...

Перебила:

— Да, ты многому научился у своего пролазистого шефа...

И тут он окончательно сорвался — в крик, в жестикуляцию, пытался вбить в эту каменную голову, что он и успеть не мог, такой выдался день сумасшедший.

— Вот, проверь по часам, где, когда, что? Смотри сюда!

...Узорные стрелки стали углом. В голове — муть. Круги перед глазами. Шеф в кресле.

— Викентий Львович, простите, закончим в следующий раз, спешу... Выцветшие, со зрачком-буравчиком, насторожились глаза.

— Знаю, знаю, конференция... Бесконечно малые открытия в области бесконечно малых... Докладчик — аспирант Букреева... Ох, Иван Аристархович... друг детства, враг отрочества... выпускает своего боевого конька... Вам обязательно надо быть на этой конференции?

Шеф любит задавать вопросы, не требующие ответа. Вот и это — вопрос-указание. Напоминание о скромном своем начальственном желании — чтоб его аспирант не лез в драку. До поры...

До какой поры!

И как смотреть в глаза Олежке? Витьке? Договорились ведь — двинуть скопом... Сколько же те — академические лысины — будут носиться со своими идейками, вышедшими из употребления еще в докибернетическую эру?

— Обязательно. Надо. Быть, — отчеканил, глядя прямо в бесцветные глазки. И они заморгали, заслезились даже...

— Хотите по-своему — не рано ли?

— Простите, опаздываю! — крикнул уже на бегу.

Бежал, ловил такси, возносился в скоростном лифте...

В зале захлопали, когда он запаленно ворвался в двери. Не ему — президиуму: только-только рассаживались.

Борис тут же начал строчить записку, чтобы дали слово, чувствуя в себе злое вдохновение: ох, выдадим сегодня!

Конференцию объявили открытой...

Шикарные фотообои, мебель темного дуба, на полках всяческие экзотические безделушки — не расставлены, а словно бы небрежно раскиданы. Кабинет впечатлял, хозяйка его — тоже.

Прекрасно, когда женщина одевается без этойкой заявки: «Смотрите здесь, смотрите там!» Жемчужного отлива блузка, юбочка «Буффало-Билл», кольцо из перламутра — все было как бы прирожденным, и прическа — лишь оправка для нежной смуглоты лица. И разговор — без раскочки, сразу к делу:

— Диссертации пишутся, чтобы пылиться на полках. Нам нужно такое, чтоб журнал рвали из рук. Научный детектив — в этом роде.

Он мягко возразил:

— Детектив невозможен без разгадки, а у меня — всего лишь гипотеза.

— Подайте ее так, чтобы убедить: она-то и есть истина, в последней инстанции! Создайте гипноз гипотезы!

...Вот тут и всплыла строка: «Блестяща и остра, как лезвие имеретинской шашки...»

Может быть, Лидия в своем КБ смотрится так же? Но почему же дома женщины позволяют себе так расслабляться? В последнее время просто невыносимо ее вечное нытье, кутанье в пуховый платок. А нынешняя сцена? И такой он, и сякой — «вечная гонка за успехом, любым, лишь бы...»

Надо бы знать закон существования в науке: ты не затмеваешь, тебя затмят. И тут — вовсе не «лишь бы» напечататься, а сверхпопулярный журнал — сто очков вперед друзьям-соперникам по оперативности... Когда есть возможность сказать свое «э» раньше, чем Петр Иванович...

Все это он высказал Лидии и как будто убедил, а потом, уже по ту сторону логики, снова отчаянный взгляд и нелепая просьба: «Останься, отложи на другой день...»

Я отложу, и меня отложат. «Не давайте себя задвинуть», — говорил шеф, и правильно говорил, ориентировался старик, мир праху его...

Это был какой-то подспудный ход мыслей, не мешавший внимать такой же отточенной, как внешность, словно бы порхающей, но жуть какой целенаправленной болтовне... Эта — дело знала туго.

Для него был легко и свободно выстроен каркас статьи — бери, заполняй блоками; вырисовывались и манящие перспективы — почему не цикл статей, а впоследствии — не книга? «В жанре научпопа», — сморщился Витька, но разве это не снобизм?

Слушать было полезно и лестно, а смотреть... Да еще на фоне африканских масок, кубинских циновок...

В кафе, напротив окон, включили музыку — заигранный Макаревич хрипловато вещал:

Я в сотый раз
Опять начну сначала,
Пока не меркнет свет,
Пока горит свеча...

Где-то она еще горела, эта свеча, внезапно он ощутил с пугающей четкостью силу, упругость мускулов, готовность легко вскочить, куда-то помчаться, обгоняя бег осенних листьев по асфальту. Может, рано списывать в архив то, что, казалось, ушло с молодостью, — мобильность мысли, тела, всего склада жизни... Почуялись какие-то скрытые возможности... Или — не такие уж скрытые?

Она замолчала, ища взглядом по столу, потянулась за сигаретами, прекрасная возможность показать, что ты не из леса, — и свой «Данхилл» предложить, и зажигалкой щелкнуть, и вообще...

— У вас, мне кажется, наступает обеденный перерыв? Что, если мы — ну, хоть в то кафе? Напротив? Или...

Она посмотрела, прищурясь, словно взвешивая предложение, и сказала решительно:

— Идет! Куда — я объясню после... Но у меня еще один десятиминутный разговор с техредом. Ждите у подъезда, ровно десять минут, я не из опаздывающих женщин... Сверим часы? Сколько на ваших?

Прозвучало по-командирски, он сдвинул рукав пиджака — какое все-таки старье эти узорные стрелки...

...Глаза заслезались. Прищурился. Лидия?

«У тебя еще полчаса в запасе. Подари мне из них десять минут. Если уж не можешь отложить...»

Вспыхнуло раздражение и вдруг угасло, он впервые заметил на лице жены лиловатые тени, завалы под глазами. И что-то незнакомое во взгляде — какая-то боящаяся себя, затаенная радость... или тревога?

— Послушай, а не стоило бы тебе показаться врачу? Что-то ты все хандрить... зябнешь... А?

— Я уже показала, — без выражения, как-то бесцветно произнесла Лидия.

Сердце стиснул кто-то, точно резиновую грушу, и не отпустил. Он почти закричал:

— И что? Что с тобой? Ты больна?

Она покачала головой, шевельнулись бледные губы, Борис не услышал, угадал:

— У нас с тобой будет ребенок. Вот... А теперь иди — ты куда-то собирался?

— Куда я собирался? Что ты говоришь? Лида, Лика, Ликусенька моя! Тебя же надо на ладонь посадить и носить!

— За Стаськой придется сходить тебе. Совещание в отделе главного конструктора!

Голос в трубке звучал с каким-то железным призвуком, впрочем, и без телефона была та же непрерываемость: я сказала!

И не поспоришь, и не объяснишь, какая куча дел сбежалась именно на этот вечер! На лысах колесах далеко не уедешь, Афанасий тянул неделю, обещая и откладывая, теперь уже крайность, значит, сдерет, как с белки шкурку! С машиной будет легче, и все же... Гранки прочел, успел, но надо же их вернуть в журнал, там график, от Киры не уйдешь без кофе, без разговора, она же ему открыла эту кормушку, она может и закрыть! Детсад, ну, это быстро, Стаську — к Елене, должен быть и от подруги жены какой-нибудь прок, кроме перебивания косточек своим непрекрасным половинам... Интересно, успеет ли он к семи? Маркин сказал: «Междусобойчик персон на двадцать, будет Новак, и тебе надо быть». Ежу понятно, что надо, кое-какие сведения профильтровались! Новак... Бывало, проходил на расстоянии своего вздернутого носа — не замечал, не здоровался. Время бежит, времена меняются. Хуже всего, что вся эта мешанина дел, забот, обязательств припала на родительский день.

Да, так было задумано, когда разменивались, — один вечер в неделю — целиком матери, ей и только ей. И соблюдалось поначалу — бросая все, мчался в эту тихую комнатку, где и пахло особенно, корицей, что ли? Безделушки, памятные с детства, особое печенье, особо нарезанный салат, только к нему устремленные глаза. Мама...

Иногда приходилось пропускать, переносить — работа, семья. Мама понимает — ни упрека, ни жалобы. Но — сколько же можно!

В этом месяце, ну да, ни разу! И сегодня — опять! Зарез, безвыходник, безнадега...

Знакомое чувство тесноты жизни охватило его. Прежде думалось — из-за тесноты в квартире, из-за того, что сталкиваются две хозяйки, разные поколения, вкусы, принципы. Маркин устроил удачный размен, разумеется, «по договоренности» — весьма солидной. И все равно жить было тесно, душно, ни просвета — в покой, самоуглубленность, сердечную тишину...

Может, удастся заехать к матери хоть на четверть часа? Глянул на

часы, чертыхнулся: это же мои, неторопливые! Самое удачное приобретение моей жизни!

...Уже как сон вспоминалась оранжево-черная фантазмагория той ночи, и чего ради его занесло на мост, уже не вспомнить. Хватил мороки с этими часами, в мастерские носил, вроде бы подправляли — глядь, в самый неподходящей ситуации опять отстали на полчаса!

Разозлился на часы, на себя — куда годится, кандидат наук в наши дни разболтан, как лапша, живет по часам, которым, видно, и в прошлом веке некуда было торопиться! Ну хоть сейчас сменил бы — если бы не цейтнот...

Случай помог. Повесили новый знак, пришлось развернуться, поворачивать назад, блуждать какими-то переулками. И словно бог поднес — будочка с вывеской «Ремонт и обмен часов».

Часовщик, как и должен быть, — сутуло-крючковатый, точно сова, и лупа в глазу. Наставил ее, как пушку, копаясь пинцетом в механизме, бормоча, гудя по-шмелиному:

— Часики, часы... Для дела, для красы... Музейные? Трофейные? Роняли, ударяли... Никто не хочет понять: часы не забава, а регулятор жизни.

Поднял глаза, покачал головой:

— Такое не чиним!

— Не надо чинить! Обменяйте!

— Должен как честный человек предупредить: равноценного обмена нет...

— Валяйте неравноценный! Лишь бы не отставали!

Вполне приличную игрушку получил: плоскенькие, цифры — палочки, стрелки — палочки, тикают бодро...

Конечно, к матери уже не успеть. Позвонить! По дороге в детсад.

Едва нашел автомат — чтоб и с дверцей, и с трубкой. Нынче они называются таксофоны. И нахальны не менее, чем таксисты: монету сожрал — и молчит. Второй — без гудка. В третьем еле-еле, как с другого края планеты, пробился голос матери:

— Алло! Слушаю! Громче! Вас не слышно! Перезвоните!

Куда там — перезвоните! Уже гудят — не там поставил тачку, мешает проехать. И двушки нет. И времени нет!

...Ладно. Позвоню с дачи. Не может быть, чтоб у Маркина на даче не было телефона.

Дальше все катилось гладко, только Стаську пришлось отдирать от себя, как пластырь: «Пап, я с тобой!» Елена, умница, сунула ему пестренький «кубик Рубика» — затих.

По шоссе — с ветерком, думал, успеет, но пришлось блуждать в поселке, среди одинаковых пряничных теремов...

Все сидели уже «теплые». Борис определил привычно: «Опаздываю на два такта». Сделал вид, что принялся догонять, прислушиваясь к застольному гулу:

— А водочка пошла топором.

— У частничка или по ордерочку икорка?

— Да уж не белковая, пробуйте!

— Болгарские огурчики, поэма...

Борис, употребляя и закусывая, осматривался. Новак сидел далеко, со стороны начальственной, там, где Щекочихин, Валуи и хозяева, в своем породистом пиджаке с бирочкой «Свав», вроде бы поглощенный застольными процедурами, тем не менее, все замечал — и Борису метнул острый, как копьё, взгляд... Даже холодком по спине повеяло — и он постарался забыть, расслабиться.

...Когда застолье пошло на спад — вставали по одному, выходили. Борис почувствовал на плече у себя тяжелую, как лопата, руку:

— Идем-ка, старик, подышим дымком...

Устроились на террасе, на плетеном из лозы диванчике. Новак покурил, благодушно посмеивался.

— Умеет Маркин предаваться радостям плотским, вкусно есть, крепко пить. На дачке все, как говорится, поставлено на серьезную ногу. Сауна есть, я попробовал — сварился, как сосиска...

Борис знал, что все это преамбула, внутренне напрягся, ждал.

Докурив, Новак сказал — четко, словно гравирова слова:

— Дело вот в чем: мне нужен зам. И я хочу, чтобы им стали вы, Борис Ильич.

— Польщен, — едва выдавил Борис — в горле пересохло.

— Не очень обольщайтесь. Просто — вы мне подходите. Знаю, характер у вас скользкий. Но я на бревне плавал — в юности сплавлял плоты...

Борис все это проглотил — Новак, известно, хамоват, но своих не выдаст. Напомнил осторожно:

— Вы можете назначать из прошедших по конкурсу.

— Да, конечно, сначала конкурс. Но для вас это должна быть беспретенная борьба. И потому кое-кто — по конкурсу пройти не должен. И это зависит от вас.

— От меня?

— Да. Я знаю, многие видят моим замом Сажнова... Он, мол, у своего Юренина в тени. Ничего, его талант любую тень осветит. А мне достаточно своего таланта...

У Бориса стало покалывать в виске, щеки горели, как ободранные наждаком. Если вдуматься — обидно. Однако... у человека такая манера...

Новак продолжал уверенно:

— Сажнов — ваш приятель, давний. Кто знает его лучше, чем вы? И кто сможет подбросить мне что-то, могущее смутить конкурсную комиссию? Так, мелочь, пустячок. У каждого найдется этакая зацепочка... А чтоб сведения просочились — моя забота.

— У Олега — нет, — хрипло сказал Борис. — Нет за ним ничего этого...

Новак тихо засмеялся.

— А, взыграло ретивое! Друг! Но припомните: в наше время добро должно быть с кулаками, сердце — с костями... Я знаю, мы сработаемся, я его вижу — наш тандем. А с Сажновым — нет. И это будет во вред делу. А главное — польза делу, все остальное — чепуха, чепухенция... Это ведь только в зоопарке — и волки сыты, и овцы целы... Так вы найдете что-нибудь, а? Соринку в глаз?

Уверенный, ухоженный, прет вперед, как танк, какой толк говорить с ним о высоких материях? Тем более, что по сути он прав. Ему лучше знать, с каким замом можно будет держать на рабочем ходу неповоротливую махину НИИ. А Олежка? Отдать на распинание? Ерунда. Ему в жизни ничего не надо, кроме пары часов машинного времени...

Время, время! Черт, он же хотел позвонить матери! Но надо что-то ответить. И он ответил чужим, не своим голосом:

— Дайте день — подумать...

— Резонно, — сказал Новак.

Телефонов было больше, чем надо, — три параллельных аппарата, один — бело-золотой, в стиле «ретро», остальные попроще, но все аккуратно соединяли, он звонил из каждого раза по три, и слышал одно — гудки. Протяжные, монотонно падающие в бездну эфира.

В такой час — нет дома? У соседки? Но мать не очень-то ладит с этой занудливой трескотухой.

Отбой... Отбой...

В конце концов, то, ради чего он ехал, уже свершилось. Десерт и интимные прогулки по саду — в другой раз.

Надо ехать. Родительский день...

Звонок, что ли, испортился? Бахнул кулаком, на стук выглянула соседка — та, занудливая... Посыпала слова:

— Увезли, увезли... На «скорой», голубушку... Вам звонили, никто не

подошел... А куда, не скажу, не вспомню, голова стала, как решето! Когда? Этак часов в девять. Сказали, что срочно положат.

Срочно? Сейчас четверть одиннадцатого, если учесть, что отстают. Часа два назад... уже можно найти, выяснить, что с мамой.

В комнате соседки на старинном комоде отзвонили старинные — четверть... Да, ведь он поменялся. Часы уже не отстают. Ну и что?

...Огненный взмах на черном, словно зарево пожара в ночи...

Борис постоял, восстановил дыхание, отплыла чернота от глаз.

Сколько раз говорил себе — гимнастика, бег, подвижный отдых. Да ведь разве выкроишь время?

...Ему повезло — всего третья была больница, где ему сказали: «Да, у нас».

Потом была беготня по лестницам, коридорам, всюду — закрытые двери, белые халаты, непреклонность роботов, глухая стена. «Нельзя, не полагается, часы и дни посещений... вас известят...»

За стеклом двери, залитым мутной белизной, разговаривали.

— Что у вас за шум, кто там позволяет себе?

— Это сын... к Карамышевой.

— Скажите ему, что опоздал...



Нина Демази

* * *

Все ближе жала и крыла невзгод,
Но не желаю слышать — и не слышу.
Мы строим дом. Соломинки забот
Чуть золотят на нашем доме крышу.
Что труд гребкопателя-крота,
Что бряканье пустое: «Гленно-бренно!»
Мы строим дом. Такой, чтоб неизменно
Сквозь поры стен сочилась теплота.
О дом, мой плот над зыбкостью реки!
Здесь цвести и зреть птенцам розовопятым.
Дом, где покоем дышит каждый атом,
Где ввысь летят улыбок мотыльки!
Но в теплый круг всеильного тепла,
Уютными уставленный вещами,
Вошла старуха. Плачет и вещает:
— «Сестра моя, надежда умерла!»
Что ж, теплый свет, бери ее, лечи!
Но добрый свет наш, символ нашей силы,
Ей обнажил безжалостно морщины
И прядей белых жидкие ручьи.
И был наш дом преступно чужд беды,
И был стеклянный взгляд у наших окон —
Как бабочка, покинувшая кокон,
Родства с уродством он стирал следы.
Старуха незамеченной ушла...
Гляжу с крыльца на высохшие травы.
О, дом, оплот покоя и отрады!
...Сестра моя, надежда умерла.

* * *

Прижаться потесней — блаженство декабря,
В сплетении теплых рук — ни страсти, ни корысти.
Прижаться потесней — и жестом дикаря
Ловить колючий снег и жмуриться по-рысьи.
Сплетенье теплых рук —
и теплой крови круг
Соединяет нас сквозь все непониманья.
Невольню, но легко вступили мы в игру,

II

Я стираю свой грим,
Я снимаю дешевые клипсы.
Как тягуче лилось
Этих простынь льняное вино!
Грубы руки мои —
Понежней были пальцы Каллипсо —
Все ночами пряду,
Все прохладное тку полотно.
Бесконечной стеной —
Бесконечная серая пряжа,
Поднимается к горлу
Козьей шерсти тугая волна...
Трижды прав ты, родной, —
Воровал, целовался, бродяжил,
На волнах и песках
Оставляя свои письма.
Только раз надо мной
Наклонялись копченые балки
И веслом перевозчик стучал в нетерпенье,
Да вот — обошлось.
Причитали в сенях
Игерии, кликуши, гадалки.
Над головкою детской
Дерзкое время неслось.
Мальчик вырос уже
И тебе, веселясь и дурачась,
Помогал отстрелять
Вождевших ко мне женихов.
Тонкой пряжи морщин
Не сотру, не замажу, не спрячу.
В этой скользкой крови
Постарела на двадцать веков.
Что ж, приди, обними
Мою верность костлявую. Ляжем!
Всех желанных и юных
Насытила в горле стрела.
Ты не скажешь тех слов,
Ты о странствиях мне не расскажешь.
Я-то как? Я ткала —
Распускала и снова ткала.
Младость — не сберегла.
Но была — госпожа и царица.
Непорочен очаг.
Гулко хрупают хворост надежд.
Ты разбил зеркала —
Я гляделась в их лица, в их лица...
Вот — единственный грех.
Ну — проснулся?
Попей и поешь.

Я не нужна сантехнику Валере...
Не улыбайтесь — я не в этом смысле.
Как раз он пребывал в наивной вере,
Что мне, как всем на свете, — только свистни.
Он так косил надменно-серым глазом,
Магнат, хозяин, баловень удачи,
Он так хотел сразить меня рассказом
О том, как строит сауну на даче.
Он оглядел мой непрестижный угол,
Тетради снисходительно листая:
— Стишки? Слыхали... Как его?.. —

С натугой:

— Отговорила роща золотая...
А в общем, — это все — такая липа!
Мозги трудягам пудрите — и точка.
Ни пить, ни есть, ни вылечить от гриппа,
А платят. Да, почему там нынче строчка?
Он кран за трешку мне сменил, и новый
Немедленно потек со страшной силой.
Он гордо сел в свой лимузин лиловый,
Оставив за спиной наш дворик сирый.
Он говорил без горечи и яда —
Скорей меня, дуреху, пожалели.
Он будет нужен мне еще. Но я-то,
Я не нужна сантехнику Валере.

* * *

Мой пушистый зверек — колонок,
Мой осенний, совсем незабвенный,
Как прищур этот хищен мгновенный,
Только щелкнет взведенный курок —
Дышит ужасом холод Вселенной
И уходит земля из-под ног.
Впрочем, снег — это только во сне,
И оскал, и брусничные раны.
Ах, когда бы на равных, на равных!
Клетка — что! Да срастаемся с ней!
К жестким доскам прижмемся щекой,
На двери не заметим щеколду,
Так дитя помещается в колбу,
И пульсирует жизни щепоть
За стеклом... Но осенний забой
Без погонь и без ружей — по плану.
Те — внесут инвалютную плату,
Мы расплатимся честно, собой.
Как тебе объяснить, что пора —
И за скудный кусок и за кровлю?
И пропахли железом и кровью
Руки те, что ласкали вчера.
И все ближе, все ближе шаги,
Все грознее предсмертное пенье.
Боль всеильна! Терпенье! Терпенье!
Все, душа, ты — свободна. Беги!



ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ: АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ

Ежегодно в Узбекистане рождаются сотни тысяч новых маленьких граждан, за последнее двадцатилетие их количество неуклонно увеличивается, достигнув в 1987 году пиковой отметки — свыше семисот тысяч. В нашей республике прирост населения втрое превышает среднесоюзный.

Счастье рождения ребенка приходит не только в молодые семьи, а их в республике создается все больше. Аист с упорной настойчивостью продолжает разносить детей и по старым привычным адресам: в Узбекистане свыше шестисот тысяч многодетных семей, а сто тысяч семей воспитывают более миллиона ребятишек в общей сложности.

О чем свидетельствует эта статистика? На первый взгляд, о жизнеутверждающей устремленности народа в свое будущее. Разве стали бы заводить семьи большое количество детей, если бы завтрашний день вызывал у них тревогу, обеспокоенность?

Совсем иначе воспринимают эту статистику ученые — демографы, экономисты, социологи, экологи, медики. При всем желании, они не могут разделить такой взгляд, так как исходят не из поверхностных ощущений и эмоций, которые, по их глубокому убеждению, имеют место там, где нет знаний, а из суровых реальностей. С их точки зрения, поводов для оптимизма чуть меньше, чем хотелось бы. Именно завтрашний день вызывает у них тревогу и обеспокоенность. Анализируя причины социально-экономических трудностей, перед лицом которых оказалась республика, они с неумолимой очевидностью наталкиваются на одну из важнейших причин — опережающее демографическое развитие, за которым никак не может угнаться экономика. Вопреки эмоциям, вывод напрашивается как бы сам собой: не будь столь сильным демографическое давление, легче было бы сохранять окружающую среду от антропогенного воздействия, население больше благ смогло бы получить от прогресса науки и техники, правительство могло бы больше средств вкладывать в экономическое и социальное развитие.

Необходимость резкого повышения жизненного уровня населения не вызывает ни у кого ни малейшего сомнения. Однако при складывающейся демографической ситуации только лишь на поддержание нынешнего уровня жизни завтра потребуются, как минимум, вдвое больше капитальных вложений. Только лишь на поддержание сегодняшнего уровня и качества нашей жизни, оставляющих желать лучшего. И вот тут-то уж действительно не до эмоций. Вспомним только хотя бы о нашем здравоохранении, о его состоянии. Не случайно первыми заговорили о необходимости планировать семью в республике наши экономисты и медицинские работники.

Сегодня мы предоставляем страницы нашего журнала специалистам, пожелавшим высказать свое отношение к вопросу планирования семьи, к разнообразным его аспектам.

Взгляды разные, в чем-то противоречивые, но, возможно, именно в неодинаковости подходов будет вскрыта истина, уяснена сама суть термина «планирование семьи» в условиях нашего региона. Хочется также подчеркнуть, что возможность обсуждения столь деликатной, «закрытой» темы на страницах печати является реальной приметой политики гласности.

«...ЧТОБЫ НЕ ВПАСТЬ ИЗ ОДНОЙ КРАЙНОСТИ В ДРУГУЮ»

— По прогнозам демографов, высокая рождаемость в республике будет сохраняться до 2000 года, к этому времени численность населения увеличится в 1,5 раза, а перед народным хозяйством республики возникнет масса проблем. Людей надо будет обеспечить продуктами питания, жильем, интенсивно строить детские дошкольные учреждения, создавать новые рабочие места и так далее. Наряду с этим значительно сузится демографическая емкость территории. Отсюда и вывод: сложившаяся демографическая ситуация в республике все сильнее привлекает к себе внимание не только демографов, но и партийно-советских и планирующих органов. Ситуация требует проведения целенаправленной, гибкой демографической политики. Она должна быть и мудрой, как всякая другая политика, и демократичной, как политика социалистического общества. Она должна быть такой, чтобы через пятнадцать-двадцать лет не пришлось пожинать горькие плоды своих просчетов, чтобы из одной крайности не впасть в другую. Всем ведь известны негативные последствия низкой рождаемости в других регионах страны: постарение населения, дестабилизация семьи, ухудшение качества воспитания детей в условиях малодетности и так далее.

В то же время никто, видимо, не станет отрицать, что высокая рождаемость способствует укреплению семьи. В нашей республике в два с лишним раза меньше, чем в СССР в целом, разводов, у ребятишек из многодетных семей высоко развито чувство коллективизма, взаимопомощи, уважения к старшим, в большой семье дети с раннего возраста приобщаются к труду и в общей своей массе отличаются завидным трудолюбием.

Важно отметить также, что родители, воспитавшие много детей, имеют гарантию получить от них помощь в старости. Я ни разу не читала и не слышала, чтобы многодетную мать собственные дети переселили сначала на кухню, а из кухни — в дом престарелых. Переполненные дома малюток и дома престарелых — разве они не свидетельство каких-то просчетов и допущенных ранее ошибок в нашей демографической политике?

С многодетностью часто связывают низкий уровень образования, при этом подчеркивается, что родители не имеют возможности заниматься своими детьми столь же много, сколько могут уделить внимания ребятишкам малодетные семьи. Не отрицая этого, хочется обратить в то же время внимание на недостатки в социальной сфере, прежде всего на низкую обеспеченность дошкольными учреждениями. Не следует ли подумать о том, чтобы создать нашим детям, особенно живущим в сельской местности, равные условия с их городскими сверстниками, чтобы сельские ребята учились круглый год, а не находились половину учебного времени на хлопковых полях. Когда такие люди, как преподаватель Ташкентского госуниверситета Мухтар Шапсанов, перечисляют свои сбережения на строительство сельских школ, а деловые руководители колхозов покупают за эти деньги «левый» хлопок и лишают детей полноценного детства, можно ли говорить о высоком образовательном уровне сельских ребят?!

Не следует ли всерьез задуматься о подготовке высокообразованных в полном смысле этого слова педагогических кадров, чтобы они учили детей не только по узкой школьной программе, а преподавали им высокие уроки культуры, доброты, интеллигентности?

И, наконец, можно ли упрекать сельского жителя в том, что на завтрак, обед и ужин он ест лишь лепешку с чаем. Что делать сельскому жителю, особенно главе многодетной семьи, если «негде выпустить во двор даже курицу, ибо хлопчатник подпирает под самые стены» (Ч. Айтматов, «Правда», 13 февраля 1988 г.)

Благодаря перестройке и гласности мы стали открыто говорить о наших недостатках во всех сферах жизни. И вот с громадной печалью мы узнаем, что в республике очень высокая смертность детей, особенно до года. Следует при этом отметить, что самый пик детской смертности пришелся на 1980 год, именно в этот год использование бутифоса достигло своей вершины.

С другой стороны, причину высокой детской смертности не следует ли искать в низком уровне нашей медицины, где для такого важнейшего звена здравоохранения, как родовспоможение и педиатрия, до прошлого года выделялось всего четыре процента отпускаемых Минздраву республики средств?

Не виновны ли в высокой детской смертности наши медики, для которых мифические проценты затмевают истинную картину детского здоровья, когда о свирепствующей инфекции становится известно лишь тогда, когда этот факт скрыть уже просто нельзя?

Надо с корнем вырвать взяточничество и поборы в наших больницах, в родильных

домах, где, если у роженицы не привязан на запястье платок с десяткой, не сильно-то разбежится ей помочь.

Основная цель демографической политики, как я это понимаю,— прежде всего забота о женщине, тем более о многодетной, создание для нее всех условий, чтобы она имела возможность сочетать материнство с активным участием в общественном производстве. Конечно, всем нам больно и обидно видеть нашу сестру, орудующую кетменем на хлопковом поле. Но разве менее больно и обидно видеть горожанку, устало бредущую домой с многочисленными сумками и авоськами после напряженного трудового дня на производстве или бегущую с этой непомерно тяжелой ношей за уходящим троллейбусом.

Сопоставляя эти две картинки, невольно задаешься вопросом: а станет ли счастливее сельская женщина, если мы ценой определенных усилий вытащим ее в город, в городскую среду с новыми установками и ценностями?!

Ставя вопрос о планировании семьи, надо прежде всего с большой бережностью разобраться в народных традициях, взять из них самое лучшее, выверенное веками, и перенести, не повредив, в будущее.

А. Т. Акилов, доктор биологических наук:

«ПРЕДОТВРАТИТЬ РОДСТВЕННЫЕ БРАКИ»

— На здоровье детей, на нормальную детородную функцию женщин непосредственно влияют все возрастающий лихорадочный темп наших будней, продолжительность рабочей недели в сельской местности, недозволенный контакт с гербицидами, пестицидами, дефолиантами, отсутствие водопроводной системы, непомерно большая солнечная радиация, особенно в сельской местности.

Но есть и еще один — чрезвычайно важный — фактор, вызывающий особую тревогу генетиков. Это родственные браки. Побывавший в нашей республике ведущий специалист в области медицинской генетики академик Н. П. Бочков признался: «Если бы в республике удалось предотвратить близкородственные браки, то показатель заболеваемости населения снизился бы наполовину».

В этих словах хоть и горькая, но глубокая правда. Показатель кровных браков в Бахарденском районе Туркмении в отдельных поселках достигает 60 процентов, близкие к этому показатели имеют место и в Узбекистане, например, в Ургутском районе Самаркандской области, Нишанском, Гузарском, Камашинском районах Кашкарьинской области и в других местах.

Всем известны истоки этой порочной традиции — желание приумножить семейный капитал. Не секрет, что еще и сегодня купля-продажа невест процветает в республике, особенно на селе. На жизнестойкости этой невежественности сказывается и давление реакционных догм ислама. И никто не задумывается или, быть может, просто не знает, что заключение близкородственных браков пагубно сказывается на здоровье потомства. Именно в браках между двоюродными братьями-сестрами проявляются наследственные заболевания, вызывающие у детей такие страшные недуги, как слабоумие, слепота, глухота.

Как искоренить вопиющее зло? Прежде всего, широко вести разъяснительную, просветительскую работу среди населения, всемерно поднимать уровень его культуры, формировать негативное общественное отношение к родственным бракам.

Далее. Нашими исследованиями установлено, что наиболее приемлемым возрастом для рождения первенца является 20—21 год; что интервал между родами должен равняться трем годам; что женщина, достигая 36 лет, должна всячески воздерживаться от беременности, так как возможность рождения генетически неполноценных детей с хромосомными и молекулярно-генетическими аномалиями в таком возрасте значительно возрастает.

Именно эти рекомендации и должны лежать в основе медицинских аспектов программы планирования семьи. В широкой сети женских консультаций, в кабинетах службы «Семья и брак» необходимо вести кропотливую повседневную разъяснительную работу о гигиене супружеской жизни, об особенностях планирования семьи, о вреде кровных браков и так далее. Высокополезно, на мой взгляд, освещать все эти вопросы начиная со школьной скамьи, ввести их в программу старших классов.

Р. И. Степанянц, доктор медицинских наук:

«РОЖАЙТЕ — ТОЛЬКО НА ЗДОРОВЬЕ!»

Долгое время в Средней Азии бытовало мнение, что здоровье женщины находится в прямой зависимости от количества детей: чем больше, тем лучше для матери. Как выясняется, такое мнение бытует и до сих пор. Так, в республиканской газете «Правда Востока» за 12 марта этого года поэт Мухаммад Солих пишет: «Наши женщины всегда были многодетными и были здоровы. Они и впредь хотят рожать и быть здоровыми. Так дайте им здоровья!»

Так и пусть рожают! Если на здоровье им и их детям. Однако медицинская практика дает примеры совершенно иного порядка. В течение многих лет я занималась изучением патологий многорожавших женщин и на основе обследования нескольких тысяч пациенток установила множество отклонений от нормы. Количество таких отклонений повышается с увеличением числа родов и особенно возраста женщины. Надо ли объяснять, что значительная часть женщин с большим числом родов имеет возраст к сорока или выше. Такое часто встречающееся заболевание при беременности, как анемия, также присуще многорожавшим женщинам, что осложняет течение беременности и родов в два раза чаще, чем у повторнородящих. Надо учитывать, что организм матери не успевает реабилитироваться, и с частыми родами утяжеляется ее основное заболевание. У ослабленной матери рождаются заведомо большие дети, с малым весом, с низкой сопротивляемостью организма к болезням. А ранняя физическая слабость неизбежно приводит и к отставанию в умственном развитии.

Так что здоровье женщине принесут не многочисленные роды, а разумное их количество.

Ш. Ш. Шамансуров, главный детский невропатолог Узминздрава, доктор медицинских наук:

«КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ НЕ УБЫВАЕТ»

Когда-нибудь ясно и четко прозвучит ответ на вопрос: почему катастрофически переполнены больницы и поликлиники нашего профиля. Сотрудники одной только кафедры детской невропатологии консультируют ежегодно около двух с половиной тысяч детей. И количество больных не убывает.

Выход вижу в том, чтобы законодательно закрепить медицинское обследование будущих супругов. Кстати, этот вопрос не впервые поднимается на страницах печати. Есть в Ташкенте республиканская медико-генетическая консультация при НИИ акушерства и гинекологии и в Ташкенте же — медико-генетический кабинет. Это лишь первый шаг в продвижении вопроса.

Сегодня медицинская наука готова прийти на помощь, предсказать, здоровыми ли будут дети у той или иной супружеской пары, если нет, то мы рекомендуем либо ограничить количество детей, либо не рожать их вовсе. К тому же, при такой постановке дела можно своевременно оказать помощь родившимся больным детям, ведь отдельные болезни, даже олигофрению, можно вылечить на первом году жизни ребенка. Однако, к сожалению, супруги обращаются к нам уже слишком поздно.

Конечно, сеть таких кабинетов нужно создать по всей республике, чтобы они были ближе к семье, особенно сельской. Ведь не каждая многодетная мать в состоянии своевременно заметить какие-либо аномалии в развитии ребенка, а если и заметила, то заниматься его здоровьем некогда — торопится обзавестись следующим. Вот вам и переполнение больниц. И не только больниц, но и психоаномальных клиник и интернатов. Работать здесь, наблюдать за больными детьми — тяжелейшее испытание. К таким детям приставлена целая армия врачей, хотя их никогда не удастся вырвать из пут тяжелого заболевания. А каково самим родителям, обреченным на пожизненные муки и запоздалые раскаяния.

Х. А. Максудова, заведующая медико-генетической консультацией «Брак и семья»:

«НЕ СТОИТ БРАВИРОВАТЬ КОЛИЧЕСТВОМ...»

— Наша консультация существует всего около двух лет, но и этого времени достаточно, чтобы понять, как вредна порой эта слепо исполняемая традиция — родить как можно больше детей.

Одной молодой женщине, родившей первенца с болезнью Дауна, мы посоветовали не торопиться со следующим, подождать хотя бы года два. На что наша пациентка ответила: « Не ваше это дело — во-первых. А во-вторых, мы не можем ждать!»

Другой типичный случай. Женщина сорока с лишним лет приехала к нам с жалобой: «У меня семеро детей. Последние четыре года дети рождаются мертвыми. Вылечите меня. Я хочу доказать своим соседям, что я не прокаженная».

Вот где, думается, зарыта причина детских и материнских болезней. Культ многодетности достиг в сельской местности такого парадоксального состояния, что женщины устраивают между собой соревнование: кто быстрее станет матерью-героиней. Мало детей иметь считается чуть ли не позором. Малодетность осуждалась в прошлом при клановом ведении хозяйства, живуча эта тенденция и поныне. Именно гнетом традиции можно объяснить осложнения отношений между супругами, когда женщина не может родить мальчика. Тогда родители, что называется, бьются до победного конца. Традиционно в узбекских семьях к девочкам иное отношение, чем к мальчикам. А ведь они — будущие матери, нуждаются в особенно внимательном отношении к их здоровью. Часто они бегают по улице полураздетые, в резиновых галошах на босу ногу. Конечно, трудно уследить за всеми детьми, если семья большая, но зачем же рожать еще, в ущерб уже имеющимся?

Все наши советы повисают в воздухе, достучаться до сознания женщин с установкой на многодетность любой ценой невозможно.

Кстати, медицина располагает сегодня возможностями установления пола ребенка задолго до его рождения. Однако разрешено этим методом пользоваться только после рождения четвертого малыша, иначе все бы захотели рожать только мальчиков.

Но какое же отношение к мальчикам, коли они так желанны? Приведу только один факт. Немалая доля призывников для прохождения службы в рядах Советской Армии отсеивается по состоянию здоровья. Так что стоит ли бравировать высокими количественными показателями рождаемости, если качественный показатель здоровья находится на низком уровне?

Р. А. Убайдуллаева, доктор экономических наук:

«НЕ ЗАПРЕЩАТЬ, А ПЛАНИРОВАТЬ»

— Да, проблемы, которые охватили сегодня нашу республику железным обручем, — экономические, экологические, медицинские, прочие, — требуют вдумчивого глубокого анализа, поиска конкретных решений. Если же воспринимать все наши проблемы поверхностно, руководствуясь эмоциями и одним только желанием найти «стрелочника», то на этом пути неминуемо скатывание к кликушеству, истерии, к демагогическому передергиванию.

Понятно, что демография давит на экономику, экономика на экологию, экология на всех нас, и на экономику, и на здоровье наших многочисленных детей, и на будущее региона. Замкнутый круг, и расцепить этот обруч не так-то просто. Все усиливающееся его давление требует принятия каких-то радикальных мер, требует каких-то неординарных, нестандартных идей, и промедление здесь немыслимо.

Обращаясь же к предмету сегодняшней дискуссии, хотела бы попытаться взглянуть в истоки нынешнего демографического взрыва в регионе.

Почему, например, в двадцатом веке в разных регионах мира возникли подобные ситуации, и почему их не было в странах Европы?

Длительный, медленный, а потому постепенный, эволюционный рост населения в европейских странах был обусловлен двумя противодействующими факторами: с одной стороны, традиционной и естественной для каждого молодого формирующегося народа высокой рождаемостью. С другой стороны, ее значительной компенсацией, обусловленной довольно высоким уровнем детской и общей смертности, причинами которых выступали отсутствие системы родовспоможения, детские инфекционные болезни, тотальные эпидемии, голод и неурожайные годы, войны и так далее. Ведя стихийное и оттого постепенное наступление на все социальные недуги (возникновение и совершенствование акушерской службы, серия грандиозных медико-биологических открытий, развитие государственности, демократии, дипломатии), европейские народы столь же постепенно осваивали эти достижения, делали их достоянием и нормой жизни всей массы населения, нормой общественного сознания и тем самым повышали общую культуру, возвышали ценность и значение каждой отдельной личности. Так же эволюционно менялась общественная психология. Забота только лишь о биологическом продолжении рода дробилась и конкретизировалась в самых различных аспектах. Усложнялся труд — увеличивалась продолжи-

тельность обучения ему. То же самое происходило и в связи с накоплением общей суммы знаний о мире. Научные открытия оборачивались повышением общей санитарно-гигиенической культуры, культуры быта, улучшением в целом качества жизни, заботой о поддержании ее высокого уровня. Еще раз повторяю, что все эти процессы растянулись на несколько поколений людей. Стихийная биологическая установка на избыточную рождаемость, закрепленная, к слову, в формуле «бог дал — бог взял», постепенно, с учетом практики предыдущих поколений, уступала место все более осознаваемой массами гарантированности выживания потомков.

Совершенно иная ситуация возникла ныне в развивающихся странах мира: добившиеся своей самостоятельности, но состоящие по преимуществу из людей с устойчиво закрепленной биологической установкой на избыточную рождаемость, они получили в свое распоряжение весь пакет достижений мировой науки и техники. Исторически краткосрочное развращение (не охватившее даже продолжительности жизни одного поколения) всего арсенала современных средств родовспоможения, педиатрии, вирусологии, фармакологии и т.д. сразу же дает эффект в виде резкого роста народонаселения, но почти не воздействует на соответствующие психологические установки. И пока, судя по всему, не существует никакого иного способа воздействия на изменение этих установок, кроме как всемерное повышение культуры народа, улучшение качества его жизни.

С определенными допущениями такая модель вполне приложима к нашему региону, перескочившему в своем развитии целый исторический этап. Переход к социализму, минуя капиталистическую стадию, сыграл двойную роль. С одной стороны, положен конец угнетению и эксплуатации, экономической и культурной отсталости региона. С другой стороны,— был значительно поднят уровень благосостояния коренных народов, что стабилизировало уклад их жизни, преимущественно сельский, и избавило от необходимости радикально его менять.

Эти факторы обусловили характер развития социально-классовой структуры среднеазиатских народов. Сельское население продолжало преобладать, рабочий класс формировался замедленными темпами, в то же время, благодаря во многом помощи и политике нашего государства, складывалась национальная интеллигенция, в основном, конечно, из бывших сельских жителей.

В результате еще чрезвычайно сильна ориентация на сельский образ жизни, где почти в законсервированном виде сохраняются семейно-родственные структуры, где самостоятельность людей ограничена общинно-патриархальными нормами, где преобладает традиционный тип воспроизводства населения.

Применительно к нашему региону надо сказать, что движение «Худжум», как это все более отчетливо проявляется сегодня, своим острием фактически оказалось направленным лишь против внешних проявлений закрепленности женщин. Внутри-семейные же отношения в немалой степени остались прежними.

Думаю, сегодня надо во весь голос заговорить о нашей женщине. Чего греха таить, если она занимает в сельской местности сколь-нибудь заметное общественное положение, будь то директор школы, председатель колхоза, секретарь райкома, то рискует никогда не обзавестись семьей. В многодетных семьях зачастую женщина, как и прежде, не имеет права выйти к гостям, ведет затворнический образ жизни, выполняя при этом самую трудную работу дома и в поле. Особенно в тяжелом положении оказывается молодая женщина, которая вышла замуж и попала в семью мужа. Она должна являть собой безграничную покорность и послушание, ее судьба всецело в руках родителей мужа, все вопросы решаются за нее и без нее.

Свободного времени у сельских многодетных женщин нет, что такое отдых, они не имеют понятия.

Вот почему столь актуально стоит сегодня вопрос воспитания семейной этики, взаимоотношений внутри семьи, преодоления патриархальных пережитков в распределении социальных ролей в семье, создания семьи нового типа, свободного от неравенства и предрассудков.

Степень зрелости общества, по Марксу, определяется прежде всего отношением его к женщине. В наших условиях стрелка этого барометра отклоняется, увы, не в солнечную сторону. Не об этом ли свидетельствуют трагические факты самоубийства женщин, только в прошлом году таких жутких случаев было более двухсот.

Планировать семью — это прежде всего раскрепостить женщину, сохранить ее здоровье, и физическое и моральное, обеспечить наилучшие условия для нормального течения ее беременности и родов. Как можно отрицать взаимосвязь между частыми родами, детской смертностью и здоровьем матери, когда это очевидный факт?!

Конечно, само по себе регулирование рождаемости в семье не может автоматически поднять качество здоровья подрастающего поколения и самой женщины, если это не будет подкрепляться целым комплексом взаимосвязанных мер экономического, социального, экологического порядка, решением проблем занятости.

В комплексе мер демографической и социальной политики требуется ужесточить контроль за выполнением законодательства, запрещающего использовать детский труд, в частности, при семейном подраде.

Требуется также дальнейшего совершенствования учет трудоспособного населения, занятого в домашнем и личном подсобном хозяйстве. В нем должно найти отражение количество многодетных матерей и женщин, имеющих детей до одного года, которые не должны считаться реальным резервом свободных трудовых ресурсов.

Все эти вопросы в конечном итоге нужно объединить в долгосрочной комплексной программе «Развитие народонаселения УзССР и рост его благосостояния». Такая программа может быть рассчитана на 25—30 лет и должна увязать решение задач демографической политики с социально-экономическими возможностями общества.

Л. П. Максакова, кандидат экономических наук:

«ЕСЛИ МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ СИДИТ ДОМА, ОБЩЕСТВО ТОЛЬКО ВЫИГРЫВАЕТ»

— В последнее время мы много внимания уделяем в печати проблеме занятости женщин в общественном производстве. Но большинство женщин можно считать занятыми лишь условно, так как труд в домашнем и личном подсобном хозяйстве, несомненно, является общественно-полезным и нужным, особенно при многодетности. Ведь коэффициент семейной нагрузки на узбекскую женщину в полтора, а в селах почти в два раза выше, чем в большинстве районов страны, а число детей дошкольного и младшего школьного возраста, приходящихся на 100 женщин, более чем в два раза превышает соответствующий показатель в целом по стране.

Да, труд в домашнем хозяйстве не создает дохода семье. Но он уменьшает его расходы, что особенно важно применительно к многодетной семье. Женщины воспитывают детей, ухаживают за престарелыми, инвалидами, больными, готовят пищу, стирают белье, убирают дом и двор, шьют, ремонтируют одежду и так далее.

Расчеты показывают, что для выполнения необходимого объема домашней работы в расчете на одну среднюю семью в республике потребовалось бы платных услуг на сумму 2,5 тысячи рублей в год. В пересчете на число многодетных семей и уровень производительности труда в сфере услуг Узбекистана перевод только половины услуг, оказываемых женщинами членам своих семей, был бы равноценен дополнительному привлечению в сферу бытового обслуживания более 400 тысяч человек. Привлечение такого количества женщин в общественное производство потребовало бы значительных капитальных вложений. Потребовалось бы создать 340—360 тысяч рабочих мест при коэффициенте сменности 1,1—1,2. Стоимость одного рабочего места, по самым минимальным оценкам, составляет здесь 1,7 тысячи рублей. Значит, в целом на эти цели нужно было бы затратить 500—600 миллионов рублей.

Необходимо также учесть и другие затраты, связанные с вовлечением многодетных женщин в общественное производство, например, на создание мест в детских дошкольных учреждениях. Ежегодно около одной трети детей рождается в многодетных семьях, следовательно, на эти 400 тысяч женщин будет приходиться, как минимум, 300—400 тысяч детей дошкольного возраста. Если учесть, что создание одного места в детском дошкольном учреждении обходится в 1,5 тысячи рублей, а содержание одного ребенка в нем в течение года — в 443 рубля, причем, 92 процента этих расходов берет на себя государство, то потребуется в общей сложности 450—600 миллионов рублей капвложений на строительство детских садов и яслей и ежегодных расходов на содержание детей порядка 120—160 миллионов.

Труд женщин в домашнем хозяйстве уменьшает также расходы семьи на содержание детей. При непрерывном росте цен на детские товары стоимость детского гардероба все время возрастает. Если в 1975 году она оценивалась в 181 рубль, то в 1983 году — 225 рублей. Неработающая женщина часто шьет сама детскую одежду, перешивает из старой, чем, несомненно, значительно сокращает эту статью расходов. Экономия семьи от ведения домашнего хозяйства прямо пропорциональна количеству детей в ней. В семье из шести человек она в два раза, из семи человек — в 2,5 раза больше, чем в семье из трех человек.

Таким образом, если многодетная женщина не занята в общественном производстве, с экономической точки зрения ни семья, ни общество не проигрывают. Следует помнить и о социальной значимости такой занятости женщин. Дети в многодетных семьях, как правило, находятся под постоянным присмотром матери.

Чрезмерная же занятость женщин на производстве в целом снижает такие извечные ценности, как семья и дети, и в настоящее время негативные последствия этого очевидны: возрастает количество разводов, переполнены детские дома и дома ребен-

ка, резко падает авторитет отца в семье, имеют место и другие социальные перекосы. Поэтому не случайно в научной и общественно-политической литературе все громче ставится вопрос о том, чтобы женщины больше времени и внимания уделяли дому, семье, воспитанию детей. Все чаще можно встретить такую постановку вопроса: «Создание одного места в детском саду обходится государству в среднем в две тысячи рублей. Не эффективнее было бы и для семьи, и для государства создать для женщины такие условия, чтобы она как можно дольше сидела со своим ребенком. Ведь никто не сможет дать ребенку столько, сколько мать. И потом, можно ли соотнести ценность труда женщин на производстве и в воспитании детей?» («Аргументы и факты», «Как живет многодетная семья?», № 36, 1987 г.)

Правомерность такой постановки исходит из нашей практики, она определяется теми негативными последствиями, перед которыми оказалось наше Отечество в результате чрезмерно высокого вовлечения женщин в общественное производство.

Размышляя о многодетной семье, о необходимости планирования семьи, нужно хорошенько вдуматься в результаты когда-то допущенного перекоса в этом вопросе.

Хочется заметить также, что встречающийся в литературе и в документах тезис о привлечении незанятого трудоспособного населения к общественно полезному труду неверен по сути, ибо в его численности большую часть составляют неработающие женщины, обслуживающие свои семьи и воспитывающие детей. Правильнее ставить вопрос о вовлечении незанятого населения в общественное производство.

Теперь вспомним о тех женщинах, которые заняты в сфере личного подсобного хозяйства. В условиях нашей республики такое хозяйство имеет немаловажное значение, особенно для многодетных семей. По данным бюджетных обследований, доходы от личных подсобных хозяйств составляют 20—25 процентов их бюджета. Хозяйства, как правило, высокоэффективны: в настоящее время площадь их по республике всего 3,1 процента от всей посевной площади, а производится на ней продукции почти на полтора миллиарда рублей, или 22,5 процента от всей валовой продукции сельского хозяйства республики.

Особенно заметна роль личных подсобных хозяйств в производстве продуктов животноводства: их объем составляет более половины производимого в общественном секторе.

Для производства такого количества национального дохода, который создается в сфере личного труда, с учетом уровня производительности труда в общественном секторе сельского хозяйства, дополнительно потребовалось бы более 500 тысяч человек. Причем, около семидесяти процентов всей работы в личном подсобном хозяйстве падает на женщин, следовательно, эти женщины фактически заменили труд 300—350 тысяч человек из колхозов или совхозов, поэтому неправильно считать их незанятым населением. По крайней мере, характер их труда равнозначен надомному.

Таким образом, из-за несовершенства учета занятости как в нашей республике, так и в стране, категория населения, незанятого и трудоспособного, искусственно завышается, причем, это особенно заметно именно в республиках Средней Азии, где экономическая роль подсобного хозяйства относительно высока.

Однако нельзя сказать, что если мы будем учитывать экономическую важность и полезность труда женщин в домашнем и личном подсобном хозяйстве, то этим самым решим проблему их занятости. Всесоюзные переписи населения и социологические обследования показывают, что потребность немобильных трудовых ресурсов в работе в общественном производстве достаточно велика, и при создании определенных условий женщины хотели бы участвовать в нем.

Главное условие — устройство детей в детские сады и ясли, работа на дому, в нестандартных условиях организации труда. Частично такая потребность сегодня удовлетворяется через индивидуальную и кооперативную деятельность. Но, видимо, настало время серьезно решать и проблему существенного расширения возможностей для женщин работать неполный день, неполную неделю, использовать гибкие графики и т.д. Опыт социалистических стран показывает, что эффективность труда в режиме неполного рабочего дня, в расчете на один час, заметно выше, чем у работниц, занятых в традиционных режимах.

В решении проблемы вовлечения в общественное производство многодетных женщин надо исходить из того также, что в условиях высокой рождаемости уровень занятости женщин, следовательно и трудовых ресурсов в целом, не может быть таким же высоким, как в других регионах страны, а должен быть на восемь-десять пунктов ниже.

Ш. Х. Кадыров, руководитель Республиканского центра планирования семьи НИИ охраны здоровья матери и ребенка Минздрава Туркменской ССР, кандидат исторических наук:

«НЕ ПОВЫШЕНИЕ ИЛИ ПОНИЖЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ, А ПОИСКИ ПУТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ СЕМЬИ»

— Не сомневаюсь, что широкое обсуждение проблемы планирования семьи своевременно, и сопоставление точек зрения окажет благотворное влияние на формирование стройной концепции и программы деятельности соответствующих центров и служб семьи, которые должны быть созданы. Пока же, к сожалению, мы не можем похвалиться тем, что такая оригинальная, учитывающая местные условия программа планирования семьи у нас есть.

Желательно, конечно, чтобы издержки наших споров и дискуссий не создавали у читателей впечатления, что ученые сами еще не разобрались, что к чему, а других поучают.

Что получается иной раз: в одной и той же газете авторитетные специалисты выражают противоположные точки зрения о влиянии многодетности на здоровье. Такие споры, несомненно, полезны для науки, но без комментария редакции они дезориентируют читателей.

Если это так, нужно ли нам торопиться выносить на всенародное обсуждение методологически незрелые, околонучные рассуждения и выводы? На волне гласности и демократии отдельные представители ученого мира получили возможность высказывать в печати (заметим, не в плане обсуждения, а чуть ли не как последнее слово науки) предложения о необходимости ускорить переход от многодетной семьи к среднететной. Абсурдная цель предполагает и заведомо абсурдные средства ее достижения, как-то: лишать матерей, имеющих более четырех детей, всех положенных при этом льгот и пособий?! Такие выпады вызывают уже не просто дезориентацию и замешательство, а прямо-таки враждебное отношение к программе планирования семьи.

Между тем, главная задача на сегодня — это умелая и принципиальная, гибкая, и честная, тактичная и корректная пропаганда. Встает вопрос: как пропагандировать, и главное, — что пропагандировать? Если вместо того, чтобы пропагандировать регулирование рождаемости, мы будем настойчиво ориентировать внимание населения на конечное число детей, на то, сколько детей желательно и сколько нежелательно, что многодетная семья хорошо, в среднететная — лучше и т.д., то все это тоже будет планирование семьи, но такое, которое направлено на ограничение рождаемости. Грани здесь очень тонки, и не преступить их может только специалист.

Поэтому уже сейчас стоит задача подготовить учебное пособие «Научные основы планирования семьи» для преподавания в вузах страны новой дисциплины. Некоторые заделы уже есть. Так, в Киеве выходит второе издание книги В. И. Грищенко «Научные основы регулирования рождаемости».

Почему некоторые специалисты пытаются протащить в программы планирования семьи в нашем регионе идею ограничения рождаемости или ускорения перехода от многодетности к среднететности, что в общем-то одно и то же по существу? Вероятно, потому, что эти специалисты считают эту рождаемость очень высокой.

Но и здесь проявляется откровенный непрофессионализм. Действительно, разобраться в цифрах рождаемости не так-то просто. Общий и специальный коэффициенты рождаемости дают искаженную картину, так как испытывают сильное воздействие фактора молодой возрастной структуры населения, и потому, согласно этим показателям, рождаемость в регионе не только не снижается, а даже растет.

Если же пользоваться, как это настойчиво и справедливо рекомендует видный советский демограф В. А. Борисов, суммарными коэффициентами рождаемости, при которых действие возрастной структуры нейтрализуется и мы получаем картину, близкую к среднему числу детей, рожденных женщиной, то выясняется, что рождаемость в Средней Азии снижается давно и ускоренными темпами. По снижению рождаемости регион в стране лидирует. Снижение происходит естественно-исторически, путем отживания идеалов традиционной многодетности без какого-либо вмешательства «сверху». Если бы этого объективного процесса снижения не происходило, то сама постановка вопроса о внедрении программы планирования семьи в регионе была бы преждевременной.

На наш взгляд, задача планирования семьи состоит не в стимулировании сокращения размеров семьи и спада рождаемости, а в необходимости **устранить стихийность в этом движении, разработать и апробировать такую систему мер, которая позволила бы быть уверенными в том, что нам удастся остановить снижение на уровне массовой среднететности (три-четыре ребенка в семье).**

Призывы же ограничить рождаемость с целью ускорить формирование среднедетности — оптимальной модели для будущего — не выдерживают критики, так как никто конкретно не знает, при каких условиях этот тип семьи будет стабильно функционировать и развиваться. Прав В. А. Борисов в том, что среднедетная семья должна формироваться под влиянием совершенствующейся демографической политики. К этому надо добавить, что эта семья должна впитать в себя культуру и прогрессивные элементы многодетности. Задача служб планирования семьи — выявить эти элементы национально-демографической культуры и приспособить к современной жизни.

Сторонники умеренного ограничения рождаемости нередко обосновывают свою позицию тем, что выступают не просто против многодетности, а против ее крайних вариантов, против сверхмногодетности. Однако наши социологические опросы и исследования наших коллег убедительно свидетельствуют, что доля супругов, желающих иметь в семье семь и более детей, в настоящее время уже редкость. О том же косвенно говорит и официальная статистика: старше 35 лет рожают все меньше женщин, большинство же — в основном в промежутке 20—35 лет, что и соответствует рекомендациям программ планирования семьи.

Вместе с тем, рождение детей и после 30 лет необходимо всемерно поддерживать, так как это сейчас наиболее уязвимое место в процессе снижения рождаемости в регионе. Снижение происходит не за счет увеличения интервала между рожденьями детей, а за счет ограничения возраста, в котором женщина рождает последнего ребенка. Если дойдет до того, что рожать после 30 лет в народе станет непопулярным, то пропаганда даже среднедетности будет равносильна пропаганде нерегулируемой рождаемости. А ведь помимо родительской, молодой семье необходимо выполнять и множество других социально важных функций.

Современный период, как и всякий переходный, в развитии среднеазиатской национальной семьи очень сложен, он требует скрупулезного анализа и отказа от скоропалительных выводов и шаблонных решений. Исследователям национально-демографической культуры, исследователям национальной семьи предстоит отделить зерна от плевел. Стихийная перестройка характеризуется многообразным сочетанием того, что нужно и совсем не нужно формирующейся социалистической семье в регионе. Если говорить о недостатках, то одним из них является короткий интервал между родами, составляющий менее 2,5 лет. О причинах этого явления говорилось неоднократно, поэтому буду краток. В традиционной семье роль контрацептивной защиты выполняло, помимо редко используемых средств, кормление грудным молоком в течение двух—трех и более лет. В течение этого времени шесть из каждых десяти кормящих матерей могли рассчитывать на стопроцентную защиту от очередной беременности. Таков биологический механизм лактации. Социологические исследования, проведенные под руководством профессора А. И. Антонова, показали, что длительность грудного кормления новорожденного в последнее время сократилась в два-три раза. Соответственно сократились и интервалы между родами. Ведь у нас еще нет хорошо налаженной пропаганды контрацепции, широкого набора ее препаратов в свободной продаже.

В результате многократных рождений с существенно укороченными интервалами почти каждую многодетноориентированную женщину можно отнести к группе риска. Это значит, что вероятность заболевания и даже смерти ее ребенка значительно выше, чем у других женщин. По оценкам руководителя группы Всесоюзного научно-исследовательского центра охраны здоровья матери и ребенка Минздрава СССР кандидата экономических наук А. А. Авдеева, доля таких женщин в Туркмении составляет 40—50 процентов. Думаю, что и в Узбекистане она не меньше.

Здоровье матери и ребенка, высокая материнская и детская (до одного года) смертность, которая выше, чем где-либо в нашей стране,— вот один из важнейших аргументов в пользу разработки и внедрения программ планирования семьи в среднеазиатском регионе.

Но явные и неявные, стихийные или сознательные сторонники умеренного ограничения рождаемости используют этот аргумент по-своему. Поскольку детская и материнская смертность прямо связаны с многодетностью, с высокой рождаемостью, рассуждают они, следовательно, снижение рождаемости ведет к сокращению смертности. При первом приближении все вроде бы в этих рассуждениях верно. Однако строгий научный анализ показывает связь высокой смертности не с собственно многодетностью, а с частыми, через короткие интервалы, родами. В то же время короткие интервалы есть не что иное, как один из симптомов начавшегося разрушения многодетности. Если быть до конца точным, не высокая рождаемость, а начало ее снижения оказало влияние на рост женской и детской смертности. Не случайно, на фоне ускоряющегося снижения рождаемости в республиках Средней Азии соответствующего падения детской смертности мы не наблюдаем. Скорее даже напротив: в 1985—1986 годах в Узбекистане детская смертность увеличилась с 45,3 до 46,2 промилле, в Туркменистане — с 52,4 до 58,2, в Таджикистане ситуация почти не изменилась.

Наши социологические исследования показывают, что демографическое формирование новой социалистической семьи нельзя рассматривать как однолинейный процесс перехода от многодетности к малодетности. В нашем понимании — это смена определенных исторических типов репродуктивного поведения. Сегодняшняя многодетно-ориентированная семья уже не та, что в прошлом, и потому мы называем ее сегодня номинально-традиционной.

Если говорить несколько огрубленно, то для такого промежуточного типа семьи характерно неполное, символическое, половинчатое соблюдение обычаев и традиций, в стародавние времена жестко регламентировавших жизнь и поведение человека в браке. Отмеченные выше короткие интервалы между родами, нерегулируемая рождаемость и в то же время прекращение деторождения после 35—40 лет — все это характерно для номинально традиционной многодетности. По нашим оценкам, она будет господствовать до конца текущего столетия, и лишь при полном переходе к среднететности регулирование интервала между рождениями детей станет, вероятно, типичным явлением.

До перехода к среднететности рассчитывать, что снижение рождаемости само по себе приведет к снижению женской и детской смертности, оснований нет. Положение на этом этапе может исправить разумное вмешательство служб планирования семьи, но направленное на внедрение стереотипов регулируемой многодетности, а не ограничения рождаемости. Речь, таким образом, идет об исторически уникальной задаче — сохранить многодетные семьи в будущем как один из возможных вариантов свободного проявления репродуктивного поведения в социалистическом обществе.

Но многодетные семьи нужны и сегодня, и не просто «для престижа», а в интересах стабильности демографического развития страны. Напомним, что среди объективных проблем, стоящих перед страной, по приоритетности неблагоприятная демографическая ситуация на первом месте и на одном уровне с навязанной нам капитализмом гонкой вооружения. (М. С. Горбачев. Ответы на вопросы газеты «Юманите».)

В чем проявляется демографическое неблагополучие? Прежде всего, в малодетности, в ее тотальном господстве на большей части территории СССР. Перечислять социально-экономические, психологические, демографические и другие минусы повального распространения одно-двухдетных семей нет необходимости, об этом много пишут в газетах и журналах. Отмечу лишь, что воспроизводство населения в стране сегодня лишь потому не подошло вплотную к грани, за которой начинается процесс вымирания, что кое-где и прежде всего в Средней Азии сохраняются многодетные семьи.

Я далек от мысли, что Средняя Азия должна, по аналогии с производством хлопка, специализироваться на расширенном воспроизводстве населения. Но, как верно заметил мой коллега из Центра по изучению проблем народонаселения МГУ, кандидат философских наук В. М. Медков, из тактических соображений, связанных с длительностью и сложностью формирования и распространения в стране модели среднететной семьи, в Средней Азии важнее осовременивать многодетность, а не форсировать переход к трех-четырёхдетной семье.

Отдельные сторонники программы планирования семьи интерпретируют дело так, будто бы само по себе явление планирования семьи есть некое открытие для народа, населяющего Среднюю Азию, что у последних проявляется чуть ли не примитивно-несознательное или религиозно-фанатическое стремление к многодетности, а то и просто к безудержному размножению. На самом деле, если опять-таки подходить не обывательски, а научно, вопрос стоит в смене старой культуры планирования семьи, эффективной в старых условиях, новой, базирующейся на научных рекомендациях. Если мы считаем справедливой такую постановку, то из нее вытекает и другой, не менее важный тезис о преемственности культур. Наши исследования и зарубежный опыт показывают, например, что идеальным способом регулирования рождаемости являются не только контрацептивы, а их разумное сочетание с грудным вскармливанием. Выше я говорил уже о традиции иметь детей и после тридцати лет, что также необходимо сохранить и в сегодняшних условиях. Или другой пример: научно установлено, что дети из многодетной семьи жизнеспособней, чем их сверстники из малодетной. Следовательно, очень важно сохранить у населения традицию иметь обязательно нескольких детей, сохранить вообще атмосферу благожелательного общественного отношения к многодетным семьям, противостоять десакрализации многодетности. А традиционно негативное отношение в бывших мусульманских регионах к абортам разве не мудро использовать сегодня в пропаганде планирования семьи?

Наши наблюдения показывают, что определенная часть коренного населения, что называется, «с порога» отвергает идею планирования семьи, особое недовольство выражая по поводу самого слова «планирование» применительно к такому личному, интимному, как семья. В этом слове действительно есть исторически возникший смысловой нюанс, своеобразная гражданская традиция заставляет воспринимать при слове «план» то, что спускается сверху, что определенным образом регламентирует. Поло-

жение осложняется тем, что в нынешней пропаганде планирования семьи слыны голоса тех, кто призывает к умеренному ограничению рождаемости, к репрессиям для многодетных, о чем я говорил выше.

Такое игнорирование национально-культурных особенностей региона наносит большой вред гуманистической идее планирования семьи, ведет к ухудшению социального и национального самочувствия. Никакого насилия и принуждения, полная добровольность, преемственность лучших образцов культуры планирования семьи прошлого, их бережное осовременивание, всестороннее содействие семье, особенно молодой, со стороны общества, государства — таковы, на мой взгляд, обязательные требования к программе планирования семьи в регионе. **Не повышение или понижение рождаемости, а поиски путей формирования новой семьи через гармоничное развитие всех сторон ее жизни — вот главная задача научно-исследовательских центров и служб планирования семей в нашей стране.**

Откровенно говоря, затеявая «круглый стол», мы ожидали острой дискуссии — ведь в узких кругах вопрос планирования семьи, особенно после первых публикаций на эту тему в союзной и республиканской прессе, обсуждался чрезвычайно оживленно, приобретая порой весьма своеобразные интерпретации: это-де установка «сверху» на сокращение рождаемости в республике. Мы пытались привлечь сторонников таких интерпретаций к нашему разговору на страницах журнала, однако, как вы поняли, эта попытка не увенчалась успехом.

Думается, что отчасти поводом для однобокого восприятия идеи планирования семьи стала недостаточная научная разработанность этой идеи, нечеткость, а порой и противоречивость позиций авторов. Хотелось бы надеяться, что участники нашего «круглого стола» внесли, каждый по-своему, лепту в освещение отдельных аспектов проблемы. Вместе с тем, у нас осталось ощущение незавершенности разговора и, что самое главное, мы еще раз убедились, что проблема эта изучена в республике лишь «в первом приближении».

Наиболее последовательную позицию, на наш взгляд, изложил Ш. Кадыров, руководитель Республиканского Центра планирования семьи НИИ охраны здоровья матери и ребенка Минздрава Туркменской ССР. Уже само обозначение его должности говорит о том, что в Туркмении работа по планированию семьи уже начата. Собственно поэтому, не будем скрывать, мы и пригласили Ш. Кадырова на наше обсуждение.

Кажется, Фазиль Искандер назвал семью последним оплотом солидарности. Семья — это наша непреходящая ценность, первоячейка общества, особая социально-психологическая группа, идеальная для воспроизводства потомства и его воспитания. Надо ли кого-либо убеждать, какой деликатности, чуткости, бережности, какого великого ума и такта требуют формы воздействия на внутренний мир семьи, на ее традиционный уклад, на сложившиеся в ней морально-нравственные устои. А воздействие это бывает необходимым, ибо обществу далеко небезразлично, в каких именно условиях происходит воспроизводство новых поколений, то есть его собственное воспроизводство.

Современная национальная семья должна формироваться под влиянием гибкой и мудрой демографической политики государства, под влиянием принципиальной, открытой и честной пропаганды регулирования рождаемости (не сокращения!), устранения стихийности в этом процессе. На смену старой культуре планирования семьи, зародившейся в глубинах истории народа и не утратившей еще своего влияния и сегодня, должна неизбежно прийти новая, отвечающая интересам общества и вобравшая в себя все самое лучшее, самое мудрое и рациональное из прошлого. Но самое главное — новая культура планирования семьи должна быть глубоко понята, осознана и принята самим народом.

«Круглый стол» провела И. Алябьева с участием И. Томилиной.



Акрамджан Аминов

ТРЕВОЖНОЕ ДЫХАНИЕ ГОР

Родной край, родимый дом... Начало жизни каждого человека...

Эти понятия связаны друг с другом, как плод и косточка. Куда ни сажай эту косточку, а все равно вырастет только то, что посадишь.

Так, наверно, определяется заранее и жизнь человека. Конечно, нельзя не учитывать, куда эта косточка посажена и кто будет ее выращивать. Древние мудрецы говорили: «Все зависит от места, где возьмут глину, из которой ты сделан. От этого зависит, крепкий ты будешь или рыхлый».

Человек вырастет, расправит крылья, улетит из гнезда, но где бы он потом ни жил, его всегда будет тянуть на свою родину.

И в конце жизни, где бы он ее ни прожил, человек все равно старается хотя бы в последний раз посмотреть на место, где он появился на свет, взять в руку горсть родной земли, вдохнуть ее запахи. Тогда и смерть кажется не так тяжела...

И в каких бы больших городах мы сегодня ни жили — в отпуск мы едем в родные места для того, чтобы утолить эту тоску. Но тоска эта не покидает человека никогда, а мы, пока молоды, этого не понимаем. Живешь себе, живешь, до конца далеко, и понять все это трудно.

И я, как и все, тоскую о своем родимом крае. Вырвавшись из города, часто стараюсь вернуться в Гиссарские и Зарафшанские горы. Вновь и вновь обхожу те места, где прошла моя молодость.

В детстве я разглядывал эти горы с удивлением. То время, мне кажется, все состояло из Большого Удивления.

Юношей я обошел эти горы пешком. Прозрачная красота этих гор зачаровала меня, заморозила... Это был период Большого Очарования.

Но прошло еще двадцать лет, и я, побывав в Гиссарских и Зарафшанских горах, увидел, что красота эта исчезает. В сердце появились боль и беспокойство, я почувствовал тревогу и понял, что теперь эта боль не оставит меня до конца моей жизни.

Теперь я каждый раз еду туда с тревогой. Исчезает нетронутая красота, которую природа создавала миллионы лет. Я чувствую, что мы поздно спохватились, делаем мало для того, чтобы все это сохранить, и в делах этих разброд...

Всем этим я и хочу поделиться с Вами...

ДРУГ С НЕЖНО-БЕЛЫМИ КРЫЛЬЯМИ

Много прочитал я в книжках разных легенд о жизни зверей. Но легенды о бабочках ни разу не встретил. И пришлось мне услышать ее возле журчащего арыка в селе Мираки.

На берегу арыка пышно цвели мальвы, черный базилик, душица и мята. И порхали с цветка на цветок бесчисленные бабочки.

Одни присаживались на листья и ветки, плывущие по течению, и, проплыв на этих корабликах несколько метров, снова поднимались в воздух. Белые, розовые, желтые, даже голубые. Им было не страшно, и никто их тут не трогал...

Я нагнулся над арыком, чтобы ополоснуть руки, и в тот же момент десяток бабочек доверчиво сел мне на рукав. Я плеснул водой и тихонько согнал их. Взмахнув два-три раза крылышками, они вновь сели мне на ладони...

Я любовался ими, забыв все вокруг. Дедушка Аликул-бобо, здешний лесник, улыбаясь, подошел ко мне:

— Правда, безобидные? И полезные. Вреда от них нет. А вы слышали про них легенду? Не слышали? Тогда я расскажу вам...

Аликул-бобо развязал красный хлопчатобумажный поясной платок и расстелил его возле арыка, вынул из хурджуна лепешку, виноград и груши, ополоснул фрукты в воде и разложил на импровизированном дастархане.

В ту же минуту бабочки налетели, словно гости, которых мы пригласили разделить с нами угощение. Они просто заполнили собой этот яркий расстеленный на траве платок.

Дедушка Аликул нежно посмотрел на бабочек и вдруг спросил:

— Вы видели когда-нибудь семена райского дерева?

— Нет, — ответил я. — Ведь их не бывает...

— Как тебе сказать, сынок... Ни райского дерева, ни его семян никто, конечно, не видел... Может, их никогда и не было. Правда, вы знаете это из книг. Но вот один падишах, который правил тут очень давно, не знал, что нет такого дерева...

В те времена наш край был богат. И охраняли эти богатства сорок богатырей. Зорко охраняли они от врагов сорок дорог, которые вели к нашей земле.

Но вот однажды заболела принцесса, единственная дочь этого падишаха. Лекари-табибы долго старались, но все их старания были напрасны.

Падишах, боясь, что останется без дочери, отправил гонцов во все стороны света, чтобы они пригласили в страну самых опытных лекарей.

А злобный падишах соседней страны давным-давно мечтал завоевать чудесный наш край, строил планы, но сорока богатырей боялся.

«Наконец-то! — подумал злобный сосед, услышав о том, что случилось с принцессой. — Пора! Надо действовать! Отправлю-ка я своего визиря-колдуна к этой принцессе, колдун сделает все, что надо...»

Колдун-визирь, переодевшись лекарем, явился во дворец, где лежала больная принцесса, и внимательно, очень внимательно осмотрел ее. И сказал, что вылечить принцессу можно только семенами райского дерева. Одно семечко-то и нужно всего-навсего. Одно легонькое пушистое семечко...

— Другого лечения нет! — твердо сказал колдун. — А райское дерево растет только у подножья гор. Но если не найти этого семечка, то принцесса погибнет.

Падишах огласил фирман:

«Пусть сорок богатырей, которые охраняют наши границы, немедленно отправляются к подножию гор и найдут там семена райского дерева. Без этих семян пусть не возвращаются, если не хотят лишиться головы!»

— Чтобы легче им было разыскать семена райского дерева и быстрее выполнить ваше повеление, я могу превратить сорок богатырей в сорок больших бабочек! — предложил падишаху переодетый колдун.

Несчастный и перепуганный падишах дал согласие.

Лекарь развернул супру из свиной кожи, в которой замешивалось тесто... Каждого богатыря он клал на супру, посыпал его мукой и супру заворачивал. А когда снова открывал ее, оттуда вылетала огромная белая бабочка...

Не успел и ахнуть падишах, как не осталось у него джигитов. А сорок белых бабочек разлетелись в разные стороны, отыскивать семена райского дерева...

На следующий день на дорогах, которые остались без охраны, появились войска соседа-падишаха. Край оказался в руках врага.

— А бабочки? — спросил я. — Что случилось с ними?

— А бабочки до сих пор ищут семена райского дерева, чтобы выполнить фирман падишаха. Раньше они были огромными, а теперь измельчали...

— Да, трудно им пришлось, — от души пожалел я эти безобидные создания.

На крошку хлеба села очень большая, величиной с птенца, разноцветная бабочка. Я внимательно присмотрелся к ней. На крыльях было два овальных ярких пятна. Эти пятна были похожи на огромные пугающие глаза... Возможно, неопытной птице они могли показаться глазами совы, когта или ястреба. В спокойном состоянии, когда бабочка просто сидела, этих глаз не было видно. Но стоило ей встревожиться, как раздвигались крылья, и появлялись эти страшные глаза! Пока птица сидит, ошеломленная, бабочка успевает скрыться! Даже такие нежные создания природа обеспечила защитой. Наверно, вы заметили, что у бабочек очень сложная траектория полета — зигзагами, с неожиданными подъемами и снижениями. И это не от беззаботности. Уследить за ней трудно, а догнать — и подавно.

А бабочка-шелковница? Если вы наблюдали, у нее на лету тоже ложные глаза! Пусть все думают, что она не из безобидных шелковниц! Бывает, если противник все-таки этому не поверит и подойдет поближе, эта бабочка вдруг поднимается, опираясь на хвостик, и начинает угрожающе раскачиваться из стороны в сторону, будто она очковая змея!

Правда, надо сказать, что даже это не всегда ей помогает...

Дедушка Аликул, когда сказал, что бабочки полезны и никакого вреда от них нет, был прав. Эти безобидные существа с древнейших времен дружат с человеком. Возьмем, например, шелковницу — она дружит с нами четыре тысячи лет! И все это время одевает нас. Известно, как получается шелк: шелковница — тутовый шелкопряд — заматывает себя в кокон и остается в нем, жертвуя своей жизнью. Где вы еще видели такую преданность? А ведь это благодаря ее скромному труду появились шелковые пути, которые связали разные народы мира.

Природа отпустила им короткую жизнь.

Да, пожалуй, из всех существ, которые мы видели вокруг, у бабочки самая короткая жизнь. Но сколько она успевает! За эту короткую жизнь она приносит большую пользу человеку и природе, опыляя цветы. Есть, конечно, и такие, которые наносят вред сельскому хозяйству. Но этот вред — капля в море и не идет ни в какое сравнение с той пользой, которую они приносят. Поэтому мы должны оберегать их.

Большие дозы химикатов, которыми обрабатывают поля, погубили уже многие виды бабочек. В Узбекистане, например, от дефолиации хлопчатника за последние двадцать лет исчезли двенадцать видов. Если мы не защитим их, то и остальные бабочки и другие такие же нежные существа могут вообще исчезнуть с лица земли.

Во многих странах их уже взяли под защиту. Например, в 1980 году в Лондоне, в ботаническом саду Хью-Гарденс, организовали «Дом бабочек», где искусственно создали тропический влажный климат. В этом доме ученый-энтомолог Клайв Фарелл развел больше ста видов тропических бабочек. Каждый год в «Дом бабочек» приходят четверть миллиона людей!

А в 1986 году в Гамбурге (ФРГ) открыли «Сад бабочек». В этом застекленном саду порхают более ста семидесяти видов летающих красавиц, которые собраны со всего света. В саду чаще всего вы встретите детей. Здесь они наблюдают за своими крылатыми друзьями и часами рисуют их, стараясь на бумаге передать их красоту.

... Солнце стояло в зените. Дедушка Аликул встал, собрал платок, который служил нам скатертью, и вытряхнул крошки в арык. Крошки посыпались в воду. В прозрачной воде было видно, как рыбки с синими спинками бросились их ловить.

Мы понаблюдали за ними, а потом верхом на лошадях отправились в сторону Джиди-кишлака. Нежно-белые трепетные бабочки долго провожали нас.

ДЕРЕВО-ТАБИБ

Вы были когда-нибудь в саду, когда там цветет чилон-джида? Нет? Значит, вы еще не видели дерева-табиба, дерева-лекаря...

Оно полезно от корней до листьев. Человек использует в нем все. Опытные садовники, когда закладывали большой сад, по краям обязательно сажали чилон-джида. И с давних времен был такой обычай: во дворе у каждого человека обязательно должно было расти хотя бы одно дерево чилон-джида. Зачем? А потому, что оно лечило большую семью чуть ли не от всех болезней. Плоды этого дерева имеют полный набор витаминов. Их заваривают и дают пить при кишечных расстройствах. Они снимают высокое давление и улучшают водно-солевой обмен. Укрепляют память, повышают логические способности, очищают дыхательные пути.

Как много людей у нас болеют гипертонией, кишечными заболеваниями. Думаю, что немаловажную роль при этом играет то обстоятельство, что все меньше чилон-джида остается в наших садах. Само это дерево убивает вредителей, которые портят кору и листья соседних плодовых деревьев; оно выделяет очень много фитонцидов.

А вот и сады Джиди-кишлака. По дороге сюда мой спутник дедушка Аликул рассказал мне о чилон-джида много интересного. Здесь этих деревьев должно быть больше, чем в других местах, недаром этот кишлак так называется.

Оказалось, что в Джиди-кишлаке высохла и погибла почти вся чилон-джида.

Очень рассердился и расстроился Аликул-бобо.

— Тот, кто забросил свой сад, пусть не ждет, что будет жить хорошо! — горько сказал он. Мы подъехали к саду. На стволах яблонь виднелись шишки, похожие на раковые опухоли. Если вовремя не обрезать эти ветки и не сжечь, то весь сад погибнет от этой болезни. Так тут и происходит. Сад, оставшийся без присмотра, уже погибал. А люди равнодушно проходили мимо — никто и не думал спасать больные деревья.

В шестидесятых годах такие дикие сады по склонам гор вообще спиливали. А на освобожденных землях сеяли хлопчатник. Укрупняли поля. Для этого тоже срезали деревья. И никто не сажал новые взамен погубленных старых деревьев. За двадцать лет в верхней Кашкадарье погибло больше миллиона плодовых деревьев.

Погибли и багаты — естественные дикие плодовые сады у подножья Гиссарских гор. Их уничтожили, а на этом месте посадили виноград винных сортов.

Сейчас эти виноградники выкорчевывают. Вместо них решено посадить хлопок.

Но хлопчатник — теплолюбивое растение. У подножья гор он дает ничтожный урожай, а земля эта предназначена для плодовых садов самой природой. Почему же мы забываем об этом?

И в этом кишлаке, куда мы приехали с дедушкой Аликулом, картина была та же — на весь кишлак осталось 10—12 плодовых деревьев, а Джиди-кишлаком он теперь назывался по привычке.

У подножья Гиссарских гор теперь только кое-где растет чилон-джида, всего 500—600 деревьев. Это совсем мало. Не думают о дереве-табибе и лесники, ни в одном лесничестве не выращивают саженцы чилон-джида, никто не сдает государству плоды чудо-дерева.

И никто из наших фармацевтов не ведет исследований, как использовать чилон-джида в лечебных целях. Если и дальше так пойдет дело — мы потеряем скоро последние сады чилон-джида.

— Раньше не было этих ваших таблеток. Чилон-джидай тысячи лет лечились люди. Ведь в народе она так и называется: «дерево-табиб». Не только людей оно лечит, но и природу. Свели чилон-джида, а потом спрашивают, почему новые сады сохнут? — Огорченный дедушка Аликул не мог молчать, несмотря на всю свою сдержанность. — Минеральные удобрения вносят без меры, ядохимикатами губят все живое вокруг, и никому в голову не приходит, что есть ведь естественные средства!.. Природа мудра, у нее всегда есть свои средства...

Он пожаловался на радикулит и попрощался со мной. Сорвал веточку чилон-джида с семью листиками, заправил ее в чалму и тронул лошадь.

ХОЗЯЙКА РАЗВАЛИН

Карте, которую мы имели, было лет тридцать. Рельеф был показан подробно. Глядя на карту, мы поняли, что где-то тут находится кишлак Кизил-турюк — «Красная земля». Вот эти квадратики — дома, а точки обозначают родники. Итак, впереди нас ждало село с родниками, с тенистыми садами. Спутники мои, чтобы быстрее добраться до этого места, понукали лошадей.

Через полчаса мы увидели на черной, выжженной равнине мертвые развалины. Здесь уже никто не жил. Карта устарела.

В свое время эту равнину возделывали, и на месте рухнувших глиняных стен стояли дома.

От дождя и ветра стены осыпались, а крыши провалились внутрь. Не кишлак, а какое-то кладбище...

В центре стояло старое тутовое дерево. Вернее, то, что от него осталось. Дерево давно засохло, ствол его сгнил, зеленых веток уже не было. Наверху сидели две совы и тарасились на нас. Они настолько привыкли чувствовать себя тут хозяевами, что даже не прятались.

Мы слезли с коней.

Улицы заросли бурьяном. Веяло бедой и заброшенностью.

Из трещин в глиняных стенах выглядывали гармошки сухих блестящих змеиных шкур. Они свешивались то тут, то там и раскачивались на ветру. Тронешь кусок растрескавшейся глиняной стены, а из-под него выползают скорпионы и медленно, как луноходы, удаляются.

Сова мягко взлетела, ударилась о землю и опять поднялась в воздух. В котях у нее зажата была полевая мышь. Странная сова — днем охотится! Она спокойно села на тутовник, тюкнула мышью по голове скрюченным клювом и с интересом посмотрела в нашу сторону. Было такое впечатление, что она специально перед нами демонстрирует свои таланты.

Я стал рассматривать змеиную шкуру, которая свисала из трещины. Чтобы она не порвалась, я вынул ее осторожно и растянул гармошку. Серебристые по спинке колечки со стороны брюшка переходили в золотистые. А длина гармошки оказалась метра полтора. Это был старый «халат» среднеазиатской кобры. Царский халат...

Она ловко использовала трещину, чтобы снять с себя этот «халат», вылезти из него. А сняв, выползла на солнце, чтобы закалить новую кожу.

Пять-шесть раз за свою жизнь она меняет этот «халат». С древних времен люди использовали змеиную кожу и отделявали ею рукоятки кинжалов, мечей и ножей. Но для этого не годился старый «халат». Чтобы отделать рукоятку кинжала, надо было убить змею, снять с нее кожу и выделывать. Из-за этого кобр осталось мало.

Хозяйка этого царского «халата» не заставила себя ждать. Оказывается, она свилась кольцом на глиняном дувале совсем рядом и «закалялась» на солнце.

«Наруш-ш-шили, наруш-ш-или мой покой! — зашипела она. — Вы пожалеете об этом»... И вдруг поднялась над дувалом. Раздвоенный язык раздраженно сновал туда-сюда.

Но мы подошли еще ближе.

Из стороны в сторону она качалась, как маятник, предупреждая, что ближе подходить все-таки не стоит.

Мы с ней согласились.

Среднеазиатская кобра занесена в Красную книгу СССР, и в международную Красную книгу. Яд ее смертелен, но никогда эта змея сама не нападает ни на человека, ни на крупных животных. Но если уж почувствует, что на нее напали, — бесстрашно бросается и пускает в ход ядовитые зубы, после чего быстро исчезает. Место укуса моментально синее, опухает. Если не принять меры, то человек погибает. Поэтому геологи, лесники и другие путешественники всегда должны иметь с собой противоядие.

У среднеазиатской кобры много врагов, она всегда старается скрыться, поэтому ей часто приходится изменять свою окраску, в зависимости от местности она бывает бело-желтой, желтовато-синеватой, бурой или даже белой с черной спиной. Но стоит ей переползти на местность, где окраска почвы другая, как она за несколько дней изменит цвет своего «халата».

Не нужно рассказывать о том, как необходим змеинный яд в медицине — все уже давно это знают. Напомню только, что в Узбекистане успешно работают несколько змеиных питомников.

...На берегу речки перед нами открылся вид на дома, построенные из камня. Человек с большой черной бородой, завидев усталых путников, приглашает нас во двор, на супу под ореховым деревом. Человека этого зовут дедушка Дивкора — «Черный див». Это один из аксакалов кишлака «Кизил-турюк» — «Красная земля».

— Раньше, — рассказывает нам аксакал, — в наших горах часто можно было встретить кобру. Во время праздников и народных гуляний марбозы, факиры, которые выступали со змеями, показывали людям душераздирающие зрелища. Брала кобру на руки, обвивали ее вокруг шеи, играли ей на дудочке и она «танцевала». Но теперь не найдешь не только марбозов, но и кобру. Змеи не уживаются с человеком, уходят. А в наших горах им уже скоро некуда будет уходить...

— А давно вы не живете в старом кишлаке? — спросил я, показывая в сторону развалин.

— Уже двадцать лет, — ответил мне аксакал Дивкора. — Раньше там журчали родники. Много было воды. Но в долинах выкопали артезианские колодцы, продырявили всю долину, и родники иссякли. Нечем стало поливать поля. Вот и пришлось нам спускаться сюда. Но кладбище наше все-таки там...

Аксакал точно понял причины, из-за которых высохли родники в предгорьях Гиссара и Зарафшана. Чистая родниковая питьевая вода без всякого соображения направляется на хлопковые поля. Губится жизнь в горах, их красота. С мыслями аксакала нельзя было не согласиться.

У КАЖДОГО СВОИ «ЦИТ»

В этом далеком горном кишлаке у меня есть друзья: Нарзулло, Саидкул, Очил. После восьмого класса они учились в Китабе вместе со мной. А на каникулах я часто бывал у них в кишлаке Сиаб. Кишлак этот находится на самом гребне Гиссарских гор, на высоте трех с половиной тысяч метров над уровнем моря. Здесь растут тюльпаны, которые хочется надеть вместо тюбетейки, а лист ревеня может служить зонтиком. Здесь впервые в жизни я видел снежного беркута...

Кишлак взбирается на гору уступами. Внизу течет ледяная Карадарья — «Черная речка». Свои бешеные воды она несет в Аксударью, то есть в «Белую реку». Люди здесь говорят и по-узбекски и по-таджикски. Последний раз в Сиабе я был в 1969 году весной. И помню, что тогда прошел слух: охотится Мамата разорвал кабана.

Те, кто участвовал в похоронах охотника, рассказывали: кабана не разрывал охотника клыками, как многие думали. Очень опытный и уверенный в себе охотник отбил кабана от стада и

загнал его в щель между скалами. Он преследовал зверя упорно, свернуть кабану было некуда, и наконец кабан оказался загнанным в тупик. Между ними оставалось метров десять. Расставив ноги, охотник загородил собой выход, не сомневаясь, что теперь уж кабан никуда не денется. В руке у него было ружье. Ему ли, застрелившему десятки медведей и волков, было бояться какого-то кабана!

Тяжело дыша, покачиваясь, кабан обреченно смотрел на человека. Боязливый и осторожный зверь, всегда готовый избежать встречи, он был велик, ростом с теленка.

И вдруг, словно выпущенная торпеда, кабан помчался прямо на охотника и проскочил у него между ногами. Страшный удар живой торпеды разорвал Мамата пополам...

У кабанов свои приемы защиты. Зверь этот никогда не будет проскакивать мимо, увертываясь на бегу, как джейран или сайгак. Кабан всегда несетя прямо на врага, причем так неожиданно и стремительно, что человек, конечно, теряется в эту секунду. А в результате дело заканчивается трагедией. Опасно преследовать свободного дикого зверя, и не только кабана.

Недавно побывав в Сибае, я своими глазами увидел подтверждение этому.

Путешествуя в горах вместе с Саидкулом, мы встретили однажды дикобраза. Он возвращался с водооя и, видимо, торопился в свое логово. Мелко семенил он по тропинке по берегу ручья.

— А неужели это правда, что дикобраз стреляет своими иглами! — спросил я у Саидкула.

Саидкул улыбнулся:

— Сейчас увидишь!

Подозвал своего волкодава Олапара и показал ему на дикобраза:

— Взять!

Олапар понял сразу.

Он гавкнул и погнался за странным зверем, похожим на метлу.

А мы, чтобы не пропустить такое замечательное зрелище, погнались за ними вслед.

Когда Олапару оставалось несколько шагов до дикобраза, тот вдруг встопорщил свои иглы и резко затормозил.

Несчастный волкодав с разгону сунулся своей мордой в растопыренные иглы и, жалко завизжав, свалился набок.

А дикобраз торопливо добежал до какой-то норы в обрыве и скрылся.

Мы кинулись к собаке. Олапар визжал. Из носа и шем у него торчали иглы дикобраза, похожие на карандаши. Потихоньку мы их вынули и перевязали собаку. А к окровавленному носу приложили растертые семена аконита, который останавливает кровь.

— Вот... таким образом! — сказал Саидкул, жалея свою собаку. Я понял, что он все это проделал для меня, из чувства гостеприимства.

— С человеком будет то же самое, — добавил он. — Дикобраз может еще и резко повернуться и даже броситься на человека. Конечно, дикобраз проскочит между ногами, но в икрах завязнут вот такие иголки. Такое у нас часто бывало. А потом говорят: «Дикобраз стрелял иглками». Эта выдумка очень распространена. Но, конечно, это неправда. Шкура его не приспособлена для стрельбы. Просто иголки некрепко сидят в коже, и если их чуть потянуть, они быстро вынимаются. Ведь когда дикобраз резко тормознул, Олапар сам налетел на иголки. Спасибо, что не остался без глаз...

Вернувшись из Сиба, я стал искать в книгах способы защиты у разных зверей. Оказалось, что свой «щит» имеет каждое животное. Одни звери прячутся, другие доверяют своим ногам. Кое-кто пугает врага, угрожая ему. Скажем, яки выставляют напоказ свои острые и могучие рога, а куланы топают и прыгают на одном месте, чтобы продемонстрировать свои сильные копыта.

Многие видели, как змеи и вараны шипят и угрожают раздвоенным языком: «Не подходи!» А некоторые животные становятся вдруг в два раза больше, распушив внезапно свою шерсть. А кое-кто и вообще раздувается, готовясь к обороне. Иногда это приносит пользу. Например, лягушка, увидев перед собой змею, может быстро, набрав воздуха, раздуться и внезапно увеличиться в несколько раз. И змее становится ясно, что ей просто не проглотить такую огромную лягушку.

А богомол в минуту опасности просто цепенеет, не шевелится и на глазах у хищника превращается в сучок. Только бы его не заметили!.. А если все-таки враг распознает его! Тогда богомол быстро перестраивается, принимает оборонительную позу, растопыряет передние лапки, усеянные острыми крючками, и начинает угрожающе раскачиваться. Если его тронуть в этот момент, можно получить крепкий ответный удар.

Про хамелеона много говорят, но самого его мало кто видел. Это очень скромное животное! Чтобы не попадаться на глаза, хамелеон, заметив, что им интересуются, не только каменеет, но и меняет свой цвет, сливаясь с тем, что вокруг него. Но если его все-таки обнаружат, он возмущенно раздувается и мгновенно превращается в маленького разгневанного дракона. А чтобы труднее было его проглотить, поворачивается к врагу боком. Правда, это не всегда спасает его от опасности.

Природа позаботилась о каждом звере. Жизнь гармонична и целесообразна. Даже если вам кажется, что какое-нибудь животное неприятное, некрасивое или грубое — не доверяйте первому впечатлению. Оно все равно нужно для гармонии в природе. Плохо только то, что нарушает ту гармонию.

РЕБЯТИШКИ С БЕЛЫМИ КОГОТКАМИ

Мы взяли перевал, и перед нами открылся вид на небольшие заросли арчи на склоне. А внизу журчала торопливая речка. Стекала она сверху, с ледников. В небе медленно кружилась пара снежных беркутов. Они присматривали за всем вокруг.

Вчера ночью сильный порыв ветра разломил надвое большую старую арчу. В дупле этой арчи,

оказывается, много лет жили дикие пчелы. Сильный запах меда уже учуяли медведи. Медведицу видно не было, но возле речки сидели два медвежонка. Они родились в прошлом году и уже знали, что такое мед. Потому и терли лапками, сидя у воды, свои ужаленные носы.

В бинокль хорошо можно было разглядеть их обиженные мордочки.

Но вот один из них встал и начал подкрадываться к арче, вокруг которой жужжит развороченный пчелиный улей.

Идти или не идти? Нет, все-таки, мед — это самое прекрасное на свете! Резко бросился малыш к арче. И обе лапки погрузил внутрь дупла. И тут же кинулся назад, к речке... А за ним — туча разозленных пчел! Они облепили его со всех сторон, и стало похоже, будто он одет в серый махровый халат...

Забыв про мед, он несется к берегу и бросается в речку. А в речке воды мало, едва ему по колено. Он барахтается в потоке, сбивая пчел, и одновременно не забывает быстренько облизывать лапки...

Мы подошли совсем близко к сломанной арче.

На дне дупла накопилось много янтарного меда. Это был многолетний труд целого улья. А крыши над ним теперь не было...

Сотрудник заповедника Абдурахим Кучкинов отошел в сторонку и начал что-то мастерить. Из сухих сучьев и веток он сплел что-то похожее на домик и крепко связал его тонкими ленточками лыка. А потом осторожно подошел к арче и тихонько протянул в гудящий улей веточку.

Матка переползла на веточку. За ней поползли пчелы. Аккуратно он забрал и кусок сухого трухлявого дерева, где были личинки. И все это перенес в новый улей, который он прочно устроил на соседней арче. Остальные пчелы последовали за веточкой, и через несколько минут пчелиная семья начала обживать свой новый дом.

Мы неподвижно стояли возле старой арчи. Сильный медовый запах окутывал нас. Ножами мы попробовали мед. Это был настоящий мед, сделанный из нектара диких цветов.

Я попробовал чуточку. И сразу у меня закружилась голова, усталые колени распрямились. Ни с чем не сравнимое лекарство! А мы только мечтаем что-нибудь похожее создать!

Знаете, сколько сил тратит пчела, чтобы нанести сто граммов меда! Она должна посетить миллион цветков и извлечь оттуда нектар. (Это сосчитали сотрудники научно-исследовательского института пчеловодства.) А если расстояние между ульем и цветком полтора километра! 15 тысяч раз нужно ей слетать туда и обратно. Но пчела готова лететь и восемь километров, чтобы только найти цветок. И тогда уж ей придется пролететь сорок шесть тысяч километров, то есть один раз облететь вокруг земного шара! Вот чего стоит пчеле сто граммов настоящего меда!

...Глядя на опустевшее дупло, мы разговаривали об этом. Во рту еще таял вкус меда. Но мы больше не стали трогать медовые запасы. Потому что на том берегу ждали, когда мы уйдем, гиссарские медвежата с белыми коготками. Стояли и терли свои опухшие носы.

ПОЕДИНОК

Вершина горы Муканны с наслаждением поглощала холодные здесь лучи солнца. Серебристый снег был так ярок, что слепил глаза. Граница Гиссарского заповедника проходит по хребту, но горные козы и архары об этом не знают. В зависимости от времени года они кочуют то в Гиссарских горах, то уходят на Памир, то появляются на Алайском хребте. Но как только был создан Гиссарский заповедник, некоторые стада прочно осели на территории заповедника. Особенно в зимние времена, когда холод сковывает землю, а голод угрожает жизни.

...Арчовый лес кончился, и перед нами открылось высокогорное пастбище. До главной вершины впереди у нас еще четыре горных хребта...

У подножия первого хребта мы увидели небольшое стадо горных коз. От нас до стада был, примерно, километр. Глядя в бинокль, сотрудники заповедника начали считать стадо. А я, опершись спиной на скалу, записывал свои впечатления в блокнот.

Замдиректора заповедника Бахтияр Арамов вдруг жестом подозвал меня:

— Посмотрите, — шепнул он, — осторожно... на другой склон. В нашем заповеднике появилась чужое стадо архаров.

На другом склоне, поближе к нам, на площадке, окруженной скалистыми обломками, жевали жвачку восемь горных баранов. Один баран, с темно-бурыми витыми рогами, стоя, караулил стадо. В этом маленьком стаде не было молодых животных. Видимо, архары были сыты, лежали они спокойно, а жвачку пережевывали лениво.

Вокруг было тихо и безветренно. Стоящий архар вдруг подпрыгнул и, подскакивая как-то боком, описал круг возле лежащего стада. Потом выскочил на середину и, как цирковая лошадь, поднялся на дыбы. Остальные архары невозмутимо жевали свою жвачку. Отчаявшись их расшевелить, архар с темно-бурыми рогами вдруг взвился чертом и чуть не свалился на голову барана с выпуклым лбом и рогами, завитыми в бублики. Тот вскочил. Будто целуя друг друга, они коснулись носами. Одновременно поднялись на дыбы и, мне показалось, засмеялись, приподняв верхнюю губу. Но это был ритуал. Так всегда ведут себя архары перед боем.

Два архара затанцевали на месте.

За водопой и за пастбище вожаки архаров часто дерутся. Кто сильнее, тот остается владеть территорией, а проигравший поединка забирает свое стадо и идет искать другое место.

На наших глазах мерялись силами два барана за власть в этом стаде. Стадо будет подчиняться сильнейшему.

Водит стадо по горам обычно опытная старая самка, а сильный самец охраняет стадо от врагов.

Два архара, плясавшие посреди лежащего стада, уже били передними копытами по камням. (Оба правым копытом.) Мелкие камушки сыпались от ударов в разные стороны, а стук копыт доносился до нас.

— Да, сейчас будет интересное зрелище! — сказал Бахтияр.

— Посмотрим! — ответил я и лучше навел фокус.

Первый архар, показывая, что он готов к бою, напряг мускулы шеи и ног и снова встал на дыбы. Второй сделал то же самое. Это значило, что он готов принять бой. Оба архара разбежались на семь — восемь шагов и вдруг бросились друг на друга и столкнулись рогами. Но лбами друг друга не достали. Оба с такой силой пытались столкнуться, сдвинуть друг друга с места, что глаза у них чуть не выскочили из орбит.

В первом раунде силы были равны, поэтому бараны разошлись. Отступили назад, разбежались и снова бросились друг на друга.

И снова витые рога с хрустом стукнулись друг об дружку. У барана с выпуклым лбом отлетела половина левого рога.

У первого архара в глазах появился победный огонь. А пострадавший, видимо, пришел в ярость. Первый, не теряя времени, мотнул головой и ударил правым рогом в незащищенную теперь с левой стороны шею противника.

Когда они разошлись, отряхиваясь, то у второго архара из шеи текла кровь, а у первого рог был в крови, как наконечник боевого копья...

Итак, стало ясно, что самый сильный в стаде — архар с темно-бурыми рогами. Об этом громким блеянием оповестила всех самка.

И тогда остальные бараны перестали жевать свою жвачку, подошли и обнюхали победителя, видимо, поздравили. В этот момент в небе появился вертолет. Не привыкшее к грому моторов, стадо дружно исчезло...

Архара называют тьянь-шаньским горным бараном. Бывают они нескольких видов: муфлон, уриал, морхур — «змееед», «снежный баран». Живут на высоких горных хребтах, а зимой опускаются к подножию гор. В Гиссарском заповеднике для них в определенных местах поставлены кормушки с каменной солью, ячменем и сеном. Когда они чувствуют потребность в соли, то приходят к кормушкам вслед за горными козами. Стада горных коз живут выше, чем стада архаров, но часто ходят близко друг от друга.

Архары — самые выносливые бараны. Они терпеливо переносят и холод и бескормицу.

В начале нашего века в Узбекистане бродили большие стада архаров. Охотники истребили их из-за вкусного мяса и рогов.

Сейчас архар занесен в Красную книгу.

Надо сказать, что сегодня вопрос размножения архара имеет большое значение. Дикий баран размножается медленно — самка приносит одного — двух ягнят в год. Если дикого архара скрещивать с домашними баранами, то получают очень продуктивные, дающие много мяса и легко выносящие горные условия виды.

...Под впечатлением поединка, который произошел на наших глазах, мы повернули направо, к ущелью Османталаш, что значит «гора, подпиральная небо». Сотрудники заповедника радовались, что в наших краях появилось новое стадо архаров.

САМЫЙ КРОВОЖАДНЫЙ ЗВЕРЬ И ЕГО БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ

Между кишлаками Дуканхона и Хандиза в горах расположены огромные заросли арчи — десять тысяч гектаров. Здесь живет редкое животное — туркестанская рысь, ловкий, хитрый и очень уверенный в себе зверь.

Мы оставили лошадей на краю леса и дальше отправились пешком.

Воздух был сыроват, и в нем чувствовался смолистый запах сарв-арчи — можжевельника шаровидного. Дышать было легко, шагать тоже.

— У нас здесь живут пять семей туркестанской рыси, — говорит мне Хайрулла Языев, биолог-охотовед Гиссарского заповедника. До сих пор нам казалось, что ее истребили совсем. Кто считал ее вредным хищником, кто охотился за ее теплой шкуркой, но в пятидесятые годы в заготконторы сдавали по двести шкурок в год. Заповедными эти места стали с начала семидесятых годов.

В заповеднике полным-полно всякой живности, полно пищи, поэтому рысь, хотя и очень любит кровь, не охотится за домашними животными, не идет грабить кишлаки.

Мы затаились в тени большой арчи.

— Дальше нельзя... Смотрите! — показал Языев на арчу неподалеку от нас, — здесь нора туркестанской рыси, которая окопалась месяц назад. Ближе подходить не будем, чтобы их не пугать.

В бинокль казалось, что мы в трех—четыре метрах от логова.

Сначала я увидел разлохмаченные ветром корни, а затем над ними показалась круглая кошачья голова. Желтовато-белое тело рыси напоминало собаку. Уши с черными кисточками и встревоженные янтарные глаза были направлены в нашу сторону.

Вокруг рыси копошились четверо котят. Они играли друг с другом, а вокруг летали перья наполовину съеденного беркута.

Рысь почуяла нас. Но убежать, видно, не собиралась. Может быть, понимала, что живет она в заповеднике и люди не принесут ей вреда? Но и мы ближе подходить не стали.

Всем известно, что тигр, барс, гепард, манул, барханный кот — кровожадные хищники. Но самый жестокий из них — это туркестанская рысь. Она охотится за горными козами и баранами. Кажется, что она не так уж крупна, хватило бы ей птиц и мелких животных для пропитания. Но она действительно очень любит кровь, горячую, живую.

Напав на архара, рысь валит его, вцепляется в шею и острыми зубами рвет сонную артерию. Спокойно и очень аккуратно она высасывает горячую кровь своей жертвы. А потом, сделав небольшое отверстие в груди, засовывает туда длинную лапу и на ощупь, но очень точно, вынимает сначала печень, а потом сердце. Ничего не разбрасывает и, полакомившись печенью и сердцем, бросает остальное и уходит.

Вот по этим следам лесники и устанавливают, что же случилось с архаром, чьей он стал добычей.

Рысь всегда хочет горячей крови, потому и убивает все, что встретит на своей дороге. И на крупных животных она старается нападать именно поэтому.

Вероятно из-за этого у нее слава самой кровожадной кошки.

В нашей стране восемь видов рыси, а в Узбекистане встречается два — каракулак, живущий в тугаях, и туркестанская рысь. Она водится у подножья гор. Рысь пробегает большие расстояния. И хотя есть у нее своя территория, она, обычно, очень велика. Очень чуткая, рысь слышит мелкие шорохи, далекие голоса, хорошо видит и ночью и днем, и даже заранее угадывает предстоящие изменения погоды.

Так, например, рысь знает, когда наступит сильный дождь с ветром. Заранее она подбирается поближе к жилищу человека. Когда люди и все живое прячется перед грозой, а ветер и сильный дождь начинают хозяйничать на улице, рысь беспрепятственно проникает в кошару, где стоят овцы.

Удивительно, что, когда рысь появляется возле кишлака, стражи дворов — собаки хором принимаются лаять. Но стоит ей войти в кишлак, как собаки разом замолкают, будто сговорившись. Если рысь появляется во дворе, собака скалит и прячется подальше. (Видно, так вести себя в этом случае ей завещали предки.)

Поэтому рысь спокойно хозяйничает в загоне для овец. А когда она удаляется, малодушные собаки хором поднимают страшный скандал. И хотя они безошибочно угадывают уход и приход хищника, но... как говорится, жизнь дороже.

Если появляется реальная опасность, скажем, охотник, — рысь может вскочить и в лисью или барсучью нору. И тогда из соседнего отнорочка выскакивает перепуганный хозяин норы и... попадает прямо под выстрел.

— Вспоминается мне один случай, — рассказывает Хайрулла Языев. — За год до того, как тут был организован наш заповедник, из Карши приехал один любитель-охотник. Он приехал поохотиться за кабанями. У него была овчарка, которая все понимала. Когда хозяин говорил: «Лежать!» — она ложилась, а если командовал: «Взять!» — бросалась.

Мы объездили все горы, а кабанов не встретили. Возвращались в кишлак мы по арчовым лесам. И вдруг в ста шагах от нас мы наткнулись на рысь. Неторопливо и легко бежала она в сторону от нас. Большая овчарка громко залаяла, но желания догнать рысь у нее не появилось. Тогда хозяин властно приказал ей: «Волга, взять! Вперед, Волга, взять!» Услышав привычную команду, овчарка опомнилась и бросилась вперед.

И тут мы увидели такую картину. Рысь подпустила овчарку поближе и вдруг упала, опрокинувшись на спину. Лапы ее были прижаты к телу.

Собака, увидев поверженного противника, храбро бросилась в бой.

Словно освободившаяся пружина, рысь легко отбросила собаку на несколько метров, причем успела в этот миг распороть ей живот. Овчарка сгоряча хотела кинуться вновь и даже вскочила и сделала два шага, но запнулась и сунулась носом в землю. А рысь встала и, не глядя на нас, исчезла в арчовом лесу.

Когда мы подбежали к собаке, вся трава вокруг была в крови, а собака успела только положить голову на падеж хозяина, раза два вздохнула и замерла... Охотник поднял ружье и выстрелил в воздух той пулей, которая была предназначена для кабана.

— Да, вот какая у нас рысь! — закончил свой рассказ Хайрулла Языев. — Она не боится даже тех, кого боится все живое — ядовитых змей! Если она встретит змею, то, придавив передними лапами ее голову к земле, начинает с хвоста неторопливо есть ее жирное тело. А если змея не ядовитая, то рысь, как кошка, долго играет с нею, чуть придушив, а уж потом с аппетитом съедает. Вообще, отношения между рысью и змеей для нас до сих пор тайна. На Востоке об очень хитром и коварном человеке говорят: «Он лизал змеиное сало». Уж о рыси это вполне можно сказать...

Она ловко лазает по деревьям и пьет яйца птиц, ни одного не оставит в гнезде. Ей не страшны обрывы, острые скалы, пропасти — она легко берет это препятствие. В общем-то, рысь у нас — настоящая хозяйка арчовых лесов.

В начале я уже упоминал, что рысь очень любит кровь. А если она беспрепятственно размножится снова? Не принесет ли это вреда?

Надо со всей уверенностью сказать — нет! Уничтожая мелких грызунов, ядовитых змей и хищных пернатых, она оптимально регулирует их численность. А в стадах архаров и горных коз уничтожает только старых, больных и обессиленных животных, обеспечивая здоровье стада. Это ее, рыси, в природе главная роль, крайне нужная, необходимая. Рысь — незаменимый санитар гор и лесов.

Посудите сами: если бы большие бараны разгуливали по горным пастбищам, очень быстро оказалось, что пастбища заражены гельминтами, другими паразитами и вирусами, и очень скоро наши собственные домашние отары, тысячи голов, которых гонят на эти же пастбища, оказались в опасности.

Но пока рысь подстерегает архаров в горах — можно за них не беспокоиться — рысь успешно справится с нелегкой задачей, которую доверила ей природа.

Я в последний раз взглянул в бинокль на логово рыси. С поднятыми ушами она встревоженно смотрела в нашу сторону. А вокруг нее весело кувыркались котятка.

ТРАВА, ВСПОЕННАЯ МАТЕРИНСКИМ МОЛОКОМ

Листья этого растения устилают солнечный каменистый склон горы. Два больших овальных листка, напоминающих раскрытые ладони...

Короткими красноватыми корнями оно сосет воду родников и дождей, и его темно-зеленые листья разрастаются, становятся все крупнее и все плотнее устилают склон горы.

Единственное растение, которое так пышно растет среди камней, и единственное, которое сегодня мы употребляем в пищу, а оно выросло без минеральных удобрений.

...Эту легенду мне рассказала мать, и больше я ее нигде никогда не слышал. Но помню этот рассказ всю жизнь.

«Это было в те времена, когда на земле жили первые люди. У одной красивой, доброй и отзывчивой женщины дети умирали, едва успев родиться. Каждый раз, когда умирало дитя, она очень мучилась, и ее страдания и слезы дошли до седьмого неба. И когда у нее родился седьмой ребенок и чуть только встал на ноги, как случилось вот что: птица, которая приносит счастье тому, на кого упадет ее тень, пролетая мимо малыша, уронила из клюва семечко.

Семечко упало. Женщина удивилась сначала, а потом подумала: «А ну-ка, попробую я его посадить. Вдруг что-нибудь вырастет?» И посадила. Семечко проросло. Взшел зеленый стебелек, и раскрылась пара темно-зеленых листьев. Пора уже было растению расцвести, как поднялся самум, песчаный вихрь, и началась засуха. Растение поникло, завяло и начало засыхать. Женщины огорчились: как же сохранить этот подарок неба? Воды нет уже ни капли...

И вдруг ей пришло в голову напоить растение своим молоком. Правда, она понимала, что молоко это предназначено ее последнему ребенку... И она поделила пополам то, что принадлежало только ее малышу.

Растение ожило и набрало силу.

Прошло много дней. Единственному сыну этой женщины стала грозить неизвестная болезнь. Мальчик увядал, как трава, на которую дунул самум... Он пожелтел и стал высыхать. Женщина плакала и не могла найти себе места. Смерть, которая унесла у нее шестерых детей, опять стояла на пороге.

Внезапно она вспомнила про то растение, семечко которого уронила с неба птица Счастья. Она подошла к растению и, стараясь не нанести ему вреда, осторожно отщипнула часть темно-зеленого влажного листочка. И приложила его к губам ребенка...

Мальчик зачмокал губами и начал сосать лист.

На следующий день случилось чудо — ребенок встал на ноги. Опять женщина дала ему кусочек листа. Прошло немного времени, и он не только встал на ноги, но и побежал за бабочкой... Когда растение отцвело, она собрала эти семена и посеяла их на солнечном склоне. Темно-зеленые овальные листья, похожие на раскрытые ладони, заняли на следующий год весь склон...

Люди, узнав обо всем, что случилось, тоже полюбили это растение. Тогда они были уверены, что удивительные лечебные свойства эта трава получила от материнского молока. Кто знает?..»

Вот уже не одну тысячу лет эта трава, которую зовут ревеня, в Узбекистане ставится на стол рядом с хлебом. Ревеня заслужил такой почет.

По-узбекски ревеня называется «ривоч». А в древних сугдейских рукописях она упоминается как «рив-оч», что значит в переводе — «трава, которая излечивает от голода».

Помню, каждой весной дядя Халим из кишлака Хазрата Бешира привозил нам целый мешок ревеня. Весь дом пропитывался нежным запахом ревеня — запахом весны. Тот день всегда казался мне праздником. Мы, дети, хрустели кисло-сладкими стеблями ревеня, бегали по улице, подняв над головой его листья, как зонтики. Вечером мама клала в плов все стебли, нарезанные кусочками. А на другой день ставила на очаг медный казан для варенья и начинала варить ревеня. В доме нашем до следующей весны всегда можно было найти варенье из ревеня. И как только его ставили на дастархан, то даже зимой вспоминался аромат весны, горного воздуха, цветов и трав.

А в безводные сухие годы, когда засуха уничтожала весь урожай, люди собирали ревеня, ели его и сохраняли себе жизнь, а также лечились от болезней.

В предгорьях Гиссар и Зарафшана ревеня можно встретить с начала апреля до самого саратана — летней жары. На высоте полутора километров его уже можно собирать в начале мая, на высоте трех километров — в конце мая. Семена можно собирать в июне. Если их ранней весной прорастить в теплице, а потом высадить саженцы на южных каменистых склонах, то получится хороший урожай. Ревеня — многолетнее растение, посеять его можно и осенью простейшим способом — просто разбросать семена.

Шахрисабзский консервный завод уже много лет делает компот из ревеня. Но эта продукция не расходуется, пылится на полках магазинов. Почему?

Консервы невкусные, сделаны некачественно. Из ревеня лучше всего делать варенье и джемы, в варенье можно добавлять его мелконарезанные листья. При хранении и обработке ревеня не теряет свои лечебные свойства.

Великий основатель медицины Ибн Сина писал в своем «Каноне»: «Корни ревеня лечат астму, останавливают кровотечение. Полезен он для печени и при болезнях пищеварительной системы, утишает боль в желудке. Стебли и листья ревеня тоже останавливают кровь, сбивают горячку. Сок, выжатый из него, делает зрение острее. Он полезен при расстройстве кишечника от преобладания желтой желчи».

— Об этом слышали многие, — говорит инженер по лекарственным растениям Китабского лесхоза Амркул Раупов, — но, откровенно говоря, свойства этого растения мало изучены. Сейчас наша задача — организовать выращивание ревеня в условиях плантации. И доставить его фармацевтической промышленности и на народный дастархан.

Народ любит особый вид ревеня — «таксанги», который выращивают, окучивая его камнями. «Таксанги» стоит сегодня в Шахрисабзе 8 рублей килограмм. И люди его покупают. Конечно, это происходит потому, что дикого ревеня почти не осталось.

Лесхозам надо позаботиться о том, чтобы закладывать плантации этого растения.

Сегодня эта волшебная трава, вспоенная материнским молоком и тысячи раз спасавшая человека, — первый кандидат в Красную книгу.

РАДУГА-ГОРА И РАЗНОЦВЕТНЫЕ ДВОРЦЫ

Курган-таш — «каменная крепость», так называют этот кишлак. Это имя ему идет. 25—28 гектаров земли окружены естественной каменной стеной длиной 6—7 километров. Стена эта торчит острыми зубьями голых скал. Высота ее кое-где достигает шести метров. Сама природа обеспечила этот кишлак естественной защитой. По правде говоря, люди просто заняли приготовленную им природой крепость.

В этом кишлаке хорошо сохранились старые узбекские обычаи и традиции. Живет здесь всего 100 семей. Есть школа, медпункт, магазин. Сильный движок обеспечивает село электроэнергией. В садах растут урюк, джида, груши, журчат прозрачные родники. Но вода их для питья не особенно годится, в ней не хватает минеральных солей. Жители кишлака хашаром — всем миром — провели к себе водопровод от родников, которые бьют у подножия горы. Основной транспорт раньше был верблюд, а теперь — лошади и ослы. Осел облегчает тяжелый труд людей кишлака. В каждом дворе дом из 5—6 комнат. А эти комнаты построены из разного камня. И называются по-разному: белая комната, красная, синяя, желтая. Правда, стены уже оштукатурены и побелены, и даже расписаны восточным орнаментом, но все равно легко узнать, какая комната из какого камня сделана: перед каждым порогом осталась каменная лесенка из тех же камней, из которых подняли стену. И даже дети не ошибаются.

Стройматериалы кишлак берет из Радуги-горы. Длина этого удивительного хребта — почти двадцать километров, и заканчивается эта гора у берега Соленой речки.

Ворота в этой крепости только одни. Выбравшись из крепости-кишлака, мы поехали на машине вдоль подножия Радуги-горы. Сначала пыль на дороге была синяя.

— Местные люди эту землю называют «кукшол» — «мертвая земля синего цвета», — говорит мой спутник инженер-геолог Мелик Бурханов. — Для земледелия она не годится. Дальше вы увидите еще и «мертвую землю красного, желтого, зеленого и белого цвета».

Через несколько километров пыль на дороге была уже красная. А потом — желтая. И через некоторое время мы ехали уже по зеленой дороге, которая плавно перешла в белую.

Не так уж и высока Радуга-гора, но зрелище удивительное: каменные слои яркие и резко отличаются друг от друга, а осколки у подножия издали похожи на рассыпанные цветы.

Все живое чувствует тут себя прекрасно: слева от дороги буйно росли дикие травы, а горная речушка служила водопоем для поющих птиц. Вокруг полянок стеной стояли могучие желтые колючки и будто сторожили нежные лекарственные травы.

Мы решили сегодняшней вечер и завтрашнее утро встретить у подножья Радуги-горы. Чтобы не мешать друг другу, каждый из нас решил построить себе каменную хижину. Прошло немного времени, как на берегу горной речки появились четыре каменных домика с дверями и амбразурами окон. Каждый из нас строил по своему вкусу, используя фантазию и валяющиеся вокруг стройматериалы.

Инженер-геолог Мелик Бурханов построил крепкий дом из красного камня и отправился к вершине горы, чтобы собрать коллекцию минералов.

Фармацевт Ахат Авазов сложил себе великолепную белую хижину и ушел собирать лекарственные травы.

Педагог Кудрат Эргашев построил зеленый дом с амбразурами со всех четырех сторон, нацелил свое фоторужье и стал охотиться на пробегающих зверей и пролетающих птиц.

А я построил себе радужный дом из разноцветных камней. А крышу делать не стал — мне показалось, что это не имеет смысла — воздух был чист, небо прозрачно. Я взял блокнот, сел на обломках Радуги-горы и стал записывать свои впечатления.

Когда стемнело, мы все собрались вокруг костра и стали решать, что мы завтра будем делать. Потом каждый ушел ночевать в свой дворец.

Я расстелил спальный мешок и лег. Небо было усыпано блестящими звездами. И все они смотрели на меня... И почему это звезды не любят большие города? В городе они мелкие и тусклые, а когда лежишь вот так, под открытым небом, они тихие, яркие, дрожащие...

Кто-то хлопнул дверцей машины, и вдруг из машины запел приемник:

Постелите мне степь,
Занавесьте мне окна туманом.
В изголовье поставьте
Упавающую с неба звезду...

Я рассмеялся, повернулся набок и уснул.

А разбудили меня первые лучи солнца. Опять мы собрались вокруг костра. Инженер-геолог сказал, что в этой горе много полезных ископаемых. Фармацевт продемонстрировал лекарственные травы. Педагог-фотоохотник объявил, что ему позировали среднеазиатская кобра, скорпион, семь видов муравьев и каракурт.

А я объявил, что уже начал новый блокнот...

В лучах утреннего солнца блестела Радуга-гора. Обрывалась она возле кишлака Ходжа-пулос, рядом с Соленой речкой.

ЛЕГЕНДА О ДРЕВНЕМ РОДНИКЕ ХОДЖА-ИПОК

Боя не бывает без убитых и раненых. А по этим местам прокатились войска Тимура, Бабура, Улугбека... Можно себе представить, сколько здесь пролито было крови, сколько воинов пострадало от увечий и ран. Где же все они лечились?

Об этом не вспоминает ни один летописец.

Только в романе известного узбекского писателя Пиримкула Кадырова «Звездные ночи» описывается поражение молодого Бабуря под Самаркандом. Бабур с остатками войска тайными тропами уходит в горы в неизвестном направлении... А через полтора года появляется на той же дороге с сильным войском и отправляется завоевывать сперва Афганистан, а потом Индию.

Бабур удалось создать великую империю, которая просуществовала века. Где же он, все-таки, восстановил свои силы после разгрома?

Вот именно туда мы и ехали сейчас. Дорога наша вела к кишлаку Ходжа-ипок. Именно там, на горном плато Каттапой, построена крепость, которую народ до сих пор называет Бабур-кала — крепость Бабура.

С одной стороны ее пропасть, с другой она закрыта высокой зеленой стеной арчи.

По развалинам крепости даже сегодня можно установить, что она построена именно так, как строил только падишах Бабур. И находится она не так уж далеко от Самарканда. Горные тропы через сорок-сорок пять километров выводят на Великий шелковый путь, на дорогу к Самарканду.

Но главное вот что: именно здесь находился известный только тимуридам тайный лечебный источник, родник Ходжа-ипок. Народ ничего не знал о нем, только падишахи из поколения в поколение передавали друг другу эту тайну.

Как же она открылась? И что это за чудесный источник?

Я долго собирал разные поверья, истории и рассказы об этом удивительном месте. И вот что я узнал...

Говорят, в древние времена властитель этих лесов — урманбеги — был честным и мудрым человеком. Люди любили его и уважали.

А в Тангигареме (теперешний Дехканабад) всегда разводили овец, коров и прочую живность. В каждом дворе толпились отара овец и небольшое стадо коров. От навоза не пройти было по узким улочкам кишлака. От мух и разных паразитов не стало житья. Люди начали болеть: у кого чесотка, у кого — язвы и короста, у кого — крапивная лихорадка.

Урманбеги знал об этом. И думал, как спасти людей.

Неподалеку от этого кишлака находился «вонючий родник». Однажды туда забрел покрытый коростой ишак и свалился в родник. Урманбеги увидел это, велел вытащить ишака. Прошло два дня и выяснилось, что короста у ишака отпала и он весело бегает. Урманбеги понял, что вода «вонючего родника» целебная.

Он был дальновидным человеком. И понимал, что навоз, грязь — вот главный источник болезней жителей кишлака. Поэтому он объявил всем:

— Я нашел средство вылечить каждого от всех болезней. В Киршаксае есть «вонючий родник», он вылечит всех. Но, прежде чем можно будет искупаться в этом роднике, каждый житель кишлака должен заплатить выкуп — отнести на плато Каттапой семь хурджунов навоза. (Хурджуны эти — кашшукки — сделаны были из коры дерева и специально предназначались для подобных целей.) Итак, одно купание будет стоить семь кашшукков!

Караванами пошли обрадованные жители наверх, на плато Каттапой. И каждый на верблюдах, на лошадях, на ослах вез семь кашшукков навоза. Урманбеги сам считал груз и пропускал к роднику. Каждый житель кишлака привозил семь кашшукков за себя, семь за жену, по семь за каждого из детей... Через месяц в кишлаке не найти было навоза. Люди бегали по дворам и занимали его друг у друга, чтобы еще раз выкупиться в чудесном роднике, который избавлял от болезней.

На том месте, где складывали навоз, Урманбеги заложил большой сад. И до сих пор этот сад на вершине горы площадью в сто гектаров цветет и плодоносит. Он принадлежит совхозу «Ибн Сина». И урожаи персиков, яблок, груш и вишни до сих пор прекрасные...

А того урманбеги стали называть Ходжа-ипок — «хозяин, охраняющий чистоту». И «вонючий родник» переименовали в «родник Ходжи-ипока». До сих пор он так и называется.

Первый президент республики Юлдаш Ахунбабаев в конце тридцатых годов побывал в этих местах. И купался в этом источнике. Осмотрев все, он сказал: «Это прекрасное курортное место. Оно должно принадлежать дехканам. Давайте назовем его Дехканабадом! А воду эту пусть наши ученые исследуют. Если она действительно лечебная, то мы построим тут санаторий для всех».

Осуществлению планов первого президента помешала война. Но в 1987 году Институт курортологии и физиотерапии им. Н.А.Семашко в Ташкенте заинтересовался этим вопросом. Его специалисты исследовали воду источника и пришли к выводу, что и вода, и грязь этого громадного родника действительно лечебные.

Родник Ходжа-ипок находится на высоте 850 метров над уровнем моря. Вода там зеленоватобелая, она «кипит» в большой двадцатиметровой воронке. Пузырьки сероводорода, поднимаясь на поверхность, лопаются.

«Вот почему раньше его называли «вонючий источник», — подумал я, стоя над этим кипящим озером. Люди, которые съехались сюда со всех концов Узбекистана, сосредоточенно занимались своими делами. Места в роднике всем не хватало, поэтому многие выкапывали ямы поблизости, ведрами таскали туда воду и погружались в эти импровизированные ванны. Но вода, остывая, теряла свои лечебные свойства.

Сам родник находится на территории совхоза «50 лет Узбекской ССР», совхоз пытается как-то помочь больным, хотя это и не входит в его задачу. Тут построено небольшое здание и поставлены шесть ванн. Но этого довольно мало для тысяч людей, которые идут и едут сюда нескончаемой вереницей.

Сторож, дедушка Хамро-бобо, которому оставляют деньги за разные услуги, сдает в совхозную кассу в месяц по две тысячи рублей.

И такая самодеятельность продолжается до сих пор. А между организациями идет скучная переписка о том, что здесь надо построить санаторий, который мог бы стать и всесоюзной здравницей.

«ХАН-БАЛЫК», МАРИНКА И ГАМБУЗИЯ

В моих рассказах упоминалось много горных рек. А кто живет в их прозрачных и холодных водах?

Кизилдарья начинается близ ледяных вершин. Она, как кинжал, разрезает гору на две части и скатывается вниз. Река неглубокая, по колено, но очень прозрачная, поэтому рыбы в потоке видны, как в аквариуме.

На берегу Кизилдарьи мы пообедали.

На другом берегу в камнях несколько трясогузок пьют воду, поднимая клювики. Трясут хвостиками от радости.

Вдруг большущая рыбина в руку толщиной выскочила из воды, хапнула трясогузку за ноги и потянула в воду. Птичка отчаянно запищала и затрепетала крылышками.

Мы вскочили и заорали, пытаюсь напугать рыбину, но — куда там! Этот крокодил упрямо тащил свою добычу в воду и вдруг с маху нырнул в поток.

— Да... бедная птичка! — покачал головой старый лесник Хамид-ака Назаров.

— Первый раз в жизни такое вижу! — изумился я.

— Это форель, — ответил мне лесник. — Так ее зовут в Европе. Живет только в пресной чистой воде, в пресных озерах.

— А как же она попала сюда, в горы, в Кизилдарью?

— Это загадочная история... Предполагают, что это работа птиц и ветра. Это они переносят икринки форели и разбрасывают их по рекам. Видимо, таким путем форель появилась и у нас, приспособилась к нашим условиям. Хищники вообще легко приспосабливаются к разным условиям. Знаете, какой это страшный хищник! Он нападает и на лягушку, и на водяную змею, и даже — вот, сами видели — хватает птиц! Жрет, как крокодил, все живое, что попадет. У нас ее называют «хан-балык», то есть «хан над всеми рыбами».

Мне захотелось поближе познакомиться с этим «ханом», и я спустился в воду. Стая рыб, которая боролась с течением, рассыпалась в разные стороны. Одна из рыб забила под камень возле меня. Я нагнулся, опустил ладони в воду и схватил скользкую, как обмылок, рыбину. И быстро выскочил в ней на берег.

— И это ваш страшный хищник? — спросил я.

Длинная рыбина с белым животом и темной спинкой упала в траву.

— Да нет, это не «хан-балык». Это маринка! — ответил мне Хамид-ака. — Она очень вкусная и совершенно безобидная.

Я долго рассматривал эту красивую рыбину. Такую рыбу я встречал в Акдарье, в Танхоздарье, и в других речках, которые начинаются в Гиссарских горах.

С третьей рыбкой этих вод, которая называется гамбузия, меня познакомил Хамид-ака. Он привел меня к тихому заливику, который зарос водяными растениями. Там было мелко. А среди травинок плавали рыбешки величиной с палец.

— Это самая удивительная рыбка в Узбекистане, — сказал Хамид-ака. — Она не мечет икру.

— То есть как?

— Она живородящая. В год дает потомство семь раз, 30-40 рыбок.

Он зачерпнул в горсть несколько рыбешек. Сверкнула чешуя.

— Если спинка зеленая, а животик белый — это самка. А с черной спинкой и помельче — самцы. Питается она мелкими рачками, гниющими остатками рыб и лягушек, а главное — личинками малярийных комаров. Поэтому гамбузию и привезли в Узбекистан в 30-е годы, когда здесь свирепствовала малярия. Гамбузии у нас понравилось, она акклиматизировалась и уже через несколько лет истребила малярийного комара.

Слушая рассказ старого лесника, я с признательностью смотрел на эту маленькую рыбку. Лесник разжал ладонь, и гамбузии скользнули в воду.

В водоемах нашей республики обитают более ста видов рыб. У нас нет естественных озер, где рыба могла бы жить спокойно. Искусственные водохранилища, которые предназначены для орошения хлопковых полей, загрязнены ядохимикатами и дефолиантами, да и к тому же, когда вода уходит для полива, они мелеют и рыба гибнет. А реки разбираются на орошение. Вот и остается рыбе забираться в горы...

ГОРНЫЙ ЧАЙ

На Востоке в разное время дня раньше пили чай, заваренный из разных растений. Допустим, утром заваривали такой чай, который придает бодрость, обостряет внимание и укрепляет силы — из боярышника, шиповника, лепестков яблони. В середине дня нужен был тот чай, который утолял бы жажду — из зверобоя, из чайной травы (ботаническое название «лапчатка гусиная»). А вечером после полова и димламы радовал человека чай, который помогал желудку в его работе и сообщал хорошее настроение — из мяты, зиры, из подорожника. Но ни у Алишера Навои, ни в мемуарах «Бабур-намэ» ни слова не упоминается о настоящем индийском чае.

Первое упоминание о чае встречается в китайских летописях, которые датируются 2700 годом до нашей эры. И после этого чай зашагал по миру. В девятом веке нашей эры чай проник в Японию и Корею, в 1824 году — в Индонезию, через десять лет — в Индию, на Цейлон, в 1847 году появился в Грузии, в конце прошлого века — в Аджарии, а в начале нашего века — в Краснодаре.

И занял в нашей стране теперь землю площадью 80 тысяч гектаров. Когда же он попал в Среднюю Азию?

Его привезли караваны индийских купцов в конце восемнадцатого века. Привезли в уже готовом виде. Не надо было за этой травой лазать по горам, собирать ее, сушить.

Люди быстро привыкли к ароматному напитку. Возле караван-сарая стали строить специальные помещения, где люди собирались и пили чай. Так появилась первая чайхана. А теперь, если в кишлаке нет чайханы, он не считается благоустроенным.

В магазинах стали продавать индийский и грузинский чай. Постепенно он вытеснил народные рецепты чая. Люди перестали искать в горах душистые травы, которые служили им много веков. Куда проще достать готовое из коробочки и заварить!

Постепенно забылись рецепты бодрости, здоровья, долголетия. Если вы сегодня заговорите с молодыми людьми о чае из мяты, клубники, из диких груш и яблонь, из облепихи, боярышника, «золотого корня», о «монгол-чае», «казах-чае», «калмык-чае» из степных трав, они только с удивлением улыбнутся и пожмут плечами. Всем известно, что лучший чай — это черный — индийский, а зеленый — № 95!

Но недаром наши деды использовали для заварки более двадцати видов растений. В этих растениях нет алкалоидов танина и кофеина, как в чае и кофе. Но там — кладовая долголетия, разнообразные вещества, сохраняющие здоровье, и тот, кому не нужны возбуждающие средства, может извлечь для себя из этих трав большую пользу.

...Мы сидим в кишлаке Сумак Kitabского лесничества в саду егеря Муртазхана Алимова, сюда не проник еще индийский чай. Тень тысячелетней чинары укрывает супу, где мы расположились.

— Моя мама, — рассказывает егерь, — была мудрой женщиной. В послевоенный голод люди приходили к ней, она учила их вместо хлеба употреблять в пищу корни дикого растения оджуда. Его парили, как свеклу, потом смешивали с кислым молоком и ели. Потом пили лесной чай. Так она спасла от голода целый кишлак.

Младший брат Муртазхана, сельский учитель Джамалхан, появляется с двумя чайниками в руках.

— Это лесной горный чай, — говорит Муртазхан и делает «кайтарму» — осторожно переливает чай в пиалушку и обратно в чайник три раза. А потом протягивает каждому душистый напиток. Родниковую воду для него кипятили в специальной кувшине на костре, а заваривали сушеную в тени чайную траву, которой много растет вокруг. Я попробовал две пиалушки. И понял, что такого чая я не пил никогда. На лбу выступила испарина.

— А теперь попробуйте чай из подорожника, — и Муртазхан с восточным поклоном протянул мне еще пиалушку. Чай был медового цвета, ароматный и сверкающий. Мы перепробовали семь разных заварок чайников. — В нашей семье пьют чай из двух десятков разных трав, даже из корней гиацинта и корня индийского нарда. А еще завариваются листья и нежные молодые веточки разных кустов и деревьев: из джиды, шиповника, облепихи, дикой груши и яблони. А также изредка настоек из корней. Это предохраняет от многих болезней.

Наступил вечер. После пловы мы попробовали чай еще из трех чайников.

— Это душица, чабрец и тысячелистник, — пояснил хозяин.

По пути обратно я думал: а разве нельзя устроить так, чтобы лесничества республики производили эти удивительные лесные чаи на промышленной основе? В красивых коробках, с надписями, рисунками: «Чай из облепихи», «Чай из шиповника», «Горный чай из гиацинта». И люди выбирали бы себе чай по вкусу и здоровью.

И тогда неизвестно, стали бы считаться лучшими индийский и зеленый девяносто пятый...

Куда бы вы ни пришли в Узбекистане, вам обязательно протянут пиалушку с чаем. Но, к сожалению, это только два сорта чая, черный и зеленый. (О желтом и красном многие даже и не слышали.) А ведь наша земля дает нам возможность пользоваться и наслаждаться ее дарами куда более разнообразно!

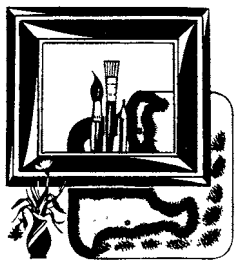
Кругом у нас чайханы с прекрасными надписями на воротах: «Добро пожаловать!» Но если бы там были и десятки видов лесного чая!

* * *

Я поделился с вами своим удивлением, очарованием и беспокойством. Пишу и думаю: вот теперь я поставлю последнюю точку. Но каждый раз приходится ставить многоточие. И в этот раз тоже...

А на душе беспокойство. И опять я иду в горы. Сердце охвачено Большой Тревогой. Я знаю, что и на этот раз я вернусь полный этой тревоги...

Перевод с узбекского Ганны Немирко.



К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

ПРИРОДА, ТЕАТР, ЧЕЛОВЕК...

Серьезная работа над акварелью началась неожиданно, почти случайно. Гайрат Байматов писал акварели и раньше, во время учебы в республиканском художественном училище им. П. П. Бенъкова в Ташкенте, а затем в Харьковском художественном институте. Но в середине 70-х годов, когда за плечами были занятия книжной графикой, работа над эскизами оформления интерьеров в Ворошиловграде, возвращение к прежнему увлечению становится определяющим. Возможно, здесь сказались и внешние обстоятельства: по основной специальности — художник-конструктор — просто не оказалось работы, а акварель с ее мобильностью, возможностью сочетать эскизность и завершенность, пожалуй, наиболее отвечала внутренним потребностям.

Первые акварельные листы, представленные сначала на республиканских, а затем и на всесоюзных выставках, были вполне традиционны. Они создавались по непосредственным впечатлениям от поездок по республике, встреч с людьми и природой. Общей приметой этих работ, включая портреты друзей и знакомых, была очерковость, которая долго считалась отличительной особенностью акварели вообще, а главным достоинством стали передача состояния природы и свежест ее восприятия.

Г. Байматов уже в самых первых акварелях пытается расширить возможности этой техники. Так, в чимганских сериях возникает необычное для акварели стремление к декоративной яркости цвета, его неожиданным сопоставлениям. Темно-синие горы и вспыхивающая на их фоне желтизна деревьев, глубина серо-синей воды горной речки и контрастирующая с ней зелень травы. В портретах, сделанных во время поездок, внешнее спокойствие и даже статичность моделей нарушались напряженными сопоставлениями цветовых пятен.

В десятках акварелей, сделанных в поездках по Узбекистану, Закарпатья, Кольскому полуострову, — пейзажах, натуральных зарисовках, портретах главенствует стремление уловить необычное в обычном. Уголок нетронутой природы и устоявшийся быт рыбацкой деревни, старый баркас, освещенный солнцем, и чайки, сидящие на камнях. Во всех этих мотивах, на первый взгляд, нет ничего оригинального, но автора интересует поэзия уходящей гармонии бытия, своеобразная цельность уголка земли, живущего прочно устоявшейся жизнью, есть попытка увидеть в сегодняшнем торопливом мире нечто постоянное, непреходящее и уже этим непривычное.

В листах Г. Байматова, сделанных на металлургическом комбинате, на стройке, заметна некая дань теме — производственной, экологической. В них, несмотря на внешнюю эффектность, с трудом проглядывает личностное отношение художника к героям и событиям. В пейзажах же, внешне спокойных, уравновешенных, отчетливо проявляется характер интересов и пристрастий автора, неутомимо ищущего зримых проявлений конфликта между настоящим и прошлым, внешним и внутренним. Поэтому цветовые диссонансы возникают как бы исподволь, выдавая тревожное состояние самого художника. Черными стали от соседства с никелевым заводом северные скалы, и красными и синими видятся на этом странном фоне лодки рыбаков. Контрасты возникают в работах Г. Байматова в самом разном преломлении, но еще полнее, чем в пейзажах, они выражаются в портретах. В них господствует средний план, и взгляд портретируемого редко обращен к зрителю, хотя персонажи откровенно позируют. Портреты театрализованы. В одних случаях поза или жест подчеркнута не бытовые, в других — фон закрытый, задрапированный, напоминающий театральный задник, в третьих — выделена роль костюма, который создает настроение, передает отношение художника к модели. Мягкие формы или резкие складки одежды, углубленные фоном или боковым освещением, как правило, взаимосвязаны с выражением лица персонажа, способствуют созданию целостного образа. Вокруг модели возникает пространство, как бы созданное самими персонажем. В акварельных портретах Г. Байматова могут имитироваться приемы графики, когда резкими линиями выделяется силуэт, или гуаши, где создается плотный красочный слой. Натура может быть смещена к краю листа, и тогда создается впечатление невидимого собеседника.

Особую группу составляют портреты в театральных костюмах. Эта своеобразная серия возникла из наблюдений за работой учащихся костюмерного и гримерного отделений в художественном училище, где преподавал Г. Байматов. Необычность учебных мастерских, в которых в буквальном смысле слова материализуются образы ушедших эпох, красота тканей и живописность костюмов — все это послужило поводом и основой создания серии акварелей.

Особый мир театра во все времена привлекал художников. Сцены из спектаклей и жизнь

за кулисами, тяжелый труд и праздник — все это не раз представало на полотнах и графических листах. Но в отличие от многочисленных вариантов этой темы в недавнем прошлом, когда ведущее место занимали портреты актеров в ролях, где главным становился образ человека, для Г. Байматова, как и для многих его современников, это скорее игра в театр, представление, которое не требует полного перевоплощения и веры в «предлагаемые обстоятельства». Поэтому его герои выглядят не столько театральными, сколько маскарадными персонажами. Ведь карнавальная маска не предполагает внутреннего преобразования человека, его «вживания» в образ, это всего лишь маска, позволяющая скрыть истинное лицо или случайно его еще яснее обнаружить. Поэтому так непривычны портреты сегодняшних девочек-студенток, одевших созданные ими костюмы, где контрастируют угловатость натуры и пластика ткани, массивность объема костюма и хрупкость персонажа.

Изображая костюмерную мастерскую, художник нередко включает в композицию зеркало. Эта деталь придает особый смысл произведению, в целом. Молодые мастерицы, вглядываясь в зеркало, многократно отражаясь в нем, не только проверяют свою работу, но и получают возможность увидеть себя со стороны — в отражении — в прямом и переносном смысле слова. Возникает некое несоответствие, диссонанс, рожденный столкновением внешнего облика и внутреннего самочувствия персонажа. Как в пейзажах вдруг тревожной нотой врывается яркий цветовой акцент или щемящей грустью отзывается картинка уходящего покоя, так и здесь симпатичные современные девочки не могут совместиться с образами прошедшего времени, как это пытался представить Г. Байматов в первых листах этой серии. Такая игра в театр, игра в преобразование, становясь сюжетной основой портретов и композиций, оставляет впечатление прерывистости, нехватки какого-то звена в попытке соединения костюма и персонажа, прошлого и настоящего. Художник не случайно вновь и вновь возвращается к этому мотиву, создавая новые варианты. Так возникают и другие персонажи композиций — авторы костюмов. Рождается образ многоплановый и многозначный: театр, творимый на наших глазах. Групповой портрет студентов, созданных ими театральных героев и руководителя мастерской — иронично насмешливой женщины, — все это соединяется в единый образ мира — театра. Игра превращается в урок профессии. Эскизы и их воплощения, повторяющиеся в мотивах театра прошлого абрисы костюмов, возникающие в глубине, на фоне драпировок и закулисного пространства, вымысел и реальность, игра и подлинные переживания — здесь уже не столкновение тем, понятий, времен, но их связь, продолжение и возрождение темы театра — праздника.

Интерес к миру масок и ярких костюмов, преувеличенных гримов и париков приводит художника к истории древнего искусства Средней Азии, воплощенной в серии листов под общим названием «Рождение узбекского театра». И тут художник проходит немалый путь от фиксации мотива через многообразные вариации темы к ее образному решению. Первые листы этой серии были связаны с искусством канатоходцев и плясунов. Эти яркие и праздничные зрелища можно и сейчас увидеть в городах Узбекистана. Атмосфера веселья создается на листе и декоративной яркостью теплой гаммы цветов, и диагональным построением, где и зрители и музыканты подчиняются движению канатоходца. Выражение единого настроения, эмоционального состояния участников изображаемого события стало главным принципом работы над новой серией. Театром, представлением захвачено все, поэтому органично соединяются в одном листе мотивы древних росписей, изображающих древние ритуальные представления, и оркестр с современными инструментами. Это игра в театр вне конкретного времени, хотя здесь можно обнаружить и «цитаты». Родство с произведениями древнего искусства в композициях Г. Байматова многообразно. Сложные ритмы, яркие цветовые пятна, заполненность всей плоскости листа движением актеров, толпы зрителей, возникающая в этих листах орнаментальность — все это роднит акварели с произведениями народного прикладного творчества. Видимо, здесь сработала интуиция художника, угадавшего близость истоков разных видов искусства.

Над каждой из своих серий Г. Байматов работает подолгу. От возникновения темы к эмоционально и логически законченной композиции образуется длинный путь, зафиксированный в десятках акварелей, которые все вместе слагают своеобразный, на грани реальности и вымысла, мир.

А. СОСНОВСКАЯ.



А. Вулис

НОВЫЕ ПАРАДОКСЫ ДЕТЕКТИВА

1. ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ — И РЫЦАРЬ ПЕЧАЛЬНОГО ОБРАЗА

Вот вопрос: «Почему, собственно, «Печальный детектив» называется «Печальным детективом»? Всякому, кто даже бегло, через палец, пропустит эту вещь, станет ясно: заботы Конан Дойла В. Астафьеву совершенно чужды. Так все же — к чему относится ее заглавие? К жанру написанного Астафьевым произведения? Вряд ли. Потому что детектив — печальный или непечальный — согласно сотням определений, содержит очевидную неопределенность (прошу извинить мне невольный каламбур). В одних случаях это тайна, то есть неопределенность завязки. В других — это саспенс, неизвестность, то есть неопределенность развязки. Во всех случаях динамика жанра сопряжена с поиском истины.

Но у Астафьева все незамысловато, и уж если кто то сделал, докапываться до истоков происхождения нет надобности, они являют прямокутного житейского резона. Другое дело — нравственные причины, другое дело — социальные причины этих причин... Но это уже не вопросы детектива. Детектив отвечает прежде всего на вопросы, относящиеся к условиям физического действия. Как глагол. А глубинные мотивы — это уже потом.

Может, слова «печальный детектив» относятся к содержанию астафьевского произведения, к прототипическому материалу? Ведь в пору колеблющихся ценностей детективами могут, конечно, считаться любые произведения криминальной (или, вернее, криминалистической) тематики — и не только могут считаться, но и считаются. Только вот у кого? По преимуществу, у неискушенных потребителей искусства. А не профессионалов такого уровня, как В. Астафьев.

В какой же мере название «Печальный детектив» продиктовано сценами дикостей и уродств нашей провинциальной жизни? Например, этой: «Венька Фомин, прижавшись спиной к стене, поднял вилы, как бы загородившись ими. И тут бы свалил его подсечкой Сошнин, отнял бы вилы, дал по шее разок — за всех обиженных и угнетенных и повел бы в Починок, на автобус, да... поскольку хромой ногой, неловко упал на руку — и сработала, сработала подлая натура преступника — бить лежачего...»

На нескольких страницах писатель рассказы-

вает о ране Сошнина, о поведении Веньки Фомина, о медпунктах, фельдшернице, о машине «скорой помощи», об отношении окружающих к «злодею» («...Мразь! Эко дрожит, пащенок, за свою жизненку... «А-ах, ты, паскуда! А-ах, ты, вонявка!.. Да я тя!») И еще дальше описывается с подробностями путь в больницу, и сама больница, и как Сошнин бредил, и как очнулся. А затем идут мысли героя — о правде, о смысле жизни, переходя в авторский монолог, публицистику от первого лица, вернее даже, наипервейшего, ибо как же еще назвать оратора, говорящего за весь народ?!

А теперь я на время расстанусь с Сошниним и, пока он коротает время на больничной койке, открою на первой попавшейся странице зарубежный детектив:

«Ганс Мюллер распахнул дверцу и, наклонив вперед спинку кресла, сказал:

— Прошу вас, сэр.

Я полез назад, и в тот же миг мне заехали чем-то тяжелым по затылку. Потеряв сознание, я окунулся во мрак.

Когда я пришел в себя, машина неслась куда-то в кромешной тьме.

Понятно! — смекнет тренированный на детективах читатель. Герою пришел конец, и утешает нас одно: рассказ ведется от «я», а значит, ситуация обратима. Тот, кто побалуется таким предположением, не промахнется.

И у Виктора Астафьева в «Печальном детективе», и у Дэвида Дучи в «Смертельном сафари» перед читателем разворачивается поединок. И в том случае и в другом кровь обгаряет землю. Даже реванш герои берут в обоих случаях, и в обоих — скорый. Вместе с тем сопоставление отрывков оставляет непреодолимый осадок душевного дискомфорта: настолько эти тексты несовместимы, настолько сильна разница между двумя эстетическими установками и, соответственно, двумя литературными результатами. Не в том смысле, что один лучше, а другой хуже, один ярче, а другой тусклее. Природа этой разницы — в разнице природы.

Беря цитаты из Астафьева, я широко пользовался многоточиями: при передаче действия, то есть информации сугубо событийной, глагольной, отпадала необходимость в обстоятельствах, в эпитетах — во всем том, чему русская реалистическая традиция отдает предпочтение как плоти и

сути х у д о ж е с т в а. Язык и стиль «Печального детектива» приходилось опрощать. Там, где астафьевский изобразительный колорит сохранялся, проявлялась вдруг некая его избыточность применительно к чисто детективным задачам (если понимать их как предельно четкую фиксацию авантюрных событий). Оказывались необязательными, почти лишними все эти «по-шакальи оскалившись», «коричневая, гнилая плаха», все эти усиления, уточнения сказанного («боль пронзила его, овязала»), все всплески авторской наблюдательности, израсходованные на «реденую, беспорядочную щетину», все живописные диалектизмы.

То, что в русле реалистической прозы определяет стремлению рассказа, оказывается для авантюрной, детективной чуть ли не тем самым омутом, где черты водятся. Но нет, были бы в этих отступлениях черты, детектив бы от них не отступился: сверхъестественное и вообще экстраординарное ему куда как с руки. А детали и уточнения серьезной прозы детективу не нужны: они отягощают сюжет, отодвигают миг, к которому устремлены все герои (вместе с читателем): когда же, наконец, раскроется решающая тайна романа.

Так что ж, адаптировать Астафьева, приведя его язык к функциональным нормам Дэвида Дучи? Отнюдь. Пускай «Печальный детектив» будет «печальным детективом», а обычный, канонический — обычным, каноническим.

Штампы переводного романа подчас шокируют квалифицированных ценителей, тех, кто блюдет культ «настоящей» литературы. Но любой привычный к условиям жанра читатель не обратит на штампы внимания, как не обращает внимания на повторяющиеся производные от глагола «быть» в толстовском тексте, как не обращают внимания на неисчислимы обязательные банальности нашей обыденной жизни. Удар по голове с последующими обмороками, не говоря уже об элементарных зуботычинах, — повседневность детектива: и тематическая, и эстетическая. И особенно, изощренного реализма в описании этих ударов мы от писателя не требуем — нам необходимо другое: чтобы эти удары, как и все остальные события романа, были расставлены в «правильных» местах, налаживая сплошной поток авантюрного действия (даже действия), вызывая сопереживание и сочувствие.

Если уж вести речь о глаголах, то удары по голове в детективе — это нечто вроде инфинитива англоязычных жаргонов, заменяющего для африканца или индуса все времена, залог и наклонения. «Бить» — это значит и «ударил», и «ударю», и «ударят меня». Контекст подскажет — в необходимом объеме — «ударил» или «получил удар». На уровне жаргона такой информативности достаточно.

Разумеется, как и всякая аналогия, этот пример требует оговорок. Хотя бы таких: детективу вовсе не безразлично, кого бьют, кто бьет и зачем. Напротив, здесь эти подробности приобретают чрезвычайную важность. Детективу отнюдь не безразлично литературное качество повествования: изящество, лапидарность, блеск и в этом случае предпочтительнее многословия, тяжело-весных тавтологий и т. п. Детективу безразлична лишь детальная проработка несущественного, условно говоря, художественность «не по делу», эстетический раж за рамками повестки дня. Отсюда — наброски картин вместо монументального полотна, пунктиры вместо линий, приблизительные, прикидочные мизансцены вместо театра тридцатых — сороковых годов.

Не являясь детективом, повесть Астафьева выдвигает на первый план как раз ту атрибутику, которая обозначает для «серой» аудитории детектив. Вот она: битье по голове, милиция, суд и другие оборотные стороны угрюмого быта.

Впрочем, слово «детектив» относится не только к жанру, но и еще и к герою этого жанра. Детектив — сыщик, следовательно, работник милиции или инспектор полиции. А говоря более общо — всякий человек, взявшийся за поиски преступника, за раскрытие уголовного происшествия... «Печальный детектив» — это сыщик, который не может ограничить свое отношение к своей работе примитивной охотничьей радостью: жертва настигнута, разжигай костер, суши носки, чисть ружьишко да приценивайся к очередному приключению. Для него встреча с противником — повод задуматься над нашей жизнью.

Что? Сошнину приходится искать Венку? Тот сам находит милицкого капитана. Совершает свое злодейство у нас на глазах. И не задачей: установить факт — «кто покусился на Сошнина?» — заинтересовывает астафьевский роман, а нравственным итогом — или, правильнее будет сказать, его предощущением в болезненном выдохе авторских монологов: «Все это жизнь, все это реальность, товарищ Сошнин. Вот и осмысли ее, поднимись до понимания правды жизни, иначе зачем и для чего, не умея в руках держать топор, лезть в плотники?»

И следом за этой вдохновенной декларацией — только одна фраза иного типа, интонационно сниженная, сбрасывающая авторский пафос с высот отвлеченной философии на землю натуралистического факта, отчего в тексте сразу появляется, точно искомая истина, ироническая горечь: «Но зэк, набегавший за полжизни срок на две жизни, молящийся о спасении души, — все же нехорошая правда, бессмысленная правда, и страшнее она лжи».

И вдруг приходят в движение свет и тени, что-то вдруг становится несущественным, а что-то, напротив, кричаще обязательным, и, как разглашенная тайна исповеди, нас осеняет открытие: Сошнин — не исполнительная власть, он — авторская мысль, выходец из вымысла, возвращающийся в вымысел с багажом невеселых наблюдений. И он, именно он, — печальный детектив. ПЕЧАЛЬНЫЙ детектив — подобно тому как сервантесовский хитроумный идальго — рыцарь ПЕЧАЛЬНОГО образа. Печальный детектив Сошнин — рыцарь ПЕЧАЛЬНОГО образа.

Подразумевал ли автор сие сопоставление? Или, может быть, это причуды восприятия? Осмелюсь привести аргументы из Астафьева, не предназначенные Астафьевым в аргументы. Вот Сошнин очнулся: «Да что же это такое? Бьют и бьют. Калечат и калечат... Когда же этому конец будет?» Жалко себя сделалось Леониду, вновь его на слезу повело... Лерка, не спавшая две ночи, увидев слезы на лице мужа, тоже закрылась рукой...»

Ба, да здесь — весь букет донкихотских красок: подвиг с элементами сумасбродства, большая койка, насмешка стороннего наблюдателя, неуклюжая галантность и праведная жажда добра, синяки да раны как результат дерзновенного порыва, упреки сострадающих друзей и родственников, трогательное дежурство у постели, и даже мотивы Дульцинеи — хотя и не Тобоской, но все-таки достаточно деревенской, и даже такое традиционное оружие, как вилы, и — совсем неожиданно — резкий сдвиг во времени: «давно-давно, в какой-то жизни, в каком-то веке»... А ведь к сказанному можно добавить

еще и прием ошибочно прочитанной действительности (правда, в старом романе заблуждается сам рыцарь, а в новом — его противник), и присвоенный герою творческий принцип истолкования мира: Дон Кихот — выученик писателей, послушный читатель рыцарских книг; Сошин — писатель, создатель литературы, очень вероятно, рыцарственной. Один — от книг к жизни, другой — от жизни к книгам. Но оба — носители посреднической миссии: между идеальным и реальным, между придуманным и настоящим, между тем, что есть, и тем, что должно быть.

Обращусь к теоретическому смыслу аналогии. И тотчас окажется, что все ее внезапности, и странности, и неожиданности — достаточно естественны, предвидимы. Более того, не только предвидимы, но предвидены, предречены — в книге Л. Пинского «Реализм эпохи Возрождения». Там, в частности, говорится: «В основе цикла произведений прометеевской темы или других классических тем (таких, как Фауст, Дон Жуан, а также Клеопатра, Эдип, Медея, Федра и т. п. — А. В.) лежит сюжет — фабула (с устоявшимся набором и последовательностью событий — А. В.). В основе произведений, соотносимых с «Дон Кихотом», лежит сюжет — ситуация. Здесь уже нет тождества героя и фактов его истории... Но при всем своеобразии фабульной стороны этих произведений, так же как героев и идей автора, ощущается родственность изображаемого положения — «донкихотского» отношения героя к действительности...»

И, стало быть, переключка между двумя формулами: «печальный детектив» — и «рыцарь печального образа» не содержит в себе сенсации. Тогда, может быть, какая-нибудь другая сенсация нам с вами «светит»? Что ж, пожалуй...

2. РЫЦАРЬ ПЕЧАЛЬНОГО ОБРАЗА — И ТВОРЕЦ «ДЕДУКТИВНОГО МЕТОДА»

Исходный тезис: жанр детектива представляет собой реализацию донкихотской формулы на современной основе. Эмпирические доказательства — под рукой: фигурировавшие чуть выше эпизоды «Смертельного сафари». Герой-одиночка не раздумывая вступает в схватку с фигурой неопределенных, но весьма грозных очертаний. Его решимость сражаться обусловлена задачами самозащиты — и в неменьшей степени пафосом борьбы за справедливость. Такова этическая подоплека конкретного детектива. Но такова именно суть донкихотской ситуации в абстрактно-философском плане.

Взглянем на эстетическую сторону вопроса. Противник, предстающий очам героя, — средоточие мерзостей, негодяй, каких свет не видывал, страшилище. Но и Дон Кихоту на каждом шагу попадают страшилища. Неважно, что эти страшилища зачастую мнимые, плод больной фантазии. За ними вырисовываются контуры истинного страшилища — мира неправды. Злоключения Дон Кихота — приключения борца со Злом.

Прочтем историю этих злоключений как метафору, и мы получим подробную картину — или карту — передраг, выпадающих на долю персонажа в детективе, будь то «Смертельное сафари» или любой другой роман такого же толка¹.

Раймонд Чандлер, Дэшил Хэмметт, Росс Макдональд (а на «международном» материале — Алистер Маклин) — корифеи направления, прославившиеся острыми обличительными романами. Но если посмотреть на проблему в принципиальном плане, то выяснится, что детектив с первых своих опытов выказывал зависимость от этого нравственного и сюжетного эталона, пренебрегая разве что чисто внешними эффектами (вместо потасовок физических, практиковались и практикуются интеллектуальные дуэли, изысканным мастером коих был, конечно же, мистер Шерлок Холмс).

«Холмсиана» (воспользуюсь полуироническим-полуапологетическим термином Карела Чапека) представляет собой вариации по мотивам познавательного, исследовательского донкихотского путешествия: пара спорщиков комментирует мир. И кажется, нет у Шерлока Холмса никаких стимулов жить и действовать, кроме этой абстрактно-гуманистической цели: «Бороться за справедливость!»

Не искусственное ли зрелище: герой сэра Артура Конан Дойла на фоне лозунга, отмеченного печатью революционной фразеологии? Мне представляется, что вполне естественное: и сам автор, и его толкователи (внутри и вне произведения) провозглашают приверженность героя высоким идеалам.

Любопытно: каждый донкихотский эпизод — нечто вроде перевернутого детектива. Ибо приговоры герой провозглашает даже до появления на горизонте их объекта. И только потом происходит постепенная девальвация изреченной (и заведомо ложной) догмы.

Если Дон Кихот с приговоров начинает, то детектив приговорами кончает, и падая на ветряную мельницу, Шерлок Холмс всегда готов воскликнуть: «Ба, да это ведь ветряная мельница!..»

Биография Шерлока Холмса старше его самого: он родился еще до того, как родился. Исходная модель детектива была создана за полвека до Конан Дойла Эдгаром По, и рассказ «Убийство на улице Морг» справедливо считается первоисточником жанра. Но нарицательным символом детектива выступает, конечно же, Шерлок Холмс. Всякий очередной герой жанра как бы проходит сверку с Шерлоком Холмсом. Иногда — ради того, чтоб стать на него похожим, иногда, наоборот, чтобы уйти от подобия. Но ведь и несходство сохраняет память о сходстве.

Что дает Шерлоку Холмсу преимущество перед героем По, Дюпеном? Напарник-оруженосец, создающий своими поверхностными наблюдениями выгодный фон для «железной» логики своего созерцателя. Возникающая система пародийных отношений: между Шерлоком Холмсом и доктором Уотсоном, между их дуэтом и Дюпеном, между детективной ситуацией и рыцарской, между новым жанром и предшественниками.

разновидности детектива, той самой, где сыщика начинают бить на первой же странице и бьют — в прямом или переносном смысле слова — до самой последней с нарастающим энтузиазмом (а он не упускает возможности дать сдачу, проявляя фантастическую и все прогрессирующую живучесть). «Жестокий» детектив, как и жестокий романс, рассчитан на интенсивный читательский отклик, но, в отличие от жестокого романа, не на элегически-слезливый, а на агрессивно-мстительный: «Так его, негодяй, чтоб не повадно было!»

¹ Подчеркиваю: такого же толка. Ибо «Смертельное сафари» — типичный образец особой жанровой

3. СОСНИН — ИЛИ СОШНИН?

На одном из совещаний по детективной литературе писатель, вовсе не обделенный читательским вниманием, заметил с обидой, что жанру ныне противостоит преуспевающий конкурент: никто не читает детективных романов, все читают газеты, никто не ходит на детективные фильмы, все смотрят программу «Время» и «Прожектор перестройки». Хотя мысль эта ныне расхожая, писатель малость преувеличил: детективные романы по-прежнему пользуются спросом и детективные фильмы — тоже. Но появился у читательских эмоций дополнительный оттенок — я бы сказал, снисходительно-иронический, даже чуточку пренебрежительный. Вроде бы детектив — бабушкина сказка, и не только своей генеалогией (рассуждая таким образом, читатель был бы прав: от фольклора жанр перенял многое), а прежде всего легковесностью, привычкой «витать в облаках». Похожую реакцию теперь, судя по прессе, вызывают многие другие жанры. То там, то здесь предъявят им упрек, что-де слишком отстали они от периодики в постижении сложных жизненных процессов.

Этот пассаж «и другие жанры — тоже» не служит детективу оправданием: другие жанры — тоже, но у детектива возможности особые. Как писалось во время оно: «кому много дано, с того много и спросится». А дано ему действительно многое. Присущий жанру от роду этический пафос наделяет детектив функцией судьи нравов. Отвечает ли современный детектив столь высоким требованиям?

На страницах «Звезды Востока», журнала, известного как давнее пристанище жанра, была опубликована в 1987 году повесть В. Вальдмана и Н. Мильштейна «Тайна старой монеты». Старая монета (с профилем великого князя Константина) претерпевает несчетные приключения в прошлом (о чем мы узнаем из рукописи ее владельца профессора А. В. Зарецкого) и в настоящем (о чем нас информируют «от себя» сами авторы). После внезапной смерти профессора — а может быть, синхронно этому печальному событию — монета исчезает. Среди подозреваемых три нумизмата: Барабанов, Мезенцев, Петрунин, уловник Носов, слабозвонный внук профессора Андрей, два хулигана, а также друзья Андрея — Олег и Нина. Каждому подозреваемому выделена соответствующая толка подозревательных поступков, каждому — прожиточный минимум индивидуальных особенностей, точнее, примет (у одного нумизмата — сварливая жена, у другого — вообще нет жены и т. п.) Два сыщика — Туйчиев и Соснин, связанные соответствующей субординацией, принимаются за дело; на читателя низвергаются даты, факты, минуты, портреты, Барабанов, Мезенцев, Носов, Олег в произвольных сочетаниях. Установить что к чему, кто к кому, кто к кем под конец не под силу совершенно уже никому, кроме Соснина да авторов. И это вполне приравняет этих последних к Агате Кристи: хорошая кутерьма перед финалом — ее любимое развлечение. Другие вдохновители В. Вальдмана и Н. Мильштейна — братья Вайнеры со своим «Визитом к Минотавру» и Еремей Парнов с «Ларцом Марии Медичи»: там тоже картины прошлого проецируются на настоящее, сегодняшним героям тоже сопутствуют тени героев вчерашних.

Что ж, образцы вдохновляющие... К чести авторов «Старой монеты», они, увлекаясь собственной выдумкой, нет-нет да и увлекут вдруг — жаль, что ненадолго — читателя. Но совсем не

вдруг в душу закрадывается сомнение: эти ли проблемы волнуют нас сегодня?

И вот я вплотную приблизился к опасной черте. Дальше меня подстерегают пропасти и тупики. Скажешь, что Агата Кристи нам сегодня не нужна, — согрешить против своей совести и своих литературных симпатий. Скажешь, валяйте, ребята, в том же духе, опять же согрешить против совести. От советского детектива в эти дни мы ждем прямого участия в перестройке общества, его духовных и экономических обстоятельств. Дефицит реализма в другом жанре может получить некую компенсацию — скажем, в виде романтической приподнятости, лирического подъема и т. д. На детективном поприще дефицит реализма равносителен капитуляции перед правдой жизни, перед коррупцией, застоєм, пережитками и рецидивами культа, перед всем тем, что с технократической сухостью и точностью называют сейчас «механизм торможения».

Белла Ахмадулина опубликовала недавно в «Дружбе народов» (1987, № 8) балладу «Гребенников здесь жил...», заставляющую вспомнить «Лесного царя». Только кошмары здесь, не в пример гетевским, до жути конкретны: это трагические реалии сто первого километра, с его пьянками, уголовщиной и нуждой. Завершив повествовательные строки спиритическим сеансом высокого драматического накала, поэссса заключает балладу так:

Смерть пристально следит за нашей стороной.
Закрыли вдруг «метро». Тоскует люд смиренный.
То мыслит не как все, то держит за спиной
придирчивый кастет наш километр сто первый.
Читатель мой, прости. И где ты, милый друг?
Что наших мест тебе печали и потехи?
Но утешенье в том, что волен твой досуг.
Ты детектив другой возьмешь в библиотеке.

Чувства «Печального детектива» оживают в ахмадулинской балладе как новый укор серьезной, большой литературы своему коллеге и сотоварищу, потенциально всеильному жанру, размениваемому на мелочи.

Постоянная забота детективщиков — погоня за новым жизненным материалом и свежими, незатасканными сюжетными поворотами. Несколько лет назад можно было сосочувствовать горемыкам: их прииски истощались буквально на глазах у изумленной толпы. Но писатели с завидным упорством продолжали писать, заполняя своей продукцией — от корки до корки — ежегодники издательства «Молодая гвардия» («Приключения-80» и проч.), а также аморфные серийные издания типа «Стрелы».

С середины восьмидесятых годов картина резко меняется. Глубинные преобразования нашей жизни ставят детектив лицом к лицу с поворотом поистине революционным: демократизация общественного сознания сопровождается небывалым подъемом гласности. А в этих условиях обнажаются такие причинно-следственные взаимосвязи негативных явлений, перед которыми ясельными забавами выглядят любительские (или даже профессиональные) покращи старых монет, икон и других музейных экспонатов. И на самом-то деле: что такое похищение нумизматического раритета (даже уникального, даже украшенного профилем великого князя Константина) — в сравнении с тотальным растлением душ или с хозяйственными манипуляциями на хлопковой бирже, где счет воровству идет на миллионы тонн, или с безнаказанными садистскими экзерсисами Адылова — бывшего Героя

Социалистического Труда, коему ильф-петровский Александр Иванович Корейко в подметки не годится.

Кустари-одиночки — преступники из традиционного детектива — безнадежно проигрывают организованному гангстеризму, мафиозным формам хозяйственной, административной и даже литературной преступности. Точно так «у них на растленном Западе» мелкие производители гибнут в схватке с «акулами капитализма» — гигантскими трестами и корпорациями. Называя некоторые жизненные процессы, я опираюсь на газетные сведения, на очерковые материалы вроде «Пирамиды» Ю. Аракчеева, или «Катехизиса...» В. Выжуровича, или «Зоны молчания» В. Соколова.

Опасно утверждать, будто у детектива нет открытий, столь же страшных в своей правдивости и пронизательности, столь же окончательных и глубоких; может быть, самый смелый и правдивый роман в этом жанре ускользнул от моего внимания. Все же, думаю, кабы он существовал, о нем говорили бы на всех перекрестках, как говорят о «Печальном детективе» или «Детях Арбата».

Добавлю: детектив недавнего прошлого знал и озрения. Социальные корни современной преступности нащупывал А. Адамов. Учились оперировать и мыслить крупными масштабами обобщений в телесериале «Следствие ведут знатоки» О. и А. Лавровы. Были психологические и сюжетные находки у Вайнеров, особенно на экране, в фильме «Место встречи изменить нельзя» с В. Высоцким в главной роли. В Богомолов показал, что распространенный тезис о несовместимости высокой художественности с детективным сюжетом — беспочвенный предрассудок — и в этом смысле его «Момент истины» оказался открытием литературных истин.

А. Адамову принадлежит честь поистине Колумбова: современный детектив ведет отчет своей биографии от «Дела пестрых» (1956) и «Черной моли» (1958). Хотя, конечно, предшественники этого автора никак не могут быть списаны на роль легендарных викингов, то ли открывших Америку в незапамятные времена, то ли вовсе не существовавших. Расторопно трудились в двадцатые годы «красные сыщики» на страницах романов В. Гончарова. Пытливо всматривался в лица замаскированных шпионов майор Пронин, герой повестей Л. Овалова. Автобиографическое «я» шейнинских «Записок следователя» старательно изучало закоулки пореволюционной уголовщины.

Что ж, Конан Дойл тоже имел предшественников. Тем не менее, эталонным детективщиком стал именно он, подобно тому как его прославленное детище, Шерлок Холмс, стал олицетворением всего детективного жанра. Аналогичная позиция у А. Адамова: не совсем первый, он все-таки первый. Зачинатель этапа, поднявший планку критериев достаточно высоко.

Детектив — неперемный компонент и спутник демократии. Демократия не навязывает этот жанр обществу. Но, отдавая кровю «сыщических» сюжетов, общество зачастую приобретает к ним вкус и пристрастие. Не будем говорить, что теперь оно любит детектив, такими словосочетаниями баловать детектив не принято. Но оно его терпит — и поощряет.

Возможен парадокс: какова демократия, таков и ее детектив, — он тоже мера гласности и, шире говоря, свободы. Ибо через детектив и посредством детектива раскрывается правосознание народа, его представления о том, что такое хорошо

и что такое плохо — и на элементарно-бытовом, и на философско-этическом, и на социально-политическом уровнях. Естественно, шкала нравственных ценностей (включающих все перечисленные, а возможно и какие-нибудь другие, «дополнительные» аспекты) у разных демократий — разная. У буржуазной демократии в спектре детективных тем отчетливо различимы — среди прочих компонентов — расизм или антикоммунизм. Хотя преобладает абстрактно-гуманистический пафос, и прогрессивные тенденции также пробиваются на поверхность.

Двадцатый съезд партии дал социалистическому демократизму мощный импульс, который не замедлил сказаться на общекультурных процессах. Любопытный факт: «Дело пестрых» появилось в год Двадцатого съезда партии. Случайность? Закономерность? Если и случайность, то такая, без которой литература никоим образом не обошлась бы, восполнив ее отсутствие другой аналогичной случайностью. Детектив потребовался обществу — и, что немаловажно, стал приемлем для общества.

Период, условно именуемый «годы застоя», не мог не наложить на детектив свой отпечаток. Размашисто оперируя категориями, «дозволенного» и «недозволенного», всяческие редакторы, официальные и неофициальные, радели о «проходимой» картине жизни. Детективу доставалось больше, чем другим жанрам, — и поделом: ведь его прямая публичность, его природная тенденциозность, приравнивающие эту литературу к политической периодике, вызывали у идеологической бюрократии особую опаску. Мало ли какими иллюстрациями будут снабжать мастера жанра свои мысли о корнях преступности в нашей стране! И в чем увидят преступление!

Не эта ли настороженность издательского начальства (при активном попустительстве и соучастии внутреннего редактора) обусловила негласную табель о рангах: лица, достигшие степеней известности, пользовались неким дипломатическим иммунитетом. От критики — и от детектива. От сатиры — и от детектива. Да что там лица — даже ситуации подпадали под запретную зону. А ну-ка писатель ненароком набредет на конфликт, имеющий нежелательные аналоги «наверху»! Или намеком зацепит реальное противоречие между словами и поступками очередного абсолютного монарха — да хоть того же Рашидова! Нет, нет, от греха подальше... Но подальше от греха в этом случае означало одно — подальше от правды, подальше от литературы!

Мне могут возразить, что В. Богомолов опубликовал свой «Момент истины» именно в годы застоя, что фильм Вайнеров вышел тогда же. И так далее. Я отвечу: никакого несоответствия между общей обстановкой и конкретными литературными фактами здесь нет.

В одном случае удача писателя достигнута на военном материале, который успел уже, кстати, отойти в область истории, в другом — на событиях послевоенных, тоже, условно говоря, «академических». Так что перед нами как раз то исключение, которое подтверждает правило.

Аналогичные казусы знакомы и сатире. Скажем, остросатирические «Подпоручик Киж» и «Малолетный Витушишников» Ю. Тынянова или «Возмутитель спокойствия» Л. Соловьева появились в сталинские годы, когда громогласная сатира находилась под фактическим запретом. Почему? Да потому же: эти произведения строились на историческом материале.

Мы часто сетуем на то, что у нашего детектива нет устоявшейся традиции. Полноче, да откуда же ей взяться? В период культа личности разыгрывались совсем другие детективы. А. Рыбаков, предпринявший в «Детях Арбата» попытку «влезть в шкуру» вожда, моделирует его способности следствия: «Типография подчинялась Ленину, переписка шла через Крупскую, руководили типографией Красин, Енукидзе и Кецховели. Больше ни один человек, как пишет Абель (Енукидзе — А. В.) о ней не знал, следовательно, не знал и ОН, Сталин. ЕМУ, Сталину, о ней даже не говорили...

Если ОН не знал о существовании в Баку, рядом с ним, подпольной типографии, то как можно утверждать, что ОН руководил партией, значит, ОН не мог не знать о существовании типографии. Отрицать это — значит отрицать его роль как первого помощника Ленина. Неужели этого не понимает товарищ Абель Енукидзе?»

Подобные логические, а точнее сказать, софистические, двухходовки «великого мыслителя» определяли правовой климат тридцатых годов, их юриспруденцию, их трактовку верности и чести, добра и зла. До детектива ли стране, которой правит верховное существо, равное своим могуществом самому господу богу?! Ведь и без всякого поиска и сыска оно всех и вся знает насквозь.

Подозрительность в сочетании с беззаконием, вседозволенностью, дискредитация юридических норм порождает в те годы эпидемию специфической болезни, которую я назвал бы синдромом приобретенного интеллектуального дефицита. Вот ее признаки. Безоговорочная вера в авторитеты большие и малые, но обязательно «подключенные» к его авторитету; слово, произнесенное или напечатанное им, безоговорочно, никаким пробам на истинность не подлежит, никаким сомнениям не подвластно. Тиражирование этого стереотипа на нижних этажах социального здания. Аналоги незаконных репрессий на бытовой, служебной, личной основе. Бессознательная правовая апатия; искаженное общеизвестной карательной практикой понятие о законе и законности.

Раз человек непохож на остальных, он кажется подозрительным, а раз он подозрителен, его надо забрать в милицию, посадить в тюрьму. Безразмерными становятся рамки категории «преступление». Анекдот — преступление. Завернуть в газету с портретом кусок хлеба — преступление. Опоздать на работу — преступление. Донос соседа — непроверяемая улика. Где уж тут обращать внимание на убийства или расследовать грабежи, если вокруг вершатся неизмеримо более страшные — по прежнему Вышинского — злодеяния — все эти пятиминутные опоздания да сомнительные разговорчики, не говоря уже о настоящих злодеяниях, разбираемых «процессами»... И что расследовать, коли все и так на виду. Повседневность настолько очевидна, настолько исчерпывающе, из конца в конец, просматривается, что детективной тайне и приткнуться-то некуда.

С другой стороны, накапливается огромное количество запретов, решений, постановлений и прочих законодательных актов, на которые принято плевать — не выполнишь, и ничего тебе не будет, они ведь существуют только на бумаге, они — не более как бумажный тигр времен китайской культурной революции.

И опять-таки о детективе: когда нет «правил игры», то нет и самой «игры», есть только «игра без правил» и «правила без игры». Прошу про-

щения у читателя: само слово «игра» в контексте тридцать седьмого года звучит кощунственно; однако здесь мне важно как раз вычлест из наших представлений о той эпохе игровое начало, карнавальность, без которой детектив невозможен.

Понимали честные люди тридцатых годов, что вокруг происходит надругательство над справедливостью, правосудием? «Дети Арбата» (а роман А. Рыбакова, во многом автобиографичный, может рассматриваться как документ эпохи) свидетельствует на сей счет: понимали. По меньшей мере, догадывались. Один из ссыльных на этапе говорит: «Уголовники — рвань!.. Шкуры, палачи. За миску баланды продадут товарища. Они главная опора администрации, ее помощники. Убил жену — восемь лет, да и те скостят наполовину за примерное поведение. А вынес с фабрики пару подошв — десять лет».

Эту мысль продолжает диалог матери главного героя с его дядей, видным индустриальным лидером:

«И она сказала:

— Выходит, мало дали, всего три года.

— Разве я говорю, что следовало дать больше? Соня, опомнись! Я говорю, что это, будем прямо говорить, в наше время пустяк — три года ссылки... Ведь расстреливают.

Она все улыбалась, казалось, сейчас засмеется.

— Вот как... Не расстреляли... За стихи в стенгазете всего три года ссылки в Сибирь — спасибо! Три года, чего там, пустяк! Ведь и Иосифу Виссарионовичу Сталину больше трех лет ссылки не давали, а он вооруженные вошения устраивал, забастовки, демонстрации, подпольные газеты выпускал, нелегально за границу ездил, и все равно три года. А побег сейчас Саша, ему, в лучшем случае, дадут десять лет лагерей... — Она перестала улыбаться... — Да! Если бы царь судил вас по вашим законам, то он продержался бы еще тысячу лет».

И она же, эта мысль, ложится в подтекст столь распространенного непротивленчества: «Вика, ее брат, их отец, весь его к р у г принял действительность как данность, как неизбежное условие существования. Форма этого прития проста: уважительная сдержанность, никаких двусмысленностей, анекдотов, намеков — слишком хорошо известно, чем они кончатся».

Представляется неточной оценка «Детей Арбата», содержащаяся в газетных заметках Александра Лациса («С точки зрения современника» («Известия», 1987, 18 августа): «Сложность композиции романа, многочисленность действующих лиц не затрудняют чтения, так как автор является мастером своего жанра, работает в каноне детектива». А. Рыбаков и на самом деле известен как мастер детективного жанра, написал «Кортик» и «Бронзовую птицу». Но уж чего нет — того нет. «Дети Арбата» — не детектив. Скорее — опровержение детектива, демонстрация невозможности детектива вне демократии.

Впрочем, литературные суррогаты тех лет (леденящие душу истории «о врагах народа», о наводняющих страну «агентах иностранных разведок», о «шпионах и диверсантах», завербованных зарубежными спецслужбами в среде крупных партийных, военных, хозяйственных деятелей, преимущественно — руководителей) создают видимость, будто развитие детективного жанра продолжается. Ее, эту эфемерную иллюзию, поддерживают театр и кинематограф. Получает, например, широкое распространение фильм «Ошибка инженера Кочина», сделанный по сценарию А. Мачерета и Ю. Олеси на основе пьесы бр. Тур и Л. Шейнина «Очная ставка».

Сохраняют ли подобные произведения вечный огонь жанрового генезиса? Разве что в форме тления, чреватого растлением.

И вот предварительные итоги этого лапидарного экскурса в историю. Детектив первого поколения — попытка пересадить на советскую почву модели западного, «конандойловского» романа в наивно-социологической обработке. Детектив второго поколения — по сути дела, шпионский роман, в котором традиционная, от Купера идущая маска разведчика отдана несчастной жертве большой подозрительности — «врагу народа», внутреннему эмигранту, озлобленному кулаку. Детектив третьего поколения осваивает реальные противоречия нашей действительности, преодолевая дефицит реализма и структурную дистрофию (попросту — отсутствие «тренировки», вялость повествовательной мускулатуры, неумение работать в соответствующем изобразительном, сюжетном, композиционном режиме).

Все эти, различные по возрасту, формации вполне мирно уживаются в современном, начала восьмидесятых, детективе (как ЭВМ различных поколений — в технике): по сей день на его «срезах» обнаруживаются — этакими годовыми кольцами — и то, и другое, и третье. В результате некоторые сборники и серии (а то и произведения) являют собой, странный конгломерат захватывающего — и неудобочитаемого, точного — и приблизительного, художественного (на специфический детективный лад) — и шаблонного, неудач, меченных несмыслаемыми стереотипами а ля тридцатые годы, — и посягательств на прорыв к новому мышлению (а именно оно в высшей мере нужно сейчас литературе рационалистических мотивировок!)

4. ВПЕРЕД, К ДОН КИХОТУ!

И вот — вторая половина восьмидесятых. Такое ощущение, что со дня на день «выткнется из воздуха» великий детектив, некий авантюрный аналог сатирического романа «Подлец», о котором Ильф и Петров мечтали после «Золотого тельца», но который так и не написали.

При чем здесь «Подлец»? Случайная ассоциация? Издержки эрудиции? Наоборот, прямой аналог некоторых современных обстоятельств — и ответ на запросы текущей литературной практики. Судя по словам Е. Петрова, «Подлец» должен был стать лучшим произведением сатириков: они задумали «очень большой роман, очень серьезный, очень умный, очень смешной и очень трогательный». Его неосуществившиеся достоинства, по-видимому, предопределялись отношением авторов к намеченному герою, фигуре, одновременно экзотической и обыденной: «человек, который в капиталистическом мире был бы банкиром, делает карьеру в советских условиях».

Надо отчетливо осознавать, сколь плакатной была ильф-петровская трактовка «тамошних» воротил: хищник, «акула империализма» — и тогда специфика их замысла окажется удивительно созвучной назревающему сегодня детективу с его ненавистью к нашей доморощенной мафии, к перерожденцам и циникам, к чудовищам, произросшим в тихих водах «застоя». Все это пока барахтается где-то среди теней подтекста, но, в отличие от мифической Несси, очень

и очень реально. Мы все явственней ощущаем: там, в глубинных недрах преступности, есть нечто — зловещее и опасное, что литературе предстоит еще исчислить, изучить и назвать, двигательный центр многих уродливых явлений. То ли закономерность, то ли личность, то ли банда заговорщиков — этот фактор работает на страницах будущего детектива под разными марками: от «механизма торможения» до «срастания правоохранительных органов с уголовщиной», но дело, конечно, не в формулировках — важна его зловещая сила...

Роман Ильфа и Петрова «Подлец» разошелся по страницам газет, «Правды» и «Литературки», распался, расплылся, раздробился на фельетоны. То же самое пока происходит с будущим великим детективом: его проблематика путешествует по периодике, постепенно набирая определенность, подыскивая детали и персонал, оттачивая стиль и наращивая праведный гнев.

О чем пишут сегодня газеты? Всего не перечислишь, да и надобности такой нет. Нас ведь интересует лишь один аспект — «детективный».

Вряд ли я ошибусь, если скажу, что главная забота сегодняшней публицистики — борьба за справедливость, за реабилитацию невинно пострадавших, за восстановление доброго имени оклеветанных, за развенчание схоластических догм, во имя которых приносились в жертву подлинные идеалы, за идеалы, поруганные и затоптанные в грязь разнузданной шайкой догматиков... Это все та же старая формула детектива: даешь правду! сквозь тернии — к звездам! Однако — в новой транскрипции.

Напрасно мы будем искать на публицистической скамье подсудимых привычную публику: традиционных гангстеров, «паханов» или медвежатников, не говоря уже о племянниках, алчущих наследства. Их здесь нет (либо они присутствуют на вспомогательных ролях — как инструмент чужой воли, как знак тенденции и проч.). А есть благообразные профессора, заносчивые руководители (вплоть до важных чинов в министерствах и обкомах), есть лживые следователи и прочие бездушные служители Фемиды... Да мало ли солидных — по виду и положению — людей вдруг получило на полосах «Правды» и «Известий», «Литературной газеты», «Московских новостей» и «Огонька» очень зябкое и зыбкое амплуа.

Читаешь изо дня в день эти «трехколонники» да «пятиколонники», и возникает чувство, будто перед тобой по принципу «продолжение следует» развертывается сюжет единого произведения, творимого в каноне детектива. Только композиция его перевернутая, парадоксальная. «Преступника» называют не в развязке, а в завязке. Улики, накапливаемые в процессе литературного следствия, работают на «преступника» и, стало быть, в ущерб «стражам порядка». Под конец «стражи порядка» сами попадают на «преступники», по меньшей мере, в «подозреваемые». Литературные приговоры встречают мощное сопротивление реальности. Капитулировавшие на газетных полосах начальники — в жизни отнюдь не спешат складывать оружие, просить об отставке и «признавать свои ошибки». Жаль, очень жаль, что образные казни так похожи на карнавалы сожжения чучел: дыма много, а реальному врагу, будь то царек вражеского племени или лорд Керзон, от этого ни тепло ни холодно.

Поэтика «коллективного» детектива современной периодике — вовсе не дань моде, не утверждающаяся схема «наоборот». Пускай она

нормативна, как и всякая поэтика (отчего ее сжатая характеристика может вызывать на иронию), пускай она признает правомерность сенсации (это, впрочем, естественно, если помнить, что существует близкий к детективу жанр сенсационного романа), ее контуры подсказаны развитием социальной обстановки в стране после апрельского Пленума. Поэтика в данном случае — прямое отражение действительности во всех ее конфликтных противоречиях.

Период застоя породил в обществе, наряду с экономической и личностной пассивностью, еще и коррупцию, на преодоление которой, в частности, и обращены усилия печати. Коррупция — вот, в конечном счете, истинный сюжет «газетных детективов». И «герой» этой литературы тоже коллективный: могущественный клан перерожденцев и циников, по сути дела, разветвленная мафия, сплоченная клятвой беспринципности, цинизма, безразличия к родному народу.¹ Функционирует сей механизм целесообразно — соответственно своим эгоистическим интересам, и потому в разных историях, излагаемых газетами, разоблачается одна логика. Невиновного осудили — значит, он занял вакансию настоящего преступника, а тот остался цел, на своем боевом посту вора, или афериста, или взяточника, или наемного убийцы, или лжеученого. И он отблагодарит «организацию» верной службой: ложным показанием, доносом, взносом в общий котел правонарушений, пламенной речью на конференции, положительной рецензией. Как же не порадеть «организации» за родного человека?! А уж взамен его пусть отдувается кто-нибудь другой, желательнее — тот, от кого исходит опасность для «общего дела». Свято место пусто не бывает!

Заманчивое это занятие: расписывать злодеяния отечественной мафии в абстрактных красках. И гласность учтена, и безгласность соблюдена, и никто тебе не отомстит. Но газетная публицистика называет, не может — по самой своей природе — не называть имена, должности, географические координаты, административные зависимости. Широком фронтом ведет она свое наступление — в пору взять карту да расставить красные флажки, чтобы воочию увидеть успехи и размах начатого дела. И будет на что посмотреть неравнодушному зрителю!

«Дело Сургутского» в «Известиях». Впоследствии газета изложит суть напечатанного таким образом: «18 ноября 1983 года директор известного в стране совхоза был внезапно исключен из партии и уволен с работы. 20 месяцев он провел в следственном изоляторе. Спустя три года коллегия Мособлсуда... постановила: оправдать за отсутствием события и состава преступления...» («Известия», 1987, № 276, 3 октября). Но это впоследствии, когда подойдет время для эпилога, а пока очерк соблюдает ритуалы традиционного детектива: над честным человеком глумятся, тиранят его лжесвидетельствами и жестокими незаслуженными карами — и у нас, свидетелей происходящего, раздуваются ноздри от гнева, колотится сердце и сжимаются кулаки: негодаяв, затеявших эту расправу над неугодным, нельзя не возненавидеть; опять же — добро должно быть с кулаками.

На этом перекрестке сходство между газетной

корреспонденцией и детективным романом кончается. Роман повел бы нас верными своими путями к счастливому финалу. Корреспонденцию венчает... многообразие, что, впрочем, закономерно: литературные финалы придумывает писатель, газетные — жизнь, чьи фантазии — непредсказуемы, а главное — вынесены за скобки произведения.

Что ж, нас устраивает и такой финал — маленькая заметочка под рубрикой «По следам наших выступлений» или современной, более элегантно, как бы «импортной»: «Резонанс»... В случае с Сургутским развязка приняла внешний вид классического хеппи-энда. Под «шапкой»: «22359 рублей и 01 копейка — такова сумма, которую В. Сургутский получил за ущерб от незаконного привлечения его к уголовной ответственности» напечатано, в частности, следующее: «Сегодня можно сообщить читателям, что изменилось с тех пор в его судьбе. Через несколько дней после публикации очерка в редакции раздался звонок: Виталия Александровича просили зайти для знакомства во ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии. Мы передали ему эту просьбу. Не прошло недели — и Сургутский стал заместителем директора института...» (В институте прокомментировали: «Из очерка было ясно, что Сургутский именно тот человек, который нам нужен...») Одним словом, добродетель торжествует (скажем осторожнее: готовится торжествовать). А что там слышно насчет порока, наказан ли порок?

Увы, по этому пункту газетный детектив (и жизненная практика) в данном случае (и во многих других) разительно расходится с литературным: торжествует добродетель, но порок тоже торжествует, порок и в ус не дует. Снова представим слово «Известиям»: «Доброе имя Сургутского три с половиной года публично втоптывалось в грязь. И со стороны тех, кто вольно или невольно способствовал этому, по сей день не предпринято даже попытки публично извиниться, не говоря уже о наказании должностных лиц, которым вся эта история была выгодна. Они, кстати, материально ничуть не пострадали от того, что все расходы за их ошибки (или умысел!?) взяло на себя государство. Идет третий месяц после публикации очерка, но нет ответа из Московского обкома КПСС, и мы не можем сообщить читателям, будет ли Сургутский восстановлен в партии. Молчат и органы прокуратуры». Вот так-то!..

Мы обратились к очерку «Дело Сургутского» не ради особых публицистических или беллетристических его достоинств. Привлек он нас типичностью фабулы во всех ее трех ипостасях: жизненной, юридической и журналистской. Десятки подобных «дел» опубликованы за последние два-три года — и для всех характерно это парадоксальное сочетание: «добродетель торжествует, но торжествует и порок», и все переносят свой финал из текста в жизнь, из настоящего в будущее, из мира реальностей в мир надежд. Прочитую еще заключительные строки «Неоконченной истории» Аркадия Сахнина («Известия», 1987, 16 мая): «Кто, оставаясь в тени, целенаправленно преследовал честных ученых и добился полной реабилитации работников, себя скомпрометировавших?

...Как мог появиться этот незримый, но, судя по масштабам деятельности, огромный механизм, который перемалывает, словно в жерновах, не только судьбы людей, но и решения как высшего контрольного органа партии, так и оценки ЦК КП Украины...» Те же вопросы, те же отсутствие ответов — и вопросы поистине гамлетовские,

¹ Мафия стала объектом детектива еще до Конан Дойла. Вспомним, что именно коллективную преступность сделал объектом своих саркастических разоблачений автор «Оливера Твиста».

потому что с их решением связано — быть или не быть перестройке, быть или не быть всем нам. А отсутствие ответов поистине грозное, вызывающее, угрожающее: дескать, голыми руками нас не возьмешь...

Перечислять эпизоды коллективного газетного детектива можно долго, но вряд ли в этом есть необходимость — они у всех на слуху: и очерки О. Чайковской (включая даже тот, что посвящен бедам крупнейшей книгохранилища страны), и судебные этюды А. Ваксберга, и трагический рассказ о проректоре юридического вуза, ставшем по навету подчиненных игрушкой юриспруденции — собственного детища (ведь мучившие его следователи теоретически могли оказаться «его выпускниками»).

Существенно вот что: масштабы обобщения, найденные газетным детективом, постепенно укрупняются, обретая в ряде публикаций — главным образом, журнальных — настоящее художественное бытие. Здесь не место анализировать «Пирамиду» Ю. Аракчеева: она заслуживает специального обстоятельного разговора, но как характерный пример в подтверждение сказанного назвать ее необходимо. Выстрадавшая аналитичность; авторской кровью и потом заработанный документализм; тонкие психологические и социальные мотивировки; точные наблюдения над материалом; верно определенный стиль, вместе строго фактивный, хроникерский, дневниково-репортажный — и лиричный; лапидарный язык, сочетающий «назывную» функцию с искренней, от сердца идущей патетикой, — все это обращает «Пирамиду» в завершающий элемент, в пик публицистической пирамиды «детективных» очерков. «Пирамида» — быть может, первая ступень на пути к будущему большому детективу, тому, который в высокохудожественной форме покажет правду жизни — через «тайну», «поиск», «следствие», то есть на своем собственном наречии, но без ремесленнических ухищрений (десяток мнимых преступников и один настоящий). Арифметика сейчас действует нестандартная — в жизни, по меньшей мере. Значит, другую арифметику должен усвоить и освоить жанр.

Прецеденты такого рода жанру известны. На пародийную ноту в свое время переориентировали детектив авторы повести «Берегись автомобиля!», на фантастическую — братья Стругацкие. В документально-репортажном ключе выполнил свой «Момент истины» В. Богомолов.

Есть, наконец, и классический прецедент: «Дон Кихот». Как замечательнейший роман мировой литературы вырос на почве рыцарских романов, в их переосмыслении, преодолении, так и новые шедевры детективного жанра, не сомневаюсь, возникнут из газетного детектива — и того лучшего, что создали наши писатели в старой доброй манере автора «Собаки Баскервилей».

Завтрашний облик жанра невозможно, впрочем, спрогнозировать на кулинарно-коктейлевый лад: перечислил компоненты, наметил дозировку — и жди результата. Десятки и сотни тематических и формальных аспектов уже сейчас напрашиваются в будущий детектив — а сколько еще неродившегося, пробивающегося, помалкивающего!..

Что пока на виду? Надругательства над презумпцией невиновности. Рецидивы культа личности... Круговая порука и круговая оборона бюрократического аппарата... Хозяйственные преступления... Оголенный консерватизм... Посагательства на ленинскую национальную политику... Спекуляция «примазавшихся» на перестрой-

ке... Злобные нападки рутинеров на всякую живую инициативу... Подкопы под гласность и демократию... Мнительность под личиной бдительности... И прочее в том же ретроградском духе.

Но не только это...

Напрашиваются на детективное (если не пародийное) истолкование некоторые новоявленные эффекты массовой психологии. Например, такой: общечеловеческая потребность в необъяснимом, довольствовавшаяся когда-то снежным человеком, пришельцами из космоса, летающими тарелками и легендами об экстрасенсах, сместилась ныне в сферу политическую: ищут масонов, обнаруживая при этом все признаки застарелой болезни, которую я назвал бы Рокамболевым комплексом (герой Понсона дю Террайля был большим мастаком по части тайных обществ). Вред от этого занятия явный. Социальная активность человека переключается с реально существующих негативных объектов на призраки.

Можно детективным способом «раскручивать» экономические проблемы, как это делает, по верному замечанию Е. Сергеева, Ю. Черниченко. Можно по тем же принципам реконструировать исторические истины, восстанавливать репутации людей, несправедливо обоглаженных узурпаторами власти и их услужливыми приспешниками... Многого можно... И многое нужно...

Обостряется в этой связи проблема положительного героя. Миллиционер? Инспектор уголовного розыска? Следователь прокуратуры? Были уже в книжном детективе эти персонажи — и в газетном детективе (часто — на непривычных ролях) — тоже. Журналист? Также набившая оскомину фигура... Но такой, анкетный («по профессии»), подход малопродуктивен. Не столь уж важна должность детективного наблюдателя — важна его человеческая сущность. Новый детектив нуждается в новой, углубленной, серьезной трактовке характеров.

И он к ней приближается — опять-таки на журналистских тропах. «Литературная газета» (1987, 28 октября) напечатала портретный очерк А. Ваксберга о замечательном, по-настоящему интеллигентном человеке В. В. Найденове, заместителе Генерального прокурора СССР, поднявшем руку на мафию в годы застоя, когда подобные поступки были сопряжены с чрезвычайной опасностью. «Судьба прокурора» — так называется материал — драматическая история конкретной жизни. Одновозможно «Судьба прокурора» — разведка возможностей детективного жанра. Прежде всего, на пути к настоящему герою. А уже через этого героя — к настоящему, неприманному, реалистическому обстоятельству.

Не так давно Виктор Астафьев кинул в лицо своим оппонентам такое признание: «А что касается совета: «Солдат, так и пиши о солдатах» — я охотно его принимаю и хотел бы всю жизнь вдохновляться примером создателя величайшего шедевра мировой литературы «Дон Кихота». Четыреста лет назад сочинил его солдат-инвалид Мигель де Сервантес Сааведра, и начал он эту гуманнейшую из гуманных книг сидя в тюрьме...» (В. Астафьев. «Да пребудет вечно...» ЛГ, 1987, 7 октября). Не дана ли здесь исчерпывающая мотивировка этого неожиданного заглавия «Печальный детектив»? И нет ли здесь призыва ко всем честным авторам, включая «детективщиков», держать равнение на «рыцаря печального образа»? Опять старый и вечно новый лозунг: вперед, к Дон Кихоту!



РАНЯЩАЯ РАДОСТЬ НОВИЗНЫ

Андрей Иванов. Свежесть века. Избранное. Стихи, поэмы. Издательство литературы и искусства им. Г. Гуляма, Ташкент, 1987.

Как-то Юрий Кузнецов, оценивая творчество собрата по перу, не то выдвинул собственную, не то вспомнил традиционную версию: «Поэт — это отклик, зеркало, эхо!» И расшифровал далее: «Щедро отзываясь на сигналы мира, поэт постепенно обретает потребность слушать, видеть, сочувствовать, понимать».

Эхо, зеркало! Но ведь это всего лишь повторение, отражение. Неужели лишь такова суть поэта?!

Знакомясь с поэтическим миром Андрея Иванова, с его мироощущением, миротворчеством, понимаешь, что это не так.

Андрей Иванов — ровесник века. Вся его долгая поэтическая жизнь — отражение модели мира двадцатого столетия. Но поэт такого масштаба не просто сын своего века, но и его создатель, ибо творчеством своим воздействует на духовный потенциал общества, преображая его, привнося в мир свою толику красоты, гармонии, мудрости.

Так кто он таков — поэт? Ответ, конечно же, подскажет только его творчество.

«Свежесть века» — в названии книги — глубокая символика. Таково мировосприятие поэта. Но чтобы осознать это, ему потребовалось духовное восхождение длиною в три четверти века. И даты под поэтическими циклами, вошедшими в книгу «Свежесть века», — вехи, ступени этого восхождения.

Неоднородным было поэтическое освоение и отражение мира, неоднозначным — воздействие на него. Совершенно отчетливо просматривается триединство поэтической сущности Андрея Иванова, его лирический герой — и страстный натур-философ, и тонкий, по-юношески безоглядный лирик, и, наконец, бестрепетный освоитель, а точнее, смыслитель макрокосма.

Нетерпеливая жажда поведать о борениях душевных стихий, где самопроизвольно прежде других прорывалась радостная потребность приятия всего сущего, заставила Андрея Иванова впервые взять в руки перо. Это еще не было исповеданием натурфилософии, это были затаенные акварели или сочные натюрморты. Это было пока лишь удивление, вернее, удивленное восхищение явленным миром.

...Еще стоит в горах лиловый чад,
Еще стада, спускаясь с них, кричат,
Но явственнее шестет тополиный.

И вот он, сумрак. Полная луна,
Горами диск до белизны обточен.
Я долго буду помнить, Фергана,
Большое сердце азиатской ночи.

Но постепенно взгляд созерцателя уступает место взгляду пытливого мыслителя, и природа в творчестве поэта обретает философское начало, она видится уже как первооснова человеческого существования, формирования нравственных начал бытия.

Весь яркий мир и легкий, и горячий,
Будящий мысль, надежду и мечту,
Что прояснил глаза и сделал зрячим,
Люблю безмерно и безмерно чту.
Он наполняет душу теплотой,
Как летних трав невнятная печаль.
Природа с материнской доброю
Приводит нас к началу всех начал.

Потребность интимного самораскрытия, необходимость прикоснуться к сокровенным движениям души приходит позже, уже в зрелые годы. И поражает лирика Андрея Иванова своей почти детской открытостью, незащищенностью и мудрым осознанием неизбежности конца. Конца союза двух навечно соединенных сердец, конца жизненного пути. Рискну привести полностью одно из самых пронзительных лирических стихотворений книги, могущего дать представление о глубине поэтических переживаний и масштабе лирического дарования поэта.

Вполголоса шумели сосны
В час долгой тонкой темноты.
Мне вспоминались наши весны,
И поступь времени, и ты.
И нашей жизни перепутья,
И все, что нам смотрело вслед,
Плескалась грусть, но здесь, в безлюдье,
Надежд и тайны реял свет.
Смывая с сердца грусть, он реял
Поверх ума, поверх ветвей.
И, обжигаясь им, я верил
В присутствии души твоей.

И все-таки... каким бы проникновенным лириком не был Андрей Иванов, как бы восторженно ни воспевал природу, тем не менее (сместем предположить), он никогда бы не стал большим мастером без дерзкой своей попытки поэтически осмыслить само мироздание. «Широкие мысли пространства и времени»¹ приносят Андрею Иванову самые веские литературные достижения. Именно здесь он — настоящий философ, и именно здесь он — настоящий художник, палитра которого исполнена силы и величия.

И совершенно естественно, что мысли, которыми поэт пытается разом охватить вечность, выстраиваются у него в свободный стих. Только верлибр способен дать мысли истинный взлет и всеохватность, считал американский классик Карл Сэндберг. Вот такую всеохватность и являют нам свободные стихи Андрея Иванова, требующие от читателя высокой культуры чувства и мысли.

«...Вспомнит ли частица материи, напрягая затрепетавшую

¹ Выражение Уолта Уитмена.

память, невозвратность своих превращений,
острую собранность,
тревогу и цели своего полета?

Вспомнит ли сверкающие океаны энергии,
огненную душу
Вселенной, голубые призраки сгоревших миров?

...Вспомнит ли, как дымится Млечный Путь, перехватив
дыхание Галактик, как отстаивается великая
тишина в
беззвучном трепете угасаний?

Явно прослеживаемые поэтические ипостаси автора «Свежести века» однако не исчерпывают полностью его художественного потенциала. Без социально наполненной поэмы «Эх, дубинушка, ухнем!», без исторической драмы о художнике Андрее Рублеве, ставящей извечный вопрос о сущности и назначении творца, трудно измерить масштаб личности поэта. Но если внимательно всмотреться в поэтику и художественную структуру этих эпических «полотен», то и здесь обнаруживаешь, что Андрей Иванов в них не только гражданин, патриот, но и лирик, и мыслитель, радостно и всеобъемлюще принимающий вселенную.

Но, кажется, мы выстраиваем уж слишком упорядоченную концепцию, рассматривая творчество Андрея Иванова. Это всегда заманчиво, но, конечно же, как правило, несет в себе элемент условности. Стихи же пишутся для того, чтобы читатель воспринимал их эмоционально, а не исходя из наукообразных рекомендаций, находя в душе своей отклик на мысли и чувства, что волновали поэта.

Именно так — волнуясь и сопереживая, читаешь Андрея Иванова. Его поэзия ярка, экспрессивна и... неожиданна, а это ли не есть главное достоинство поэта — самобытный, ни с кем не сравнимый взгляд на мир!

И еще одно свойство поражает в лучших стихах Иванова: неустанное, не проходящее с годами стремление открывать в окружающем мире все новые красоты и грани. «И ранящая радость новизны», точно аура, парит над каждой строкой поэта и водит его пером.

В. АЛЕКСЕЕВА.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Аман Мухтаров. Волшебник. Рассказы. Издательство ЦК ЛКСМ Узбекистана «Еш гвардия», Ташкент, 1986.

Впечатление от рассказов Амана Мухтарова возникает порой самое неожиданное. То начинаешь невольно искать конкретную информацию о месте действия и подлинных участниках событий — настолько все репортажно, «списано с натуры». А то, напротив, сразу становится ясно, что персонажи — фигуры условные, образы собирательные, и такой рассказ уже напоминает очерк «на моральную тему», где имена изменены, узнаваемые подробности опущены и где упор сделан на самой ситуации. Обозначения газетных жанров возникают, думается, совсем не случайно. Общая тенденция проникновения публицистики в художественную литературу в

творчестве А. Мухтарова проявилась, пожалуй, со всей очевидностью, принеся, однако, с собой и достижения и просчеты. Впрочем, пора перейти к самим произведениям.

Вот Надира из рассказа «Сестры». Поддавшись на уговоры родителей, она сначала устраивала свою младшую сестру Наказат в медицинский институт, потом помогала ей учиться, а когда та с грехом пополам получила диплом, помогла остаться ей в городе. При этом Надира давно знает, что ее сестра никакой склонности к медицине не имеет. Наказат может, например, прекратить прием больных и заняться... маникюром.

«Я очень виновата, что пошла на поводу у родителей, не смогла внушить им, что Наказат должна сама найти свою дорогу в жизни», — сетует Надира. И дальше: «Не в нашем ли мнимом великодушии, теплой опеке причина того, что вокруг так много бездарных врачей, учителей, инженеров». Что тут скажешь? Все правильно. Но вот художественно ли, убедительно ли — действительно вопрос.

Если попытаться представить себе реальных прототипов героинь этого рассказа, то довольно быстро обнаружится нехватка исходных данных, возникнут новые вопросы: а какие привычки у сестер, как они росли, почему по-разному относились к ним родители, какие, наконец, у них характеры? Надира и Наказат противопоставлены друг другу лишь в их отношении к работе. В результате такого сужения поднимаемая писателем острейшая проблема бездейственности, мягкотелости порядочного человека теряет свою глубину, остается лишь обозначенной.

В последние годы среди молодых узбекских литераторов распространилось мнение, что задача писателя — поставить, высветить проблему. Тезис этот, полностью справедливый для публицистики, все-таки не подразумевает той глубины, которая доступна прозе. Вот и в тех рассказах А. Мухтарова, где идея не умозрительна, а опирается на приметы реальной жизни, повествование становится более выразительным и убедительным.

Вполне узнаваем Шадиев из рассказа «Заблудились» — «аксакал научного мира», как он сам себя называет. Себялюбие стало главным принципом его уже почти прожитой жизни. Этот «среднего роста, располневший, с круглым лицом и вечно сонными глазами» «специалист» только и делает, что обманывает: государство, занимая чью-то должность, родственников, наивно верящих в его мнимые достоинства, себя, наконец, надуваясь чванством от ощущения своей значительности.

Не только наблюдательность, но способность выразить суть явления обнаруживает писатель в рассказе «Бусы» — едкой сатирической зарисовке патриархальных нравов. За ритуальными фальшиво доброжелательными приветствиями и обязательными походами друг к другу в гости скрываются все те же равнодушие и эгоизм, стремление сполна получить проценты со сделанного когда-то доброго дела. Все эти тетушки и дядюшки привычно считают всех молодых родственников своими вечными должниками.

В рассказе «Карима» тема нравственной глухоты обретает выражение в контрастном противопоставлении характеров двух молодых людей: лирического героя, возвышенного юноши, и его возлюбленной, девушки с противоположными взглядами на жизнь.

Главное в характере Каримы — практицизм. Она не осуждает свою тетушку, которая, уложив-таки своего неизлечимо больного мужа в больницу, вместе с любовником устраивает в своем доме вечеринку для избранных. Для Каримы такой оборот кажется вполне естественным — муж тетушки Халимы — старая развалина, от него одни заботы, а Кудрат Фазылович, напротив, сам может позаботиться о своей «даме сердца».

Исторический вариант воинствующего бессердечия предстает в рассказе «Стужа», повествующем о жизни жителей Бухары в трудном 1917 году. Жена казая полулежит на подушках и, «забыв» о лежащих в нише лепешках, отказывается дать хлеба женщине, у которой голодает ребенок, той самой женщине, которой она за многолетнюю службу должна немалые деньги.

И в этих, и в тематически примыкающих к ним рассказах собирается целый паноптикум себялюбцев, бездельников, фарисеев. Симпатии автора, конечно же, на стороне тех, кто представляет собой страдающую сторону. Но, как это не раз случалось и в произведениях более опытных, чем А. Мухтаров, писателей, «отрицательные типы» оказываются ярче, выразительнее, приметнее нравственно противостоящих им «хороших людей», наивно доверчивых, а порой и попросту глуповатых.

Есть в сборнике и рассказы без контрастных противопоставлений героев. Один из них — «Путешествие в детство». Сюжет его прост: два сельских жителя, братья Мурадовы, признают в совершенно незнакомом им человеке своего третьего, погибшего на войне, брата — Хирома. Суть рассказа не в цепи событий, которых, собственно говоря, почти нет (рассказчик, он же мнимый «брат», подробно сообщает о своих длительных, но безуспешных поисках каких-либо сведений о судьбе Хирома), а в том, что в этой истории постепенно проступают разные уровни восприятия жизни, в которой логика трезвых суждений далеко не всегда совпадает с необъяснимой потребностью души. Еще ближе к этому хрупкому миру, где правит логика сердца, А. Мухтаров приближается в рассказе «Волшебник». Им становится для оказавшейся в сложной жизненной ситуации Зухры незнакомый человек, случайный телефонный собеседник, который проявил душевную чуткость и внимание совершенно бескорыстно.

Завершает сборник большой рассказ «Птицы и сны», повествующий о жизни предреволюционной Бухары.

Нынешний молодой читатель, а книга А. Мухтарова адресована прежде всего ему, найдет в этой развернутой исторической зарисовке немало интересного.

Он живо представит себе джадида Халилбека, наивно радующегося эмирскому указу о реформе образования, и поездившего по свету Сухроба, считающего, что «указ этот — простая бумажка», их учителя «дамла-татарина», многозначительно помалкивающего до разрешения конфликта, и слабого, безвольного ученика медресе Зухурходжи, живущего по принципу «все от бога». Здесь же Хомид-шейх — «священнослужитель», озабоченный лишь тем, как бы повыгоднее пристроить замуж свою кривобокую и косоглазую дочь, брат шейха Хамидмедник, который ничего не может придумать лучшего, как «пнуть этот вонючий мир», предаваясь сомнительным утехам. Картина жизни в Бухаре, до которой «через пять месяцев из

далекой России донесся... отголосок грома великой революции», предстает, с одной стороны, яркой и многоцветной, с другой — остается лишь подробным комментарием к цитате из Садрриддина Айни, которой и начинается рассказ «Птицы и сны». Вновь — заданное движение художественной мысли «от идеи», высказанной на этот раз классиком.

И все же главное, чем, несомненно, привлекают лучшие рассказы А. Мухтарова, — это горячий искренний призыв любить, уважать человека, сочувствовать его бедам и помогать в трудную минуту. Писатель всерьез озабочен судьбой извечных нравственных законов, распространением таких взаимоотношений между людьми, при которых приветливость и человечность возводятся в ранг волшебства.

Р. МАХМУДХОДЖАЕВ.

«АХ, ВЕСНА, ГОВОРИШЬ, ВЛЮБЛЕНА, ГОВОРИШЬ...»

Борис Пак. Звездный лебедь. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, Ташкент, 1986.

Поэзию дети начинают любить задолго до того, как становятся читателями. Но до чего же скор бывает скачок от пламенной любви к неприязни, а то и лютой ненависти к стихотворной продукции. Причины печальной метаморфозы не так уж сложны. Отведав разок-другой поэтического полуфабриката, ребенок надолго, если не навсегда, утрачивает интерес к стихам. Эти невеселые мысли приходят в голову при знакомстве со стихотворным сборником Бориса Пака «Звездный лебедь», адресованным детям среднего и старшего школьного возраста.

Сборник включает в себя стихи, песни, поэму. Песня, как известно, — лучший проводник поэтического слова к сердцу читателя. Но вот беда, многие песни в сборнике Б. Пака совсем не детские. Это видно даже по их заглавиям — «Партия — Ум, Честь и Совесть нашей эпохи», «Песня о ветеранах»... Да и взрослого читателя, надо откровенно сказать, эти песни вряд ли порадуют, потому что в большинстве своем они трескуче декларативны и малосодержательны. Как заклинания, повторяются в них фразы, ставшие поэтическими штампами десятилетиями назад:

Шагом державным
В завтра шагая,
Мира и Дружбы
Мы знамя несем!
Мы, с Октябрем Новый мир создавая,
Партия, вместе с тобою
К светлому счастью придем!
Зажигая в сердцах наших пламя,
Ты зовешь нас на подвиг великий труда...

и т. д. и т. п.

Надо заметить, что в подобном бравурном стиле Б. Паком написаны не только песни о партии и дружбе народов, но и многие стихотворения разделов «Земля Отечества», «Земля, зали-

тая вся солнцем». Удручает здесь избыточность лексики и фразеологии, нагнетение повторяющихся мотивов. Из стихотворения в стихотворение мчится неудержимая волна ликования, что ни строфа — знак восклицательный:

Есть такая земля, что дана нам судьбою —
И ее мы с любовью Отчизной зовем!

Или:
И я пою:
«Вот Родина моя!»

И еще:
Земля Отечества!
Сильна ты сменю
И сильной поступью своей...

И опять:
Будь мудрою, моя земля!
...Будь стойкою, молю тебя!

Ни мысли глубокой, ни чувства свежего и сильного вы в этих стихах, как не ищите, не найдете, — одни лишь общие места, беспредметность, избыточные штампы.

В «океане хлеба утопает плечистый агроном», — сообщается в стихотворении «Я иду по утренним полям». Перелистаем несколько страниц, и вновь та же картина: «Я иду летним утром полями, утопая пшеницей, иду...» («Хлебороб»).

Бездумный, всем довольный избыточно благополучный лирический герой никогда не был интересен. А в наше время такой образ может восприниматься лишь как пародия на идеального героя литературы 50-х годов.

Ущербность подобной лирики убедительнее всего выдает парадоксально декларативный стиль с его непренной чертой — рвущимся из души восторгом по поводу «невиданных свершений» и «неслыханных побед». Какую тоску наводит этот стиль на душу читателя любого возраста, особенно теперь, когда мы, наконец, отважились, отбросив пустую риторику, взглянуть правде в глаза!

Явно не рассчитаны на детский возраст и некоторые стихи о любви, включенные в раздел, давший название сборнику. Автор то любит, как «сквозь белоснежный сарафан просвечивала ненароком грудь» девушки, то отважно вводит мотив вихревой страсти:

Ах, весна, говоришь.
Влюблена, говоришь...
И взгляд ее,
То нежный,
То кинжальный,
То вспыхивал огнем,
То угасал...

Бросается в глаза и явная безвкусица такого, например, рода:

Она — целовала солнце!
Он — целовал ее губы!
Она — целовала небо!
●н — целовал глаза!

В сборнике, что ни страница — образная неточность или небрежность, встречаются и всякого рода несоответствия, внутренние противоречия. В стихотворении «Юный разведчик» говорится: «И к врагу за леса и курганы он бесстрашно в разведку ходил, и под курткой — не пули с наганом — пионерский он галстук носил».

Здесь почти каждая строка вызывает недоумение. Первое двустишие создает впечатление, что враг скрывается «за лесами и курганами». Хотя

дело обстоит как раз наоборот — скрывались партизаны. И еще: пули не носят. Носят патроны. Пули же летят после выстрела. И вообще так не говорят: «пули с наганом». И это еще не все. Само противопоставление «наган — галстук» неправомочно. Почему бы разведчику и не иметь с собой оружия. А вот галстук в разведке — лишнее. Всего четыре стихотворных строки, а недоумением несть числа.

Ничто так не подрывает доверие к художественному слову, как неверно взятый тон, всякого рода фальшь, умозрительные конструкции. В поэме «Нишона» контрастно сопоставляется тяжкий труд одиннадцатилетнего ребенка в годы войны и «счастливое детство» его ровесника, сына героя, в послевоенное время. Труд в военные годы изображается суровыми красками, но сама ситуация не вполне убедительна: «Ходил я в школу, а после шел на прополку в поле с портфелем и с тяжелым кетменем. И ровень я со старшими тогда пропалывал, окучивал хлопчатник. От непривычки уставали руки, деревенели ноги и спина и голова от тяжести гудела. О сколько раз войну я проклинал. И свой кетмень. И зной, и это поле! И протестуя, навзничь падал я и плакал от бессилья и обиды! В пыли и грязи руки и лицо. Но старшие не слышали мой плач. Их кетмени всегда вдали сверкали...»

Неточность здесь в том, что ребенок трудится один среди взрослых (как трогательно!), хотя каждому, кто испытал подобное, ясно, что посылали на прополку всем классом. И все же суть не в этой неточности, введенной ради художественного эффекта. Посмотрим лучше, что делает после школы одиннадцатилетний сын героя в наши дни. Из нехитрого рассказа мы узнаем, что и этот мальчик «Давно влюблен в хлопчатник. И после школы сам(?) идет на поле; ему я сделал небольшой кетмень, и им он обрабатывает хлопок». Какая идиллия! Тут что ни слово — фальшь. Читатели не понаслышке знают, что из себя представляет «любовь» школьников к хлопковому полю, на котором они проводили и до сих пор кое-где проводят большую часть учебного года.

Стихотворения Б. Пака, представленные в сборнике, очень далеки от современности. Вот, казалось бы, жгучебольная тема — Арал. В сборнике несколько стихотворений об Арале. И что же? И тут в большинстве случаев захлебывающийся восторг от красот природы Аральско-го моря, и ни слова о его бедах.

Борис Пак — не новичок в поэзии. Им выпущено немало книг, написаны песни. Некоторые стихи прежних лет, включенные в рецензируемый сборник, в свое время были одобрительно встречены критикой. Да и сегодня не устарели такие стихотворения, как «Подорожник», «Дорога в Бурчмуллу», «Здесь карагач всегда шумит листвою», «По широкой степи», «Песня табунщика», «Пейзажное» и некоторые другие. Они подкупают свежестью и непосредственностью чувств, живой наблюдательностью, позволяющей увидеть мир глазами человека, влюбленного в жизнь. К сожалению, былые удачи не смогли определить лицо нового сборника. До чего же мало в нем искорок подлинной поэзии! Зато в обилии представлены стихотворные декларации и рифмованная проза, пересыпанная к тому же словесными и стилистическими огрехами. Остается только пожалеть, что сам автор, внутренние рецензенты, редактор С. Ларченко не проявили должной требовательности к рукописи и выпустили в свет книгу, которая не доставит читателям радости.

Ю. МОРИЦ.



«СОХРАНИ МОЮ РЕЧЬ!»

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ О. Э. МАНДЕЛЬШТАМА

В годы Великой Отечественной войны и долгое время после нее в Ташкенте жила и работала жена поэта Осипа Эмильевича Мандельштама — Надежда Яковлевна Мандельштам. Она вела кружок английского языка во Дворце пионеров, а позже преподавала английский в Ташкентском государственном университете.

С Надеждой Яковлевной меня познакомил Корней Иванович Чуковский. Знакомство быстро переросло в дружбу. Н. Я. Мандельштам не могла не вызывать глубочайшего уважения. Она несла свою ношу, не жалуясь, не сгибаясь, не отступаясь. Она умела отделять зерна от плевел, высекать искры из душ поэтов, заставить искать единственное слово. Она могла приподнять человека над обыденщиной, высвободить все лучшие силы души для творчества, для дерзания. Недаром она была первым слушателем и критиком стихотворений Осипа Мандельштама.

Говоря о грядущих временах безмолвия, предчувствуя их задолго до наступления, поэт, думается, все-таки не знал всей меры своей правоты, своего горького пророчества. Но просил жену: «Сохрани мою речь». И она сохранила. Живя в Ташкенте, она каждый день, каждый, не пропуская ни одного, читала наизусть стихотворение за стихотворением, чтобы не забыть ни строки.

В 1952 году Надежда Яковлевна вновь приезжала в полюбившийся Ташкент. Тогда она и подарила мне воссозданные ею стихи своего мужа. Подарила один из перепечатанных на машинке экземпляров. Я, конечно, не могу поручиться, что эти стихи есть только у меня. Однако в доступных мне сборниках поэта я их не встречала.

И теперь, вспоминая те далекие и такие близкие для меня годы, хочу привести строки, навеянные судьбой Осипа Мандельштама.

Когда
голова падали с плеч
и рыдать
не решались вдовы,
и когда
говорили затворы,
ты сказал:
«Сохрани мою речь!»

Жизнь твою
не смогли уберечь —
здесь иная
вмешалась сила —
всех стальная эпоха косила,
но осталась,
живет
твоя речь!

Н. ТАТАРИНОВА

* * *

Исполню дымчатый обряд:
В опале предо мной лежат
Морского лета земляники:
Двуискренние сердолики
И муравьиный брат — агат...

Но мне милей простой солдат
Морской пучины — серый, дикий,
Которому никто не рад.

Июль.

* * *

Бежит волна волной, волне хребет ломая,
Кидаясь на луну в невольничьей тоске,
И янычарская пучина молодая,
Неусыпленная столица волновая
Кривеет, мечется и роет ров в песке.

А через воздух сумрачно-хлопчатый
Неначатой стены мерещатся зубцы,
И с пенных лестниц падают солдаты
Султанов мнительных — разбрызганы, разъяты,
И яд разносят хладные скопцы.

Июль.

* * *

Гончарами велик остров синий,
Крит зеленый. Запекся их дар
В землю звонкую. Слышишь могучих
Плавников подземный удар?

Это море легко на помине
В осчастливленной обжигом глине
И сосуда студеная власть
Расколосась на море и глаз.

Ты отдай мне мое, остров синий,
Крит летучий, отдай мне мой труд

И сосцами текучей богини
Напои обожженный сосуд.

Это было и пелось, синяя,
Много задолго до Одиссея,
До того, как еду и питье
Называли «моя» и «мое».

Выздоровливай же, излучайся,
Волоокого неба звезда,
И летучая рыба случайность,
И вода, говорящая «да».

* * *

В руках плетеные корзинки,
Служанки спорят с продавцами,
Воркуют голуби на рынке
И плещут сизыми крылами.

Хлеба, серебряные рыбы,
Плоды и овощи простые,

Крестьяне — каменные глыбы,
И краски темные живые.

А в сетке пестрого тумана
Сгрудилась ласковая стая,
Как будто площадь утром рано
Торговли скиния святая.

1912 г.

* * *

Украшался отборной собачиной —
Египтян государственный строй —
Мертвецов наделял всякой всячиной,
И торчит пустячком пирамид.

Ладил с готикой, жил озоруючи
И плевал на паучи права
Мудрый школьник и ангел ворующий —
Несравненный Виллон Франсуа.

Март.

* * *

Как из одной высокогорной щели
Течет вода на вкус разноречива —
Полужестка, полусладка, двулична,
Так, чтобы умереть на самом деле
Тысячу раз на дню лишусь обычной
Свободы вдоха и сознания цели.

Декабрь.

* * *

Когда щегол в воздушной сдобе
Вдруг затрясется сердцевит,
Ученый плащик перчит злоба,
А чепчик черным красовит.

Клевещет жердочка и планка,
Клевещет клетка сотней спиц —
И все на свете наизнанку,
И есть лесная Саламанка
Для непослушных умных птиц.

Декабрь.

* * *

Я в сердце века,
Путь неясен,
А время отдаляет цель —
И посоха усталый яшень,
И меди нищенскую цвель.

* * *

Сосновой рощицы закон —
Виол и арф семейный звон,
Стволы извилисты и голы,
Но все же арфы и виолы

О. Мандельштам задышался при нервных напряжениях.

Растут, как будто каждый ствол
На арфу начал гнуть зол
И бросил, о корнях жалея,
Жалея ствол, жалея сил,
Виолу с арфой приучил
Звучать в коре коричневая...

16—18 декабря, Воронеж.

* * *

Что делать нам с убитостью равнин,
С протяжным голодом их чуда?
Ведь то, что мы открытостью в них мним,
Мы сами видим, засыпая, зрим.

И все растет вопрос, куда они, откуда,
И не ползет ли медленно по ним
Тот, о котором мы во сне кричим —
Народов будущих Иуда?!¹

16 января 1937 г., Воронеж.

Тайная Вечера

Небо вечера в стену влюбилось,
Все изрублено светом рубцов,
Провалилось в нее, осветилось,
Превратилось в тринадцать голов.

Вот оно, мое небо ночное,
Пред которым, как мальчик, стою.
Холодеет спина, очи ноют —
Стенобитную твердь я ловлю.

И под каждым ударом тарана
Осыпаются звезды без глав —
Той же росписи новые раны —
Неоконченной вечности мгла.²

9 марта 1937 г.

* * *

Не мучнистой бабочкою белой
В землю я заемный прах верну —
Я хочу, чтоб мыслящее тело
Превратилось в улицу, в страну,
Позвоночное, обугленное тело,
Сознающее свою длину.

¹ В оригинале стоит вариант заключительной строки О. Мандельштама: Пространств не-созданных Иуда.

² В рукописи имеется иной вариант О. Мандельштама 2-х заключительных строк.
Той же вечера новые раны —
Не оконченной росписи мгла.

Возгласы темно-зеленой хвои,
С глубиной колодезной венки,
Тянут жизнь и время дорогое,
Опершись на смертные станки.
Обручи краснознаменной хвои —
Азбучные круглые венки.

Шли товарищи последнего призыва
По работе в жестких небесах,
Пронесла пехота молчаливо
Восклицанья ружей на плечах.

И зенитных тысячи орудий,
Карих от зрачков иль голубых,
Шли нестройно люди, люди, люди,
Кто же будет продолжать за них?

21 июля 1935 г. Воронеж.

* * *

Не говори никому,
Все, что ты видел, забудь —
Птицу, старуху, тюрьму,
Иль еще что-нибудь.

Или охватит тебя,
Только уста разомкнешь,

При наступлении дня
Мелкая хвойная дрожь.

Вспомнишь на даче осу,
Детский чернильный пенал,
Или чернику в лесу,
Что никогда не собирал.

Октябрь, 1930, Тифлис.

* * *

А мастер пушечного цеха,
Кузнечных памятников швец,
Мне скажет: «Ничего, отец,
Уж мы сошьем тебе такое...»

* * *

Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть моя,
Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия.

Так соборы кристаллов сверхжизненных
Добросовестный свет паучок
Распускает на ребра, их сызнава
Собирает в единый пучок.

Чистых линий пучки благородные,
Направляемы тихим лучом,
Соберутся, сойдутся когда-нибудь,
Словно гости с открытым челом —

Только здесь, на земле, а не на небе,
Как наполненный музыкой дом...

Только их не спугнуть, не изранить бы...
Хорошо, если мы доживем...

То, что я говорю, мне прости,
Тихо, тихо его мне прочти.

15 марта, 1937 г.

* * *

В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен —
Благословенны дни и ночи те
И сладкогласый труд безгрешен.

Несчастлив тот, кого, как тень его,
Пугает лай и ветер косит,
И беден тот, кто, сам полуживой,
У тени милостыни просит.

15—16 января, 1937 г.

* * *

Как землю где-нибудь небесный камень будит,
Упал опальный стих, не знающий отца.
Неумолимое — находка для творца,
Не может быть другим — никто его не судит.

20 января 1937 г.

* * *

На доске малиновой, червонной,
На кону горы крутопоклонной,
Втридорога снегом занесенной,
Высоко занесся санный, сонный
Полугород, полуберег конный,
В сбрую красных углей запряженный,
Желтою мастикой укрепленный
И перегоревший в сахар жженный.

Не ищи в нем зимних масел рая,
Конькобежного фламандского уклона,
Не раскаркается здесь веселая, кривая
Карличья в ушастых шапках стая,
И меня сравнением не смущая,
Срежь рисунок мой, в дорогу дальнюю влюбленный.
Как сухую, но живую лапу клена
Дым уносит, на ходулях убегая.

6 марта, Воронеж.

* * *

О, этот медленный отдышливый простор,—
Я им пресыщен до отказа,
И отдышавшийся распахнут кругозор,
Повязку бы на оба глаза.

Уж лучше б вынес я песка слоистый нрав
На берегах зубчатой Камы.
Я б удержал ее застенчивый рукав,
Ее круги, края и ямы...

Я б с ней сработался на век, на миг один,
Стремнин осадистых завистник,
Я б слушал под корой текучих древесин
Ход кольцеванья волокнистый.

16 января, Воронеж.

* * *

Как дерево и медь Фаворского полет,
В дощатом воздухе мы с временем соседи,
И вместе нас ведет слоистый флот
Распиленных дубов и яворовой меди.

А в кольцах сердится еще смола, сочась...
Но разве сердце лишь испуганное мясо?
Я сердцем виноват и сердцевины часть
До бесконечности расширенного часа.

Час насыщающий бесчисленных друзей,
Час грозных площадей с счастливыми глазами.
Я обведу еще глазами площадь всей
Той площади с ее знамен лесами.

Февраль.

* * *

Нынче день какой-то желторотый,
Не могу его понять.
И глядят приморские ворота
В якорях, туманах на меня.

Тихий, тихий по воде линиялой
Ход военных кораблей,
И каналов узкие пеналы
Подо льдом еще черней.

9—28 декабря 1936 г. Воронеж.

* * *

Оттого все неудачи,
Что я вижу пред собой
Ростовщичий глаз кошачий —
Внук он зелени стоячей
И купец воды морской.

Там, где огненными щами
Угощается Кашей,
С говорящими камнями
Он на счастье ждет гостей,
Камни трогает клещами,
Щиплет золото гвоздей.

У него в покоях спящих
Кот живет не для игры —
У того в зрачках горящих
Клад зажмуренной горы.
И в зрачках тех леденящих,
Умоляющих, просящих
Шароватых искр пиры.

20—30 декабря, 1936 г. Воронеж.

* * *

Обороняет сон мою донскую сонь,
И разворачиваются черепах маневры —
Их быстроходная взволнованная бронь
И любопытные ковры людского говора.

И в бой меня ведут понятные слова —
За оборону жизни, оборону
Страны — земли, где смерть уснет, как днем сова...
Стекло Москвы горит меж ребрами гранеными.

Необоримые кремлевские слова —
В них оборона обороны
И брони боевой — и бровь и голова
Вместе с глазами полюбовно собраны.

И слушает земля — другие страны — бой
Из хорового падающего короба:
— Рабу не быть рабом, рабе не быть рабой,—
И хор поет с часами рука об руку.

9—11 февраль. Воронеж.

* * *

Шло цепочкой в темноводье	Шло, само себя колыша,
Протяженных гроз ведро	Осторожно грозно шло.
Из дворянского уголья	Смотришь — небо стало выше,
В океанское ядро.	Новоселье, дом и крыша,
	А на улице светло...

26 декабря, 1936 г.

* * *

Не у меня, не у тебя — у них
Вся сила окончаний родовых,
Их воздухом поющ тростник и скважист...
И с благодарностью улитки губ людских
Потянут на себя их дышащую тяжесть.

Нет имени у них, войди в их хрящ,
И будешь ты наследником их княжеств.

И для людей, для их сердец живых,
Блуждая в их развилинах, извивах,
Изобразишь и наслажденья их,
И то, что мучит их в приливах и отливах.

9—27 декабря, Воронеж.



Б. Иксар

«ТА САМАЯ ЛУЧШАЯ ПЕСЕНКА»

Туристская песня — очень интересное социальное явление, но, как и многие другие феномены «неофициальной» культуры, малоизученное. Нечетки и подвижны ее жанровые границы. Расплывчаты, а подчас сомнительны музыкальные критерии. Переменчива аудитория и исполнительский состав: ушел человек из туризма, пришел вместо него новый — и вот уже у костра на биваке, где-нибудь на Гулькаме или в березовой роще по Коксу, поют уже что-то такое, чего раньше ущелья и перевалы Западного Тянь-Шаня не слышали.

Все это заслуживает серьезного изучения, потому что масштабы распространения туристской песни за последние четверть века невиданно разрослись. Как вспоминают люди бывалые, в конце пятидесятых годов за город к подножью Большого Чимгана выезжало два-три крытых брезентом грузовика с лыжниками — человек 30—50, не больше. А в середине 60-х годов в такой же воскресный день стоянка автомашин (теперь преимущественно автобусов) поблизости от чимганской лыжной трассы растягивалась иной раз на 7 километров.

А ведь приобщаясь к горам, зимние лыжники в значительной части превращались и в летних туристов, тех, кто с рюкзаком за плечами отправлялся в выходные дни путешествовать по загородным тропам.

Но сейчас речь не о развитии туризма или лыжного спорта. Дело в том, что армада лыжников (альпинистов, туристов и т. д.) — это одновременно и артисты, огромный контингент исполнителей, и зрительный зал, до отказа набитый слушателями. Люди, выезжающие в горы, обязательно поют — по дороге, в машине, вечером у костра. По самым скромным подсчетам, на туристский выезд в выходной день может прийти около десяти «песенных» часов.

Можно прибегнуть даже к кое-какой статистике. Например, если подсчитать, что в горы на субботу и воскресенье в составе спортивных групп выехали на летний отдых тысяча человек, то, значит, на песни пошло до 10000 «человеко-часов»! А если прибавить семейные выезды? А если учесть, что туристы собираются петь и слушать свои песни и в городе? Аудитория получается столь внушительная, что игнорировать ее масштабы, вкусы и интересы никак нельзя.

Что же пели ташкентские туристы тридцать лет назад и что они поют сейчас?

Из бесед с ветеранами выясняется, что ранний туристский репертуар (1950 г. и позже) составляли в основном три категории песен: походные, лирические (с преобладанием любовной тематики) и шуточные, которые, в свою очередь, можно подразделить, разумеется условно, на интеллигентские и «блатные»¹.

Среди походных песен наибольшее распространение получили те, которые так или иначе затрагивали тяготы походной жизни, прославляли мужество, крепкую дружбу, самоотверженность. «Эх, дороги, пыль да туман...» — это воспринималось как нечто автобиографическое. Характерно, что эти песни исполнялись, что называется, один к одному, без искажений, перелицовок и т. п. Их стабильности в туристском репертуаре способствовали радио, телевидение, кино.

Песни «про любовь», как правило, заимствовались из репертуара популярных киноактеров и потому постоянно обновлялись соответственно моде сезона. Здесь был силен импровизационный элемент, допускались юмористические акценты с изменением первоначального текста, а иногда и с полным его обновлением. «Ждать любовь не надо, явится неожиданно...» — вместо этого вечного чувства легко подставлялись и походная еда («Ждать обед не надо...»), и опоздавшая группа («Этих ждать не надо...»).

Особое разнообразие выказывали песни шуточные. Часть их, та, которую можно было бы назвать интеллигентскими частушками, основывалась главным образом на старой студенческой песне. Пели «Через тумбу-тумбу раз...» («От зари до зари, как зажгут фонари, все студенты по городу шляются...»). Пересказывали песенными средствами на комический лад сюжеты мировой классики («Венецианский мавр Отелло один домишко посещал. Шекспир пронюхал это дело и водевильчик написал...»). Посмеивались над гримасами семейной жизни («Холостою жизнью я извелся, жалок мне мужчина холостой, и поэтому я обзавелся молодой красавицей-женой. Мне теперь не надо гладить брюки, помощь мне прислуги не нужна: у меня для этой самой штуки есть моя законная жена»).

¹ Полезными мыслями и наблюдениями на сей счет поделились литературовед А. Вулис, физик В. Ясколко, журналист Ю. Кружилин и другие.

Постепенно интеллигентская песня обогащается за счет современных мотивов. Происходит наполнение привычной мелодии неожиданными словами, подмена традиционного, «законного» текста актуальной в горных условиях стихотворной юмореской. Так, например, на музыку популярной песни из фильма «Карнавальная ночь» создается шуточный гимн превратностям туристской судьбы («Если вам штормовки не досталось новой, здесь рукав оторван, капюшона нет, вспомните, что где-то, совершенно голый, бродить очень схожий с вами снежный человек»). Некоторые песни, по воспоминаниям ветеранов, вообще получали универсальную трактовку. На мотив грузинской песни «Приезжайте, генацвали, угостим вас циндандли» слагались целые баллады произвольной тематики. Дело в том, что умеренный темп этой песни давал исполнителям широкий простор для импровизации.

Большое место в туристском фольклоре отводилось пародии на «блатную» песню. Надо сразу подчеркнуть, что никакого любования героем-уголовником в этих песнях не было. Он выступал перед аудиторией в качестве комической фигуры, над ним смеялись. Но он своим присутствием помогал формированию той веселой атмосферы, при которой легче преодолеваются опасные препятствия.

Некоторые произведения «блатного» жанра повествуют о трагических судьбах и перипетиях и лишь своим характером исполнения переводятся в юмористический регистр.

«А на дворе чудесная погода, по небу ходит месяц золотой, а мне сидеть еще четыре года, душа болит и просится домой. Из-за тебя попал я в слабосилку, все оттого, что ты не шлешь посылку, я не прошу посылку пожирней, пришли хотя бы черных сухарей. Зайди к соседу к моему Егорке, он на свободе, мне должен пять рублей, на два рубля ты мне купи махорки, на остальные — черных сухарей». Что, казалось бы, может заинтересовать здесь современного туриста — высокоинтеллектуального человека с разносторонними культурными запросами? Прежде всего, трагикомизм образа. Ведь трагикомизм — характерная черта горной туристской жизни. В ней все весело, все буднично, но иной раз так весело, что не позавидуешь.

Но в любом случае акцентируется комическая сторона: исполнители делают все для того, чтобы изображаемая ситуация воспринималась как водевиль.

Мощным резервом туристской песни 25—30 лет назад была опубликованная стихотворная строка. Ведь именно на тот период приходится взлет всеобщего интереса к поэзии. В литературу вливается звонкогласая когорта молодых поэтов: Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина. Растет интерес к незаслуженно замалчиваемым мастерам, таким, как М. Цветаева, А. Ахматова, Б. Пастернак. Большим вниманием пользуются и другие авторы, не столь громкие, но тоже достаточно серьезные в своем стремлении раскрыть предельной полнотой духовный мир современника. Назову в подтверждение сказанного имена М. Светлова, Б. Слуцкого, Л. Мартынова, А. Межирова (и его прославленных сверстников, погибших на войне). «Бригантина» Павла Когана обретает права своеобразного гимна и может служить нагляднейшим примером того, как романтический текст буквально «вплывает» в туристский обиход. «В флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса...» — это пели в горах под Ташкентом с неменьшим вдохновением, чем на

подмосковных реках или в черноморских лиманах. Повсеместное распространение получила песня М. Светлова из пьесы «Двадцать лет спустя»: «Трусов плодила наша планета, все же ей выпала честь: есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть! Другу на помощь, вызволить друга из казальи, из тюрьмы шпагой клянемся, шпагой клянемся, шпагой клянемся мы!» Пафос дружеской верности, звучавший в этих словах, был исключительно созвучен настроениям туристской молодежи.

Вспышка интереса к поэзии оказывается среди туристов долговременным явлением. Полюбившиеся туристской аудитории стихотворения начинают проникать в песенный репертуар все шире. Этот процесс приводит к тому, что в горах теперь поют наряду с ремесленческими поделками и «высокую поэзию»: Цветаеву («Мой милый, что тебе я сделала»), Мартынова («Олива») и т. д. и т. п.

Факт проникновения поэтической классики в туристский репертуар можно было бы прогнозировать: какая разница — одной песней больше, одной песней меньше, что от этого изменится?! Между тем меняется многое. Во-первых, начинается оздоровление исполнительского вкуса. Ведь как-то неловко после песни на слова Гумилева затянуть вдруг: «На полочке лежал чемоданчик» или «Ледоруб тяжелый, милый мой дедочек, ледоруб тяжелый, сизый голубочек». Таким образом, репертуар постепенно очищается от прямой вульгарщины. Развивается тяга к подлинной поэзии. Во-вторых, появляется чувство непосредственного контакта между туристским песенным репертуаром и литературной традицией. Девушка, которая еще только вчера считала, что весь ее потенциальный исполнительский фонд — это потерявший блокнотик с переписанными у подруги песнями, сегодня обнаружил, что в принципе к ее услугам бесконечные стеллажи с книгами прославленных корифеев отечественной словесности. Видимо этот этап опрошения большой литературы, ее использование в качестве полуфольклорного материала, когда автора текста песни называют понаслышке, а автора музыки и вовсе не знают, был обязательной ступенью на пути к новому явлению нашей культуры — к тому, что мы сейчас с легкой руки В. Высоцкого называем «авторской песней».

И еще один фактор подготовил авторскую песню. Дело в том, что одним из родников, питавших туристскую песню, был альпинистский фольклор. Среди альпинистов много образованных людей. И наверняка эти люди сочиняли стихи о тяжелых восхождениях, о мужественных победителях вершин. Из скромности или чувства коллективизма подписи не ставились — да и как поставишь подпись под стихотворением, которое наделено только изустным существованием?! Конечно эти стихи клялись на музыку, и конечно эта музыка заимствовалась из других песен, как правило, широко известных. «Ваш хваленый Кавказ — не обитель чудес, а бульвар, где пажоны гуляют; то ли дело подходов редеющий лес, непомерная высь Заалая» — это пели на мотив старой боевой песни буденновцев.

В самом конце 1959 года в журналистских кругах Ташкента появились первые записи песен Булата Окуджавы. Как вспоминают участники туристской группы «Правда Востока» (Ю. Кружильин, А. Вулис, а также выезжавший вместе с ними в горы А. Клевлев) — на протяжении нескольких лет этот коллектив как бы сохранял за собою монополию на Окуджаву. Другие группы воспри-

нимали его настороженно, медленно и не целиком. «Троллейбус», «Автобус», «Ленька Королев», «За что ж вы Ваньку-то Морозова?», «До свидания, мальчики!» — вот какие песни Окуджавы легко усваивались всеми. К остальному, очевидно, надо было привыкать.

Активную роль в закреплении позиций Окуджавы на ташкентской туристской почве сыграл работавший тогда в Академии наук Олег Николаевич Миллер. Для него — пожалуй, первого в Ташкенте — песни Окуджавы стали объектом серьезного коллекционирования. Миллер приобрел стационарный магнитофон, и вскоре его фонотека авторской песни стала самой солидной в Ташкенте.

Об этом имеет смысл рассказать потому, что клубов самодеятельной песни у нас в республике не было, и О. Миллер явился, по существу, предшественником движения, которое приобрело в наши дни столь могучий размах.

Любопытно, что туристы начала 60-х годов склонны были приписывать Окуджаве всякую новую, «неидентифицированную» песню с хорошим текстом. Очень распространены были тогда, например, такие слова:

Лыжи у печки стоят,
гаснет закат за горой,
месяц кончается март,
скоро нам ехать домой.
Здравствуйте, хмурые дни,
горное солнце, прощай,
мы навсегда сохраним
в сердце своем этот край.
Вот и окончился круг,
помни, надейся, скучай,
снежные флаги разлук
вывесил старый Домбай.

Исполнялось это произведение «под флагом» Окуджавы. Хотя, если в группе оказывались филологи, то они обычно высказывали подозрение, что здесь виден почерк другого автора. Впоследствии стали называть и имя этого автора: Юрий Визбор.

Чуть поближе к середине 60-х годов волна авторской песни стала нарастать. Ташкентцы, певшие раньше только о горах, распространили теперь свое внимание на всякую другую «природу»: «От злой тоски не матерись, сегодня ты без спирта пьян», на материк, на материк ушел последний караван», «А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы...», «Клены выкрасили город колдовским каким-то цветом, это значит очень скоро бабье лето, бабье лето...», «Держись, геолог, крепись, геолог, ты небу и солнцу брат», «Все перекаты, все перекаты, послать бы их по адресу, на это место уж нету карты, идем вперед по абрису...», «...Атланты держат небо на каменных руках...»

Имена авторов этих песен в ташкентской туристской среде известны не были. Правда, Миллер, наезжавший время от времени в Москву и Киев, привозил оттуда более или менее достоверную информацию о самодеятельных поэтах-исполнителях. Так впервые прозвучали среди любителей этого жанра имена Александра Городницкого, Ады Якушевой и некоторых других. Но тогда никто не мог в каждом конкретном случае поручиться ни за достоверность этих имен, ни за конкретное авторство.

Постепенно на песенном горизонте ташкентских туристов, как вспоминают ветераны, начали все чаще возникать лихие песни нового автора, объединенные цельностью литературного, музыкального и исполнительского почерка. На сей

раз никто их не пытался приписать Булату Окуджаве: и тематика, и манера пения были явно иные. Наконец и новое имя пронеслось — якобы их автора: Владимир Высоцкий, актер театра на Таганке. Сейчас это говорит многим о многом, тогда же и о театре на Таганке знали единицы, а уж об актере Высоцком так и вовсе никто не слыхал.

Особого новаторства в этих песнях не было. И в жанровом, и в содержательном отношении, и по принципу подхода к героям — комедийно-надрывному, они напрямую расширили владения стилизации под блатной фольклор. «Сгорели мы по недоразумению, он за растрату сел, а я за Ксению, у нас любовь была, но мы расстались, она кричала все, сопротивлялась. Потом на нас нагрянула чека и вот теперь мы оба с ним зека, зека Васильев и Петров зека». «Он пил, как все, и был как будто рад, а мы, его мы встретили, как брата, а он назавтра продал всех подряд. Ошибся я, простите мне, ребята... Но ведь наступит ночь не на года. Я попрошу, когда придет расплата: «Ведь это я привел его тогда, и вы его отдайте мне, ребята». Именно такой Высоцкий надолго преобладал в туристском репертуаре. Лишь много позже докатились до Ташкента записи тех песен и стихотворений, которые сегодня позволяют рассматривать его как яркое явление советской поэзии.

Конечно, туристский репертуар за последние 25—30 лет изменился. Некоторые песни полностью выпали из исполнительской памяти, другие фигурируют у костра лишь на правах неких музейных экспонатов, «напоказ». В основном же «золотой» песенный фонд сохранился, и безостановочно и обильно пополняется. Этому процессу способствуют концерты авторской песни, совсем недавно широко звучавшие на радио и телевидении (под рубрикой: «Возьмемся за руки, друзья» и др.). Активно пропагандируют жанр его зачинатель Булат Окуджава, литературовед Юрий Андреев, поэты Новелла Матвеева, Дмитрий Сухарев, Александр Городницкий, Виктор Берковский, композитор и исполнитель Сергей Никитин, а также завоевавшие широкую аудиторию сравнительно недавно Владимир Болотин, Виктор Луферов, Владимир Бережков, Александр Суханов, Вероника Долина, Владимир Ланцберг, совсем молодой Михаил Щербаков и другие.

И вот здесь-то история переходит в современную жизнь туристской песни. История становится составной частью этой жизни, осваивая новые черты и новые явления, о которых ветераны уже ничего рассказать не могут, потому что при них такого не было.

Так что же это за черты?

Во-первых, создаются клубы самодеятельной песни, или сокращенно КСП. В Ташкенте таких клубов сейчас насчитывается около 10: «Резонанс», «Мои друзья», «Ростки», «Встреча», «Лимузин», «Апрель», «Орфей», клуб самодеятельной песни Института ядерной физики и другие.

Наряду с исполнительскими задачами эти клубы ставят перед собой творческие цели. В 1977 году по инициативе «Апреля» в Чимгане стали проводиться параллельно состязаниям ташкентских спортсменов (в конце апреля — начале мая) всесоюзные сборы любителей авторской песни. В них принимали участие известные глашатаи туристской песни — прославленные «старички» вроде Никитиных, Городницкого, барды молодого призыва, имена которых ведомы только знатокам.

Осторожничающие бюрократы на время «прикрыли» это мероприятие. Но в прошлом году чимганский праздник песни возобновился. Скажу сразу, что большинство исполнителей самодельной песни на фестивале «Чимган-87» являлись и ее авторами, хотя исполнялись также произведения, созданные другими поэтами и композиторами, другими бардами — прославленными и малоизвестными. Конечно, немногие участники фестиваля выглядели достаточно «суверенно» по отношению к таким классикам песенного жанра, как Окуджава или Высоцкий. Но все они очень старались, и у некоторых здорово получалось, особенно в неофициальной, внеконкурсной части смотра...

А в официальной части хочется отметить прекрасную подготовку, а также хорошие исполнительские (вокал и сопровождение) данные Юлии Коган из Новосибирска, Игоря Иванова и Федора Горковенко из Томска. Случалось, исполнители выказывали невысокие певческие данные, недостаточное владение инструментом. Некоторые песенные тексты страдали схематизмом, встречались у авторов-исполнителей беспомощные образы, рифмы типа «вчера — земля». Но эти промахи всякий раз воспринимались как признак исканий, которые в конечном счете принесут успех. И зрительские аплодисменты определяли наиболее ярких исполнителей.

Программа фестиваля отличалась большим разнообразием, и все же был заметен интерес творческой молодежи к теме войны и мира: много поют о сорок первом годе, об афганских событиях. Волнует молодых и судьба нашей природы, и конкретные судьбы юношей и девушек на подступах к двадцать первому веку.

Ясно, что клубы самодельной песни это совершенно новая форма организации досуга молодежи и новая среда бытования творчества. Но в Ташкенте они успели уподобиться старым буржуазным парламентам: основной линии большинства постоянно противодействует оппозиция. В чем разногласия между партиями? Одни относятся к Розенбауму лучше, а другие хуже? На мой взгляд, это не принципиальная причина для расхождений. Есть разница вкусов и характеров. Вполне естественная. И вряд ли следует возводить ее в ранг великой закономерности.

Сейчас возникла острая необходимость в осмыслении происходящего культурно-просветительскими организациями республики. В самом деле, что же это такое: есть клубы, в которых никто не поет, и есть огромный исполнительский коллектив, у которого не всегда есть база. Не говоря уже о музыкальном руководстве.

Не поймите меня превратно. Я вовсе не хочу охватить всех туристов списками или приставить к каждому из них музыкального наставника. Но из этого вовсе не следует, что самостоятельное, самодельное развитие туристской песни освобождает работников культуры от всяческих проблем.

Назову такую: ощущается острая потребность в сборниках туристского репертуара. Ведь то, что поют барды по телевидению или в концертах, проникает в туристскую группу все тем же первобытным путем, через блокнотики или магнитофонные записи (в сравнении с книгой — это все равно что каменный топор рядом с компьютером). Почему бы нашему молодежному издательству «Еш гвардия» не заняться этим? Уверен, что туристский песенник разошелся бы мгновенно при сколь угодно большом тираже.

Особый интерес по-прежнему представляет репертуар клубов самодельной песни. Ведь именно он является резервом туристского жанра. Именно в КСП обкатывают те новинки, которые будут исполняться в автобусах и у костра — может быть, один сезон, а может быть, долгие годы.

Самое главное, что приковывает к себе внимание, — острая злободневность авторской песни. Рискованное, но, думаю, верное сравнение: своей злободневностью и тягой к подлинной неприкрашенной правде авторская песня напоминает наши сегодняшние газеты. Представитель военно-патриотического клуба «Пламя» из г. Ташкента Виталий Востриков поет о трудностях жизни советского солдата в Афганистане. В песне, исполненной Марией и Евгением Якубович, с глубокой любовью к природе говорится о невозможности дальнейшего безжалостного, потребительского отношения к ней. Люди поют о высоких скоростях, высоких вершинах и высокой дружбе — и о человеческой низости, о самоотверженных полетах — и бюрократической тупости. Поют о любви, о светлом будущем, об альпинистской взаимовыручке. Короче говоря, на все четыре газетные полосы материала хватает — есть и оптимистический, жизнеутверждающий, что называется, первополюсный, и острокритический, и проблемный. Есть портретные очерки, острые сатирические фельетоны, есть даже передовые.

Можно было бы привести примеры — и в большом количестве — но вряд ли в этом есть необходимость. Потому что у «продукции» КСП, представленной на празднике «Чимган-87», есть еще одно сходство с газетой: в значительной части — это создания недолговечные, рассчитанные на быстрое существование. Сочинили, разучили, спели и... забыли — к сожалению, именно такая судьба ждет большинство из услышанных сочинений. Почему? Да потому, что незначителен литературный уровень большинства песен — и низка их музыкальная культура. Исключением можно считать лишь несколько песен авторов из числа лауреатов конкурса.

А это, кстати, вовсе не так уж и плохо. Далеко не каждая песня создается на века. Нужны песни и на одну неделю. Важно только, чтобы они задевали какие-то действительно напрягаемые в этот момент душевные струны.

Но нужны и такие песни, о которых можно было бы сказать: «новый Окуджава», «новый Горюничий», «новый Высоцкий». Чтобы их пели у костра из месяца в месяц, из года в год.

Есть ли такие песни, есть ли такая музыка? «Чимган-87», как мне кажется, их не показал. Но ведь самодельное движение бардов не сводится к одному-единственному мероприятию. Кто знает, может быть, в апрельские, майские дни нынешнего года на той же чимганской олимпиаде, в лагере какой-нибудь заводской спортивной группы или университетской команды еще никому не известный автор вполголоса под гитару спел то, чему суждено большое будущее...

И правда, кто знает?

К сожалению, у нас нет научных коллективов, которые бы все это серьезно изучали и которые заинтересовались бы вплотную развитием туристской песни. А ведь пора бы, пожалуй, уже и повернуться лицом к той многоголосице, что уже не одно десятилетие звучит под небом западного Тянь-Шаня.



Николай Гацунаев

Пришельцы

Рисунки В. Будаева

ПОВЕСТЬ

Капитан спал за своим столом, устало откинув голову на спинку стула. Слегка открытый рот придавал его лицу что-то детское: доверчивое и беззащитное одновременно. Несколько секунд Плэйтон всматривался в лицо Крейна, стараясь понять, что необычного нашел в нем Хейлигер. Лицо как лицо. Самое что ни на есть заурядное. Такой пороха не выдумает. И по службе вряд ли пойдет дальше полковника.

«Можно подумать, я пошел дальше», — горько усмехнулся Плэйтон и тронул капитана за плечо. Больно было наблюдать, как мучительно расстается с миром грез Генри Крейн. Дрогнули ресницы, по лицу пробежала судорога, капитан медленно открыл глаза. Вначале взгляд их оставался пустым и бессмысленным, но мгновение спустя Крейн вскопчил со стула и виновато заморгал.

- Прошу прощения, господин полковник!
- Оставьте, Генри. Звонил кто-нибудь в мое отсутствие?
- Генерал Розенблюм. Я доложил ему обстановку.
- Какие-то указания?
- Нет, сэр. Сказал, что позвонит через два часа.
- Что еще?
- Звонила дама.
- Дама?
- Да. Себя не назвала.
- И чего же она хочет?

Крейн замаялся.

- Ну, что же вы молчите?
- Не имею привычки соваться в чужие дела, господин полковник. Предупредил, что включаю магнитофон и отсоединил динамик.
- Ясно. — Крейн все больше и больше нравился Плэйтону. — Что-нибудь еще?
- Все, господин полковник.
- Вы свободны, Генри. Отправляйтесь спать.

Окончание. Начало в № 5

- Благодарю, господин полковник. Пожалуй, я пройдусь перед сном.
- Дело ваше. Спокойной ночи, Генри.
- Спокойной ночи, господин полковник.

Плэйтону было уже не до Крейна. Он прошел в кабинет, прикрыл за собой дверь и, не зажигая света, опустился в кресло. В душе боролись противоречивые чувства. Он потянулся было к магнитофону, но, почувствовав, как дрожит рука, опустил ее на стол и сжал пальцы в кулак. Теперь он уже почти не сомневался, что знает, кто была звонившая ему женщина.

Полковник мысленно взглянул на себя со стороны: пожилой, начинающий грузнеть мужчина с глубокими залысинами на посеребренных сединах висках и рублеными чертами лица. Когда-то лицо это нравилось женщинам, они находили его мужественным. Но с той поры минуло много лет, и теперь, пожалуй, даже самая отчаянная из оптимисток прекрасного пола вряд ли взяла бы на себя смелость повторить этот эпитет пусть даже в качестве комплимента. Впрочем, изрядная доля преувеличения наверняка имела место и прежде.

Плэйтон усмехнулся и вытянул из пачки сигарету, хотя курить не хотелось. С куда большим удовольствием он выпил бы сейчас неразведенного виски, но для этого надо было встать, идти в соседнюю комнату, лезть в холодильник...

Полковник на ощупь отыскал пепельницу, положил на нее сигарету и включил запись. Предчувствие не обмануло — это была Элен.

«Ричард! — голос был до обидного будничным, но, как ни странно, у Плэйтона сразу же отлегло от сердца. — Может быть, и к лучшему, что я не застала тебя на месте. Монологи всегда давались мне легче диалогов. Наберись терпения и выслушай меня до конца. Для того чтобы говорить о любви спустя двадцать пять лет после расставания, надо, наверное, обладать огромным чувством юмора или не иметь его вовсе. Так что на этот счет можешь быть абсолютно спокоен. Просто я узнала от Джека, что там у вас стряслось, и вдруг поняла, что, наверное, никогда тебя больше не увижу. Я решила приехать к тебе, Ричард. Не спрашивай, зачем и надолго ли. Вообще, не надо вопросов, все равно я не смогу на них ответить. Будь я двадцатилетней дурехой, я назвала бы это самопожертвованием. Но мне, увы, сорок шесть, я трезво смотрю на вещи, и уж если я решила быть с тобой в эту трудную для тебя пору, значит так надо. Завтра я прилечу к тебе. Оркестр ни к чему. Цветы тоже. И не вздумай напялить свой парадный мундир. Просто поцелуй меня, когда встретимся. С меня этого вполне достаточно. А теперь — до свиданья».

Плэйтон еще некоторое время слушал, как шуршит и пощелкивает в динамике чистая лента, потом спохватился и выключил аппарат. Только Элен не хватало в сумасшедшей кутерьме, которая здесь творится и в которую он вот-вот должен вмешаться самым решительным образом!

Полковник взглянул на часы и сорвал трубку с аппарата секретной связи. Генерал был у себя.

— В чем дело, Плэйтон? Я, кажется, предупреждал, что позвоню сам!

— Вы один в кабинете, Джек?

— Что?!

— Я спрашиваю, один вы в кабинете или нет?

— Один, — недовольно буркнул Розенблум.

— Где Элен?

— Элен?! — изумился генерал. — Дома, наверное. А вам-то какое дело?

— Насколько мне известно, Джек, она настроилась лететь сюда.

— Что-что?!

— Остановите ее, Джек.

— Ничего не понимаю... Элен... к вам... Зачем?

— Ну вот что, Розенблум, — оборвал его Плэйтон, — я счел своим долгом предупредить вас. И я это сделал. Все, генерал. Дальше решайте сами.

Плэйтон бросил трубку на место, решительными шагами направился в приемную. Позади отчаянно заверещал телефон секретной связи.

Не обращая на него внимания, Плэйтон сел за стол дежурного офицера и принялся неумело манипулировать кнопками селектора.

— Пайнвуд? Полковник Плэйтон. Кто на связи? Доложите готовность, майор Янг. Контейнеры на месте? Отлично. Действуйте по инструкции. Что? Да, все до единого. Как? Ориентировочно в девять утра. Пуск по моей команде. Все, Янг.

Он отключил Пайнвуд и нажал другую кнопку.

— Полковник Плэйтон. Кто на связи? Соедините с подполковником Линдоном. Ну так разыщите его! Жду у аппарата.

Плэйтон машинально поискал на столе сигарету, вспомнил, что она осталась в кабинете, и сердито хмыкнул.

— Линдон? Доложите обстановку. Понятно. Слушайте меня внимательно, подполковник. Немедленно приступайте к эвакуации войсковых подразделений с территории зоны. Наблюдателей, технический и медицинский персонал. До единого человека. К девяти часам утра в зоне не должно оставаться ни души.

С девяти утра зона закрыта для всех видов авиации. Судам береговой охраны отойти от полуострова на сто миль. Как поняли? Все верно.

Слушайте дальше. Распорядитесь немедленно закрыть военный и гражданский аэродромы в Гринтауне. Пусть известят все наземные службы до самой столицы. У меня все, Линдон. Есть вопросы? Прекрасно. Действуйте, подполковник.

Он откинулся на спинку стула, вытер платком взмокший лоб и только потом выключил продолжавшую мигать контрольную лампочку селектора.

В кабинете по-прежнему надрывался телефон секретной связи. Плэйтон коротко вздохнул и, тяжело ступая, пошел к себе.

Снял трубку.

— Плэйтон! — казалось, генерал вот-вот лопнет от негодования. — Где вас носит? Битые полчаса...

— Плэйтон на связи. Докладываю обстановку. В соответствии с вашими...

— Плэйтон! — дурным голосом взвыл Розенблюм. — Ради всего святого! Где Элен?! Что вы о ней знаете?

— Только то, что она звонила сюда и сообщила, что приедет.

— Зачем?! — истерически взвизгнул генерал.

— Полчаса назад вы уже задавали мне этот вопрос, Розенблюм. Я не желаю на него отвечать.

— Где она может быть?! — казалось, Розенблюма с минуты на минуту хватит удар.

— Успокойтесь, Джек. Элен объявится.

— У вас?!

— Если это случится, я немедленно отправлю ее обратно.

— Это невозможно! — простонал Розенблюм.

— Что невозможно! — не понял Плэйтон.

— Ей нельзя у вас появляться!

— Знаю, Джек. Только что я приказал закрыть аэродромы в Гринтауне.

— Ничего-то вы не знаете, — не то вздохнул, не то всхлипнул генерал, не обращая внимания на вторую часть фразы. — Ладно, рассказывайте, что у вас там.

Впервые за многие годы Плэйтон представил себе Розенблюма в его огромном мрачном кабинете, одинокого и растерянного, и испытал нечто похожее на сочувствие.

— Все идет, как вы хотели, Джек. Пайнвуд приведен в готовность номер один. Из зоны срочно эвакуируются люди. Если не произойдет ничего непредвиденного, в девять утра ракеты выйдут на цель. — Плэйтон умолк, ожидая, что скажет генерал. «Сейчас спросит о пришельцах», — Плэйтон ждал этого вопроса и боялся его услышать. Вопросы не последовало. Розенблюм молчал.

— Джек! — Опять, как тогда, в лесу, удушливой волной накатилась усталость. — Вы меня слышите?

— Да, — хрипло откликнулся Розенблюм.

— Для чего вам понадобилось делать из меня дурака?

— Дурака? — насторожился генерал. — Из вас?

— Не прикидывайтесь, Розенблюм. — Плэйтон сам уже пожалел, что затевает этот разговор. Сейчас Розенблюм начнет изворачиваться и лгать и никакими силами правды из него не вытянуть. — Членам комиссии известно, что в действительности произошло на полуострове.

— Естественно. — Генерал был обезоруживающе спокоен. — Они прошли инструктаж и дали подписку о неразглашении.

— Для чего же, если не на посмешище, вы поручили мне руководить этой комиссией? Чтобы унизить в глазах Элен? Это не по-мужски, Джек.

— При чем тут Элен? — повысил голос Розенблюм. — Оставьте ее в покое!

— Я сделал это много лет назад, Джек. Раз и навсегда. И уж кому-кому, а вам это известно. — Плэйтон помолчал. — Ну и все-таки, почему вы не просветили меня насчет аварии на ЦПП?

— Перестаньте морочить мне голову! — возмущенно пробасил генерал. — Вас, что — надо было вызывать сюда и структурировать персонально?

— Для таких случаев существует кабель секретной связи.

— Вот именно. Вы пьяны, Плэйтон, или у вас память отшибло?

— Вы хотите сказать...

— Довольно. — Розенблюм говорил спокойно, но спокойствие это дышало угрозой. — Я давно ожидал от вас подвоха. Рано или поздно вы должны были попытаться свести со мной счеты. Но вы промахнулись, Плэйтон. Как видите, я не настолько глуп. Разговор, который вы пытаетесь отрицать, записан на пленку. Весь. От начала и до конца. Хотите услышать?

— Да. — Плэйтон облизнул внезапно пересохшие губы. — Если это вас не затрудит.

— Нисколько.

Не отнимая телефонной трубки от уха, Плэйтон вытряхнул из пачки последнюю сигарету. В трубке раздавалось еле уловимое гудение, шорохи далеких разрядов. Потом что-то щелкнуло и голос Розенблюма произнес: «Плэйтон?» — «Да, господин генерал», — ответил полковник.

Плэйтон замер с недонесенной до губ сигаретой.

«О нашем разговоре не должна знать ни одна живая душа. Вы меня поняли?» — «Да, господин генерал».

Сомнений не оставалось: голос принадлежал ему, Ричарду Плэйтону. Ему и никому больше.

«Завтра к вам придут трое ученых — члены правительственной комиссии. Вы — четвертый член этой комиссии и ее председатель. Решение правительственного кабинета о создании комиссии и ее задачах вам передаст Эдвард Стэнли. Завтра оно будет опубликовано в газетах. Думаю, вам незачем читать его, Плэйтон. Разве что интереса ради». — «Почему, господин генерал?» — «Потому, что это блеф чистой воды. Отвлекающий маневр. На самом деле в центре полуострова произошла авария на секретном центре по производству плутония. Секретном, вы меня поняли, Плэйтон?» — «Да, господин генерал». — «Так вот, вам надлежит забросать его жидким бетоном. Послезавтра на ракетную базу Пайнвуд доставят боеголовки, начиненные этим самым бетоном. Майор Янг проинструктирован и ждет только вашей команды. Замуруйте проклятый ЦПП в бетон, Ричард. Воздвигните над его останками пирамиду Хеопса-Плэйтона». — «Хеопса-Розенблюма, господин генерал». — «Не возражаю, — генерал хохотнул. — А пока ведите себя так, будто в самом деле охотитесь за пришельцами. И ничему не удивляйтесь. Понятно?» — «Понятно, господин генерал». — «Надеюсь, не надо напоминать, что полагается за разглашение государственной тайны?» — «Я не первый год в армии, господин генерал». — «Вот и отлично. Действуйте, Ричард. До свидания».

— Ну что? — торжествуя осведомился Розенблюм. — Убедились?

— Да, Джек. — Полковник с шумом выпустил струю дыма из ноздрей. — Вы меня убедили, старина. Наставили на путь истинный. Видно, у меня в самом деле с памятью неполадки.

Иронический тон, которым были произнесены эти слова, насторожил Розенблюма.

— Чему вы так радуетесь?

— А вы бы на моем месте рвали на себе волосы? Я тут теряюсь в догадках, а все оказывается проще простого. Нет никаких пришельцев, меня об этом предупредили, а я просто-напросто замятовал. По гроб жизни вам благодарен, Джеки.

Слово «гроб» неприятно резануло Розенблюму слух.

— Ну и юмор у вас, Плэйтон!

— Юмор висельника, хотели вы сказать?

— Типун вам на язык! — суеверно пробормотал генерал. — За него вас когда-нибудь и повесят.

— Возможно, господин генерал, возможно. Не забудьте напомнить об этом палачу, когда меня поволокут на виселицу.

— Идите вы знаете куда, Плэйтон!

— Не уточняйте, Розенблюм, я догадаюсь. До свидания, господин генерал, — вежливо произнес Плэйтон и опустил трубку. Недоуменно взглянул на сигарету, положил ее в пепельницу и сосредоточенно уставился в темноту за окном.

Трюк с записью только в самом начале ввел Плэйтона в заблуждение. Где-то в середине разговора он усомнился в ее подлинности, а в конце — уже точно знал, что его пытаются обмануть. Голос, манера говорить — все было его, плэйтонское, но вот содержание... Тут генерал Розенблюм сел в калошу. Эти угодливые «да, господин генерал», «понял, господин генерал» на протяжении всего разговора с головой выдавали Розенблюма. Генералу х о т е л о с ь, чтобы полковник Плэйтон разговаривал с ним в таком подобострастном тоне. Хотелось потому, что Плэйтон никогда с ним в таком тоне не говорил.

И еще: не далее как утром Розенблюм сообщил, что ракетная база Пайнвуд с сегодняшнего дня подчинена Плэйтону. А по записи получалось, что майор Янг ждет его, Плэйтона, команды с позавчерашнего дня.

Итак, генерал Розенблюм сознательно не хотел сообщать полковнику Плэйтону об аварии на секретном ЦПП, но на всякий случай подстраховал себя липовой записью. Зачем?

Скрип входной двери прервал размышления Плэйтона.

— Это вы, Крейн?

— Я, господин полковник. — Капитан заглянул в кабинет.

— Надышались свежим воздухом?

— Еще как! Теперь можно до утра глаз не смыкать.

Плэйтон посмотрел на часы.

— А я, пожалуй, вздремну. Не будите меня, Генри, даже если наступит конец света.

— Хорошо, — улыбнулся Крейн. — Приятных вам сновидений.

— Райских, — уточнил Плэйтон, вставая из-за стола. — Наяву мне туда все равно не попасть.

В смежной с кабинетом комнате он разделся, с аккуратностью старого холостяка повесил одежду на плечики и убрал в шкаф. Затем принял душ, проглотил таблетку снотворного, выключил свет, лег на застеленный свежими простынями диван, досчитал до ста тридцати девяти и уснул. Шел четвертый час утра.

— Джон!

Стэнли постучал костяшками пальцев по филенке и, не дожидаясь ответа, распахнул дверь. Комната тонула в зеленоватом сумраке. Торшер под зеленым абажуром неярко высвечивал лицо лежавшего на диване Хейлигера.

— Что с вами, Джон? — Стэнли наклонился над биологом, тронул за руку. Рука была влажная и пугающе холодная. — Вам плохо?

Хейлигер не отвечал. Физик попытался нащупать пульс, понял, что это бесполезно, и выбежал из комнаты.

— Маклейн! Вы у себя?

— В чем дело? — сонно откликнулся медик.

— Хейлигер умирает! — Не отдавая себе отчета, Стэнли изо всех сил забарабанил кулаком в дверь. — Скорее! Да скорее же!

Реакция была мгновенной: дверь распахнулась, едва не сбив с ног физика, и Маклейн в пижаме стремглав промчался через холл в комнату Хейлигера. Стэнли сорвал трубку с телефонного аппарата и дрожащими пальцами принялся вертеть диск.

— Бросьте, Эд! — донеслось из комнаты биолога. — Лучше помогите сделать укол...

Прошло несколько минут, прежде чем Хейлигер открыл глаза и слабо поморщился. Стэнли выпрямился и с облегченным вздохом швырнул на пол комок смоченной спиртом ваты.

— Как вы себя чувствуете, Джон?

— Лучше. — Биолог попытался улыбнуться. — Спасибо, док.

— Не дергайтесь. — Маклейн еще раз измерил пульс и удовлетворенно кивнул. — Закройте глаза и полежите несколько минут не двигаясь.

— Что с ним? — шепотом спросил физик.

— Нервное истощение. — Маклейн, близоруко щурясь, взглянул на Стэнли. — У вас случайно нет с собой термоса?

— Термоса? — удивленно переспросил физик. — Есть, а что?

— Серьезно? — обрадовался Маклейн. — И в нем есть кипяток?

— Чай. — Стэнли все еще не мог понять, чего от него хотят.

— Тащите сюда! — скомандовал Маклейн. — А я принесу сахар. стакан сладкого чая — как раз то, что требуется сейчас Хейлигеру.

Чай и в самом деле взбрдрил биолога. Он даже попытался сесть, но Маклейн решительно воспрепятствовал этому.

Медик зевнул, закрывая рот ладонью.

— Вы побудете здесь, Эдвард?

— Конечно.

— Когда станет неважно, будите меня. Я вас сменю.

— Договорились, док. Спокойной ночи. Спасибо.

— Было бы за что, — отмахнулся Маклейн. — Ну, я пошел.

Стэнли проводил его до двери.

— Эд! — негромко позвал Хейлигер.

— Да, Джон? — Стэнли вернулся и присел на край дивана. — Как вы себя чувствуете?

— Сносно. — Хейлигер провел ладонью по лицу. — Хорошо, что вы поблизости, Эдвард, иначе вы бы меня не услышали.

— Я не собирался уходить, Джон. Просто закрыл дверь за Маклейном.

— Я звал вас раньше, Эд. Когда мне стало совсем плохо.

«Бредит», — подумал физик с тревогой.

— Нет, — Хейлигер отрицательно покачал головой. — Вы проходили по холлу, и я вас окликнул.

— Вы молчали, как рыба, Джон. Ничего не видели и не слышали. — Стэнли коснул-

ся пальцами запястья биолога. — Я случайно толкнулся к вам в дверь. Сам не знаю, что мне взбрело в голову. И, как видите, вовремя.

— Да, — согласился Хейлигер. — Как раз вовремя. События принимают скверный оборот, Стэнли.

— Какие события?

— Генерал Розенблюм затевает страшное дело.

— Черт с ним, с Розенблюмом. Вам надо поспать, Джон.

— Эдвард, — Хейлигер привстал, опираясь на локоть. — Все гораздо серьезнее, чем вы думаете.

— А я ничего не думаю.

— Сейчас начнете, — хмуро пообещал Хейлигер. — Этот негодяй рвется в министры национальной обороны.

— Ну и что? Пусть рвется на здоровье.

— Не в этом дело, — поморщился Хейлигер. — Сам Розенблюм — пустое место. Ноль. Идею вбивает ему в башку супруга. А она не из тех, кто останавливается на полпути.

— Назовите мне хоть одну женщину, которая не мечтала бы стать женой министра.

— Да поймите же вы наконец — готовится преступление!

— Преступление?

— Одна из боеголовок, доставленных вчера в Пайнвуд, — настоящая!

— Откуда вам это известно? — насторожился физик.

— Из первых рук. Час назад чета Розенблюмов обсуждала это в своей спальне.

Хотите знать, как она выглядит?

— Боеголовка?

— Спальня!

— Не хочу. — Стэнли пересел на стул и вытащил сигареты. — Плевать мне на их спальню!

— Не курите, Эд, — попросил Хейлигер. — Мне и без того муторно.

— Простите, Джон. — Стэнли запихнул сигарету обратно. — Он что — окончательно тронулся? Не соображает, чем это грозит?

— Розенблюм уверен, что до них это не докатится.

— Черта с два! Рванут уцелевшие реакторы — и полуостров поминай как звали!

Да что полуостров! Надо что-то делать, Джон!

— А я с вами о чем толкую?

— Следует срочно предупредить Плэйтона.

— Так он нам и поверил.

— А вы на что? Внушите ему. Заставили же вы поверить в эту историю с моим удостоверением.

— С каким удостоверением? — опешил биолог. — Я? С чего вы взяли?

У Стэнли перехватило дыхание.

— Бога ради, Джон! Сейчас не до шуток.

— Какие шутки? — Хейлигер даже привстал с дивана, но тут же опустился обратно. — Клянусь вам, я...

— Но тогда кто? — Стэнли растерянно уставился на биолога. — Кто это сделал?

Вы помните ту сцену в кабинете у Плэйтона?

— Прекрасно помню. Но уверяю вас, у меня и в мыслях ничего похожего не было.

— Неужели Плэйтон взял меня на пушку? — Стэнли яростно потер подбородок. —

Нет, это исключено. Но тогда кто?

— Эдвард, сегодня вечером я заходил к Плэйтону.

— Знаю. И наплели ворох небылиц о корабле пришельцев. Да еще впутали в эту историю беднягу Крейна. Я был у полковника после вас, Джон.

— Тот, кого вы называете Крейном, — негромко, но убежденно произнес биолог, — не имеет с человеком ничего общего.

— А с кем имеет?

— Ни с кем! — отчеканил Хейлигер. — Земных аналогов у него нет.

— Это миляга-то Крейн?

— Ваш идиотский скепсис начинает действовать мне на нервы, Эд! — разозлился

Хейлигер. — Неужели вы не можете серьезно отнестись к тому, что я говорю?

— Могу, — вздохнул Стэнли.

— Тогда зачем же вы прикидываетесь дураком?

Прежде чем ответить, физик достал сигарету и закурил. Глядя куда-то в пространство, сделал несколько глубоких затяжек.

— Мне страшно, Джон. А дураку все нипочем.

Плэйтону снились космические кошмары. Фиолетовые гигантские спруты, извиваясь, двигались по Млечному Пути. На них остервенело лаял разросшийся до разме-

ров созвездия Большого Пса генерал Розенблюм. Из созвездия Девы загадочно улыбалась Элен. Потом что-то негромко скрипнуло, изображения затуманились, и во Вселенную спокойно, как к себе домой, вошел капитан Крейн. Вошел и остановился против Плэйтона.

— Генри? — удивился полковник. — Как вас сюда занесло?

— Никак. — Крейн присел на ближайшую туманность, аккуратно подтянул брюки на коленях. — Я тут живу.

— В космосе? — полковником вдруг овладело беспричинное веселье. — Выходит, я у вас в гостях? А чем вы тут дышите?

— Космосом, — без тени улыбки сообщил Крейн. — И вы тоже.

— Ну, я-то, положим, знаю, чем дышу, — хихикнул Плэйтон. — Но это несущественно. И давно вы тут живете, Генри?

— Это тоже несущественно, господин полковник.

— А что же, по-вашему, существенно? — рассмеялся Плэйтон, окончательно впадая в эйфорию.

— То, что я вам сейчас сообщу.

— Давайте, Генри, сообщайте, — полковник буквально задыхался от смеха. — Сгораю от любопытства.

— Полковник Плэйтон! — Крейн четко, почти по слогам выговаривал каждое слово. — Через несколько часов вы намерены обстрелять центр по производству плутония боеголовками с жидким бетоном.

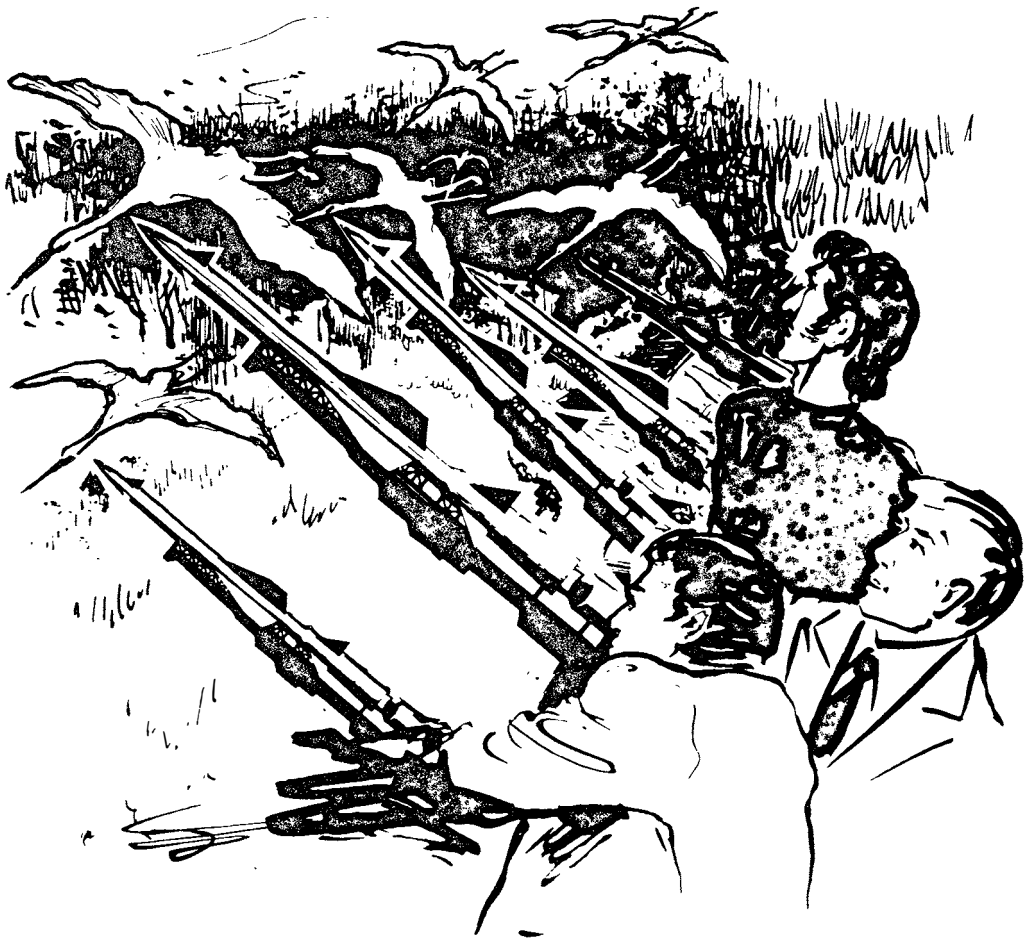
— Те-те-те, голубчик! — Плэйтон игриво погрозил пальцем. — Откуда вам известно про центр? Сведения-то секретные!

— Этого делать не следует! — продолжал Крейн, не обращая внимания на болтовню полковника.

— Так уж и не следует? — все в той же шаловливой манере поинтересовался Плэйтон. — Вам-то не все равно?

— Вы не сделаете этого, полковник!

— Смахивает на приказ, не правда ли, Генри?



— Ну хорошо, — Крейн встал, отпихнул ногой туманность, и она, закручиваясь в спираль, медленно поплыла прочь. Глядя, как она исчезает из виду, Плэйтон вдруг ни с того ни с сего ощутил беспокойство. Беспокойство явно вызывал в нем Крейн.

— Хорошо, — повторил капитан. — Я объясню вам, в чем дело. Представьте себе большой современный город.

— Представил. — Плэйтон с огорчением почувствовал, как радостное настроение улетучивается, словно воздух из проколотого автомобильного баллона.

— Как поступают, если в одном из кварталов вспыхнет пожар?

— Туда сломя голову мчатся пожарные.

— А теперь представьте аналогичную ситуацию здесь, на полуострове.

— Горит лес?

— Нет. Но на месте взрыва работает аварийная команда.

— Чья? — усмехается Плэйтон. — Уж не русских ли?

— Русские здесь ни при чем.

— Тогда кто?

— Те, кого вы называете пришельцами.

— Ха! — произнес полковник. — Еще и еще раз — ха!

— Не верите?

— Не верю. — Плэйтон вдруг обнаружил, что сидит на диване в комнате для отдыха. Крейн стоял напротив, возле отодвинутого в сторону стула. — Вы не оригинальны, Генри. Незадолго до вас еще один сумасброд пытался убедить меня в существовании пришельцев.

— Хейлигер? — спросил капитан.

— Он самый. И даже утверждал, будто вы и есть один из них. Я отослал его спать. Советую и вам сделать то же самое.

— Этого следовало ожидать, — Крейн был явно встревожен.

— Чего «этого»? — уточнил Плэйтон.

— Что Хейлигер ориентируется раньше других.

— Потому что он биолог?

— Потому что он экстрасенс. — Крейн в упор уставился на Плэйтона. — И давайте оставим его в покое. Есть проблемы поважнее. Скажите, полковник, как бы вы отреагировали, если бы, ну, скажем, здесь или в Пайнвуде на головы ваших сослуживцев вдруг посыпались контейнеры с жидким бетоном?

— Вы что — всерьез утверждаете, что на ЦПП работают ваши...

— Соотечественники, — подсказал Крейн. — Так будет понятнее. Да, полковник. Утверждаю. Они обезопасили чудом уцелевшие при взрыве реакторы, снизили радиоактивность и удерживают ее на безопасном уровне. Еще день-два — и опасность будет ликвидирована полностью.

«Стэнли бы сюда, — тоскливо подумал Плэйтон. — Он в этих делах дока».

— Отложите запуск ракет, полковник. — Крейн почти умолял. — Хотя бы на пару дней. Придумайте какой-нибудь предлог. В конце концов, это и в ваших интересах.

Плэйтон опустил ладони на простыню, ощутил ее прохладную шероховатость. С силой зажмурил и открыл глаза. Все оставалось на своих местах.

— Не понимаю, — медленно произнес Плэйтон. — Сплю я или не сплю?

— Спали, когда я вошел. — Крейн опустил на стул, не сводя глаз с полковника.

— А теперь?

— Теперь нет, — капитан нервничал. — Решайтесь, полковник. Мы впустую теряем время.

— Не понимаю, — повторил Плэйтон. Он вдруг поймал себя на мысли, что впервые смотрит Крейну в глаза. Глаза были жалобные и растерянные.

— Что вам непонятно? — В голосе Крейна звучало раздражение.

Плэйтон провел ладонью по обросшей за ночь щеке.

— Зачем вы меня уговариваете? Если вы действительно пришелец, сделайте так, чтобы ракеты не взлетели. Вы ведь все можете: гасить радиоактивное излучение и наверняка еще многое другое, что людям не по плечу. Происшествие на восемьдесят седьмом посту ваших рук дело?

Крейн поколебался и кивнул.

— Не понимаю, — снова повторил Плэйтон и болезненно поморщился. — Кто вы? Друзья или враги?

— Ни то ни другое. — Крейн поднялся, подошел к окну и раздвинул шторы. За окном занимался рассвет. Капитан обернулся. — Мы — пришельцы.

— Не понимаю, — в четвертый раз признался Плэйтон.

— И никогда не поймете. — Крейн покачал головой. Теперь он казался абсолютно спокойным. — Никогда.

«Ну и самомнение! — поморщился Плэйтон. — Такой от скромности не умрет».

— Не знаю, что вы там подумали обо мне. — Крейн заложил руки за спину и оперся ими о подоконник: темный силуэт на розовом фоне рассветного неба. — Но все

это неверно потому, что мыслите вы земными категориями и по-иному мыслить не можете. Трагедию из этого делать не стоит. Обижаться тоже.

Ну скажите на милость, делались у вас когда-нибудь попытки установить контакт с муравьями? Нет, конечно! Еще бы! Ведь человек — мыслящее существо, венец природы, а муравей — всего лишь насекомое, пусть даже с некоторыми претензиями. Они ведь ни мыслить, ни говорить не в состоянии! А теперь представьте себе галактическую цивилизацию, которая на миллионы лет старше вашей земной. Складывалась и развивалась в совершенно иных условиях. Возможен в этом случае разумный контакт? На каком уровне? В лучшем случае на том же, что и у пчеловода с пчелами: сколотил ульи, с места на место перевозит, оставляет медку на зиму. Самую малость. Чтобы с голоду не передохли.

Хотите другой пример? Извольте. Микробы, бактерии, вирусы. Вы их уже давно распознавать научились: эти — полезные, а те — вредные. Первых — не тронь, вторых — уничтожай без пощады. С человеческой точки зрения, вроде бы все верно. Ну а если пошире взглянуть? Аналогия с животными сама собой напрашивается. Одни — хищные, другие — нет. Истребляй хищных, если хочешь травоядных сохранить. А на самом деле что получается? Исчезают хищники — травоядные хиреть начинают. Болеют, вырождаются. Да и с хищниками не все так просто, как кажется. Волк хотя бы взять. Чем больше их уничтожают, тем активнее они стремятся выжить. Волк с собакой — извечные враги. А тут — инстинкт по боку, и выходят на жизненную арену поколения волкопсов. А это хищники куда опаснее. От волков — ненависть к человеку унаследовали, от собак — бесстрашие. Волки подальше от жилья старались держаться, а эти — наоборот: прямо в поселках свирепствуют, во дворах. На людей нападают.

— К чему вы это говорите, Генри? — хрипло спросил Плэйтон и прокашлялся, прощипывая горло.

— К тому, чтобы вы не строили иллюзий. Аналогии с вашими земными делами, понятны, условные. На самом деле все гораздо сложнее.

Вселенная — гигантский организм, живущий по своим законам. И земля — всего лишь крохотная, глазом невидимая его частичка.

— Впечатляюще, — Плэйтон зевнул. — И вы в этой Вселенной, надо полагать, полновластные хозяева?

— Да-да, — чуть помедлив, ответил Крейн.

— Караете и милуете по своему усмотрению, — усмехнулся Плэйтон. — И наплевать вам на остальных ее обитателей.

— Не совсем так, — возразил капитан. — Просто бывают такие ситуации...

— Не надо, Крейн. — Плэйтон помолчал. — Не объясняйте. Я в этих делах все равно ничего не смыслю. Наверное, вы правы. Земля действительно пылинка во Вселенной. И для кого-то наши земные амбиции смешны и ничтожны. Но... — Плэйтон помедлил, соображая, как поточнее выразить мысль... — наверняка существует следующая, гораздо более обширная система, и Вселенная, — полковник усмехнулся, — всего лишь крохотная частица этой системы. И для ее обитателей вы со своими амбициями и притязаниями точно так же смешны и ничтожны, как мы для вас.

А теперь, — Плэйтон сбросил с плеч пиджаму. — Поболтали и хватит. Я иду принимать душ. Ваше счастье, что я ни единому вашему слову не верю. Вы свободны, капитан. До девяти утра.

Трудно сказать, чего было больше: беспокойства, растерянности или раздражения. Пожалуй, все-таки раздражения. Плэйтон чувствовал, что теряет уверенность в себе, и это медленно, но верно приводило его в ярость. В критических ситуациях ему приходилось бывать и прежде. Природный ум, смекалка, знания, а позднее и опыт помогали ему всякий раз быстро овладеть положением и, руководствуясь здравым смыслом, найти правильное решение. В том, что решения эти были правильными, сомнений быть не могло: в Национальных Вооруженных Силах не так-то просто верой и правдой дослужиться до полковника, а он стал им в неполных тридцать. Но то, с чем он столкнулся здесь, на полуострове, не шло ни в какое сравнение с тем, что ему приходилось испытывать прежде. Тут не было стрельбы, не убивали на глазах людей, само понятие «противник» отсутствовало как таковое.

Пришельцы? Но если отбросить расползающиеся по швам показания очевидцев, навязчивый бред Хейлигера и идиотские разглагольствования Крейна, то их просто-напросто не существовало. Загадочные исчезновения людей? Но тут с самого начала ощущался душок низкопробных «космических опер», такое искусственное нагнетание зловещей таинственности.

В фантастической мешанине событий и фактов следовало разобраться как можно скорее, и он добросовестно пытался сделать это, вновь и вновь апеллируя к здравому смыслу, пока, наконец, не понял, что привычные критерии здесь не годятся, а логические построения с удручающей неизбежностью заводят в тупик.

И тогда, вконец отчаявшись, Плэйтон впервые в своей жизни махнул на все рукой и поплыл по течению.

«Душ бодрит тело, но не исцеляет душу», — глубокомысленно заключил Плэйтон, до красноты растираясь махровым полотенцем. Получился дурацкий каламбур: душ — душу. Полковник хмыкнул, привычно быстро оделся и, ощущая во рту аптечный привкус зубной пасты, вышел на улицу.

Солнце еще не поднялось из-за леса. Пряный аромат прихваченной морозцем листвы, смешиваясь с запахом жарящегося мяса, аппетитно защекотал ноздри. Плэйтон хлопнул дверь и направился в сторону расположенной неподалеку офицерской столовой.

Появление полковника в этот ранний час вызвало легкий переполох. Повар поспешно напялил белый накрахмаленный колпак, дневальные ринулись наводить чистоту в зале, молоденькая официантка расставила картонные стаканчики с салфетками и подошла к столу, за который сел Плэйтон.

— Большую чашку кофе, — опередил он ее вопрос.

— Со сливками?

— Черный. Попросите, чтобы заварили покрепче.

— Яичницу, бэкон?

— Ни то ни другое. Кофе.

Официантка ушла, а Плэйтон от нечего делать принялся наблюдать, как дневальный чистит окно. Работал солдат сноровисто, со знанием дела: вначале нанес на стекла меловой раствор, потом прошелся по ним влажной тряпкой, а теперь наводил блеск с помощью чистой сухой ветоши. Под уверенными взмахами руки открывалась идеально прозрачная поверхность, и, бросив взгляд через плечо солдата, полковник увидел Стэнли и Хейлигера, идущих в сторону штаб-квартиры.

— Рядовой Брюс! — негромко окликнул Плэйтон.

— Доброе утро, господин полковник. Я думал, вы меня не узнали.

— Кем вы работали до армии, Брюс?

— Верхолазом, господин полковник.

— Монтаж?

— Никак нет. Драил окна на небоскребах.

— Я так и подумал. Видите вон ту парочку на улице?

— Так точно, господин полковник.

— Пригласите их сюда.

— Слушаюсь.

Подошла официантка. Кроме чашки кофе, на подносыке красовались вазочка с печеньем и две плитки прессованного сахара.

— Нашего полку прибыло, — сообщил полковник. — Сейчас сюда явятся еще двое любителей раннего завтрака. Думаю, кофе их устроит. Впрочем, вот и они. Спросите сами.

Биолог ограничился чашкой кофе со сливками, физик потребовал глазунью из трех яиц и стакан чая.

— У вас измученный вид, Хейлигер, — констатировал Плэйтон. — Плохо спалось? Если из-за Крейна... то Генри явился ко мне с повинной и во всем признался.

Биолог досадливо поморщился.

— В чем признался? В том, что он пришелец и что ребята из его команды вовсю орудуют на ЦПП, устраняя последствия аварии. — Плэйтон натянуто хохотнул. — Решили подшутить над папашей Плэйтоном? Ну-ну. Я на вас не в обиде, ребята.

Хейлигер выразительно уставился на Стэнли. Тот хотел что-то сказать, но, увидев приближающуюся с подносом официантку, промолчал.

Выждав, пока девушка закончит сервировать стол, Стэнли покосился на занятого соседним окном дневального, наклонился и заговорил вполголоса.

— Рад, что вы в хорошем настроении, Плэйтон. Мне жаль портить его вам с утра, но другого выхода у нас с Хейлигером нет.

— Тогда хотя бы аппетит пощадите, — усмехнулся Плэйтон. — Ешьте, Эд. Яичница хороша горячая.

Завтрак прошел в молчании. Стэнли расправился с глазуньей и попросил второй стакан чаю. Хейлигер безо всякого удовольствия выпил кофе. Плэйтон управился со своей чашкой и закурил первую за это утро сигарету.

— Вы сказали, у вас был Крейн? — настороженно поинтересовался биолог. — Когда?

— Практически Крейн всегда при штаб-квартире. — Полковник поискал глазами пепельницу и, не найдя, стряхнул пепел в чашку. — Если вы имеете в виду наш разговор, то он состоялся ночью. Пожалуй, даже на рассвете.

— Странно, — задумчиво обронил биолог.

— Не вижу ничего странного. — Плэйтон покосился на физика. Тот молча слушал. — Какое пришьельцам дело до нашей этики? Они могут ее и не знать. Вы все еще убеждены, что Крейн пришелец?

— Да, — кивнул Хейлигер. — Но сейчас главное не это.

— А что?

— Может быть, поговорим у вас в кабинете? — предложил физик.

— Какая разница? — Плэйтон окинул взглядом столовую.

Брюс и его коллеги закончили уборку и, стоя, пили кофе в дальнем конце зала.

— Здесь, по крайней мере, нет подслушивающих устройств. — Полковник усмехнулся. — И пришьельца в соседней комнате. Так что можете начинать.

— Давайте вы, Стэнли, — попросил биолог.

— Когда начнется заброска контейнеров? — с места в карьер начал физик.

— Сегодня. Помнитесь, я вам это уже говорил. Из зоны эвакуируют людей. Вы что-то имеете против?

— Да, полковник. — Стэнли кашлянул и тоже достал сигареты. — Мы с Хейлигером считаем, что с этим не следует торопиться.

— Понятно. Отсрочить на денек-другой, не так ли?

— Да, — одновременно кивнули Стэнли и Хейлигер.

— Ребята, — Плэйтон подался вперед и доверительно опустил ладони на плечи собеседников. — Неужели я действительно похож на идиота?

— С чего вы это взяли? — Стэнли осторожно снял с плеча руку Плэйтона, мягко похлопал по тыльной стороне кисти. — Не надо, Ричард. Вы прекрасно знаете, никто так не считает.

— Тогда объясните, зачем нужно, чтобы я непременно плясал под вашу дудку?

— Плясали? — растерялся Хейлигер.

— Что вы имеете в виду, Ричард? — Стэнли не сводил глаз с полковника.

— А то, что и Крейн, и вы оба добываетесь одного и того же!

— Как? — искренне удивился биолог. — И он?

— Будто вам это неизвестно! — фыркнул полковник.

Стэнли и Хейлигер недоуменно переглянулись.

— Наверное, мне следовало бы на вас обидеться, — продолжал Плэйтон. — Не бог весть какое удовольствие сознавать, что над тобой посмеиваются.

— Бросьте, Плэйтон! — решительно возразил Стэнли. — Никому и в голову не приходило над вами смеяться!

— Но вы заблуждаетесь, — полковник затянулся и погасил окурочек, — если думаете, что старина Плэйтон спит и видит себя во главе этой сволочной комиссии!

— Господин полковник! — взмолился Хейлигер.

— Разумеется, я не хватаю звезд с неба, — не повышая голоса, Плэйтон чеканил каждое слово. — Я всего лишь заурядный армейский полковник. Но сообразить, что меня хотят сделать козлом отпущения, мои закаменевшие мозги пока еще в состоянии. Так что не держите меня за дурака, господа. Благодарю за приятный завтрак. Вы свободны. Когда потребуется, вас вызовут.

Плэйтон стал подниматься из-за стола, но Стэнли поспешно удержал его за руку.

— Не уходите, Ричард. Коли уж на то пошло, все мы тут ходим в дураках. Послушайте, что скажет Хейлигер.

— Ну что ж, — Плэйтон сел и облокотился о стол, — я вас слушаю.

— Мне стали известны, — биолог огляделся по сторонам и понизил голос, — планы генерала Розенблюма.

— Планы Розенблюма меня не интересуют, — отрезал Плэйтон. — Это его личное дело.

— Не скажите, — возразил Стэнли. — Это касается нас всех. Продолжайте, Джон.

— Одна из боеголовок, доставленных в Пайнвуд, настоящая.

— Вы отдаете себе отчет в том, что говорите? — резко спросил полковник.

— Вполне, — кивнул Хейлигер, глядя полковнику в глаза.

«Какой-то он весь серый, — неприязненно подумал Плэйтон. — Волосы, глаза, галстук, костюм. Серая личность. Но не трус. У трусов не бывает такого взгляда».

— И как вам это стало известно?

— Из первоисточника, — горько усмехнулся биолог. — От генерала Розенблюма.

— Он сам вам это сказал?

— Не мне. — Хейлигер покраснел и опустил глаза. — Своей супруге. Они обсуждали это минувшей ночью.

— В вашем присутствии? — саркастически уточнил Плэйтон.

— Ричард, — Хейлигер впервые назвал Плэйтона по имени. — В ваших глазах я наверняка выгляжу мерзавцем. Я сам себя презираю. Но сейчас не до этики. Слишком многое поставлено на карту. Если не помешать Розенблюму... — Он беспомощно оглянулся на Стэнли. — Но что же вы молчите, Эд?

— Джон прав, — кивнул физик. — Взорвутся остальные реакторы, а это — конец.
— Полуострову?
— Стране. Континенту. Всей планете. — Стэнли тяжело вздохнул. — До идиота Розенблюма это не доходит. Ему, видите ли, нужна власть.

— Власть? — тупо переспросил Плэйтон.
— Понимаете, Ричард, — Хейлигер виновато развел руками, — у меня не было выбора. Возникли сомнения, а чтобы их рассеять, не оставалось ничего другого, кроме как «нащупать» Розенблюма и узнать, что у него на уме. Не моя вина, что это удалось сделать только поздно ночью.

«Экстрасенс! — вдруг вспомнил Плэйтон. — Хейлигер — экстрасенс. Он сам мне это сообщил. А потом Стэнли и Крейн... Поздно ночью...»

Плэйтон ощутил противную дрожь в пальцах и сжал кулаки.

— Вы сказали, Розенблюм беседовал с супругой?

— Да, Ричард. — В серых пристальных глазах Хейлигера сквозило сострадание.

— Оставьте нас вдвоем, Эдвард, — попросил Плэйтон.

— Ради бога! — Стэнли выудил из пепельницы свою недокуренную сигарету. — Пойду подымлю на воздухе.

— Значит, Элен в столице? — спросил полковник.

— Да. — Биолог отвел взгляд в сторону. — Еще раз простите меня, Плэйтон. Омерзительно подслушивать чужие разговоры, да еще интимные. Но что мне оставалось?

— Они говорили обо мне? — Плэйтон буквально выжимал из себя каждое слово.

— Может быть, не надо, Ричард?

— Надо.

— Вероятно, вы правы. — Биолог помолчал. — Чтобы поверить до конца, нужно знать все.

Он взял чайную ложечку и принялся машинально водить ею по скатерти.

— Розенблюм сообщил, что разговаривал с вами. — Хейлигер запнулся, подбирая слова. — Элен поинтересовалась, получили ли вы ее весточку. «Получил, — ответил Розенблюм. — И намерен отправить тебя обратно, как только ты там объявишься».

— И все?

— Почти. — Хейлигер старательно избегал взгляда Плэйтона. — Женское сочувствие по поводу вашей доверчивости. Ну и брошенное в пылу гнева: «Учитите, Розенблюм, я вам не Ричард Плэйтон. Меня вокруг пальца не обвести».

— Теперь все?

— Да.

С минуту Плэйтон сидел неподвижно, глядя прямо перед собой, ничего не различая и не слыша. Потом, словно возвращаясь из забытья, провел ладонью по лицу и глубоко вздохнул.

— Что вы там толковали об устремлениях Розенблюма?

— Точнее — не его, а его супруги. Она всеми правдами и неправдами старается усадить Розенблюма в министерское кресло.

— Розенблюма — в министры? — Плэйтон усмехнулся и покачал головой.

— Смешно, — согласился Хейлигер. — И тем не менее, это факт. А поскольку в верхах никто Розенблюма всерьез не воспринимает, то его единственный шанс выбиться в лидеры — это армия.

— Военный переворот? — скептически предположил Плэйтон.

— Почти. По наущению супруги генерал ухитрился организовать диверсию в центре по производству плутония.

— Вы сошли с ума!

— Если бы я! — Хейлигер отложил ложку и взглянул на собеседника. — От моего помешательства вреда ни на грош. А вот параноик Розенблюм уже наломал дров, и если его не остановить...

— Ну а что ему дала эта диверсия?

— В том-то и дело, ничего не дала! Расчет был такой: инсценировать агрессию пришельцев, одержать над ними блистательную победу и под грохот литавр занять пост министра национальной обороны.

Не вышло. Взрыв получился какой-то вялый, а пока пресса раздувала шумиху, правительство приняло соответствующие меры, которые связали Розенблюма по рукам и ногам. Пришельцы? Согласен, не исключено. Но вначале следует разобраться и уже потом действовать. А вот это самое «разобраться» грозит Розенблюму электрическим стулом.

— Теперь понятно, почему он так спешит похоронить ЦПП!

— Это было бы еще полбеды. Розенблюм решил на следующий шаг. Под видом контейнера с жидким бетоном ударить по ЦПП ядерной боеголовкой. А когда взлетит на воздух весь центр и начнется паника, заявить: я вас предупреждал. Национальной обороной должна управлять железная рука! Ну и далее в том же духе.

Железная рука — это, разумеется, генерал Розенблюм. Спаситель отечества! Надежда нации!.. Элен при своих связях с прессой и телевидением представит все в наилучшем виде.

— Лихо задумано. — Плэйтон посмотрел на часы.

— Эта пара маньяков не учла самого главного, — глухо проговорил Хейлигер. — После того, как взорвется ЦПП, будет уже не до министерских постов. Придется искать выход из тупика, пытаться спастись от неминуемой гибели.

— Не так мрачно, Хейлигер! — Плэйтон тяжело поднялся из-за стола. — Еще не все потеряно. Без моей команды с Пайнвуда не взлетит ни одна ракета.

Во дворе, на скамейке возле по-осеннему нарядной живой изгороди, Стэнли вовсю ухаживал за официанткой. Наклонившись к ее плечу, шептал что-то на ухо, а она звонко смеялась, то и дело взбрыкивая стройными ногами. Ноги у девушки были что надо. «Вот кому все трын-трава», — подумал Плэйтон с неожиданным облегчением и громко прокашлялся. Девушка ойкнула и проворно шмыгнула на кухню. Стэнли встал, скорчив недовольную мину.

— Пришли к единому знаменателю? — поинтересовался он, когда полковник с биологом поравнялись со скамьей. Хейлигер промолчал.

— Идем, — буркнул Плэйтон.

— Куда? — в тон ему спросил физик.

— Слушать другую сторону.

— Какую еще другую? — опешил Стэнли.

— Закадычного дружка Хейлигера. — Плэйтон покосился на биолога, но тот то ли не слышал, то ли сделал вид, что не слышит.

— Какого дружка? — воззрился физик на Хейлигера. — У вас есть тут друзья, Джон?

— Полковник имеет в виду Крейна, — неохотно пояснил биолог.

— Так бы и говорили, — успокоился физик. — Надеюсь, это не займет много времени?

— А вы торопитесь? — Плэйтон чуть заметно качнул головой в сторону кухни.

— Подождет, — беспечно отмахнулся Стэнли. — Сейчас меня куда больше волнует мисс Пайнвуд.

— Мисс?.. А, ну да, база.

— База, — подтвердил физик. — Вы приняли решение, Ричард?

— Почти.

— И что вас удерживает?

— Самая малость. Хочу послушать Крейна. Вы женаты, Стэнли?

— Что? — вытаращился физик. — Вам-то какое дело?

— Абсолютно никакого. — Плэйтон толкнул калитку и вышел на улицу. — Просто вы мне нравитесь, Эдвард.

— Вы мне тоже. Но при чем здесь мое семейное положение?

— Не смешите пингинов, Эд.

— Пингинов?.. Каких пингинов?

— Спросите у Хейлигера. Он утверждает, будто пингины — самые смешливые существа на свете. Только почему-то не велел говорить об этом вам. А я, как видите, проболтался.

— В чем дело, Джон? — набросился Стэнли на шедшего, чуть поотстав, биолога.

— Что? — не понял тот.

«Славные вы мои! — с внезапной нежностью подумал Плэйтон, наблюдая за вспыхнувшей перепалкой. — Знали бы вы, как мне плохо, как мне чертовски плохо... И дело даже не в том, что я сбит с толку, не ведаю, как поступить и кому верить. Дело в чем-то другом, гораздо более глубоком и важном. Элен? Но с ней все давным-давно кончено. Перегорело, зарубцевалось, остыло... И осталась память... Только память... Так неужели столько лет спустя она способна причинять боль? Разве память материальна? Может воспалиться, дать метастазы?..»

Плэйтон знал, что кривит душой, сознательно избегает правды. Та Элен, которая продолжала жить в сердце, отвергла его, но сделала это честно и прямо, не утруждая и не унижая себя ложью.

Женщина из сбивчивого рассказа Хейлигера не имела с Элен ничего общего, зато превосходно уживалась с той, чей бесплотный голос притаился в недрах записывающего устройства, готовый звучать вновь и вновь, стоит только нажать кнопку. И было в этой рабелепной готовности что-то унижительное, постыдное, отталкивающее.

«Странное существо человек, — продолжал размышлять Плэйтон, подходя к штаб-квартире впереди своих спутников. — Если правы Стэнли и Хейлигер, то человечеству угрожает ядерная ночь, глобальная зима, из которой никому не выбраться живым. А меня одолевают свои, сугубо личные мысли, а физик с биологом сцепились из-за

каких-то дурацких пингвинов. Что это? Защитная реакция? Эгоизм? Беспечность? Неверие в масштабы грозящей миру беды? Надежда на мифических пришельцев, которые не дадут разразиться термоядерному катаклизму? Что там плел Крейн о своих соотечественниках, якобы ликвидирующих последствия взрыва?..»

Полковник поравнялся со штаб-квартирой и остановился, поджидая ученых.

«В сущности, славные ребята,— опять подумал он.— И Стэнли, и Хейлигер, и Крейн. И всем троим зачем-то нужно отсрочить запуск ракет. Ну так хоть договорились бы между собой. А то плетут каждый свое...»

— Полковник! — Хейлигер трясся от негодования.— Скажите этому болвану, что вы пошутили!

— Я пошутил, Стэнли,— улыбнулся Плэйтон.— Ни одна живая душа не может похвастать, что видела смеющегося пингвина. Даже Хейлигер. И не смотрите на меня кровожадными глазами. Вы только что позавтракали.

— Ну, знаете ли! — возмутился физик, но тут же взял себя в руки.— По-моему, вы перегибаете, Ричард.

— Не уверен.— Плэйтон отворил калитку.— Вы с Хейлигером второй день морочите мне голову — и то ничего. Капитан Крейн!

— Да, господин полковник! — Дверь распахнулась, и на пороге показался Крейн.

— Еще один любитель розыгрышей,— кивнул в его сторону Плэйтон.— Что нового, Генри?

— Заканчивается эвакуация из зоны.

— Эти двое,— полковник ткнул большим пальцем через плечо,— горят желанием побеседовать с вами. Особенно ваш друг Хейлигер. Не откажите в любезности.

— Плэйтон! — возмутился биолог.

— Шучу.— Плэйтон взошел на крыльцо и обменялся с Крейном рукопожатием.— Это я их привел. На очную ставку.

— Плэйтон! — простонал Хейлигер.

— Ну и народец пошел! — усмехнулся полковник.— Слова не скажи. Прошу ко мне, господа.

Крейн отступил в глубину комнаты, пропуская Плэйтона. За полковником прошел Стэнли. Хейлигер замешкался и в ответ на приглашающий жест капитана отрицательно мотнул головой:

— После вас.

Крейн пожал плечами и, ни слова не говоря, проследовал в кабинет.

Они сидели друг против друга: Стэнли и Хейлигер по одну сторону приставного стола, Крейн — по другую. Несколько секунд полковник молча наблюдал за ними. Биолог демонстративно игнорировал присутствие Крейна. Физик, наоборот, с откровенным любопытством разглядывал капитана, словно видел его впервые. Крейн, казалось, был абсолютно безразличен к происходящему, держался подчеркнуто прямо и, не отрываясь, смотрел в окно.

«Веселенькая компания,— мысленно отметил Плэйтон.— Разыгрывают фарс и хотят, чтобы я им поверил. Впрочем, Крейн о боеголовке не заикался».

— Насколько я понимаю,— Плэйтон непроизвольно поморщился,— истинное положение вещей известно вам лучше, чем мне. Так что играем в открытую. Согласны? Возражений не последовало.

— Тогда,— полковник обвел взглядом присутствующих,— в соответствии с полученным приказом мне надлежит обстрелять ЦПП контейнерами с жидким бетоном. Операция должна начаться в девять ноль-ноль по местному времени. Эвакуация из зоны подходит к концу. Так что объективных причин, которые могли бы помешать своевременному выполнению приказа, казалось бы, нет.

— Есть! — одновременно вырвалось у Крейна и Хейлигера. Оба изумленно уставились друг на друга.

— Я сказал «казалось бы»,— не повышая голоса, уточнил Плэйтон. Биолог прикусил нижнюю губу. Крейн чуть заметно пожал плечами.— У вас есть возражения, Крейн?

— Да,— неохотно ответил капитан.— Они вам известны.

— Мне, но не им.— Полковник кивком указал на ученых.— Проинформируйте их, Генри.

— Пожалуйста.— Крейн продолжал смотреть в окно.— ЦПП нельзя обстреливать ракетами, потому что там ведутся аварийные работы.

— Работы? — переспросил Стэнли.— И кто же их ведет?

— Мы,— был ответ.

— Кто вы?

— Те, кого вы называете пришельцами.

Стэнли недоверчиво хмыкнул.

— И что они там делают?

— Мы впустую теряем время,— Крейн обернулся к полковнику.— Я ведь все объяснил.

— Что они там делают? — не отставал Стэнли.

— Вы физик! — не выдержал Крейн.— Надо ли вам объяснять, что делается в таких случаях?

— Не горячитесь, Генри,— остановил его Плэйтон.

Крейн оторвался наконец от окна, посмотрел полковнику в глаза.

— Поймите, Плэйтон, я должен знать, откладывается запуск или нет!

— Зачем вам это знать? — вмешался в разговор биолог.

Крейн не удостоил его ответом.

— Да или нет?

— Вы не знаете главного, Генри,— негромко произнес Плэйтон.— Хейлигеру стало известно, что одна из приготовленных к запуску боеголовок — настоящая.

В комнате воцарилась тишина. Крейн медленно перевел взгляд на Хейлигера.

— Это правда?

— Да,— поколебавшись, ответил биолог.

— Безумцы! — Крейн поднялся и отшвырнул от себя стул.— Тупые, взбесившиеся существа! Соображаете, чем это грозит? Вы, Плэйтон?

Ни слова не говоря, полковник снял трубку с телефонного аппарата.

— Соедините с Пайнвудом. База? Полковник Плэйтон. Где майор Янг? Давайте. Янг? Говорит Плэйтон. Доложите обстановку. Какой приказ? Понятно. А теперь слушайте меня. Запуск отменяется. Что-что?!

Несколько минут он молча слушал человека с другого конца провода. Потом швырнул трубку и яростно выругался.

Три пары глаз следили за ним с нарастающей тревогой. Полковник вышел из-за стола и распахнул окно. В комнату ворвалась струя холодного утреннего воздуха.

— Все, ребята.— Плэйтон расстегнул верхнюю пуговицу и с силой оттянул галстук.— Полчаса назад генерал Розенблюм взял на себя командование операцией. Запуск ракет перенесен на восемь тридцать.

Все трое как по команде взглянули на часы.

— Через час...— растерянно прошептал Хейлигер.

— Да,— не оборачиваясь, подтвердил полковник.— Через час с небольшим.

— Но какая же сволочь этот ваш Розенблюм! — взорвался Стэнли.— Что вы медлите, полковник? Действуйте. Объявите тревогу. Атакуйте Пайнвуд, наконец!

— Поздно, Эдвард. Войсковые части напрямую подчинены Розенблюму. Я для них уже никто.

— Вы старый вояка, черт вас подери! Не мне вас учить. Поднимите мятеж!

— Мятеж? — усмехнулся Плэйтон.— Я кадровый офицер, Эд. Мятежи не по моей части. Да и что можно успеть за час? До Пайнвуда полтора миль.

— Плэйтон,— биолог вплотную подошел к полковнику, умоляюще заглянул в глаза.— Где сейчас может быть Розенблюм?

— А черт его знает. Скорее всего, у себя в кабинете. Вам-то это зачем?

— Так...— Хейлигер опустил голову и некоторое время сосредоточенно разглядывал узор на ковре.

— Что вы там узрели? — не выдержал Плэйтон.

— Ничего.— Хейлигер тяжело вздохнул.— Можно, я воспользуюсь вашей комнатой отдыха, Ричард?

— Разумеется.— Плэйтон пересек кабинет и толкнул дверь в соседнюю комнату.— Пользуйтесь на здоровье. И уже вдогонку:— В холодильнике — бутылка виски. Кстати,— он обернулся к физику,— может, и мы причастимся напоследок?

— Не откажусь.

— А вы, Генри? Что с ним, Эдвард?

Крейн сидел за столом, уронив лицо на скрещенные руки.

— Капитан! — Стэнли бесцеремонно встряхнул сидящего. Тот не шелохнулся.— Окаменел он, что ли?

— Не тормошите его, Эд.— Плэйтон вошел в комнату отдыха, достал из холодильника непечатую бутылку виски. Хотел было взять рюмки, но раздумал и махнул рукой.— Выпейте, Хейлигер?

Биолог лежал на диване, прикрыв ладонью глаза. Не отнимая ладони, покачал головой.

— Дело ваше.

Плэйтон возвратился в кабинет. Физик растолкал-таки Крейна. Тот стоял, опираясь рукой о стол и щурясь, как от яркого света.

— Глоток виски?

Капитан зажмурился еще больше.

— Ведите его на воздух, Эд.

На крыльце они нос к носу столкнулись с Маклейном. Плэйтон шел первым, и, увидев в его руке бутылку, медик удивленно попятился.

— Бражничаем,— хмуро сообщил Плэйтон.— Пир во время чумы.

Маклейн проводил его округлившимися глазами до увитой диким виноградом беседки и схватил за рукав проходившего мимо Стэнли.

— Что тут происходит?

— Ничего особенного. Просто решили выпить. Составите компанию?

— Боже упаси! — ужаснулся Маклейн.— Ни свет ни заря!

— А в этом есть что-то пикантное. Вам не кажется?

— Не кажется.— Маклейн взглянул на шагающего, словно робот, Крейна.— Что с ним, Стэнли? Идет, словно лунатик.

— Все мы тут немного с приветом, — глубокомысленно изрек Стэнли. — А заодно и лунатики.

— Где Хейлигер?

— Там,— кивнул Стэнли в сторону дома.— Отдыхает.

— Ничего не понимаю! — развел руками Маклейн.

— Счастливчик вы, Антони! — позавидовал Стэнли.— Мне бы ваше неведение. Ну так как, идете?

— Иду,— обреченно вздохнул медик.

Хейлигера терзали сомнения. Безуспешно пытаюсь обрести душевное равновесие, он вновь и вновь задавал себе вопрос, хватит ли у него сил осуществить задуманное. Минувшей ночью ему удалось войти в контакт с Розенблумом, прочесть его мысли, но даже это стоило невероятных усилий и потерь энергии, не окажись рядом Стэнли,— неизвестно, чем бы все это кончилось. То, что он намеревался сделать теперь, требовало гораздо большей отдачи. Хейлигер вспомнил бледное лицо Стэнли, трясущиеся руки Маклейна, жуткое ощущение собственной беспомощности и бессилия.

Плэйтон отвинтил колпачок, основательно пригубил прямо из горлышка и протянул бутылку Стэнли. Виски было холодное, как лед, но полковник знал, что не пройдет и нескольких минут, как бодрящее тепло волной начнет подниматься по пищеводу.

Стэнли дважды приложился к бутылке, прежде чем передать ее Крейну. Все, кроме Маклейна, сидели на плетеных стульях. Медик переминался с ноги на ногу возле входа в беседку.

— Сядьте, Антони,— предложил Плэйтон.

— Кто-нибудь объяснит мне, наконец, что здесь происходит?! — не выдержал медик.

— Поминки.— Полковник сладко причмокнул губами.— Тризна.

— Все вы тут с ума посходили! — закричал Маклейн и с решительным видом шагнул к капитану.— Сейчас же отдайте виски!

Крейн без сожаления расстался с бутылкой.

— Не вздумайте выплеснуть, Антони,— предупредил Стэнли.— Плэйтон вас не простит.

— Как это прикажете понимать? — истерически взвизгнул Маклейн.

— Всеобщее падение нравов. — Полковник достал из нагрудного кармана пачку сигарет. — Приобщайтесь, док, пока есть виски.

— И это говорите вы?!

— И это говорю я, — сокрушенно признался Плэйтон. — Будете пить?

— Разумеется, нет!

— Тогда давайте сюда бутылку. Идем по второму кругу. Куда вы, Крейн?

— Туда! — махнул рукой капитан, направляясь к кустам.

— Замутило беднягу, — сочувственно констатировал Стэнли! — Скажите, Плэйтон, почему капитаны хмелеют с первого глотка?

— Возрастное. Майоры, те вообще в рот не берут.

— И это помогает им продвигаться по службе?

— Вряд ли, — Плэйтон забрал виски у Маклейна. — Скорее наоборот.

Он поднес бутылку к губам и запрокинул голову. Послышалось отчетливое курлыкание.

— Как это у вас получается? — заинтересовался Стэнли.

Полковник оторвался от горлышка.

— У меня? С чего вы взяли?

Курлыкание приближалось. Стэнли оглянулся на звук и вытянул шею.

— Вот оно что!

Над лесом, почти касаясь верхушек деревьев, летел клин журавлей.

— Журавли? — удивился Маклейн. — Впервые вижу, чтобы они летели так низко. Рядом громко захлопали крылья, и крупная серая птица стремительно взметнулась из-за кустов.

— Чудеса, — равнодушно констатировал физик и потянулся к бутылке. — Откуда он тут взялся?

Сильно и часто взмахивая крыльями, журавль догнал стаю, и весь клин, описав плавный полукруг, по крутой спирали устремился в небо. Трое из беседки проводили его взглядами, пока птицы, уменьшаясь в размерах, не растаяли в искрящейся осенней голубизне.

— Странно, — бормотал Маклейн.

— Что странно? — переспросил Плэйтон.

— Никогда не видел, чтобы журавли поднимались так высоко.

— Вам не угодить, Антони. — Полковник взял протянутую физиком бутылку. — Низко летят — плохо. Высоко — странно. Может, все-таки выпьете?

— Нет.

В приемной пронзительно зазвенел телефон. Полковник хмыкнул и припал к горлышку. Сделал пару глотков, вытер губы и протянул бутылку физика.

— Ваш черед, Эдвард.

Стэнли не шелохнулся.

— Вы что — уснули?

Физик, не отрываясь, смотрел на свои часы.

— Сколько на ваших, Плэйтон?

Плэйтон взглянул на циферблат и озадаченно присвистнул.

— Половина девятого.

Телефоны в приемной надрывались. Плэйтон поставил бутылку на перила, поднялся и зашагал к дому.

— Эдвард, — умоляющим тоном попросил медик. — Объясните хоть вы мне...

— Потом, Антони, — на ходу отмахнулся Стэнли. — Посидите пока в беседке.

Плэйтон чувствовал, что сходит с ума. Звонил майор Янг. Тот самый Янг, который немногим более часа назад корректно, но твердо дал понять, что после получения приказа не намерен выполнять распоряжений полковника Плэйтона и вообще ничьих распоряжений, кроме генерала Розенблюма.

Теперь майор заискивающим тоном докладывал, что ракеты к старту готовы и что он, Янг, ждет команды полковника Плэйтона.

«Что это? — лихорадочно соображал Плэйтон. — Подвох? Очередная провокация со стороны Розенблюма? А если нет? А если за этот час что-то переменялось? В любом случае это шанс. Шанс, который нельзя упускать».

— Майор Янг! — не допускающим возражений голосом скомандовал Плэйтон. — Запуск ракет отменяется. Готовность номер один — тоже. Персоналу разойтись по казармам и ждать дальнейших распоряжений. Как поняли?

— Понял: запуск отменить, готовность номер один отменить, персоналу разойтись по казармам.

— Все верно, Янг. Выполняйте.

— Слушаюсь, господин полковник.

Плэйтон бросил трубку на рычажки и схватил другую.

— Плэйтон слушает.

— Докладывает подполковник Линдон. Эвакуация из зоны закончена. Жду ваших распоряжений, господин полковник.

— Мобилизуйте все транспортные средства, Линдон. Приступайте к переброске людей в Гринтаун и далее самолетами — в столицу. Первыми отправляются семьи военнослужащих и женщины. Затем воздушно-десантные и пехотные части. Бронетанковые подразделения идут до Гринтауна своим ходом, а далее — транспортными самолетами. На местах остаются полк боевого охранения и ракетчики. Повторите, как поняли.

Позади скрипнула дверь. Не отнимая трубки от уха, Плэйтон оглянулся. В комнату вошел Стэнли.

— Все правильно, Линдон. И последнее: по окончании эвакуации задержите тяжелые вертолеты на случай срочной переброски боевого охранения и ракетчиков. Пусть стоят наготове. У меня все. Выполняйте, подполковник.

Он опустил трубку и полез в карман за сигаретами. Стэнли протянул ему раскрытую пачку.

— Курите, Ричард. Ваши остались в беседке. Вы что-нибудь понимаете?

— Одно-единственное. — Полковник чиркнул спичкой и закурил. — Я опять на коне. И спешу это максимально использовать.

— Неисповедимы пути господни, — задумчиво произнес физик. — Что-то, видать, не сработало у Розенблюма.

— По-видимому, так. — Плэйтон стремительно поднялся из-за стола. — Вот что, Эд. Соберите вашу святую троицу. А я тем временем свяжусь со столицей и попытаюсь узнать, в чем дело.

Прежде чем позвонить, Плэйтон, не торопясь, докурил сигарету, тщательно загасил окурок и только потом снял трубку с аппарата секретной связи. С минуту никто не отвечал, затем в трубке что-то щелкнуло и испуганный женский голос произнес:

— Да, алло!

Это было так неожиданно, что Плэйтон растерялся.

— Элен!

— Ричард?!

— Как вы там оказались? Где Розенблюм?

— Ох, Дик!.. — всхлинула Элен.

— Где Розенблюм? — повторил Плэйтон.

— Выслушайте меня...

— Потом. Где генерал?

— Его увезли. — Она опять всхлинула.

— Увезли? — опешил Плэйтон. — Кто?

— Санитары. — Женщина истерически хихикнула. Плэйтон мысленно выругался.

— Успокойтесь, Элен. И рассказывайте все по порядку.

— Я... Мы пришли сюда с Джеком часа два назад.

— В такую рань?

— Так захотел Джек.

— Продолжайте, Элен.

— Поболтали о том о сем.

«О том о сем... — Плэйтон стиснул челюсти. — Супружеская болтовня. Воркующие ангелочки. Кажется, Хейлигер прав...»

— Джек передал по телефону какие-то распоряжения.

«Приказ о моем отстранении от руководства операцией». — Плэйтон еще сильнее стиснул зубы.

— Мы собирались позавтракать в ресторане «Ранние пташки», но Джеку надо было еще куда-то позвонить, и у нас оставалось еще минут сорок.

«В Пайнвуд, — догадался полковник. — Дать команду о запуске ракет и отправиться в «Ранние пташки».

— Куда он собирался звонить, Элен?

— Не знаю.

— Не лгите, Элен. Мне известно все. В Пайнвуд?

— Да... Кажется, да.

«Сволочи! — мысленно выругался полковник. — Выродки!»

— Что было дальше?

— Джек вызвал базу... и вдруг понес абракадабру.

— Что именно?

— Заявил, что отменяет свой предыдущий приказ и возлагает командование всеми операциями на полуострове на полковника Плэйтона.

— И вы, конечно, решили, что он рехнулся!

— Но он действительно сошел с ума! Схватил со стола мраморный письменный прибор и запустил им в меня.

— Попал? — не без злорадства поинтересовался Плэйтон.

— К счастью, нет. Боже мой, как он орал!

— И что же он орал?

— Что я искалечила ему жизнь, что он убьет меня, что я...

— Можете не продолжать, Элен.

— Он изрыгал такие оскорбления...

— Такие... что пришлось вызвать санитаров из психолечебницы?

— А что еще оставалось? Послушайте, Ричард, я всегда знала, что Розенблюм кретин и размазня. Но еще не поздно, Ричард. Если вы...

— Поздно, Элен. И слава богу, что поздно.

— Что же мне делать, Ричард?

— Отправляйтесь домой. И не высовывайте носа, пока за вами не приедут.

— Вы думаете, приедут?

— Непременно. Можете не сомневаться, Элен. Прощайте.

Он опустил трубку и задумался. Все, что он делал, начиная с той минуты, как покинул беседку, делалось скорее интуитивно, чем сознательно. Он чувствовал, как надо поступать, и действовал не рассуждая. Теперь, анализируя свои действия, Плэйтон пришел к неожиданному выводу: он поверил тому, что говорили Хейлигер и Стэнли,

и толчком к этому послужил приказ Розенблюма, лишивший Плэйтона всех полномочий. Сам еще о том не догадываясь, он уже знал, что они правы.

Катастрофу, кажется, удалось предотвратить. Он еще не до конца сознавал, как и почему это произошло, но чувствовал, что непосредственная угроза термоядерного взрыва отодвинулась, но не исчезла полностью. Отсюда исходило его распоряжение о срочной эвакуации. И опять: он отдал это распоряжение, не задумываясь, и только потом вспомнил слова Крейна о пришельцах, которые заблокировали взрыв атомного реактора и ликвидируют его последствия. Но здесь начиналось явное противоречие: если последствия взрыва ликвидируются, то зачем эвакуировать людей с полуострова?

Чем больше думал об этом Плэйтон, тем отчетливее упирался лбом в стену. И по ту сторону стены явственно слышалось курлыканье журавлиной стаи.

В приемной послышались голоса, хлопнула дверь, и в кабинет вошли Стэнли и Маклейн.

— Крейн куда-то запропастился, — сообщил физик. — А где Хейлигер?

Тревожное предчувствие кольнуло где-то под сердцем. Плэйтон торопливо выбрался из-за стола и шагнул в соседнюю комнату. Хейлигер лежал на спине, запрокинув голову. Глаза его были закрыты, губы плотно сжаты. Пальцы бессильно повисшей руки почти касались пола.

— Маклейн, — почему-то шепотом позвал Плэйтон. — Маклейн!

— Да, полковник!

— Скорее! Нужна ваша помощь! — крикнул Плэйтон, хотя в душе был почти уверен, что ни в чьей помощи Хейлигер уже не нуждается.

Трое суток спустя они собрались в конце дня в том же кабинете: Стэнли, Маклейн и Плэйтон, но теперь уже не полковник, а генерал Национальных Вооруженных Сил. За окнами моросил обложной дождь, и затянутое серыми тучами осеннее небо стлалось над вершинами деревьев. По раскисшей улице с ревом проносились тяжело груженные самосвалы. В приемной щеголеватый майор едва успевал отвечать на телефонные звонки.

— Грегори! — с порога окликнул Плэйтон. — Меня нет. И не будет еще полчаса.

— Ясно, господин генерал.

Плэйтон плотно прикрыл дверь и, тяжело ступая, прошел на свое место. Маклейн и Стэнли примостились друг против друга за приставным столом.

Физик был как всегда элегантен и гладко выбрит, лишь заострившиеся скулы и тени под глазами выдавали усталость. Ему в эти дни доставалось, пожалуй, больше всех: Стэнли возглавлял специальную группу, которая при содействии экспертов из МАГАТЭ выясняла причины взрыва и руководила работами по ликвидации его последствий.

В то памятное утро полковник Плэйтон связался по прямому проводу с президентом и открыл ему глаза на истинное положение вещей, умолчав лишь о странном исчезновении Крейна и некоторых других загадочных явлениях, которые за отсутствием иных объяснений мысленно связывал с пребыванием в зоне пришельцев. Впрочем, потерявшиеся в Гринтауне дети вскоре нашлись, как и персонал поста номер восемьдесят семь. Солдаты в состоянии сильнейшего опьянения были обнаружены в лесу вертолетчиками, и Маклейну с коллегами пришлось изрядно попотеть, прежде чем удалось привести их в более или менее нормальное состояние. Однако и после этого ни один из солдат не мог объяснить, что произошло и как они, раздетые догола, очутились в лесной чаще.

Генерал Розенблюм, переведенный из психолечебницы в военный госпиталь, сутки вел себя спокойно, но затем неожиданно для всех выбросился из окна палаты, расположенной на девятом этаже лечебного корпуса.

Средства массовой информации сообщили о его смерти скупое, мало кто обратил на это событие внимание. Зато сенсацией стало назначение на пост министра обороны малоизвестного генерала Ричарда Плэйтона.

Даже сквозь плотно закрытую дверь в кабинет доносились беспрестанные звонки телефонных аппаратов. Майор явно не успевал на них отвечать.

— Друзья! «Еще три дня назад я бы их так не назвал, — отметил про себя Плэйтон. — Три дня, а как много они изменили!» Я пригласил вас, чтобы проститься. Завтра я уезжаю в столицу.

— Я думал, вы улепетните еще раньше, — усмехнулся Стэнли. Маклейн укоризненно взглянул на физика и покачал головой. — Вы-то, док, чем недовольны? Признавайтесь лучше, куда подевали бутылку?

— Какую бутылку? — удивился Маклейн.

— Полюбуйтесь на него! — апеллировал к Плэйтону физик. — Умыкнул бутылку виски, спрятал где-то, а теперь простачком прикидывается.

— Вот вы о чем! — сообразил наконец медик.

— А вы думали? Самое время sprыснуть повышение Плэйтона, а у него в холодильнике хоть шаром покати.

— Что верно, то верно, — Плэйтон улыбнулся и развел руками. — Было не до того.

— Постыдились бы, генерал! — возмутился Маклейн. Стэнли с Плэйтоном удивленно переглянулись.

— Послушайте, старина... — неуверенно начал Стэнли, но медик величественным жестом остановил его на середине фразы.

— Министр обороны — и такой скряга!

— Что вы мелете, Антони! — рассмеялся Плэйтон.

Вместо ответа Маклейн встал из-за стола и направился в соседнюю комнату.

— Куда это его понесло? — Стэнли недоумевающе уставился на Плэйтона.

— Сейчас узнаем. А пока, — Плэйтон достал из выдвигного ящика пару листов писчей бумаги, — постелите-ка на стол.

— Зачем? — окончательно растерялся Стэнли.

— На всякий случай. Виски оставляет пятна на полированной мебели.

— Вы думаете...

— Думаю, мы с вами заблуждались, отказывая Маклейну в чувстве юмора. Впрочем, сейчас увидим.

Они повернулись к двери как раз вовремя, чтобы наблюдать Маклейна, входящего в кабинет с початой бутылкой виски в одной руке и тремя фужерами в другой. В фужерах поблескивали кубики льда.

— Вот это номер! — Стэнли восхищенно присвистнул. — Вы уложили нас на обе лопатки, Антони! Пойдите, а для кого третий фужер? Вы-то, насколько мне помнится, не пьете?

Маклейн смерил его уничтожающим взглядом.

— Стелите бумагу на стол, юноша.

Маклейн расставил виски и фужеры и назидательно воздел указательный палец.

— Зарубите себе на носу, молодой человек: доктор медицины Антони Маклейн не пьет из горлышка, чего, к сожалению, не скажешь об отдельных представителях точных наук и армейских полковниках.

— Bravo, Антони! — расхохотался Плэйтон. — Наливайте, Эдвард.

— За ваше назначение, Ричард! — Стэнли крепко пожал Плэйтону руку. — Я искренне рад за вас.

— За меня? — Плэйтон покачал головой. — Спасибо, дружище, но...

— Понимаю, — кивнул физик. — И все-таки постарайтесь продержаться на этом посту как можно дольше. Должен же быть хоть один порядочный человек в этом сборище преступников и маньяков.

— По-моему, вы преувеличиваете, Эд, — робко возразил Маклейн. — Уже сам факт назначения Плэйтона...

— Святая простота, — вздохнул Стэнли. — Когда вы, наконец, прозреете, Антони? — Уж не воображаете ли вы, что Розенблюм наломал столько дров в одиночку?

— Вы хотите сказать...

— «Я хочу сказать!» Нет, вы только послушайте его, генерал! Я хочу сказать, что им вертели, как хотели!

— Кто? — опешил медик.

— О господи! — Стэнли умоляюще взглянул на Плэйтона, но тот лишь усмехнулся. — Ведь вы врач, Антони, черт бы вас побрал. Обязаны шевелить мозгами. «Кто!» Да те, кому это выгодно. Знаете, во что обходится строительство одного центра по производству плутония? В сотни миллионов монет. Ради такого заказа любой магнат отсюда родного продаст.

— Отставить! — улыбаясь одними глазами, скомандовал Плэйтон. Но физика не так-то легко было остановить.

— Ваш идиот Розенблюм...

— Почему мой?! — возмутился медик.

—...попытался всего лишь использовать ситуацию.

— Прекратите, Эдвард, — Плэйтон положил ладонь на плечо Стэнли. — Я вас не для политических дискуссий пригласил. Давайте-ка лучше выпьем за тех, кого с нами нет.

— Уж не за Розенблюма ли? — вскинулся физик.

— Я имею в виду Хейлигера. — Плэйтон взял свой фужер.

— И Крейна, — негромко добавил Маклейн.

— Крейна?.. — задумчиво повторил Плэйтон. — Нет, за Крейна мы пить не будем.

— Почему? — удивился медик. — Капитан Крейн...

— Дело в том, Антони, — Плэйтон качнул фужер, и кубики льда негромко зазвенели, ударяясь о стекло, — что в Национальных Вооруженных Силах нет и никогда не было капитана по фамилии Крейн.

— Как это не было? — опешил Маклейн. — А ваш дежурный офицер?

Плэйтон молча поднял фужер на уровень глаз — на свету виски казалось янтарно-оранжевым озерцом, и кубики льда на его поверхности напоминали миниатюрные айсберги. «Зачем я все это говорю? — с досадой подумал Плэйтон. — Для Маклейна и для миллионов обывателей Крейн и Хейлигер — герои, положившие жизнь на алтарь отечества. Им и памятники поставят. Хейлигеру — в его родном городе. А Крейну? Откуда он родом? Из какой галактики? Могут, конечно, махнуть рукой и установить памятники рядышком. И ни одна душа, кроме меня и Стэнли, не будет знать, что они терпеть не могли друг друга. А может быть, я неправ и надо быть снисходительнее. В конце коцов, что это меняет?»

— Капитан из моей приемной не был человеком, Антони.

— А кем же он был? — Маклейн чуть не выронил свой фужер.

— Вам ни о чем не говорит фамилия Крейн?¹

Плэйтон закрыл глаза и опять, как три дня назад, отчетливо увидел клин журавлей, по крутой спирали уходящий в пронизанную солнечными лучами бездонную синеву осеннего неба.

— Вы полагаете... — Маклейн запнулся.

— Да, Антони. Они пришли о т т у д а и снова вернулись т у д а, предоставив нас самим себе в нескольких минутах от катастрофы. Будь они людьми, я бы назвал это предательством. Но они пришельцы. А пришельцам нет дела до наших земных проблем. Земные проблемы должны решать мы сами. Хейлигер раньше всех понял это. Выпьем за Хейлигера.

¹ Крейн (англ.) — журавль.

«Звезда Востока» во втором полугодии 1988 года

Во втором полугодии 1988 года журнал планирует публикацию романа РАУЛЯ МИР-ХАЙДАРОВА «ПЕШИЕ ПРОГУЛКИ» о теневой экономике и сращивании в недавнем прошлом преступного мира с органами управления; роман ШУКУРА ХАЛМИРЗАЕВА «НАД ПРОПАСТЬЮ» — о ликвидации басмаческой банды Ибрагимбека, а также сатирические повести СТАНИСЛАВА КУЛИША «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» и ЛЬВА БЕЛОВА «МУЖЧИНЫ ПО СОСЕДСТВУ».

Интересные публицистические и исторические материалы появятся под новыми рубриками «ПЕРЕСТРОЙКА: ИДЕИ И ПРАКТИКА», «РУССКИЕ ПОДВИЖНИКИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ» и «НЕРАЗГАДАННЫЕ ТАЙНЫ ВОСТОКА». Своими мыслями о роли писателя в современном мире поделится каракалпакский писатель, лауреат Государственной премии СССР ТУЛЕП-БЕРГЕН КАИПБЕРГЕНОВ в своем эссе «КАРАКАЛПАК НАМЕ».

Во втором полугодии состоится новая встреча читателей с комиссаром Мегрэ, любимым героем ЖОРЖА СИМЕНОНА, увидит свет на наших страницах роман СТАНИСЛАВА ЛЕМА «МИР НА ЗЕМЛЕ». Остросюжетную повесть «ШАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ ЛУНЫ» предложили редакции известные мастера детективного жанра ГЕОРГИЙ ВАЙНЕР и ЛЕОНИД СЛОВИН. Читатели познакомятся с перипетиями борьбы отставных следователей-розыскников на два фронта, с мафией, жирующей на алкогольном и парнобизнесе, и купленными ею работниками милиции.

Роман ДИКА ФРЕНСИСА «ОТРАЖЕНИЕ» переносится на начало 1989 года в связи с тем, что объем рукописи намного превысил запланированный, и редакция не сочла возможным ущемлять интересы читателя, предлагая ему сокращенный вариант.

О НАШИХ АВТОРАХ

АЗИМОВ Усман родился в 1950 году в селе Газа Байсунского района Сурхандарьинской области.

В 1972 году окончил факультет журналистики Ташкентского государственного университета им. В. И. Ленина. Автор поэтических сборников «Понять человека», «Состояние», «Исход», «Отражение», драматической поэмы «Солнечный мир», пьесы «Всего один шаг».

В 1982 году за цикл стихов о дружбе народов, о советском патриотизме удостоен премии Совета Министров Грузинской ССР им. В. В. Маяковского.

ШОРОХОВ Леонид Анатольевич родился в г. Кобрине Брестской области в 1946 году. Окончил Ленинградский горный институт. Работает начальником участка «Взрывпром» в Бекабаде. Печатался в альманахе «Молодость» и журнале «Молодая смена». В журнале «Знамя» была опубликована повесть «Володька-Освод», которая также вышла отдельной книгой. В «Звезде

Востока» публикуется впервые. Член Союза писателей СССР.

НАСЫР МУХАММАД (Насриддин Мухаммадиев) родился в 1946 году в пос. Яккабаг Кашкадарьинской области. В 1968 году окончил филологический факультет ТашГУ им. В. И. Ленина. В 1976—1979 годы работал за границей в качестве переводчика.

Автор двух поэтических сборников: «Здравствуй, грядущее», «Весенний напев». Его стихотворения публиковались во всеююзных альманахах «Поэзия», «Вдохновение» и в журнале «Звезда Востока».

ДЕМАЗИ Нина Николаевна родилась в г. Воронеже. В 1980 году окончила Ташкентский государственный педагогический институт им. Низами. Печаталась в альманахе «Молодость», в журналах «Звезда Востока» и «Молодая смена», в коллективном сборнике «Встреча».

Технический редактор Ф. Я. Викнянская.
Корректор З. Г. Байбазарова.

Адрес редакции: 700000, Ташкент, ГСП, ул. Ленина, 41.
Телефоны: главного редактора — 33-42-68, заместителя редактора и отв. секретаря — 33-40-43;
отделов: прозы, поэзии — 33-77-64, публицистики, литературной критики — 33-07-78.

Рукописи объемом менее печатного листа не возвращаются.

Сдано в набор 31.03.88 г. Подписано к печати 16.05.88 г. Формат 70×108¹/₁₆. Фотонабор. Офсетная печать. Условных печ. л. 18,2+0,35 (вкл.). Уч.-изд. л. 20,95+0,35 (вкл.). Тираж 178428. P-00021.
Заказ № 3105. Цена 1 рубль.

Ташкент, ордена Трудового Красного Знамени
типография Издательства ЦК Компартии Узбекистана.

По городам Узбекистана

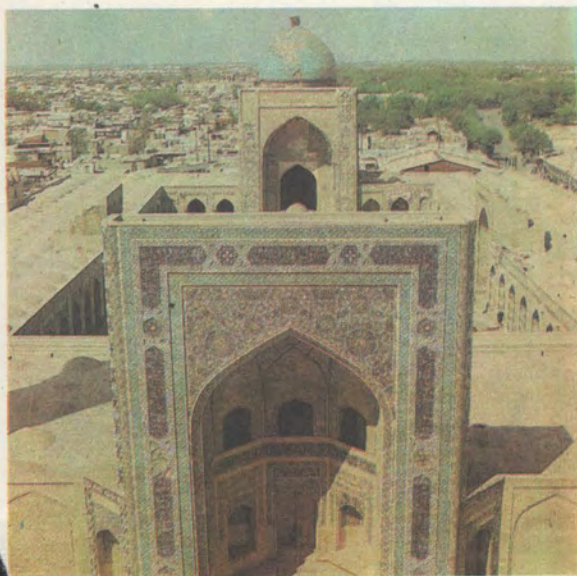
БУХАРА



Медресе Чор Минор



Вид на мечеть Калян



Ханака Диван-беги



Мечеть Боло-хауз

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ГАЙРАТА БАЙМАТОВА



Костюмеры



Портрет сына

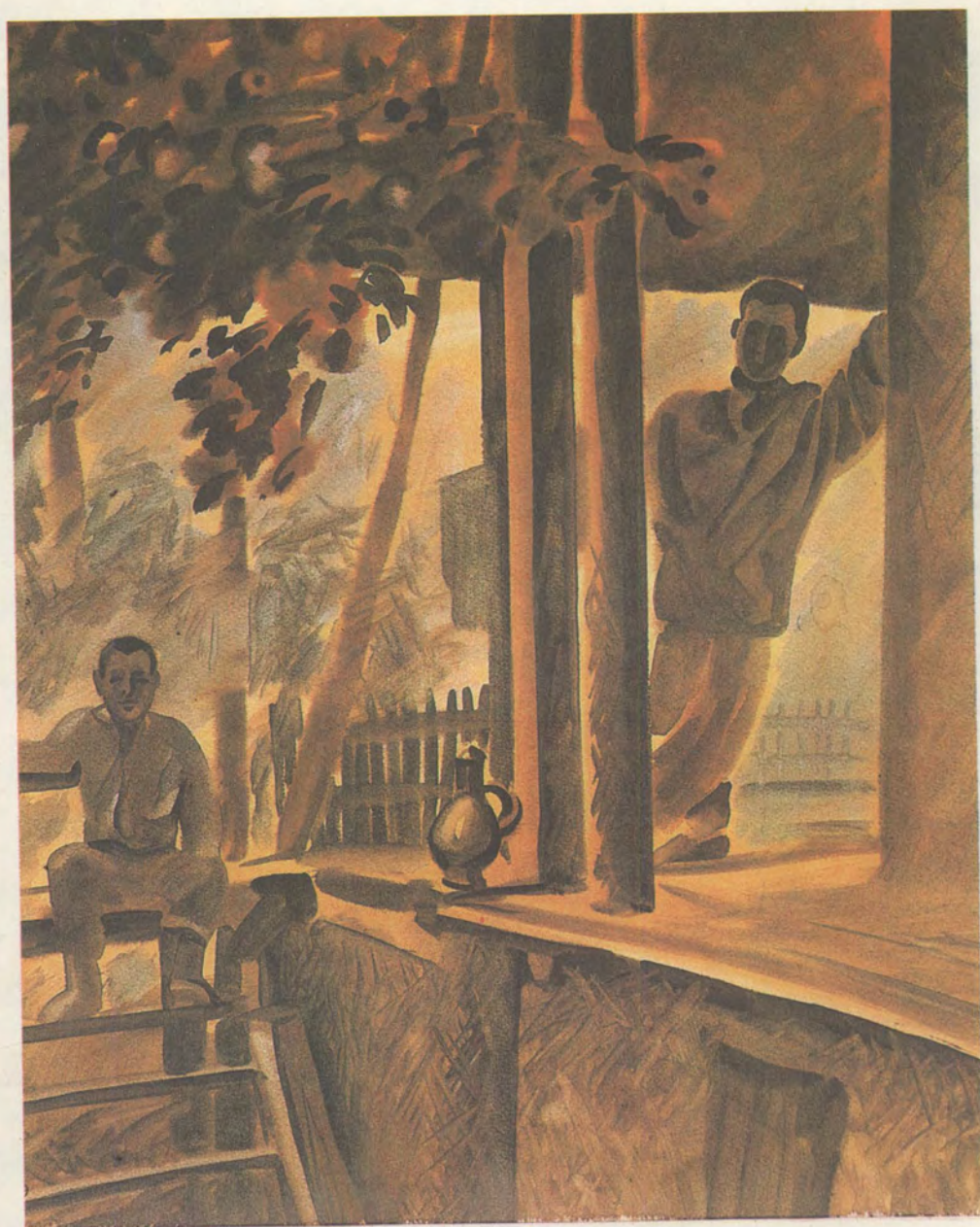


Из серии „Рождение узбекского театра“

Из серии

“Кольский полуостров”





Чимганские зарисовки

Цена 1 рубль
Индекс 75273